

Марсель
Мишо

СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ



ЖЗЛ

СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ



Марсель
Мишо



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ЕДИНСТВЕННАЯ НАСТОЯЩАЯ РОС-
КОШЬ — ЭТО РОСКОШЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКО-
ГО ОБЩЕНИЯ.

А. Д Е С Е Н Т - Э К З Ю П Е Р И

ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 25
(365)

МОСКВА
1965

Марсель Мижо

СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

Перевод с французского
ГОРАЦИЯ ВЕЛЛЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

8И (Фр.)
М58



Второе издание



Майор Антуан де Сент-Экзюпери.

РУССКОМУ ЧИТАТЕЛЮ

Антуан де Сент-Экзюпери относится к разряду людей, которые не укладываются в обычные рамки. И не потому, что он ставил себя когда-либо над людьми. Наоборот, никто не был так близок к людям, так человечен во всеобъемлющем смысле этого слова. Но своими моральными качествами, своим интеллектом, своей деятельностью — одним словом, своей судьбой Сент-Экс возвышается над обычным человеческим уровнем и относится в некотором роде к числу людей, которые должны служить для других, и в особенности для молодежи, примером.

Сент-Экзюпери был одним из пионеров авиации, талантливым писателем и поэтом, моралистом, мыслителем-гуманистом, искателем, героем. Я далек от его идеализации и в труде, который ему посвятил, постарался изобразить его во всей его человеческой полноте. При этом я подошел в отдельности к каждому аспекту этого незаурядного человека, что вызывало иногда необходимость отдаляться от хронологической последовательности в развитии и становлении личности моего героя.

Такой метод оправдан в отношении французского читателя, хорошо знакомого с творчеством писателя и обстановкой, в которой протекало это творчество, ибо Сент-Экзюпери стал классиком французской литературы XX века, его изучают во всех школах. Для русского читателя такой метод мог представить известные трудности и даже служить препятствием к пониманию Сент-Экзюпери.

К счастью, переводчик моего труда на русский язык оказался не только точным переводчиком — точным в том, что несколько не извратил мысли, положенные мной в основу книги, и сумел сохранить в выписке сложного характера Сент-Экзюпери все те черты, которые являлись элементами моего анали-

за, — но и весьма проницательным литератором, сумевшим, как я надеюсь, приблизить книгу к русскому читателю.

Больше того, настоящее издание — образец творческого сотрудничества литераторов разных стран, выразившегося в том, что, хорошо знакомый с темой, обстановкой, в которой протекали жизнь и творчество героя книги, и со своим читателем, переводчик в постоянном контакте со мной полностью переработал книгу в хронологическом порядке, ввел все в исторический кадр и привлек немало добавочного и даже иногда никому еще не известного материала. Тем самым он одновременно избежал необходимости в сносках и дополнительных разъяснениях, так отяжеляющих текст.

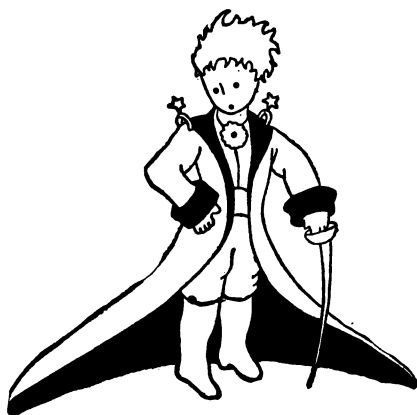
К тому же переводчик значительно приумножил и в особенности расширил приводимые мной выдержки из Сент-Экзюпери, обогатив этим основной текст и дав более полное представление о писателе малоизвестному с ним читателю.

Никогда ни один переводчик этого труда, уже переведенного на многие языки, не задавал мне столько вопросов, как Гораций Велле. Никогда ни один не требовал столько уточнений. Никогда ни один не стремился так к ясности.

Если добавить к этому глубокое уважение, которое переводчик питает к Сент-Экзюпери, и подлинное восхищение его творчеством, нашедшее свое выражение в его методе работы над книгой и в сотрудничестве со мной, то думается, у нас имеются все данные, чтобы донести до русского читателя живой образ Антуана де Сент-Экзюпери.

МАРСЕЛЬ МИЖО

Реймс, 22 марта 1963 года



«ОТКУДА Я? Я ИЗ МОЕГО ДЕТСТВА»

В парке играют дети: два мальчика и три девочки. У них разные характеры, разные и игры. Старшая девочка — Мари-Мадлен — задумчива, созерцательна. Она наблюдает птиц, собирает гербарий. Позже она перестанет рвать цветы, «потому что им больно», и будет только любоваться ими. Если во время прогулки она не видит цветов, то говорит с грустью: «Прогулка была некрасивая».

Четверо других делятся на две пары: девочка и мальчик, мальчик и девочка. Старшая пара — Симона и Антуан — любят шумные игры. Они взбираются на деревья, но там, устроив себе домик среди ветвей, один перепачканными в смоле руками пишет стихи, другая — сказки. В кустах сирени также появляются дома, и там на заросшей мхом земле устраивают пышные приемы.

Фантазер и задира Антуан на полях своей тетрадки со стихами рисует схемы моторов, которые должны потрясти мир.

— Смотри, Моно, это мотор аэроплана. Сейчас я тебе объясню...

— Нет, мне неинтересно.

— Все равно слушай... Вот клапан, а это шатун. Это... Ну смотри же!

— Нет, мне скучно.

— Ну, я прошу. Пойми же...

Антуан огорчен. Он хочет, чтобы его выслушали, поняли, одобрили. Наконец после долгих уговоров и требований ему подчиняются.

Изобретательность так и бьет из него клокочущим гейзером.

— Вот это мотор, а это телефон, это паровоз, а это аэроплан. А вот велосипед. Когда я полечу на моем крылатом велосипеде, толпа воскликнет: «Да здравствует Антуан де Сент-Экзюпери!»

Одиннадцать вечера. Все спят. Вдруг раздается стук. Это Антуан в ночной рубашке, завернувшийся в покрывало или скатерть.

— Я буду читать стихи!

— Но, Тонио, мы спим...

— Неважно. Просыпайтесь. Пойдем к маме.

— Мама тоже спит.

— Мы ее разбудим. Вот увидите. Все будет хорошо.

Мама для порядка протестует, а затем члены маленького кружка с заспанными глазами слушают стихи до часу ночи.

Антуан Мари Роже де Сент-Экзюпери был третьим ребенком графа Жана де Сент-Экзюпери и Марии де Фонсколомб. Мать Антуана из старинной провансальской семьи; еще древнее род Сент-Экзюпери. Это имя носил один из рыцарей святого Грааля. С 1235 года в старинных хрониках упоминаются графы Сент-Экзюпери — «сеньоры Сен-Жермена в Лимузене и Мирмонта в Оверни».

В 1900 году, когда родился Антуан, его отец служил страховым инспектором в Лионе. Четыре года спустя он умер. Госпожа де Сент-Экзюпери осталась без средств к существованию с пятью детьми: Мари-Мадлен, Симоной, Антуаном, его братом Франсуа и младшей сестрой Габриэль. Однако лишения семье не грозят: на помощь приходят две бабушки детей —

родная и двоюродная. Госпожа Сент-Экзюпери перебирается из Лиона сначала к своей матери в замок Ла Молль подле Коголена в Массиве Мор, тянущемся вдоль средиземноморского побережья департамента Вар. В этом обширном доме с круглыми башнями, а затем в замке Сен-Морис де Реманс, принадлежащем его двоюродной бабушке госпоже де Трико, километрах в пятидесяти от Лиона, в изрезанном отрогами Юрских гор Бюжайском крае, Антуан провел детство, необычайно счастливую пору своей жизни. Когда он вырастет, он скажет: «Откуда я? Я из моего детства. Я пришел из детства, как из страны». Вот она, эта страна, какой увидел ее Антуан издалека, из других стран:

«Мир воспоминаний детства, нашего языка и наших игр... всегда будет мне казаться бесконечно более реальным, чем любой другой... Этим вечером мне вспомнилась холодная прихожая Сен-Мориса. После вечерней трапезы мы усаживались на сундуки и в кожаные кресла, дожидаясь отхода ко сну. А дяди шагали взад и вперед по коридору. В полутьме слышались обрывки фраз, это было таинственно. Так же таинственно, как дебри Африки...

Мы дожидались, пока понесут в гостиную лампы. Их несли, как охапки цветов, и каждая лампа бросала на стены прекрасные тени, похожие на листья пальм... Затем букет света и темных пальмовых листьев запирали в гостиной.

Мы уходили спать...»

«...Иногда вы пели внизу, уложив нас. До нас пение долетало эхом большого праздника — мне так казалось. Я не помню ничего более «доброе» и мирного, ничего более дружелюбного, чем маленькая печь в «верхней комнате» Сен-Мориса. Ничто и никогда так не убеждало меня в полнейшей безопасности мира. Когда я просыпался ночью, она гудела, как шмель, и бросала на стены добрые тени. Не знаю почему, но я сравнивал ее с преданным пуделем. Эта печка оберегала нас ото всех бед. Иногда вы поднимались к нам, открывали дверь и удостоверились, что мы ограждены от всего теплом».

«...Вы склонялись над нами, над нашими кроватками, в которых мы отправлялись навстречу завтрашнему дню, и, чтобы путешествие было спокойным, чтобы ничто не тревожило наши сны, вы разглаживали волны, складки и тени на наших одеялах. Вы смиряли наши кровати, как божественный перст смирял бурю на море».

«Я впервые ощутил необъятность не на самолете, не посреди моря, а на второй кровати в вашей комнате. Заболеть было такой удачей! Каждый из нас мечтал об этом. Грипп давал право на безбрежный океан... Я не очень-то уверен, что жил после того, как прошло детство».

Эти слова Антуана обращены к матери, к первой и самой сильной привязанности в его жизни. После смерти мужа госпожа де Сент-Экзюпери глубоко затаила свое горе. Никогда дети не видели ее печальной и замкнутой, озабоченной. Она сохранила свою нежную, чуть грустную улыбку, гордую и свободную осанку, живое воображение. Она художница, талантливый живописец. Она не знает иного воздействия на детей, кроме любви. Каждому достается равная доля нежности и внимания. Но Тонио (по крайней мере внешне) наиболее предан матери. Он неотступно следует за нею, таская с собой маленький стул. Стоит матери присесть, как он устраивается на стуле у ее ног. Любовь Тонио к матери была тем заметнее, что больше никто из домашних не пользовался его расположением. Тонио не капризен, но требователен, вспыльчив, порой деспотичен. Особенно доставалось от него младшему брату — Франсуа. Дстаточно было детям начать игру, как Тонио по своей прихоти менял ее правила, а то и затевал новую. Франсуа протестовал, тогда завязывалась драка. Антуан, подвижный и предприимчивый, порой нарушал запреты взрослых. Он любил, например, разгуливать по крыше в Сен-Морисе, и для того, чтобы помешать этим упражнениям, окна детской комнаты, расположенной во втором этаже, пришлось забрать решетками. Строгая владелица замка госпожа де Трико пыталась укротить непослушного мальчика, и для этого

применялись разные наказания, в том числе и самое распространенное. Однажды после такого наказания он вышел с сухими глазами к брату и сестре Симоне, сочувствовавшим ему за дверь, и как ни в чем не бывало сказал: «Мне было совсем не больно».

В замке Ла Молль и в Сен-Морисе Тонио окружает атмосфера сказки, таинственного и загадочного.

Сказки рассказывает мать. «Сударыня, в этом сундуке я запираю угасшие закаты солнца», — говорит ужасный Синяя Борода. Фантастические образы доброго и нежного Андерсена оживают в полутьме детской спальни.

Сказки рассказывает и Паула — первая гувернантка детей, родом из Тироля. Она принесла их из своей страны лесов и гор. Дети готовы до поздней ночи слушать предания, поверья горцев, а Тонио прерывает ее, чтобы пересказать сказку по-своему, или озадачивает Паулу вопросом: «А что вы делали, когда были обезьяной? А вы были когда-нибудь львом?»

Очарование сказок в соединении с уютом и нежностью дома бросает на все окружающее мальчика отсвет тайны. Но вот Паула уехала в родной Тироль, ее сменила мадемуазель Маргерит, маленькая и хрупкая. Бельевая комната, в которой мадемуазель Маргерит гладит скатерти и простыни, запахи теплого свежего белья вызывают в Тонио чувство вечности, которое он осознаёт и выразит потом. Аромат свежего белья станет для Антуана постоянным символом прочности родного дома, устойчивости семейного очага.

Таинственным был и чердак старинного замка. Укрываясь здесь в дождливые дни, дети открывали мир прошлого. «Поколения» костюмов, шляп, ботфортов напоминали о жизни прадедов. Старинные часы хрипло гудели, когда к ним притрагивались.

Здесь, в пыльной тишине, в мире, куда не проникали взрослые, дети чувствовали себя особенно свободно, и каждый занимался тем, к чему у него была склонность. Мари-Мадлен устраивала в уголке «китайскую комнату». Здесь все было вычищено и вымыто. Входить сюда можно было только разувшись.

Тонкий и впечатлительный Франсуа слушал в тишине «музыку мух». Антуан храбро отправлялся в путешествие по самым укромным уголкам чердака, одновременно восхищаясь неожиданными находками и пытаясь разгадать прежнее назначение различных вещей.

Тонио свободно рос в этой доброжелательной атмосфере, и ни одно из его качеств, ни одна из склонностей не выделились, не переросли в главную черту характера. В нем уживались задиристость и изобретательность, вкус к таинственному и острая потребность в материнском внимании, рано возникло в нем чувство самостоятельности и независимости. Стремление выделиться не хитростью, не за счет привилегий, но по праву, в честном соревновании. Все это было выражено и в игре, которую он сам придумал.

Как только дети замечали, что собирается гроза, начинался «турнир рыцаря Аклена». Они собирались в парке на лужайке против дома. Когда первые тяжелые капли падали на землю, дети пускались наперегонки через лужайку, к зданию. Тот, на кого упадет первая капля, выбывал из игры. Затем следующий. Победителем становился тот, кому удавалось добежать до замка сухим. Он считался счастливым избранником богов и получал торжественный титул рыцаря Аклена.

Парк и замок, чердак и сказки, устойчивый, ничем не нарушаемый уют — вот обстановка, которая способствовала росту в мальчишке чувства достоинства, вкуса к доблести и любви к прекрасному.

Антуан — ровесник нашего века техники. Не удивительно, что значительную долю его интересов составляла механика — все, что движется, вращается, летает. В пять лет как-то машинист взял его на паровоз. После поездки Антуан смог уже воспроизвести по памяти схему устройства паровоза. Недалеко от Сен-Мориса, в Амберье, находился аэродром, и Антуан часто ездил туда на велосипеде. Когда ему исполнилось двенадцать, ему довелось полетать на самолете, и Антуан получил «воздушное крещение».

Летчика, который его «прокатил», звали Жюль Ведрин. Теперь он забыт, а до первой мировой войны он был едва ли не самым известным авиатором мира. В 1912 году, когда он поднялся в воздух с Антуаном, он уже совершил свой знаменитый перелет Париж — Мадрид со скоростью 168 километров в час, побив мировой рекорд. В следующем году он успешно перелетел из Парижа в Каир через Южную Европу и Малую Азию. Во время первой мировой войны он на самолете забрасывал разведчиков в тыл врага.

«Воздушное крещение» не произвело на Антуана сильного впечатления, такого, какое подчас определяет дальнейшую судьбу человека. Тонио сочинил стихи по поводу этого события и забыл его ради новых забав и увлечений.

В 1909 году Антуан и Франсуа поступают учиться в иезуитский коллеж Сен-Круа в Ле Мансе. Его некогда закончил их отец. Отъезд из Сен-Мориса с его черными елями и старыми липами, прощание с «верхней комнатой» — все это прошло для Антуана безболезненно. Ведь разрыв с миром детства был не окончательный: вместе с сыновьями в Манс едет мать. Она, правда, вскоре вернется в Сен-Морис, но будет навещать их зимой. Мальчики — приходящие ученики и лишь частично подпадают под строгий режим монастырской школы. После уроков они возвращаются домой, к тетке Маргерит.

В коллеже братья не перестают ссориться. Товарищи быстро дают Антуану прозвище «Лунатик» за его задумчивый вид и привычку смотреть в небо. Однако дразнить Антуана опасно. Прозвище приводит его в ярость, и обидчикам достается по заслугам. Может быть, именно поэтому в табеле Антуана дисциплина и вежливость оценивались самой низкой оценкой — «е». Такую же оценку он получал за прилежание и опрятность. Все это создало ему в коллеже репутацию посредственного ученика. В самом деле, школьные отметки, если по ним можно судить об одаренности человека, ничем не предвещают будущий расцвет Антуана. Но может ли помочь развитию дарований католический коллеж, где с самого детства

ученикам прививают слишком «взрослые» добродетели и с первых шагов отучают их от детства?!

Наиболее легко удается Антуану французская словесность. У него уже есть опыт сочинительства, а из коллеги он пишет матери письма, очень длинные для такого малыша. И Антуан не без гордости приписывает в конце одного из писем: «Я написал вам восемь страниц!»

Еще рано говорить о призвании Антуана. В озорном подростковом возрасте, которого занимают столь многие явления жизни, еще не проросли основные интересы, определившие в дальнейшем его жизнь. Но в архиве коллеги уже хранится первое серьезное сочинение Антуана в прозе — школьная работа на довольно забавную тему. Ученикам предложили описать приключения цилиндра. Сама тема была сказочной, и Антуан, чувствующий себя тем более свободно, чем фантастичнее был предложенный сюжет, написал изящную сказочку. Цилиндр в ней рассказывал о себе сам: «Я появился на свет на большой шляпной фабрике... Однажды меня вместе с моими братьями отправили в один из самых больших магазинов в Париже».

Затем цилиндр рассказывает, как в магазин пришел важный господин и купил его. На следующий день цилиндр имел блестящий успех у друзей этого элегантного джентльмена. Все восхищались бликами на его поверхности и другими достоинствами. Но вот кучер хозяина цилиндра собрался жениться, и владелец подарил цилиндр кучеру.

Кучер плохо с ним обращался, ронял его в грязь, забывал почистить и в конце концов продал старьевщику. Теперь его приобрел некий Матье, чтобы в праздничные дни прогуливаться в обнове по набережным Сены. Но ветер унес цилиндр в Сену, и он мирно поплыл в компании рыб.

На этом приключения цилиндра не заканчиваются. Старьевщик выловил его из Сены, и вскоре цилиндр очутился в грязной лавке «поставщика их величеств королей Африки». Затем цилиндр долго путешествовал и, наконец, увидел перед собой существа темного цвета. «Большую часть их лиц занимали губы». Один

из негров сидел на ящике из-под галет, с накинутой на плечи шкурой льва и держал в руках скипетр. Это был самый могущественный властитель Африки, ужасный Бам-Бум.

«Я пишу эти строки на склоне дней, — заканчивал свой рассказ цилиндр. — Я надеюсь, что, когда я стану никуда не годным, мне присвоят титул священной реликвии, некогда покрывавшей череп моего знатного обладателя Бам-Бума II — короля Нигера». Может быть, это не всегда верно, но чаще всего то, что мы пишем в четырнадцать лет, странно определяет будущий характер зрелого человека. В один из моментов подросток, пользуясь поводом, предоставленным школой, вдруг раскрыл самое существо своей натуры. За строчками этого школьного сочинения стоит необычайно светлый, веселый, изобретательный и жизнерадостный характер. Он еще не очень самостоятелен в развитии темы — чувствуется, что Андерсен продолжает жить в сердце мальчика, и все же изящество стиля, законченность этой незатейливой истории ясно говорят о цельности и чистоте индивидуальности, которые станут основой характера Антуана.

Каждое лето мальчики возвращались в Сен-Морис. Снова старинный парк наполнялся детскими голосами. Возвращались волшебные сказки, а главное — возвращалось тепло семейного очага, по которому так тосковал Антуан. Наступили каникулы 1914 года. Игры детей оставались такими же шумными, но лица взрослых стали серьезными и озабоченными. Говорили о войне. И она началась. Детям война представлялась не иначе, как с пением труб, с битвами и гулкими взрывами. На войне, конечно, убивали, но там можно было стать и героями. Взрослым обитателям Сен-Мориса война тоже не казалась более страшной. Вспоминали 1871 год, говорили об унижении Франции, об отмщении.

Солдаты отправлялись на фронт с цветами на штыках, от звуков патриотических гимнов сотряса-

лись вагоны. Вскоре поезда вернулись нагруженные молчаливыми забинтованными людьми на вагонных полках.

Как только на станции в Амберье появились первые раненые, госпожа де Сент-Экзюпери берет свой диплом сестры милосердия и отправляется в военный лазарет. Она останется здесь почти до самого конца войны.

Мальчиков отправляют в коллеж Монгре в Вильфранш-на-Соне на полный пансион, и тут только выясняется, насколько дети госпожи де Сент-Экзюпери не приспособлены к жизни в закрытом учебном заведении. А ведь этот коллеж вовсе не походит на казенное учреждение, где с детьми плохо обращаются, не заботятся о них. Но мальчики привыкли к дому, слугам, к довольству, и их прежде всего пугает скромный образ жизни, предложенный коллежем. «Дети здесь слишком несчастны», — решает любящая мать и вскоре отправляет их в Швейцарию, во Фрибур, где устраивает их в маристский коллеж «Вилла-Сен-Жан».

Коллеж этот занимает несколько чистых и светлых домов, расположенных над городом, среди леса. Здесь дети чувствуют себя свободно. Воспитатели коллежа считают, что детям нельзя навязывать правил поведения, дисциплина здесь не возводится в степень высшей добродетели. Святые отцы обращаются к сознанию учеников. Конечно, это не исключает правил и распорядка, но, как говорят ученые монахи, «сознание — голос бога в человеке».

Учителя здесь живут вместе с учениками, беседуют с ними, участвуют в их играх. В распоряжении воспитанников теннисные корты, зал для фехтования, плавательный бассейн, они могут кататься на лыжах по заснеженным горам... Все устроено так, чтобы дети, зачастую приезжающие из самых отдаленных стран, чувствовали себя здесь как дома. У некоторых учеников — в их числе у Антуана — имеются отдельные комнаты.

Братья Сент-Экзюпери живут здесь в довольстве, не догадываясь о том, что их мать взяла на себя не-

посильные расходы. Их вкусы и требования — результат благополучного детства и окружения товарищей по коллежу — детей из хорошо обеспеченных семейств, которым никогда ни в чем не отказывают. Но сверх всех преимуществ жизни в коллеже имеется еще одно, самое драгоценное для Антуана и Франсуа: каждую неделю к ним приезжает мать. Каждую неделю совершает она пятисоткилометровую поездку, но стоит ей только задержаться, как в Амберье летит письмо:

«Дорогая мамочка! Франсуа только что получил ваше письмо, где вы говорите, что приедете только в начале марта. А нам так хочется видеть вас в субботу! Почему вы задерживаетесь? Ведь для нас ваш приезд — такая радость! Вы получите наше письмо в четверг, может быть, в пятницу. Не можете ли вы сразу же послать нам телеграмму, что вы приедете? Вы отправитесь в субботу утром экспрессом и вечером уже будете во Фрибуре. Мы будем так рады.

Мы так надеемся, что вы приедете! А если вы все же не сможете, что нас очень огорчит, отправьте телеграмму, что получили наше письмо, чтобы ваш ответ пришел хотя бы в пятницу вечером...»

Сыну, так сильно привязанному к матери, не приходит даже в голову, что у нее много работы, что идет война...

1917 год останется в памяти Антуана омраченным печальным событием: заболел и вскоре умер его пятнадцатилетний брат Франсуа. Смерть брата, совпавшая с переломным для всякого молодого существа возрастом, ошеломила Антуана. Это было первое серьезное потрясение в его жизни. Антуан рос и воспитывался в глубоко религиозной среде, где вера выражается не в словах, но составляет сокровенную основу внутренней жизни. Вера часто избавляет от излишних вопросов, не позволяет задумываться над противоречиями жизни, наблюдаемыми пускай и со стороны. И вот подле умирающего брата Антуан чувствует, что вера его поколеблена. Почему должен умереть пятнадцатилетний мальчик? Если бог добр,

всевидящ и всемогущ, как может он допускать такую несправедливость? Теперь-то и начинается всерьез скрытая внутренняя работа в душе юноши. Догмы религиозной морали, такие основательные и «вечные», невозможно опровергнуть простым отказом от них, а душевный опыт Антуана так невелик. Он еще живет «в теплом мирке под крылом наседки». Но уже меняется его нрав. Юноша становится задумчивым, молчаливым. Товарищи замечают странную перемену в его характере. Они не могут объяснить, почему Антуан иногда взрывается из-за пустяков и хмурится, когда все смеются.

Обучение в коллеже близится к концу. Антуан получает здесь широкое гуманитарное образование и основательную подготовку в точных и естественных науках. Для продолжения образования Антуан едет в Париж.

«СТОИТ ТОЛЬКО ПОДРАСТИ, И МИЛОСЕРДНЫЙ БОГ ОСТАВЛЯЕТ ВАС НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ»

Жизнь в Париже позволила Антуану накопить первый самостоятельный опыт. Здесь он предоставлен самому себе значительно больше, чем до сих пор. Юноша приносит в Париж свой вкус к удобной, обеспеченной жизни, свою жизнерадостность и беспокойство, свойственные возрасту. Теперь из всего разнообразия увлечений, пристрастий, склонностей ему предстоит выбрать что-то одно.

Восемнадцатилетний Антуан остановил свой выбор на «Эколь наваль» — Высшем военно-морском училище. В этом выборе не сказалось какого-либо особого влечения. Для круга, к которому принадлежит семья Антуана, морская карьера не представляется исключительной. Недаром в республиканской Франции народ иронически окрестил военно-морские силы «Королевским флотом» — почти весь командный состав в нем носит фамилии с приставкой «де», и в этой среде очень сильны монархические тенденции. Что до самого Антуана, то семейные традиции

(один его предок во времена Людовика XVI прославился во флоте и оставил даже интересные мемуары) и романтика моря вполне соответствуют его стремлению к благородной рыцарской деятельности, а давняя любовь к технике всегда может найти себе применение на военном корабле.

Антуану предстоит выдержать серьезный конкурс. Чтобы подготовиться к нему, он поступает в школу Боссюэ, а затем переходит в интернат при лицее Сен-Луи, где проходит дополнительный курс математики. В школе Боссюэ и в лицее о нем сохранилась память как о беспокойном ученике, затейнике и проказнике, постоянно занимающемся чем-то не имеющим прямого отношения к классным занятиям. Так, например, он старательно переводит Цезаря, чтобы хорошенько разобраться в конструкции римских военных машин; он все время что-то придумывает, мастерит — и не только в свободное от занятий время.

Однако это не мешает Антуану «зубрить» математику, чтобы поступить в Военно-морское училище или в «Эколь сентраль». В самом деле, он еще колеблется и, кажется, сам сомневается в правильности избранного пути. И все же в письмах к матери он строит вполне определенные планы на ближайшее будущее:

«...если меня примут в августе, в феврале я буду уже офицером в Шербуре, Дюнкерке или Тулоне. Я сниму маленький домик, и мы заживем в нем вдвоем. Вот увидите, нам будет очень хорошо».

Он живет в Париже в привычной среде: в школе Боссюэ его товарищами становятся Бертран де Соссин и Анри де Сегонь, вместе с юношами часто бывает сестра Бертрана — Рене де Соссин, или Ринетта, как называют ее приятели. Молодые люди, принадлежащие к аристократическим семьям Парижа, бродят вместе по улицам, заходят в кафе и ожесточенно спорят о самых различных предметах, в особенности об искусстве.

«Сент-Экзю», как называют его товарищи, — настойчивый и свирепый спорщик. Эвсебио, юноша чрез-

вычайно литературный, книжный, — постоянный объект его насмешек. И хотя подчас дело доходит до ссор, они остаются друзьями. Они нужны друг другу: каждый, оспаривая мнение собеседника, вырабатывает самостоятельную точку зрения.

В Париже у Антуана светские родственники: родня эта не очень близкая, но в чинах и званиях, да и к тому же все — люди состоятельные. Юный провинциал, появившийся в парижских гостиных, не хочет ударить лицом в грязь. В интернате дисциплина весьма строгая: учащимся, даже с ведома родителей, не разрешается приобретать что-нибудь самим — и Антуан просит мать то прислать ему котелок (он нужен ему для воскресных прогулок с кузиной), то шнурки для ботинок. В этот период он настолько внимателен к одежде, что подчеркивает: «Шнурки должны быть куплены в Лионе, а не в Амберье. В Лионе они прочнее». Ему доставляет искреннюю радость получить приглашение на ужин к герцогине де Вандом (сестре бельгийского короля!). Генеральша Жордан, подруга матери Антуана, заботится о нравственности молодого человека, снабжая его брошюрками, призванными уберечь от дурных влияний столицы. Антуан читает брошюрки, через него они проникают в школу, и он полуиронически замечает: «Я думаю, они принесут очень большую пользу». Впрочем, нравственность его безупречна. Он просит мать писать ему каждый день, сообщает ей, что был на исповеди.

«Я только что немного читал библию, — пишет он матери. — Какая это прелесть! Какая простота и сила стиля! И сколько поэзии! А заповеди, занимающие добрых двадцать пять страниц, — шедевры законодательства и здравого смысла. И всюду нравственные законы раскрываются в их неизбежности и красоте: и это великолепно!»

Опасаясь несчастных случаев при бомбардировках Парижа (старшеклассники при этом каждый раз вылезают на крышу), администрация лицея Сен-Луи переводит их в интернат при лицее Ляканаль в пред-

местье столицы Бур-ля-Рейн. Едва освоившись с новой обстановкой, Антуан пишет матери:

«Бур-ля-Рейн, лицей Ляканаль, 1918 год.

Дорогая мамочка.

Чувствую себя хорошо. Вчера получил ваше письмо.

Нам здесь неплохо, хотя лицей Сен-Луи и отрядил сопровождать нас сюда самых несносных надзирателей.

Есть здесь и парк, но в нем запрещено гулять. К счастью, дворы лицея очень большие, усажены деревьями и пр.

Я не слишком хандрю, правда, больше, чем в Париже, потому что мы здесь оторваннее от всего и затеряны в этом огромном лицее.

Кажется, есть возможность получить отдельную комнату.

Так или иначе напишите в следующем письме: «Проси отдельную комнату. Разрешаю тебе это сделать». Если понадобится, я воспользуюсь вашим письмом...

Погода хмурая, и далеко не тепло. Впрочем, как мне кажется, в отношении белья и одежды у меня есть все, что нужно. Разве только мне не хватает галстука.

По существу, Париж куда менее гибельный город, чем провинциальные дыры. Как я замечаю, кое-кто из моих товарищей, ведших в своих провинциальных городах разгульную жизнь, живо остепенились здесь из-за угрозы, которую это представляет в Париже для их здоровья. У меня в отношении нравственности все в порядке. И думаю, я навсегда останусь тем же Тонио, который так любит вас.

Антуан.

Это в отношении физического состояния вашего сына, который ест хорошо, спит хорошо и хорошо занимается...»

Да, Тонио все тот же, каким он был в детстве: честный, прямой и теперь немножко моралист. Одна-

ко трезвость ума и прирожденный юмор не покидают его: больше, чем во всякие книжицы, он верит в благотворное влияние страха за свое здоровье. Правила поведения, безусловно, занимают его. В «правительстве» класса товарищи избирают Антуана «блюстителем нравов», и эта должность доставляет ему удовольствие, которого он не скрывает от матери.

Математика, друзья, споры, светские знакомства, вкусные обеды у одной из тетушек, музыка, которую Антуан любит с детства, — таков круг занятий и впечатлений восемнадцатилетнего Экзюпери. Но сказать только это — значит не сказать о нем почти ничего. Главная страсть Антуана не покидает его в Париже; наоборот, она усиливается: уже с шестилетнего возраста Антуан сочиняет стихи и сказки.

В Париже он прочел друзьям целую драму в стихах. Должно быть, она напоминала шиллеровских «Разбойников». В ней действовали благородные разбойники, наводившие ужас на всевозможных носителей зла. Друзья сохранили в памяти образ юноши атлетического сложения, с прядью волос, падающей на глаза; Антуан читал свою драму, отбивая ритм ножом для разрезывания книг, которым он размахивал в воздухе.

Эта любовь к писательству, принесенная Антуаном из детства, становится теперь грузом в его душе. Этот груз лишает равновесия Антуана. Он вносит в душу молодого человека сильнейшее беспокойство, избавиться от которого можно единственным способом — писать. Разумеется, Антуан не помышляет о профессиональном писательстве, он сознает, что оно ему недоступно с любой точки зрения: еще ничего не пережито, не найден способ приложения сил в жизни, а это необходимо писателю. Среда, в которой находится Сент-Экзюпери, по существу, беззаботна. Даже обедневшие аристократы, поставленные перед необходимостью идти на службу, не слишком задумываются о своем будущем: впереди карьера инженера, или моряка, или юриста, или архитектора, вполне достойная способностей и титулов родовитых юношей. Нет, Антуан вовсе не испытывает отвращения перед

открывающимися ему путями. Он вполне серьезно хочет стать моряком и вполне добросовестно штудирует математику, которая легко ему дается, но он хочет обрести определенность жизни вообще, а не профессию, к которой готовится. Устроенность, определенность в жизни нужны ему больше, чем товарищам: и потому, что привычное с детства довольство, уклад жизни навсегда остались позади, и потому, что потребность писать — плохая опора для того, кто ею одержим. Она властно толкает человека на поступки, чуждые его привычкам, и, прежде чем стать высшей радостью жизни, становится тяжелым крестом. Нет, Антуан не будет морским офицером, не поселится с матерью в маленьком доме, где она будет ждать его долгие месяцы плавания.

«Расскажите о впечатлениях эльзасца, возвратившегося с войны в родную деревню, снова ставшую французской», — такова тема сочинения, предложенная Антуану при поступлении в Военно-морское училище. Взбешенный той псевдопатриотической белибердой, которую надо написать, чтобы получить хорошую оценку, Сент-Экзюпери пишет всего несколько строк. Он получает самый низкий балл. Зато его работа по математике признана лучшей работой всего конкурса, и его все же допускают к устным экзаменам. Но то ли Антуан строил все свои расчеты на высокие оценки на письменных экзаменах, что обеспечило бы ему высокий средний балл, то ли испытанная неудача выбила его из колеи, — он проваливается на устных экзаменах по истории и географии.

Антуан явно растерян. Впереди теперь не мерцает ясный и легкий путь. Но у него все больше возникает сомнений относительно правильности этого избранного было пути. Собственно, искусство ближе творческим наклонностям его натуры. Нельзя ли совместить любовь к искусству с влечением к технике? И Антуан поступает на архитектурное отделение Академии искусств.

И вот пятнадцать месяцев в Академии искусств в Париже. Еще пятнадцать месяцев, в которые Антуан ищет и не находит себя.

«Стоит только подрасти, и милосердный бог оставляет вас на произвол судьбы», — эту грустную мысль Сент-Экзюпери выскажет значительно позже, когда ему будет лет тридцать, но относится она и ко всему первому периоду жизни в Париже.

Теперь он живет настоящей жизнью богемы. Это самый глухой период его жизни, о котором мы почти ничего не знаем. Антуан не пишет даже матери, переживая все, что с ним происходит, глубоко в себе. Он по-прежнему встречается и спорит с друзьями, посещает ресторан Липпа, ходит на лекции. Несомненно, он много читает, пополняя свои знания в литературе. Среди книг, привлекающих его особенно, книги Достоевского, Ницше, Платона.

Но Латинский квартал со всеми его интересами слишком быстро перестает удовлетворять Антуана. Конечно, он может не спать до утра, писать по ночам стихи и утром читать их друзьям. Или ходить в кино и рассуждать с друзьями о глубоком смысле картин Чаплина, только что появившихся в Европе. Но все это снова вопреки представлениям тех, кто его окружает, не настоящая жизнь. В спорах Антуана с приятелями проступают новые нотки, подчас пугающие его собеседников. Теперь он восстает против самого существа жизни того круга, с которым он связан в Париже и к которому принадлежит по своему происхождению. Здесь говорят о политике, об искусстве, о философии, но и то, и другое, и третье становятся игрушкой в руках тех, для кого они никогда не были насущной необходимостью. И если два года назад круг Антуана оберегал его от зол, которые грозят юноше в Париже, теперь он сам смущает родственников и знакомых неожиданно суровыми морализаторскими настроениями.

Конечно, будь Антуан постарше, он не стал бы вслух упрекать окружающих за то, что они живут неполноценно, понимая, что эти упреки не могут ни к чему привести. То, что в молодости иной раз говорится резко и вслух, позднее уже не вызывает таких вспышек. Критикуя «своих», Антуан на деле порицал себя, свою приверженность к кругу, в котором он

рос. Отказывая своим парижским знакомым в самостоятельной жизни, он казнил свою собственную несамостоятельность. И хотя мы не знаем, о чем именно толковал тогда Антуан, можно догадываться, что его суд был очень суровым. Когда много лет спустя одну светскую даму, знавшую Сент-Экзюпери в его двадцать лет, попросили рассказать о нем, она сказала: «Экзюпери? Да это же был коммунист!»

Так, воюя со своим окружением, а на самом деле борясь с самим собой, со своими привычками, с внешними обстоятельствами, толкающими его по гладкому пути, Антуан одерживает свою первую внутреннюю победу: в 1921 году, прервав действие отсрочки, полученной им при поступлении в высшее учебное заведение, он бросает занятия на архитектурном факультете и записывается добровольцем в авиационный полк в Страсбурге. Он еще не знает, к чему приведет его этот шаг. Сказать, что его привлекает авиация, значит намного опередить реальные события. Пока это лишь рывок, подготовленный месяцами напряженных раздумий. Это прыжок в неизвестность, вызванный подспудной вулканической деятельностью природы Экзюпери, его прекрасным беспокойством, его высоким жизнелюбием.

В 1918 году, после поражения Германии, Страсбург, возвращенный со всем Эльзасом Франции, радостно встретил французскую армию. Эта армия, которой в то время восхищался весь мир, обогатилась за время войны новым оружием — авиацией. Впервые с тех пор, как существует человек, и с тех пор, как он, увы, воюет, сражения происходили в воздухе. Воздушные бои носили характер настоящего единоборства и подчас становились еще более ожесточенными, чем наземные. Летчики бились насмерть: другого выхода, кроме победы, не было. Тот, кто выходил из таких схваток победителем, представлялся другим людям необыкновенным героем. И вот эти новые герои вернулись в Страсбург воздушными путями. Они пролетели над марширующими по улицам войсками на бреющем полете и приземлились к югу

от города на обширном поле, которое обступил лес, тянувшийся до берегов Рейна. Здесь они должны были обрести мир. Самолеты несли на своих фюзеляжах изображение аиста — эмблему верности родному дому. Ведь аисты всегда возвращаются туда, где они родились. Крылья «аистов» были покрыты боевой славой: Домбрей, Брокар, Дорм, Нэнжессер, Навар, Гинемер и многие другие славные летчики входили в эту эскадрилью.

В начале 1921 года автор этих строк с тремя другими новобранцами прибыл на аэродром Нейдорф под Страсбургом для отбывания действительной службы. По особой льготе всем четверым нам было дано разрешение на обучение летному делу. Но сначала мы должны были, как и все другие призывники, пройти строевую службу, от которой мы, конечно, всячески отлынивали. Большую часть времени мы проводили на авиационном поле, глядя на летающие самолеты. С замиранием сердца следили мы за их эволюциями в небе.

Пилоты «Спадов» и «Анрио» были настоящими сорвиголовами. В большинстве своем это были добровольцы-сверхсрочники, попавшие в армию в самом конце войны и не успевшие проявить своей доблести. В истребительную авиацию их назначили после обучения в школе высшего пилотажа в По. Свои несбывшиеся чаяния — жажду подвигов и военных лавров — они теперь утоляли воздушным лихачеством. И не удивительно. Испытание, которому они подвергались при окончании школы, заключалось в следующем: молодой летчик, налетавший самостоятельно всего несколько часов, должен был подняться на две тысячи метров и ввести машину в штопор. Для того чтобы выйти из штопора, нужен был сложный маневр — особенно сложный для новичка. Если пилоту это удавалось, он попадал в истребительную авиацию. Неудачника отвозили на кладбище. Если же пилот, поднявшись на две тысячи метров, боялся ввести машину в штопор и спускался в планирующем полете, его назначали в бомбардировочную или разведывательную авиацию.

Что до опытных военных летчиков, тех, кто принес крыльям Франции заслуженную славу, то они отнюдь не щеголяли удалством. В воздухе их легко можно было отличить по гораздо более «классическому» полету, да и на земле они вели себя гораздо скромнее и проще. Но со времени войны не прошло и двух с половиной лет, ореол, которым были окружены эти современные рыцари с грудью, увешанной орденами, нисколько не померк, и мы, зеленая молодежь, взирали на этих асов с глубоким почтением.

В нашу четверку входил высокий дородный парень с вздернутым носом и необыкновенным взглядом широко расставленных, сильно удлинненных глаз — рядовой Сент-Экзюпери. Глаза — это первое, что привлекало к нему внимание, должно быть потому, что зрачки цвета спелых каштанов посажены у него очень высоко и, обнажая белки, придавали взгляду особую глубину. Его округлое лицо производило впечатление не то задумчивой серьезности, не то сдержанности. Иногда оно как бы озарялось скольльзящей по губам застенчивой улыбкой. В постоянно сменяющихся выражениях его лица можно было прочесть несомненные признаки поражающей в его возрасте индивидуальности. Он некрасив, но от него исходило какое-то обаяние.

Рядового Сент-Экзюпери назначили сначала в рабочую команду. Одевался он поначалу с явной нарочитостью, подчеркнута по регламенту и выглядел при этом забавно в солдатской форме французской армии тех времен. Куцая курточка, брюки в гармошку, пилотка с острыми длинными углами, на ногах тяжелые солдатские башмаки. И при этом немного грузная поступь.

Этот солдат с большими руками, вылезающими из коротких рукавов, смущал тонкостью ума некоторых своих начальников, для которых в армии ум полагалось иметь по количеству нашивок. И, конечно, полк не полк без неизбежного строевика — старшины нелетного состава. Он был здесь злейшим врагом Сент-Экзюпери, и солдат мстил своему началь-

нику инертностью и медлительностью, выведившими его из себя.

Однажды Антуан был назначен чистить картошку. Но вместо того чтобы приняться за работу, он стоял, засунув руки в брюки, и с рассеянным видом озирался по сторонам. Внезапно из-за кухни появился старшина. Антуан не подал и виду, что заметил его, но в глазах его заиграли лукавые искорки. Подойдя к нему почти вплотную, старшина уставился на него яростным взглядом.

— Вот как! Не работаете, значит?

— Как видите... — отвечал Экзюпери.

— Не хотите работать?

— Наоборот, только и мечтаю...

— Почему не чистите картошку?

— Ножа нет.

— Ножа нет! Почему?

— А вот не дали мне.

— Как это не дали?

— Не могу знать. Когда я прибыл сюда, мне дали котелок, фляжку, ложку, вилку, а ножа вот не дали. — И рядовой де Сент-Экзюпери посмотрел на своего начальника с выражением такой чистосердечной наивности, что тот опешил и, должно быть, впервые задумался над тем, почему новобранцам не выдают вместе с котелком, ложкой, вилкой и нож.

Наконец старшина прервал свои глубокие раздумья и рявкнул:

— Плевать я хотел! Все равно чистите картошку!

Антуан наклонился, поднял с земли картофелину и начал старательно отдирать с нее кожуру ногтем.

Попав в полку в нелетный состав, Сент-Экзюпери внешне как бы отдается на волю судьбы, но внутренне не мирится со своим положением и проявляет большую настойчивость и упорство в поисках своего пути. Он сохраняет дистанцию между собой и пестрым населением казармы, где смешаны тонкость и грубость, глупость и ум. Как и во Фрибуре и в Париже, он очень общителен, но нелегко сближается. Нужно что-то большее, чтобы товарищеские отноше-

ния переросли у него в дружбу. Казарменная жизнь, невозможность остаться наедине с самим собой тяготят его больше любой самой черной работы.

К счастью для него, 2-й авиационный полк возглавлял майор Гард — самый очаровательный командир, какого только можно себе пожелать. В прошлом пеший егерь, ставший во время войны летчиком-истребителем, он хорошо разбирался в людях. Его офицеры были ему под стать. Дисциплина в полку не отличалась строгостью — здесь еще царила атмосфера товарищества боевой эскадрильи, сохранившаяся со времени войны. И вскоре в положении Сент-Экзюпери происходит значительная перемена. Он пишет матери:

«Страсбург, 1921 год.

Дорогая мамочка.

...Я нашел замечательную комнату. Ванная и телефон в моем распоряжении. Это в одной семье на самой шикарной улице Страсбурга. Очень милые люди, не говорящие ни слова по-французски. Комната — роскошная: центральное отопление, горячая вода, две электрические лампы, два шкафа, в доме есть лифт — и все это за 120 франков в месяц...

Представьте себе, прежде чем стать учеником-пилотом, я становлюсь... преподавателем. С 26 мая мне поручено вести теоретический курс по двигателям внутреннего сгорания и по аэродинамике. У меня будет свой класс, черная доска и многочисленные учащиеся. После чего, уж несомненно, я стану учеником-пилотом...

Я завтракаю и обедаю в казарменной столовке. Среди моих товарищей есть один-два очень приятных. В шесть часов вечера я возвращаюсь к себе, принимаю ванну и делаю себе чай.

Мне нужно купить немало книг для моей преподавательской работы. Они стоят дорого. Не можете ли вы по получении этого письма выслать мне деньги?

Кроме того, не могли бы вы посылать мне пятьсот франков в месяц? Это приблизительно то, что я трачу...»

Положим, в полковой столовке Антуан бывает

в кои веки. Добившись разрешения жить на частной квартире, он является в казарму только на проверку, на занятия и для выполнения очередных нарядов. В городе он даже вопреки регламенту одевается во все штатское. Для того чтобы вести такую жизнь, нужны деньги — не на пятьдесят же сантимов в день, причитающихся от казны рядовому, можно себе это позволить, этих денег едва хватает, чтобы изредка выпить с товарищем кружку пива. Но, как можно заключить из его письма, он над этим не очень-то задумывается и сам себе назначает «пенсию».

Теперь несение военной службы для него не столь мучительно, и он терпеливо ждет дня, когда, наконец, начнется обучение полету. И не в том дело, что он уже почувствовал неудержимую тягу к профессии летчика. Но он считает свое пребывание в полку потерей времени и хочет извлечь из него хоть какую-нибудь пользу. К несчастью для него, в это время на аэродроме в Нейдорфе происходит тяжелая катастрофа. Учебный самолет сразу же при взлете теряет скорость. При этом разбиваются инструктор и ученик-пилот. Министерство запрещает обучение летному делу в полку солдат, проходящих действительную службу. Для этого имеется специальная школа в Истре. Правда, там еще значительно больше несчастных случаев, недаром эта школа заслужила название «Каторги учеников-трупов», но такова военная рутинa.

Чтобы получить звание летчика, перед Сент-Экзюпери оставались открытыми два пути: либо записаться на лишний год на сверхсрочную службу (это, конечно, его не устраивает: за два месяца он уже успел возненавидеть солдатчину, «от которой ни черта толку... только тупеешь, и тебя ругает всяк, кому не лень»), либо просить о своем переводе в Марокко, где в авиачастях еще производится обучение летному делу. Антуан открывает третий путь. Для него опять же нужны деньги — и на этот раз сразу значительная сумма.

Но за чем дело стало? У Этьенн есть любящая и горячо любимая мать. Мало того, что она ежеме-

сячно присылает ему пятьсот франков на расходы, теперь она должна достать две тысячи франков. Именно достать, потому что денег у нее в обрез. Эти две тысячи франков нужно уплатить за обучение у гражданских летчиков — первые самолеты гражданской авиации летают через Страсбург.

В 1921 году на самом дальнем краю летного поля 2-го авиационного полка в Нейдорфе под Страсбургом примостился старый, залатанный брезентовый ангар военного времени. Здесь закладывалась основа одного из первых аэропортов гражданской авиации.

Первая линия связала Париж с Лондоном, вторая — Тулузу с Касабланкой, третья — Париж с Бухарестом. На этой-то линии Страсбург (Нейдорф) и был первым этапом. Летчики и механики, знавшие друг друга по боевым эскадрильям, вновь встречались на аэродромах, оборудованных на скорую руку. Они уже не могли себе представить жизнь без полетов, вдали от крылатых машин. Но самое удивительное то, что нашлись и пассажиры! Мужчины и женщины, никогда прежде не отрывавшиеся от земли, наперебой шли к ним, чтобы лететь в Париж, Прагу, Бухарест, Касабланку. И на каком самолете! Это был двухместный «Сальмсон», который во время войны использовали для разведки и корректирования огня артиллерии. Пилот помещался перед крыльями, у мотора. Позади, отделенные от него баком для горючего, — пассажиры. Брала не больше двух, да и то они не должны были быть чересчур толстыми. Они умещались на прежнем месте наблюдателя — для этого попросту сняли пулеметную турель.

В тесных шлемах, в защитных очках, открытые ветру и дождю, с путавшимся в ногах портфелем или чемоданчиком, они стоически и гордо путешествовали, подавляя страх упасть на землю. И страх этот был вполне основательным. Количество аварий было столь велико, что если бы это происходило сегодня, авиакомпании прогорели бы немедленно. Говорить о катастрофах было запрещено, пресса о них умалчивала. Аварии объяснялись прежде всего непригодностью самолетов к новому назначению. Перегружен-

ные, неустойчивые, без радио, самолеты вылетали в рейс над Вогезами, Карпатами, Пиренеями, не имея никаких сведений об ожидающей их в пути погоде, и тем не менее они никогда не поворачивали обратно. Их вели пилоты, бывавшие и не в таких переделках. Да и потом... Разве не судьба пилота, думали тогда, рано или поздно разбиться? Да, но пассажиры...

Рассказывали, что однажды пилот такого самолета на линии Тулуза — Касабланка, посадив его после часа борьбы с жестокой бурей, крикнул, обернувшись к пассажирам:

— Вам что, шею свернуть захотелось?

Вот у этих-то пилотов Сент-Экзюпери и решил обучиться летному делу.

Как-то заметив только что приземлившийся самолет, Сент-Экзюпери своей грузной походкой пустился в огромное для него путешествие и из края в край пересек все летное поле. Присев на корточки около возившегося с какой-то неполадкой механика, он завязал с ним разговор.

— А ведь на этих машинах можно было бы научиться летать и получить права, не правда ли?

— Что за вопрос? Ничем мы не хуже! — важно ответил механик.

— А сколько бы это стоило?

— Это надо спросить у директора аэропорта.

Солдат Сент-Экзюпери отправился разыскивать «директора аэропорта», а затем и свое начальство.

Мать вся эта затея не обрадовала — и Антуан пишет ей нежные настойчивые письма:

«...Капитан Билли был со мной очарователен... он вполне одобряет мою мысль получить права гражданского летчика... Так или иначе 9-го, как я полагаю, начнется мое обучение на пулеметчика...»

«...Меня будут учить летать на чрезвычайно тихоходном «Фармане». На нем специально устанавливают двойное управление, чтобы не пришлось начинать на быстроходных учебных «Сопах».

Клянусь, вам незачем беспокоиться. Раньше, чем через три недели, я без двойного управления не поле-

чу. А поскольку я и так почти каждый день летаю на военных самолетах — например, сегодня, — то ведь это ничего не меняет.

Вы пишете, чтобы я, зрело не обдумав, не принимал окончательного решения. Клянусь, решение вполне зрелое. Не могу терять ни минуты — отсюда и моя спешка.

Как бы там ни было, начинаю в среду; но хотел бы получить деньги еще во вторник, чтобы не оказаться в неловком, я хочу сказать, некрасивом положении перед авиакомпанией.

Умоляю, мама, не говорить об этом никому и выслать мне деньги. Если хотите, я верну их вам малопомалу из моего жалованья. Тем более что, как только я стану военным летчиком, у меня будет сотня возможностей пройти конкурс для поступления на офицерские курсы. Вы не откажетесь сделать это еще сегодня, не правда ли, мама? Я буду вам так благодарен».

И вот Антуан уже сжимает ручку учебного самолета с двойным управлением. Он держит слегка вибрирующую ручку и повторяет движение инструктора, сидящего рядом. Учитель подает знак, медленно поднимая руку к небу. Увеличены обороты. Ручка отжата от себя. Машина дрожит. Короткий пробег, и вот она уже отделяется от земли. Ручку — влево, одновременно нажим на левую педаль. Шпиль собора, возвышающийся над крышами, уходит вправо. Весь город поворачивается следом за ним. Теперь ручку на себя, а нога нажимает правую педаль. Самолет наклоняется влево. Левое крыло поднимается, заслоняя город. Внизу — поля и серебряное зеркальце пруда, разнообразие оттенков весенней зелени леса и блистающий под солнцем Рейн. Теперь руки и ноги, повторяя движения инструктора, направляют самолет вниз. Крылья ложатся горизонтально, и за ними открывается новый чудесный вид: голубоватые горы, темные леса — Вогезы.

Самолет плавно приземлился. И ученик чувствует тихую гордость, возникающую в первые минуты полета. В этом ощущении есть что-то физическое,

плотское, подобное радости первого обладания. И вместе с тем ощущение такой свободы, точно человек парил в воздухе сам, без помощи машины.

Все летчики из тех, кто наделен «чувством полета», испытали это двойное ощущение в пору, когда самолет не был еще сложным сооружением, воздушным кораблем. Пилот составлял тогда одно целое с машиной. Он чувствовал ее каждым нервом. Ягодицы пилота, особенно чувствительные в полете, были тем прибором, который немедленно сигнализировал о самой страшной беде — потере скорости, и летчик успевал предотвратить штопор.

Для пилота в небе самолет живет, и жизнь его прочно связана с жизнью летчика. Она успокаивает его или тревожит. Она родит в пилоте такую же интуитивную близость к машине, какую испытываешь к родному человеку. Страсть к полету — это страсть к самолету.

Все эти чувства Экзюпери испытал с первых своих полетов, и, если он не мог еще ни выразить их, ни признаться в них самому себе, они незаметно отложились в нем для того, чтобы раскрыться впоследствии в острой тоске по самолету. И писатель позднее сам расскажет об этом чудесном слиянии человека с машиной.

После разворота над полями ученик должен был научиться приземляться. Сбавлялись обороты, угасал шум мотора. Потихоньку ручку брали на себя. Становился слышным свист ветра. Небо исчезало перед капотом, и казалось, что земля притягивает к себе самолет. Зеленый луг аэродрома и постройки, люди у ангаров — все это выростало. Становилась различной трава. Наконец толчок, отдающийся в животе. Глухой шум, сотрясение всего аппарата и неподвижность.

Соприкосновение с землей — это новая радость, высшее достижение, завоевание. Однако учитель поворачивается к ученику:

— Не цепляйся за ручку, держи ее свободнее. Так лучше почувствуешь машину. На крутых виражах, когда самолет сильно наклоняется, выправляй

нажимом на педаль. При посадке нужно уменьшить наклон. Следи за скоростью. А ну, еще раз!

Сент-Экзюпери быстро овладел пилотажем. О его обучении до сих пор рассказывают легенды: ученик, мол, желая как можно скорее летать самостоятельно, поднялся в воздух в отсутствие учителя. Он якобы не умел тогда приземляться, вдобавок к этому в воздухе якобы загорелся мотор его самолета. И все же ученик приземлился. Такого случая на самом деле не было. Можно только сказать, что обучение Экзюпери обходилось компании довольно дорого, так как поломки и аварии происходили часто, как, впрочем, почти у каждого ученика.

Закончив курс подготовки гражданского летчика, Экзюпери просит направить его в Марокко, там он намеревался получить права военного летчика: гражданская школа этих прав не давала.

Полгода, проведенные в Марокко, наполнены для Антуана светом и радостью. Наконец он приобрел профессию, да еще какую — крылатую, редкую по тем временам! И все же дальнейшее он представляет себе очень смутно. Военная служба подходит к концу. Антуан вовсе не горит желанием остаться военным. Несмотря на радость, которую приносят ему полеты, он не относится к своей профессии как к призванию. Он отдался простым внешним обстоятельствам жизни, отказавшись от инертного обыденного существования в Париже, но подвижность и необычность новой жизни как будто тоже его не удовлетворяют.

Любопытно отметить, что, описывая матери свои полеты над пустыней, он сетует на отсутствие в ней зелени и яблонь в цвету. Он видит пустыню еще совсем другими глазами, чем несколько лет спустя, когда он посвятит ей столь замечательные страницы. Теперь же он все чаще вспоминает Сен-Морис и радости детства, в свободное от полетов время много рисует, так много, что даже пишет матери: «Я открыл, для чего я создан: угольный карандаш Конте». Однако и рисование не поглощает Антуана целиком. И вот, наконец, упакованы его блокноты с рисун-

ками. Капрала Сент-Экзюпери для усовершенствования переводят во Францию, в авиационную школу в Истре.

Как уже сказано, эта школа пользовалась среди военных летчиков дурной репутацией. Старые, ветхие самолеты, на которых производилось обучение и которые самим ученикам приходилось ремонтировать, грозили бедой. Чаше, чем в других местах, отсюда увозили цинковые гробы разбившихся. Старшины-строевики нелетного состава в свободное от полетов время здесь просто зверствовали. К счастью для Антуана, он перед переводом в Истр с успехом прошел конкурс для поступления на курсы офицеров резерва — и в Истре ему предстоит пробыть недолго. Короткое пребывание в этой школе как будто бы окончательно настроило Сент-Экзюпери против военной карьеры. Однако срок действительной службы еще не кончился, и он все же заканчивает офицерские курсы в Аворе, где в октябре 1922 года ему присваивают звание младшего лейтенанта.

Из Авора он пишет матери грустное письмо, полное признаний в сыновней любви и тоски по дому детства:

«Мамочка, я только что перечитал ваше последнее письмо, оно такое нежное. Как я хотел бы вернуться к вам! Узнайте, что с каждым днем я учусь любить вас все больше. Я не писал в последние дни, но у нас сейчас так много работы!

Вечер так тих и спокоен, а мне грустно, непонятно отчего. Этот стаж в Аворе тянется утомительно долго. Мне очень нужно лечение отдыхом в Сен-Морисе и ваше присутствие.

Что вы делаете, мама? Пишете ли вы картины?.. Ответьте мне. Ваши письма помогают мне жить, они приносят свежесть. Мамочка, откуда вы берете такие прелестные слова? Хожу под их впечатлением целый день.

Вы нужны мне так же сильно, как в детстве. Старшина, военная дисциплина, уроки тактики — какая сухость, какая черствость! Я представляю, как

вы поправляете цветы в гостиной, и я ненавижу старшин.

И как я мог когда-то заставлять вас плакать? Думая об этом, я чувствую себя несчастным. Я заставлял вас усомниться в моей любви. Но если б вы знали, как я вас люблю всегда!

Вы лучшее, что есть в моей жизни. Я тоскую сегодня по дому, как мальчишка. Подумать только — вы там ходите и разговариваете, а мы могли бы быть вместе, но я лишен вашей нежности и сам не стал для вас поддержкой.

Правда, мне грустно до слез этим вечером. И правда, что вы — единственное утешение, когда мне грустно. Мальчишкой я возвращался с моей громадной сумкой на спине, плача оттого, что меня наказали, — помните, в Мансе, — но стоило вам поцеловать меня, как я все забывал. Вы были всемогущей защитой от инспекторов и монахов-надзирателей. С вами я был в безопасности, я принадлежал только вам, и это было так славно.

Вот и теперь все так же. Только вы — защита, только вы все знаете и можете утешить меня, вольно или невольно я все равно чувствую себя совсем маленьким мальчиком.

До свидания, мама. У меня работы выше головы... Здесь, как и в Сен-Морисе, квакают лягушки, но здесь они квакают куда хуже!

Завтра я полечу километров на пятьдесят в вашу сторону, к Сен-Морису, чтобы вообразить, что я в самом деле направляюсь домой.

Целую вас нежно. *Ваш взрослый сын Антуан*».

Этот «взрослый сын» видит в самолете только средство добраться до материнского дома. К чему ему самолет, если он не может привести его домой?..

До конца срока осталось еще пять месяцев, и Антуан получает назначение в 34-й авиационный полк в Бурже. Став офицером, Сент-Экзюпери начинает помышлять о том, чтобы остаться в армии, и даже предпринимает некоторые шаги в этом направлении. И вовсе не потому, что его привлекает

военная карьера. Однако при всем его ярко выраженном стремлении к самостоятельности, к свободе он до сих пор связан зависимостью от матери. Он хотел бы ей помогать вместо того, чтобы пользоваться ее помощью. Он хотел бы обрести ясность, устойчивость в жизни. Но пока что Антуану ясно только одно: одиночество, которое охватывает тебя, как только ты становишься взрослым, невыносимо. Привязанность Антуана к матери — единственное, что придает его жизни смысл.

Молодой летчик часто бывает теперь в Париже. Внезапно в его жизнь входит первое чувство и захватывает Антуана целиком. Он счастлив. Подобно многим юношам, наделенным обостренной чувствительностью и тонкой душой, Антуан вкладывает в свое чувство все, находит в нем утешение, радость, полноту жизни. Мы почти ничего не знаем об этой любви. Ни тогда, ни позднее Сент-Экзюпери не обмолвился о ней ни одним словом, настолько затаненным, избегающим огласки было его чувство. Кажется бы, любовь всегда дает писателям благодарный материал, оставаясь вечной темой литературы. Но даже и потом, когда Сент-Экзюпери станет зрелым писателем, он нигде не расскажет открыто ни об этой, ни о второй своей любви. И, может быть, оттого, что он весь ушел в это чувство, пытался строить на его основе жизнь и целиком зависел от него, а оно не смогло дать ему ничего, Антуан особенно глубоко затаил в себе горечь утраты.

Он полюбил девушку из богатой аристократической семьи. Изысканная, воспитанная, образованная, она отвечала молодому летчику взаимностью, оба они принадлежали к одной среде. Они помолвлены. Все идет на лад. Но судьба, как будто задавшись целью не пустить Антуана в примелькавшуюся, обычную для его круга жизнь, разрушает планы и надежды молодого человека. Во время одного из тренировочных полетов самолет Сент-Экзюпери, едва оторвавшись от земли, теряет скорость и падает на землю. Антуан получает тяжелые ранения. Родители невесты, узнав об этом, встают против брака Сент-Экзюпери с их

дочерью. Для того чтобы брак стал возможным, Антуану предложено отказаться от его опасной профессии.

И если бы девушка, которую он любил, не была так прочно привязана к своему кругу, не жила во власти установившихся представлений о быте, вряд ли запрет родителей остановил бы Антуана. Но у Сент-Экзюпери нет ни состояния, ни положения, к тому же обнаружилась трещина не только между ним и девушкой, которую он любил, она пролегла между Антуаном и всем ее кругом, скованным, лишенным непосредственности. Там держатся за ценности, пусть освященные традицией, но безнадежно устарелые, ничем не связанные с мятущейся жизнью. Антуан же, в силу своего характера и особых обстоятельств, с юных лет попадает в самую гущу этой жизни. Он пока и сам не понимает еще ее смысла, ее силы и направления. Живое движение не поддается формулировкам. Антуану предложен выбор: семейное счастье или опасная профессия. Но так могут ставить вопрос только консервативные люди. Они всегда только зрители. Антуан же действует. Он отказывается принимать предложенный выбор. Ни семья, ни самолет. Любовь принесла только раны, профессия — тоже. Он отказывается от военной карьеры, но отказывается и от девушки. Снова, как несколько лет назад, жизнь ставит перед ним не решенную еще задачу: как жить, что делать, кем быть?

¹ Будто и не были прожиты эти три года — все опять пошло насмарку. А ведь со времени своей неудачной попытки поступить в Военно-морское училище он успел посетить множество мест и пережил много новых чувств и ощущений. Он знает жизнь парижского студента, он был солдатом, он освоил едва ли не самую новую профессию века, он побывал в Африке, пережил любовь. Но «как медленно созревает человек!». Понадобится еще по меньшей мере семь лет, прежде чем молодой человек, лишенный всего, что делает жизнь радостной, что придает ей смысл, овладеет этой жизнью, «заново родится» и даст явлениям мира свои собственные имена...

«ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ, НУЖНО ЖИТЬ»

«Я грустно живу в маленькой мрачной гостинице... Это совсем не весело...»

Понемногу, шаг за шагом преодолевает Антуан разочарования недавнего времени. Он в Париже. Снова в Париже. На этот раз он ищет здесь не знаний, не положения, а просто способа как-то просуществовать. Он по-прежнему вынужден беспокоить мать просьбами о денежной помощи. Письма его так же часты и нежны, как прежде, но в них сквозит невысказанная тревога, мучительное желание обрести хоть какую-нибудь независимость. Место служащего на черепичном заводе не выход из положения. В крохотном бюро он рассчитывает доходы компании. «Мне это к лицу так же, как платье со шлейфом», — говорит он друзьям.

Конечно же, другое занятие, то, которым он занимается по ночам в своей комнате, ему куда более «к лицу». Он пишет. Может быть, впервые пишет всерьез, возлагая на это занятие самые различные надежды: и надежду поправить финансы, и надежду найти утешение, а ко всему — обрести положение, известность. Пока что по-настоящему его поддерживает в этом начинании только мать. И сын, признательный за доверие, извещает ее о том, как продвигается его «роман»: он «зреет страница за страницей». Пишет Антуан мало, он больше «заряжается», впитывает в себя и обдумывает впечатления окружающей жизни.

В надежде улучшить свои дела Антуан поступает в фирму «Сорер». Теперь он будет продавать грузовики. Но прежде он должен пройти стаж работы на автомобильном заводе — от рабочего до служащего отдела продажи.

Круг его впечатлений странен и противоречив. Большую часть времени он проводит среди рабочих на заводе, — но только времени. Он такой же рабочий, как и другие; как и они, он собирает грузовики. Но он отличается от них не только тем, что он здесь по воле случая. Пожалуй, любой слесарь-

сборщик имеет перед ним преимущество — его жизнь уравновешеннее. Ведь и то, что ждет Антуана впереди, совсем его не устраивает. И хотя его руки, привычные к работе, знакомые с моторами, с механизмами, быстро привыкают к новому ремеслу, ум его и сердце принадлежат старым, привычным знакомствам, от товарищей по лицу и до той же герцогини де Вандом, которая может пригласить на ужин.

Разумеется, контраст между блестящей светской публикой и тем, что видит Антуан вне ее круга, велик. И, конечно же, он отражается на поведении молодого человека. У двоюродной сестры Антуана Ивонны де Лестранж — светской дамы — он подчеркнуто отказывается от обеда, довольствуясь чаем: «Я не заработал на обед — значит, не должен обедать». Это и проявление независимости перед лицом тех, у кого ее достаточно. Это и невысказанное: «Я не ваш, я живу другим». И в то же время Антуана тянет к среде, с которой он связан общностью происхождения, может быть, особенно сильно потому, что здесь люди искусства, литературы, атмосфера, необходимая начинающему писателю, хоть он и чувствует, что не со знакомства с Андре Жидом, с Рамоном Фернандесом или с Гастоном Галлимаром нужно начинать. Ну что ж, тем лучше: знакомство со знаменитостями и их издателем только подстегивает Антуана, дает пищу для размышлений. Каждый писатель, бывающий в салоне Ивонны де Лестранж, внес в литературу что-то свое: свое восприятие мира, свое понимание жизни. И у Антуана будет свой взгляд, и он привнесет в литературу свой взгляд на мир, свое понимание жизни, свое особое видение. И Гастон Галлимар когда-нибудь станет его издателем...

А пока что он находит слушателей и собеседников среди своих друзей: вернувшись в Париж, он вновь встречает Ринетту де Соссин, Эвсебио (под этой кличкой скрывается известный альпинист), с которым прежде так часто спорил.

«С ним невозможно спорить! — восклицает Эвсебио. — Он не дает слова сказать!»

Казалось бы, благовоспитанный приятель Антуана прав: разве можно спорить с несдержанным человеком, безусловно убежденным в собственной правоте? Но резкость возражений Антуана основана на долгих и глубоких раздумьях. К двадцати трем годам он успел разрешить для себя так много вопросов, неизбежно встающих перед каждым, кто берется за перо, что уже только поэтому можно верить в его литературное будущее.

«Вчера вечером, — рассказывает Антуан Ринетте, — я присутствовал при триумфе прелестного Эвсебио. Он расписывал перед полным залом, как поднимаются на горные пики, более заостренные, чем шпиль колокольни. Он небрежно щеголял своим героизмом, и пожилые дамы дрожали. Рассказ был неплох, но зато описания... Его «величественные вершины», фон неба, восходы и закаты солнца были слаще варенья и своими красками напоминали монпансье. Розовые пики, молочные горизонты, скалы, «позолоченные первыми лучами восходящего солнца». Предметы у него остаются абстракциями. Это «вершина», «закат», «заря» — вообще. Это взято напрокат из магазина бутафории.

Плох здесь метод, точнее — отсутствие видения. Нужно учиться не писать, а видеть. Писать — это уже следствие. Эвсебио берет какой-нибудь предмет и всячески пытается его приукрасить... Это же трюк! Нужно подумать: «Как мне выразить это впечатлительное?» И образы рождаются из той реакции, которую они вызывают в вас... Всегда исходите из впечатления. Тогда это не будет банальным... Посмотрите, как самые невнятные монологи у Достоевского выглядят логичными, необходимыми. Связь их чисто внутренняя... И интерес к ним не ослабевает... Невозможно создать живой персонаж, наделяя его достоинствами и недостатками и строя на этом роман. Его основа — пережитые чувства. Даже такое простое чувство, как радость, слишком сложно, чтобы его можно было придумать... Одна радость не похожа на другую. И нужно выразить именно это различие, собственную жизнь радости. Однако нельзя педан-

точно ее объяснять. Необходимо выразить ее через ее проявления... Если же вы находите, что слова «радость» достаточно для того, чтобы передать состояние вашего героя, это означает лишь, что герой ваш — бутафория, что вам нечего сказать».

Вот такой простотой и емкостью мышления обладает Экзюпери к двадцати трем годам. Можно подумать, он провел молодые годы не за штурвалом самолета, а в университете. А может быть, он и мыслит так ясно именно потому, что мыслит *сам*, без наставников, без нужды сдавать экзамены... Эти рассуждения Антуана — просто замечания по частному поводу. Правда, таких поводов представляется множество, и Антуан особенно гордится тем, что способен влиять на поступки людей, на их души.

Разве не лестно получить от товарища письмо с такими выражениями признательности:

«Я хорошо понял все, что ты мне сказал. Одновременно хорошо и то, о чем я впервые узнал от тебя, и то, что я смутно чувствовал в себе, а ты прояснил. Ты ведь умеешь думать и выражать свои мысли ясно и просто... Если бы ты знал, как я восхищаюсь той работой, которую ты проделал со мной, и ее результатом».

И Антуан, объясняя, почему он занялся воспитанием своего товарища, говорит:

«Я хочу видеть его живым человеком, а не книжным».

Это желание, во всяком случае в его первой части, останется навсегда любимейшим занятием Экзюпери, его главным промыслом на земле. «Видеть человека живым...» Желание далеко не всегда осуществимое. Но именно оно-то и движет поступками Антуана.

Рене де Соссин надолго останется другом Антуана, может быть, как ему будет казаться, последним другом, связывающим его со сверстниками из парижского «света». И все же именно ей суждено было выслушать самые горькие суждения Сент-Экзюпери о слое, в котором он рос. Нет, не социальные упреки, не противопоставление имущих неимущим лежат в основе его горьких суждений. Он и тут мыслит са-

мыми общими категориями, стремится проникнуть в суть вещей. Он упрекает «людей света» в том, что они *несерьезны*, что духовную жизнь, доступную прежде всего им, они превратили в игрушку.

Началось все с обычного спора, какие заводили молодые люди в кондитерской «У белой дамы». В то время с большим успехом в Париже шли пьесы Пиранделло. Сестры Соссин наперебой восхищались «Арсеном Люпенем» и «У каждого своя правда» в постановке братьев Питоевых.

Услышав слова восхищения, Антуан помрачнел. А когда младшая сестра Ринетты сравнила Пиранделло с Ибсеном, он взорвался:

— Как! Как вы можете сравнивать! Ваш Пиранделло — это же философия консержки!

Такое высказывание в глазах девушек из хорошей семьи было нарушением всех приличий. Антуан почувствовал это и, вернувшись к себе, ночью написал Ринетте длинное письмо с извинениями. Но что за странные извинения! Они скорее похожи на серьезные и глубокие обвинения.

«Я бесконечно сожалею, что позволил себе это «философия консержки», но вовсе не жалею о том, что взорвался.

Никто не имеет права сравнивать такого человека, как Ибсен, с господином Пиранделло. Первый писал, чтобы довести до сознания людей то, чего они не хотели понять. Он жил настоящими духовными проблемами... Наконец, удалось ему это или нет, но Ибсен стремился дать нам не новую разновидность лото, а духовную пищу...

...И с другой стороны Пиранделло; он, может быть, и замечательный драматург... но создан он и послан на землю для того, чтобы развлечь светскую публику и дать ей поиграть в метафизику, как прежде они играли в политику, в отвлеченные идеи и в драмы измен...

Поймите, пожалуйста, это не личный упрек... и не литературное пристрастие — было бы претенциозно с моей стороны так яростно на этом настаивать. Но здесь своего рода нравственная проблема...

Люди света несколько лет назад точно так же ухватились за беднягу Эйнштейна. Им захотелось ничего ни в чем не понимать, почувствовать великую растерянность, «дыхание неведомого». Эйнштейн был для них чем-то вроде факира...

Заметьте, если люди, как правило, и стараются развить свою память, знания, свое уменье красиво говорить, то почти совсем не стараются культивировать свою мысль. Они хотят правильно рассуждать, а не мыслить верно...

Вот поэтому-то и нужно любить Ибсена, который все же апеллирует к пониманию людей, и отказаться от Пиранделло, от лжеголовокружения...

Первое качество, необходимое для понимания, — это бескорыстие, забвение себя. Светская же публика «получает удовольствие» от науки, искусства и философии, как получают удовольствие от потаскушки. Пиранделло — своего рода потаскушка...

Люди света говорят: «Мы перекинулись идейками», — мне они противны.

Я же люблю людей, крепко связанных с жизнью, с необходимостью есть, кормить своих детей и дотянуть до следующей зарплаты...»

И чтобы у Ринетты не осталось никаких сомнений насчет того, как относится Антуан к людям «света», он приводит разговор Леона Верта со светской дамой:

«— Но, сударь, — говорит дама, — если вы настаиваете на том, что людей нужно любить, зачем отбирать у них бога, высшее утешение?

— А затем, — отвечает собеседник, — чтобы они искали других богов и свернули вам шею.

Мне очень нравится это!» — добавил Антуан.

Эта резкость и категоричность суждений, за которую Антуан, впрочем, тотчас извиняется, оправдана силой его внутреннего развития. В его жизни наступает момент, когда взгляды и мысли окружающих уже не только не могут удовлетворить душевную жажду, но мешают исканиям себя, собственно-го лица. Светские салоны, необходимость придержи-

ваться царящего там тона, эти шуточные представления знатым гостям: «Вот очень талантливый литератор!» — все это суета, это вытаскивает на поверхность жизни, мешает прислушаться к себе.

И поэтому очень кстати пришлось служба торгового агента — разъезды в одиночестве по заштатным городкам. Антуан завершил стаж на заводе, теперь он торговый агент фирмы «Сорер» с приличным заработком и не менее заманчивыми перспективами, о которых он тут же сообщает матери: пусть порадуетса тому, что ее «взрослый» сын при деле.

Вынужденное, но втайне желанное одиночество скоро приносит плоды. Оказывается, что недовольство окружающими таит за собой более глубокое чувство — сознание собственного несовершенства. А оно заставляет особенно строго выбирать собеседников, друзей, для того чтобы каждый прожитый день чему-нибудь научил Антуана. Вот как рассказывает он матери о том, что с ним происходит:

«До востребования, Монлюсон, 1924 год
(департамент Аллье).

Дорогая мамочка!

Вот я и в этом славном городе Монлюсоне. Городе, который я нашел спящим в девять часов вечера. Завтра приступаю к работе. Надеюсь, как-нибудь да пойдет, хотя конъюнктура и не блестящая.

Не надо слишком на меня сердиться за мое письмо к Диди, оно было написано под влиянием сильного волнения. Не переносу больше, если не нахожу того, чего ищу в ком-нибудь. Каждый раз, как я замечаю, что склад ума, казавшийся мне интересным, на самом деле лишь нехитро слаженный механизм, я испытываю разочарование и отвращение. И я начинаю сердиться на этого человека. Я отстраняюсь от многих персон и от многих людей — это сильнее меня.

В этом маленьком салоне провинциального отеля напротив меня сидит великолепный «красивец». Он

разглагольствует. Думается, это какой-то местный землевладелец. Он глуп, никчемен, а шума много. Не переносу больше и этих людей. Если я женюсь и потом обнаружу, что жене нравится такая публика, я буду несчастнейшим из людей. Ей следовало бы любить только умных людей. Бывать у Н. и компании стало для меня совершенно невозможным: не могу больше открыть рта, меня там все поучают.

То, что я вам сказал относительно Х..., не должно вас огорчить. У меня нет никакого уважения к этой лжекультуре, этой мании искать всяческие предлоги к выражению фальсифицированных эмоций, к этим избитым способам выражения чувств, чуждым истинному, питающему ум любопытству. Запоминать из прочитанного или увиденного только самое броское, только то, что может быть стилизовано! Не люблю этих людей, которые испытывают рыцарские чувства, когда на костюмированном вечере они выражены мушкетерами.

Но у меня, мамочка, есть и настоящие друзья, которые меня знают лучше, чем те, другие, они обожают меня, и я отвечаю им тем же. Это доказывает, что я чего-то да стою. Для родственников я остался поверхностным существом, болтуном и жуиrom. Это я-то, который даже среди удовольствий ищет, чему бы научиться, и который не выносит трутней из ночных кабачков, я-то, который в их обществе почти никогда не открывает рта, потому что никчемные разговоры претят мне. Разрешите мне даже не выводить их из их заблуждения, это излишне.

Я такой отличный от того, чем бы я мог быть. Мне достаточно, что вы это знаете и немного меня уважаете. Вы прочли мое письмо к Диди не под тем углом зрения. Оно было вызвано отвращением, а не цинизмом. Когда за день намаешься, к вечеру становишься таким. Каждый вечер я подвожу итог прожитому дню. Если он был бесплоден для меня, я зол на тех, из-за кого я потерял его и в кого я было поверил.

Не обижайтесь на меня также, что теперь я почти не пишу. Повседневная жизнь так незначительна

и однообразна. О внутренней жизни говорить трудно: удерживает какое-то чувство стыдливости. О ней так претенциозно говорить. А между тем вы не можете себе представить, насколько эта внутренняя жизнь — единственное, что имеет для меня значение. В ней происходит переоценка всех ценностей и даже в том, что касается суждений о других. Мне безразлично, что какой-нибудь тип «добр», если его лишь легко расстрогать. Меня — такого, как я есть, — следует искать в том, что я пишу, — это добросовестно выверенный и осмысленный итог всего, что я думаю и вижу. Тогда только, подведя этот итог, в тишине моей комнаты или в кафе я могу остаться наедине с самим собой, избежать общих мест, литературных трюков и с трудом выразить себя. И тогда я чувствую себя честным и добросовестным. Не выношу больше ничего броского, что, воздействуя на воображение, меняет угол зрения. Многие писатели, которых я любил за то, что они мне доставляли, без всякого с моей стороны напряжения ума, наслаждение наподобие щекочущих нервы эстрадных мелодий, теперь вызывают во мне подлинное презрение. Вы не можете также требовать от меня, чтобы я писал новогодние письма в день Нового года.

Я, мама, скорее жесток по отношению к самому себе и вправе отвергать в других то, что я отвергаю и исправляю в себе самом. Я больше ничуть не кокетничаю мыслями — такое кокетничанье ведет лишь к тому, что становишься между тем, что видишь, и тем, что описываешь. Как можете вы хотеть, чтобы я писал: принял ванну... или обедал у Жака... Мне так все это безразлично.

Я в самом деле люблю вас, мамочка, всей душой. Надо простить мне, что я не весь на поверхности, а глубоко внутри. Я такой, каким могу быть, и это иногда даже немного тяжело. Очень мало людей, с которыми я по-настоящему откровенен и которые хоть капельку знают меня. Вы действительно единственная, которой я даю больше всего от себя и которая немного знает нутро этого болтливой, поверхностного типа, которого я предлагаю Н., потому что

было бы почти отсутствием достоинства предлагать себя каждому.

Целую вас, мама, от всего сердца.

Антуан».

Недовольство собой никогда не доходит у Антуана до самоотрицания, до отчаяния. Внутреннее беспокойство его имеет вполне ясную причину: он хочет освободиться от литературного, несамостоятельного взгляда на себя и на жизнь. К началу 1926 года он обладает уже первым весомым доказательством своего незаурядного таланта.

В салоне Ивонны де Лестранж в 1925 году Антуан знакомит с молодым человеком, его ровесником — писателем Жаном Прево. Антуан рассказывает о самолете, о новом мире, открывающемся тому, кто поднимается в небо. Техника и душа — новое в жизни человека и вечное ее начало, новая радость, рожденная их слиянием, — так представляет Антуан собеседнику круг своих впечатлений и мыслей.

— Я люблю слушать летчиков, — говорит Антуан. — Их рассказы лаконичны, как рапорты...

И сам он рассказывает о своих впечатлениях этим сжатым и точным языком, своим языком: «Мощные колеса придавили тормозные колодки. Трава, прибитая ветром от винта, как будто течет метров на двадцать позади... Рев мотора попеременно то затихает, то усиливается, наполняя воздух плотной, почти твердой средой, которая смыкается вокруг тела...

Медленно вырубив против ветра, пилот тянет на себя рукоятку подачи газа...

Земля натягивается под колесами и мчится, словно приводной ремень. Ангары на краю аэродрома, деревья, затем холмы возвращают горизонт, а сами ускользают». Это о взлете.

А вот о спуске: «Земля внушает доверие своими четко очерченными полями, геометрическими лесами, селеньями. Пилот ныряет, чтобы сильнее насладиться ею. Сверху земля выглядела голой и мертвой; самолет спускается — она одевается. Снова ее обтяги-

вают леса; холмы и долины образуют перекааты: земля дышит».

Слушатель поражен точностью и строгостью рассказа, неожиданной красотой образа. Кроме того, он, человек опытный, знающий и начитанный, впервые слышит живой рассказ о самолете. До сих пор литература этим не интересовалась. Он знает об Антуане, что тот — бывший летчик, механик. Откуда же эта емкость фразы, изящество стиля?

— Но вы должны написать все это, — говорит Жан Прево.

Все это уже написано. Сент-Экзюпери цитирует отрывки из своей первой книги. Каждую фразу он сначала продумал, взвесил, выверил и только потом записал. Он помнит наизусть весь текст.

Эта повесть (впоследствии утерянная) далеко не завершена. Сент-Экзюпери называет ее «Бегство Жака Берниса». Почему бегство? В этом названии — нравственный смысл повести: молодой пилот бежит от пустой и никчемной жизни салонов к простому и прекрасному делу, которое приносит ему новую жизнь, новую и крепкую связь с землей.

Жан Прево — сотрудник журнала «Навир д'Аржан», который издает известная меценатка, ценительница современной литературы Адриенна Монье. Он приносит ей рукопись, и в апреле 1926 года отрывки, изображающие полет и смерть героя Экзюпери, появляются на страницах журнала, где несколько лет назад был напечатан один из первых рассказов Хемингуэя. «Это непосредственное искусство и дар достоверности кажутся мне удивительными у начинающего», — пишет в предисловии Жан Прево.

Друзья рады успеху Антуана. Но мыслят они его книжными штампами: Сент-Экзю — это герой Бальзака, который завоеует своим пером богатство, славу, Париж и весь мир. Но этот «герой Бальзака» совершает совсем неожиданный для друзей поступок. Аббат Сюдур, прежний учитель Антуана в школе Боссюэ, представляет его некоему Беппо де Массими, человеку, весьма известному среди летчиков, дирек-

тору авиакомпании «Латекоэр». Разговор между ними идет о службе, которую ищет молодой человек.

Высокий, застенчивый, Антуан как будто стесняется того, что занимает в кресле слишком много места.

Директор компании говорит:

— Вы пройдете испытания в Тулузе. В случае успеха вы будете назначены пилотом на наших линиях. В этой должности вы пробудете до особого распоряжения.

— А потом? — спрашивает Антуан, явно беспокоясь.

— Потом... Нашему начальнику эксплуатации нужен заместитель.

— Нет, нет, сударь... — говорит Антуан, краснея. — Я хочу летать, только летать!

Аббат Сюдур явно не понял душу своего бывшего ученика. Он устраивал ему карьеру...

— Хорошо. Когда хотите отправиться в Тулузу?

— Хоть сегодня вечером, если нужно.

— Ладно. Спросите там господина Дора, нашего начальника эксплуатации.

— ...Прощайте, — говорит Антуан друзьям. — Теперь я почтовый летчик.

— А как же литература, Сент-Экзю? — спрашивает наивная Ринетта.

— Прежде чем писать, нужно жить, — следует ответ.

К этому можно добавить, что за год службы торговым агентом Экзюпери продал лишь один-единственный грузовик...

ЛИНИЯ

Еще не отгремели последние залпы первой мировой войны, еще земля продолжала сотрясаться от разрывов бомб, а уже некоторые дальновидные, предприимчивые люди задумывались над тем, чтобы превратить самолет из средства разрушения в средство связи, из орудия, несущего смерть, в средство сближения между людьми.

Такие дальновидные люди исчислялись единицами. На них сначала смотрели как на сумасшедших. Но их поддерживала непреклонная воля и вера в успех своего начинания. Они сумели вдохнуть свою веру и сплотить вокруг себя всех тех, кто с окончанием войны остался как бы за бортом и жил надеждой, что его недавно, в особых обстоятельствах приобретенное ремесло летчика станет жизненно необходимым делом.

Одним из таких дальновидных, по-своему великих людей, положивших начало легендарной ныне Лигии, был инженер и промышленник Пьер Латекоэр.

Латекоэр-старший, владелец лесопилки в Баньер-де-Бигор, в Пиренеях, своим упорством и сметкой в делах сколотил к концу жизни немалый капитал. Но ему не хватало все же размаха. Он и сам понимал это и дал своему преемнику — сыну прекрасное техническое образование, открывавшее ему все горизонты. Пьер, унаследовавший от отца упорство и деловую сноровку, тотчас же по окончании «Эколь сентраль», одного из лучших французских технических институтов, приступает к реорганизации отцовского предприятия и на его базе создает вагоностроительный завод. Чтобы обеспечить свое предприятие заказами, этот двадцатитрехлетний инженер-предприниматель рвет и в других отношениях с рутиной, едет в Румынию и Венгрию, где заключает выгодные сделки. Вскоре баньерский завод оказывается уже недостаточным, чтобы удовлетворить все растущий спрос. Латекоэру удается за бесценок приобрести значительный участок земли на окраине Тулузы в Монтодране, он переносит сюда в первую очередь кузнечные цехи завода.

В 1914 году освобожденный из-за плохого зрения от мобилизации Пьер Латекоэр поступает добровольцем в артиллерию и тридцати одного года от роду уходит рядовым на фронт. В случайной беседе с одним генералом, заговорившим с ним при объезде позиций (надо предполагать, генерал знал, кто этот рядовой), Пьер обнаруживает столь глубокое знание насущных проблем артиллерии, что генерал восклицает: «Этот

чудак будет куда полезнее стране на своем заводе, чем... в заду у пушки!»

Латекоэра окончательно увольняют в запас, и Военное министерство дает ему задание организовать на его заводе производство снарядов для тяжелой артиллерии. Однако Латекоэр не удовлетворяется столь выгодным заказом, казалось, обеспечивающим его работой и заработком на всю жизнь. Хотя он и капиталист-предприниматель, но в нем уживается и пионер. Война породила новое оружие — авиацию. А Латекоэр всегда очень внимателен и чуток ко всему, что связано с техническим прогрессом. Самолестроение не сулило на первых порах больших прибылей, для этого надо было снова перестраивать всю работу завода, но Пьер уверовал в будущее авиации. В 1917 году он получает уже правительственный подряд на тысячу самолетов типа «Сальмсон». Срок сдачи — в течение года. По тому времени цифра эта колоссальная. Но промышленник успешно справляется со своей задачей в совершенно новой для него области производства.

Ничто не предвещало самолетостроения будущего. Однако Пьер Латекоэр не хотел и не мог уже перестраивать свое предприятие. Производя военные самолеты, он думал о мире и видел самолет тем средством связи, которому принадлежит будущее. Он исходил из простого расчета: по тому времени из Франции до Марокко — семь дней на пароходе; на самолете через Испанию потребовалось бы каких-нибудь тридцать часов. Чтобы получить ответ на письмо из Буэнос-Айреса, требовалось около пятидесяти суток. Если даже, думалось Латекоэру, использовать для перевозки почты между островами Зеленого мыса и островом Фернанду-ди-Норонья посыльные суда, то и тогда срок этот можно сократить до двадцати суток. А при ночных полетах — и до четырнадцати. Если же на промежутке между островами Зеленого мыса и островом Фернанду-ди-Норонья использовать гидросамолеты, то понадобится еще меньший срок.

Интерес, проявленный Латекоэром именно к этому направлению, не случайный и объясняется не только

географическим положением Тулузы на юге Франции. Две тысячи тонн одних только писем перевозили каждый год трансатлантические корабли из Европы в Южную Америку. Обмен корреспонденции со странами, обслуживаемыми Индийской пароходной линией, составлял всего одну треть этого тоннажа. Товарооборот с африканскими колониями и Южной Америкой достигал пятидесяти миллиардов франков в год и при хорошей почтовой связи мог еще значительно возрасти. К тому же мерцавшая впереди победа позволяла рассчитывать на вытеснение влияния, недавно завоеванного Германией в латиноамериканских странах, а следовательно, сулила еще большее расширение франко-южно-американских связей. И это уже не говоря об укреплении связей с французской колониальной империей в Африке.

Вот эти-то идеи еще за несколько месяцев до окончания войны и приехал изложить промышленник тогдашнему министру авиации Дюменилю. Поднять такое большое дело международного масштаба без правительственной субсидии и политической поддержки казалось все же Латекоэру не по силам. Однако высокий чиновник, как и все чиновники, независимо от ранга и положения, страдал неوفобией и не отличался широтой кругозора. Он счел представленный ему проект утопией и отказал промышленнику в поддержке.

Зато другой человек, казалось, мало чем могущий помочь делу, восторженно отнесся к проекту Латекоэра и целиком отдался его осуществлению. Человек этот — Беппо де Массими. Его энергия и связи, поставленные на службу делу, в которое он сразу же влюбился, восполнили то, чего как раз недоставало промышленнику при всем его упорстве и весе. Беппо де Массими оказался прирожденным дипломатом. Кроме того, он в совершенстве знал тот человеческий материал, без которого дело не могло сдвинуться с места.

Неаполитанский маркиз Беппо де Массими в юности приехал в Париж. Он тогда только что стал у себя на родине лицензиатом филологических наук, и

проживающая в Париже кузина пригласила его отдохнуть и развлечься. Париж, о котором он мечтал чуть ли не с детства, очаровал его. Сирота с раннего возраста, он не захотел возвращаться на родину и остался во Франции. Свой досуг состоятельного человека он заполнял литературным творчеством: написал пьесу для театра, перевел романы и новеллы Бютти, Джакомо, Сальгари. В 1914 году, тридцати девяти лет от роду, несмотря на то, что его страна не порвала еще свой союз с вильгельмовской Германией, Беппо поступает добровольцем во французскую армию. Когда-то, в 1910 году, он, как и Сент-Экзюпери, получил «воздушное крещение» у Ведрина и поэтому выбирает авиацию, специальность летчика-наблюдателя, на которую «не так уж много охотников». Начав войну простым рядовым, незадолго до конца ее он уже майор. Пилотом у него в это время служит Дидье Дора.

С Пьером Латекоэром Массими связывала давнишняя дружба. Познакомились они у одного букиниста Латинского квартала в то время, когда Пьер был еще студентом «Эколь сентраль». Оба были большими библиофилами и часто посещали этого букиниста. Однажды обоим приглянулась одна книга. Пьер торговался с продавцом, так как запрашивал он за нее очень дорого. Опасаясь, что редкость ускользнет от него, Беппо, не торгуясь, заплатил требуемую цену. После этого случая при каждой встрече Пьер уговаривал его уступить ему книгу. От слова к слову, от беседы к беседе молодые люди, у которых, несмотря на разницу возраста (Беппо был на восемь лет старше), оказалось немало точек соприкосновения, сблизились, и, наконец, добродушный итальянец дал себя уговорить. Но когда Массими назвал цену, Латекоэр воскликнул:

— Да ведь это цена, которую запрашивал книго-торговец!

— Я столько и заплатил, — отвечал де Массими.

— Так вот, предлагаю вам на три франка меньше.

Однако будущему промышленнику пришлось убедиться, что добродушие отнюдь не означает мягко-

телость. Книгу он так никогда и не получил. Но это только повысило его уважение к новому приятелю, и они стали друзьями.

Война не только не прервала эту дружбу; но еще укрепила ее. Во время побывок в тылу Массими часто проводил время с Латекоэром. В мае 1918 года промышленник поделился с ним своими планами на будущее, и Беппо горячо поддержал его. Возвратившись к себе в часть, он рассказал о разговоре с Латекоэром своему пилоту, лейтенанту Дора. Вместо обычного в таких случаях восклицания: «Это мечты безумца!» — в ответ раздалось лишь: «Жив буду, рассчитывайте на меня, господин майор!»

В то время во французской армии экипажи двухместных разведывательных самолетов, а иногда и бомбардировщиков часто комплектовались в зависимости от обоюдного влечения и согласия между летчиками. Сын рабочего, Дидье Дора пришел в авиацию из пехоты, тогда как авиация, как ранее кавалерия и до последнего времени флот, была оружием «избранных». Он оказался в обществе людей не своего круга, с которыми держал себя сдержанно. Относясь с большим уважением к исключительной смелости Беппо де Массими, к тому же обладавшему весьма покладистым характером, он не без подозрительности присматривался к этому «барчуку». Как-то раз его все-таки прорвало, и он заметил: «Вот если бы вы не боялись запачкать ручки и пополнили свое военное и техническое образование, то из нас получился бы неплохой экипаж».

Маркиз де Массими тоже почувствовал симпатию к этому летчику, которого в эскадрилье иначе не называли, как «замороженный товарищ». Он ничуть не обиделся, честно признал свои недостатки и усиленно занялся сборкой и разборкой пулемета и двигателя. С этого времени Массими и Дора стали неразлучны и составили на редкость сплоченный экипаж. Это они открыли расположение «Большой Берты», сеявшей панику в Париже.

Наконец 11 ноября 1918 года подписано перемирие с Германией, и Беппо де Массими тотчас же вы-

езжает в Тулузу к Латекоэру. Заручившись поддержкой некоторых влиятельных друзей, Массими вторично представляет проект Латекоэра правительству. Новый министр авиации, сменивший Дюмениля, сам военный летчик во время войны, дает положительное заключение. По иронии судьбы этим прогрессивным благожелательным министром оказался один из будущих гробокопателей Франции Фланден.

Итак, предприятию обеспечена финансовая и политическая поддержка правительства. Но чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, требовалось еще согласие испанского правительства на перелет страны и создание промежуточных аэродромов. Дождаться, пока будет урегулирован дипломатическим путём, пришлось бы слишком много времени. Латекоэр рвал и метал, каждый потерянный час грозил неисчислимыми убытками. Но светскому человеку, маркизу де Массими удается преодолеть и испанское препятствие. Он выезжает в Мадрид, быстро ориентируется в обстановке и благополучно улаживает все с Альфонсом XIII и его окружением. На обратном пути в Тулузу он присматривает возможные посадочные площадки.

24 декабря 1918 года, через полтора месяца после подписания перемирия, Латекоэр в сопровождении одного из заводских летчиков-испытателей, Корнемона, является на свое авиационное поле в Монтодране.

— Для начала летим в Барселону!

Присутствовавшие при этом военные летчики, находившиеся в этот день в командировке на заводе, пытались его отговорить:

— Лететь без остановки триста-четырееста километров, да еще над Пиренеями — безрассудство! Моторы не выдержат нескольких часов полета. Мы испытали это во время войны.

— Забудьте войну! — возразил Латекоэр. — Война кончена. Вы что, хотите, чтобы ваши машины развалились от бездействия? Они несли бомбы, пусть теперь научатся возить почту. Мы полетим в Марокко, потом и в Сенегал... Возможно, мы пересечем Атлан-

тику. Это техническая проблема, и мы ее разрешим! Вы думаете, авиация кончилась, а я вам говорю, она только начинается.

Чтобы полностью оценить дерзновенность замыслов Латекоэра, следует напомнить, что самолеты, которые он тогда строил, летали со скоростью 130 километров в час и имели район действия в 500 километров. Редкий двигатель выдерживал больше 100 часов работы без капитального ремонта. Вот с такими, да еще на первых порах подержанными, самолетами и хотел упрямый промышленник открыть новую эру в авиации. Такие мысли были скорее под стать какому-нибудь Жюлю Верну.

Нет, это вовсе не было «вложением капитала» в выгодное предприятие. Пьер Латекоэр, этот холодный, расчетливый делец, рисковал всем, что имел, и в первую очередь — собственной жизнью. Было бы слишком просто назвать этого любителя музыки, почитателя Стендаля, поклонника красивых женщин, ушедшего на войну простым рядовым, «пушечным королем», разбогатевшим на народном бедствии и продолжающим погоню за прибылями. Этот инженер, способный забыть над Платоном или Бергсоном, не был просто «мешком с золотом». В нем жила душа первооткрывателя, и он целиком вложил ее в новое и поэтому притягивавшее его дело.

Полет в Барселону и обратно прошел благополучно. Правда, скорее по счастливой случайности, так как следующие полеты, в которых приняли участие и сам Латекоэр и Массими, завершились авариями. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Но несколько машин было разбито. Это не обескуражило Латекоэра.

— За работу! — сказал он.

И началась мужественная работа нескольких человек, всецело поглощенных осуществлением казавшегося многим фантастическим замысла. Назначенный генеральным директором существовавших еще только на бумаге «Линий Латекоэра», Беппо де Массими повел за собой небольшую группу фронтовых товарищей.

Один из пилотов, Дельерье, во время войны сбил вражеский цеппелин. На аэродром Монтодран прибыли и бывший командир знаменитой эскадрильи «Аистов» Домбрей и капитан Боте, и Ванье, и Дьедоне Кост, и Дора, и Руаг, и многие-многие другие. Армия уступила Латекоэру пятнадцать «Бреге-ХІV», которые вошли в строй в конце войны и проявили хорошие летные качества. Но доставить их воздушным путем из ангаров под Парижем в Тулузу оказалось настоящей авантюрой. Даже предусмотрительный Дора вынужден был из-за внезапно обнаружившейся неполадки посадить самолет на деревья.

Трудно сказать, что влекло летчиков в Монтодран: вера ли в замечательное будущее авиации, деловой престиж Латекоэра или просто представлявшаяся им возможность продолжать летать? Впрочем, вряд ли сам Латекоэр с его деловой жесткостью и требовательностью мог внушить им большое доверие. Для большинства знавших его лишь понаслышке он все же был тыловиком, нажившимся на войне. Правда, он был дерзновен и смел. Но все они были смелыми — и это не могло вызвать у них удивления. К тому же в смелость промышленника входила значительная доля непонимания риска, которому он сам иногда подвергался и подвергал своих летчиков. Терпением он тоже не отличался.

Так, однажды при пробных полетах по изучению трассы у самолета Латекоэра, который пилотировал Лемэтр, при вынужденной посадке вблизи Валенсии оказалось повреждено шасси.

— Завтра на рассвете вылетаем в Рабат! — выбираясь с помощью летчика из кабины, запальчиво воскликнул Латекоэр.

Лемэтр попытался ему объяснить, что не вылетают с поврежденным шасси.

— Плевать я хотел! Вы летчик, вы и справляйтесь, — тоном, не допускающим возражений, заявил Латекоэр.

Сопровождавший промышленника на другом самолете Массими подоспел в это время и успел шепнуть Лемэтру:

— Незачем с ним спорить, до завтра есть время, одумается.

Однако ночью Латекоэр внезапно привстал на койке и разбудил Массими возгласом:

— А все же на рассвете я лечу!

— Свернешь себе шею, Пьер, — невозмутимо отвечал Массими.

— Это уж мое дело.

— Возможно. Рисковать своей жизнью ты вправе, но не жизнью пилота.

— Само собой, я не полечу без его согласия, — уже сбавляя тон, сказал Латекоэр.

— Да, но пойми же ты, ни один летчик не ответит тебе «нет», — с ударением на каждом слове произнес Массими.

Вот этому такту Массими, его пониманию того, что и когда можно требовать или даже просто спрашивать, предприятие обязано своими первоначальными успехами. Никогда необузданный и властный промышленник, при всех его других блестящих качествах, не нашел бы общего языка с летчиками, прошедшими через горнило войны. Между летным персоналом и Латекоэром необходим был буфер, и этим буфером мог быть только человек, которого как тот, так и другие одинаково уважали.

1 сентября 1919 года Дора впервые вылетел с почтой в Касабланку. Так было положено начало регулярным рейсам, производившимся вначале два раза в неделю. Случалось, перевозили и пассажиров. Но тут началась серия неудач: в воздухе выходили из строя моторы, дождь разрушал верхнюю кромку и концы деревянных винтов (их стали обивать медью), туман заводил пилотов в открытое море или закрывал береговые скалы, о которые с глухим треском разбивались машины.

А упрямый промышленник все продолжал повторять:

— Письма пишут каждый день — и перевозить их нужно ежедневно, в любую погоду. Это вам не война! — Он уже не довольствовался двумя рейсами в неделю.

Подчас пилоты не выдерживали нечеловеческого напряжения, на которое их обрекала служба на «Воздушных линиях Латекоэра».

— Это же чистое сумасшествие, — говорили они, уходя, — это организованное убийство!

Они были правы и не правы. В том-то и дело, что ничто не было еще «организовано», а носило характер гениальной импровизации. Пилот, приземлившийся из-за аварии — то ли из-за поломки шатуна, то ли из-за прекращения подачи горючего, — хватал мешки с почтой и спешил на ближайшую железнодорожную станцию. Что бы ни случилось, а почта должна быть доставлена в срок! Почту спасали с тонущих самолетов, умудрялись взлетать с узкой полоски пляжа. И все же медлительные парходы, надежные и прочные, зачастую нагоняли в пути потерпевший аварию самолет и даже обгоняли его.

С установлением регулярных рейсов начал непомерно разрастаться мартиролог жертв тумана, бурь, несовершенной техники, а с началом полетов над Сахарой — и жертв винтовок кочевников. И тут в душе промышленника, не колебавшегося личным примером подстегивать мужество пилотов, зародилось сомнение в осуществимости своего замысла. Вот тогда-то единственным человеком, который не пал духом, и оказался Дидье Дора. «Ночной полет», который позже напишет Сент-Экзюпери, посвящен Дидье Дора — и это только дань справедливости, отданная этому незаурядному человеку.

Дора окончил войну в звании капитана. Из разведывательной авиации он в последние месяцы перешел в бомбардировочную, где командовал эскадрильей, а затем в самом конце — в истребительную. Здесь он не успел себя проявить. Но в бомбардировочной авиации во время июльского наступления 1918 года, когда самолеты чуть ли не на бреющем полете в течение четырех дней неустанно бомбили немецкие линии под Реймсом, он оказался единственным из шестидесяти четырех летчиков вернувшимся на свою базу. Для характеристики Дора нужно добавить, что с переходом в истребительную авиацию он терял

командование эскадрильей и тем не менее сам напросился на это, считая для себя необходимым пройти и через такое испытание.

В истребительной авиации ему не понравилось. Впоследствии он писал: «Очень скоро я понял, что умонастроение летчиков здесь совершенно иное. Разведывательная и бомбардировочная авиация вызвала необходимость в экипаже и, следовательно, способствовала созданию спаянного коллектива. Здесь же господствовал дух индивидуализма».

Это высказывание Дора бросает яркий свет на одну очень важную черту его характера, сыгравшую огромную роль в дальнейшей судьбе Линии. Он органично был поборником коллектива. Однако, думается, при условии, чтобы он им руководил.

Три месяца спустя после первого почтового рейса Дора уже назначают начальником промежуточного аэродрома в Малаге. Это отнюдь не освобождало его от обязанности летать, как и все другие пилоты, и не означало еще повышения по службе. Но это дало ему возможность проявить свой организаторский талант. Он очень быстро выделяется из группы прибывших с ним пионеров Линии и как у пилотов, так и у начальства завоевывает все больший авторитет. Он проявляет себя ярким врагом всякого рода дерзких импровизаций и не соглашается ничего делать на авось.

Последующее назначение Дора директором эксплуатации не удивило и нисколько не обидело никого из его товарищей, настолько оно казалось подсказанным самими обстоятельствами и всем предыдущим опытом. Моральный кризис, разразившийся на Линии, требовал для своего разрешения именно такого твердого человека, умелого организатора — единственного, продолжавшего непоколебимо верить и видевшего реальную возможность осуществить замысел Латекоэра. Дора был еще молод, но молодость его сформировала война. В свои двадцать восемь лет он обладал всеми качествами настоящего командира, руководителя, способного сплотить своих подчиненных в едином усилии. Он знал слабости лю-

дей, но знал и силу, таящуюся в каждом человеке, и умел заставить его подавить собственную слабость, инстинктивный страх, неуверенность в себе — умел внушить любовь и уважение к тяжелому, рискованному, но общему для всех делу.

Линия завоевывала все большее доверие. Настал день, когда понадобилось ввести ежедневные рейсы. Пилотов не хватало. Тогда-то авиакомпания и пригласила молодых летчиков. Линия звала пилотов, и они явились.

Пришел крестьянский сын Гийоме, с четырнадцати лет бредивший самолетом и обучавшийся летному делу одновременно с Сент-Экзюпери в Марокко, а затем и в Истре. Правда, тогда еще будущие закадычные друзья едва заприметили друг друга. Увлеченные одной страстью, одним стремлением — как можно скорее стать пилотами, — они сосредоточили все свое внимание на капризных машинах, с которыми им надо было во что бы то ни стало совладать.

Пришел на Линию и резкий внешне, а на самом деле тонкий и тревожный Мермоз, которому в середине тридцатых годов суждено было стать самым популярным человеком Франции.

Вот сюда, к Дидье Дора, к Гийоме, к Мермозу, ехал осенним утром 1926 года их будущий друг и соратник, увековечивший впоследствии их имена, Антуан де Сент-Экзюпери.

— Ваша книжка полетов?

Смущаясь под изучающим взглядом шефа, Антуан протягивает ему книжку.

— М-м... Не густо. А это что? — Дора заметил запись об аварии.

— Потеря скорости... отказал мотор. Невозможно было предотвратить, — как бы извиняясь, говорит Антуан.

В ответ слышится неразборчивое ворчание. Оно стихает, и Антуан снова чувствует на себе тяжелый, взвешивающий взгляд, решающий в этот миг его судьбу.

— Я очень хочу летать, — говорит Антуан, прерывая паузу.

— Мы не делаем исключений, — следует ответ. — Сначала пройдите по азбуке.

«Пройтись по азбуке» означало ежедневные занятия на аэродроме. Дора не желал считаться с опытом и стажем вновь нанятых летчиков. Даже пилот, налетающий в свое время сотни часов, должен был начинать службу на Линии с ремонта моторов, с уроков метеорологии и навигации. Особенно не нравился такой порядок «желторотым».

— Когда я буду летать? — спрашивал Дора Мермоз.

— Здесь не задают вопросов, — отвечал Дора.

Антуан не задавал вопросов. Он догадывался, что здесь этого не следует делать. Снова, как в начале своей военной службы, он оказался среди механиков и аэродромных рабочих; снова, как во время службы на автомобильном заводе, он должен был пройти стаж. Но на этот раз в его душе нет ни безразличия, с которым он покорялся судьбе, забросившей его из архитектурной студии в авиационный полк, ни отвращения, с которым он выполнял на заводе механическую работу. Это был результат сдвига, происшедшего в его душе. Не случайно, не по воле злых обстоятельств оказался Антуан на аэродроме Монтодран. Его привело сюда ясно осознанное желание строить свою судьбу своими руками.

Но было бы поспешно утверждать, что, оказавшись на аэродроме, Экзюпери разрешил для себя все жизненные вопросы и ему оставалось только, принимая тяготы и невзгоды жизни летчика, радоваться крепнущему в нем мужеству. Сам Экзюпери, рассказывая нам о начале своей службы на Линии, суммируя пережитое, отбрасывает сложность и противоречивость своего возмужания. Это было нужно ему, художнику.

На самом же деле Антуану трудно было перерезать пуповину, связывающую его с жизнью в Париже, с друзьями, которых он столь резко порицал.

«Хватит с меня этого Парижа, он много обещает и ничего не дает», — пишет он перед отъездом Ри-



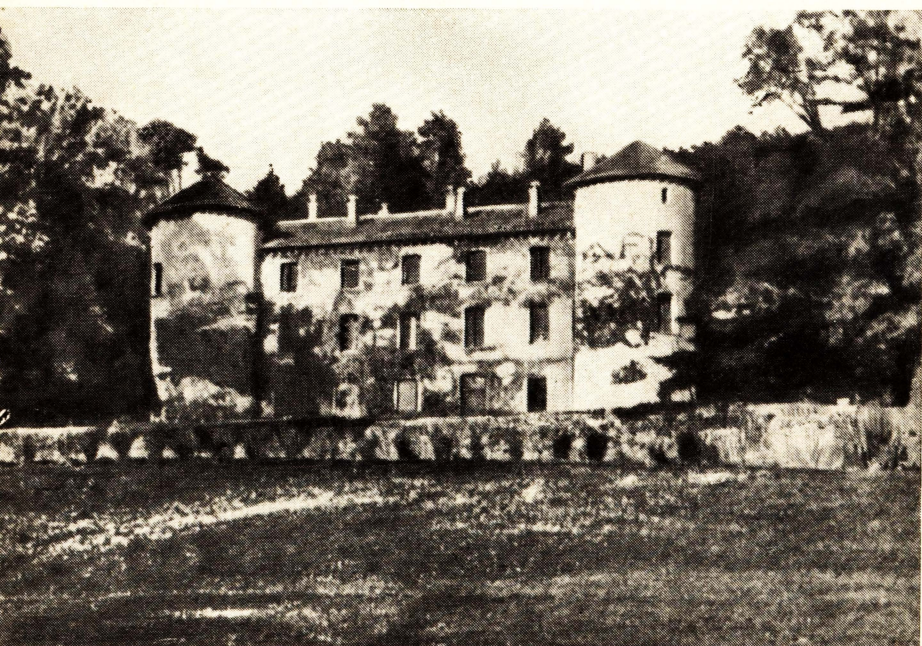
Антуан с братом и сестрами



Отец Антуана.



Мать Антуана.



Замок Ла Молль, где Антуан провел первые годы жизни.

нетте. И в этой резкой фразе — горечь утраты. Он везет с собой в Тулузу тяжелые чемоданы, набитые книгами и кучей всевозможных предметов, которые теперь ему не понадобятся. Перед отъездом он покупает гравировальный пресс и машинку для свертывания сигарет — просто так, потому что ему захотелось. Он звонит друзьям, чтобы проститься, — и никого не застает дома. Все заняты повседневными делами. Слово не Антуан покидает друзей ради «настоящей» жизни, а они покинули его.

Все это и знакомство с неприветливым, внешне даже угрюмым миром, в который он пришел, вызывает в его душе длительную агонию расставания с прошлым, с надеждами, представлениями о жизни, с неразделенными чувствами — словом, нарушает непрерывность существования. Хорошо, конечно, если бы детство плавно переходило в юность, если бы зрелость не достигалась прыжком через недочувствованное, недожитое в молодости.

Этот период окончательного возмужания навсегда оставит в душе Антуана и в том, что он напишет, привкус меланхолии, грусти легкой и прозрачной, но на самом деле глубокой.

Его внутренняя жизнь, по-прежнему интенсивная, пока что расходится с внешней, и угловатый лысеющий молодой человек с несколько детским лицом чувствует себя неловко за одним столом со «старичками», которые смотрят на него свысока, даже отчужденно — Антуан для них залетная птица, — и нарочито громко рассказывают о побежденных бурях, туманах — «желторотому» с такими вещами не справиться...

А «желторотый», испытывая над аэродромом отремонтированные самолеты, ждет не дождется, когда наступит его очередь лететь далеко, за Пиренеи, и испытать, что же представляют собой знаменитые снежные бури, туманы, густые облака, закрывающие землю. И вот этот день наступил.

Вечером, накануне вылета, когда начинающему летчику было явно не по себе и одиночество мучило его, к нему постучал Анри Гийоме. О том, что про-

изошло этим вечером, Сент-Экзюпери рассказал в «Земле людей». Он встретил друга, когда это нужно было ему больше всего.

Сидя с Антуаном за бутылкой вина перед картой Испании, более опытный Анри Гийоме заранее предупредил товарища о неожиданностях, грозящих ему. Эта карта утрачивала свой немой, чисто географический смысл и становилась живой и подробной. Так впервые почувствовал Сент-Экзюпери, что безжизненные предметы оживляют дело, связывающее хотя бы несколько человек.

Хмурое утро того дня, когда тряский автобус увозил Антуана в компании нескольких чиновников на аэродром, стало началом новой биографии Сент-Экзюпери, началом его «второго рождения». Острое чувство ответственности перед людьми за машину, за груз, за пассажиров резко и по-новому осветило сознание: он не принадлежал больше к миру тусклых мешан, рабов своих четырех стен, он был полезен людям, жизни, и он хотел, чтобы это чувство оставалось для него главным. Он хотел верить и верил тогда, что простое и ясное деление людей на действующих и на мешан способно разрешить противоречия жизни. Он уверовал в действие.

Эта вера — первая самостоятельная вера Сент-Экзюпери, первый его душевный вклад в невидимое сокровище, созданное людьми и называемое культурой, — скоро принесла ему несколько открытий: он по-новому увидел красоту земли и человека, он открыл существование настоящей дружбы, основанной на общности дела и полном доверии человека к человеку.

ДРУЗЬЯ

Настоящая дружба созревает медленно. Проходят годы, прежде чем из насыщенного раствора событий, разговоров, чувств, действий вырастает кристалл: новое качество, новая радость.

И естественно, что Антуан в новой и чужой сна-

чала обстановке оказался очень стесненным в возможностях проявить дружбу и получить взамен признательность, внимание, поддержку. Еще только начинали расти две большие привязанности Антуана — Гийоме, Мермоз. Антуан еще не подозревал о том, кем станет для него в будущем ироничный и нежный Леон Верт.

Старые дружбы... Вот что было особенно трудным. Старые дружбы проверялись временем:

«Аликанте, ноябрь 1926 года.

...мне не вполне ясно, почему я пишу вам. Я испытываю громадную нужду в друге, которому можно поверить разные пустяки, случающиеся со мной. С кем поделиться? Не знаю уж, почему я выбрал именно вас. Вы такая чужая. Бумага отсылает мне обратно мои фразы. Теперь уж я не могу представить себе ваше лицо, склоненное над письмом, не могу делиться с вами своим солнцем, своим печеньем, своими мечтами. И вот я потихоньку пишу это письмо в надежде пробудить вас и не очень в это веря. Быть может, я пишу самому себе.

Я вылетаю в пятницу, а не в среду... И это напоминает мне мои мечты о путешествиях в детстве. Под лампой в деревне. Когда «взрослые» играют в бридж, а дети очень серьезны и погружены в книгу по географии. Китай — зеленый, Япония — голубая, два резких пятна. На соседней странице можно было прочесть: «у малайцев черные глаза», «у таитян — голубые». Я, наверно, путаю сейчас цвета, но этим вечером я отчетливо понял, что никогда не видел ни настоящих голубых глаз, ни настоящих черных. Те, что меня окружали, и я ощущал это, были поддельными. Вот я и отправляюсь в некотором роде искать настоящие глаза.

Есть и другой способ путешествовать, и вчера я был очень далеко. Так далеко, что я до сих пор чувствую себя где-то вне мира, чуть-чуть над жизнью, и я испытываю ко всем снисхождение. Никогда, даже в день, когда со мной произошел несчастный случай, я не был так уверен, что гибну. Я спустился

с высоты трех тысяч метров, когда почувствовал встряску, — я подумал, произошла какая-то поломка — и мой самолет постепенно вышел из повиновения. На двух тысячах я потерял свободу управления. Мне казалось, что штопор неизбежен, и я написал на приборной доске: «Потеря управления. Выясните. Избежать падения невозможно». Я не хотел чтобы потом говорили, что я разбился из-за собственной небрежности. Эта мысль раздражала меня. С каким-то удивлением смотрел я на поля, где должен был разбиться. Совершенно новое чувство. Я ощущал, что бледнею, становлюсь буквально отполированным страхом. Безграничный, но не грустный страх. Новая, невыразимая мудрость.

Оказалось, что поломки нет, и мне удалось дотянуть до земли. Но до последнего момента, я не верил в спасение. Когда я выпрыгнул из кабины, я не сказал ничего. Я был полон пренебрежения к всему, и я думал, что меня никогда не поймут. Во всяком случае, не поймут главного. В какой мир я контрабандой проник. В мир, из которого не часто возвращаются, чтобы его описать. Слова беспомощны: как выразить те поля и то спокойное солнце? Нельзя же сказать: «Я понял поля, солнце...» И все же это правда. Несколько секунд я чувствовал во всей полноте блистательное спокойствие дня. Этого дня, крепко сложенного, словно дом, где я был у себя, где мне было хорошо и из которого меня могли выбросить. Этого дня, с его утренним солнцем, чистым небом и землей, на которой крестьяне прокладывали тонкие борозды. Какое славное ремесло!

Теперь я встречал на улицах дворников, подметающих свою часть земного шара. Я был им признателен за это. И полицейским, охраняющим мир в своих стометровых государствах. И такое благоустройство этого дома было исполнено глубокого смысла. Я вернулся, я был под защитой, я очень любил жизнь.

А вы не поймете этого, и никто не поймет. Но я хотел бы заставить кого-нибудь понять. Почему этим человеком оказались вы, хотя вам на все это на-

плевать? Вы останетесь ко всему этому безразличной».

Это письмо, как и многие другие, адресовано Ринетте. Весь первый год новой жизни Экзюпери, мучимый отсутствием человека, которому он мог бы поверить свои впечатления, обращается к своей старой приятельнице. Не рассказывать же их своим товарищам летчикам! Они, чего доброго, засмеют новичка, скажут, что он слишком чувствителен. А он в самом деле «слишком чувствителен». Он тревожит свою парижскую приятельницу телефонными звонками, упрекает ее за долгое молчание, сердится на нее. Огорчается безразличным или наигранным тоном ее писем. «Я слишком смешон. Бессмысленно выключивать дружбу...»

Пройдет время, и многие из впечатлений, выраженных в письмах Сент-Экзюпери, займут место в его книгах. Это рассказано не Ринетте и даже не «самому себе», в чем Антуан пробует себя уверить. Это просто рассказано. Рассказано вообще.

Как никто другой, Сент-Экзюпери в своих книгах раскрыл свою душу в последовательности ее рождения и в ее полноте. Нам понятно, что молодой человек, прежде погруженный в суетливую атмосферу Парижа, где голубые и черные глаза казались «поддельными» оттого, что принадлежали несерьезным людям, играющим в бридж, в политику, в философию, в искусство, особенно остро радуется непосредственности, «личности» своих чувств. Эти новые чувства по-новому строят и весь мир Антуана. Борьба за жизнь перед лицом природы, неба, земли, борьба при выполнении простого и нужного людям дела прежде всего дала ему простое и сильное чувство жизни, сознание того, что человек живет. Именно в этом чувстве, в его полноте, казалось ему, залог полноценности человека. Если людям плохо, если они мучаются и страдают, то это не оттого, что им нечего есть, когда они голодают, не оттого, что их кто-то не любит, а оттого, что сами они не любят. «Ужаса материального порядка не существует», — скажет он впоследствии. И вообще под этим углом зрения лю-

бое чувство неполноты, неудовлетворенности — это чувство неполноты внутренней, неполноты собственного ощущения жизни. Это большое открытие.

Наверное, и до Экзюпери люди чувствовали полноту жизни. Это чувство в полной мере было свойственно таким незаурядным людям, как Гийоме и Мермоз. И, несомненно, его выражали и до Сент-Экзюпери. Но именно ему впоследствии удалось выразить это чувство так, что оно становится понятным всем.

Жизнь — праздник. Для этого не нужно праздничных украшений. Человек сам, переполненный радостью бытия, превращает все, что он видит, — и солнце, и поля, и дворников, и даже полицейских — в украшения этого праздника. Сравнивая труд летчика с трудом крестьянина, Антуан впоследствии скажет, что для него, как для пахаря, жизнь каждый день начинается заново.

Многие из тех, кто писал о Сент-Экзюпери, находили в его жизни летчика черты искателя приключений. Это качество, если оно свойственно человеку, часто говорит лишь о внутренней пустоте, о тщетных попытках заменить внутренний мир «сильными ощущениями». Но оно и в малой мере не было свойственно Экзюпери. Что ему мешало забавляться воздушным лихачеством на аэродроме в Орли в бытность его в Париже? Риск был бы не меньший.

Будь он человеком такого склада и к тому же человеком, находящим удовлетворение в светских развлечениях, в светской мишуре, в службе ради денег в какой-нибудь солидной компании, наконец, в салонном писательстве — ведь талант всегда талант, к чему бы его ни прилагать, — и получилась бы у него очень полная внешне, очень счастливая и заметная жизнь, могущая принести известность, славу, деньги...

Да, но «светская публика» в жизнь играет. Ей не хватает серьезности. Ее жизнь неестественна. А Экзюпери ищет естественности, правды, простоты. Он никогда не был и не будет впоследствии суровым моралистом, хмурым брови, когда его хвалят, отказывающимся от денег, когда он получит их «слишком много». Он очень сильно будет чувствовать и славу.

и материальное довольство. Так же сильно, как он чувствовал радость жизни, когда избегал гибели. Ему не чуждо ничто человеческое, но он ищет настоящего, полновесного во всех проявлениях жизни. И он уже умеет это выразить.

Духовное беспокойство привело его на Линию. И Линия позволила Антуану утолить «первый голод» души. Да, только первый голод. Раз вступив на путь поисков не смысла жизни, а жизни, Экзюпери не мог уже остановиться и, не отказываясь от пережитого, шел к более высоким открытиям.

Путь к ним вел через дружбу. «Настоящую дружбу нельзя проповедовать, ей учатся в действии», — скажет впоследствии Сент-Экзюпери. На Линии ей учились с самого первого дня, когда под суровым взглядом Дидье Дора молодые летчики вместе с техниками и рабочими налаживали моторы, заделывали пробойны в обшивке. Дружба создавалась в повседневных столкновениях с опасностями.

Согласно порядку, заведенному на Линии начальником эксплуатации Дора, каждый летчик начинал свою службу с полетов на отрезке Тулуза — Барселона. Освоив его, пилот переходил на участок Барселона — Касабланка. И лишь затем, после того как пилот осваивал эту трудную трассу, ему доверяли самый сложный участок: Касабланка — Дакар. Именно здесь подстерегали летчика все опасности сразу: к угрозе аварии добавлялись не только бури, особенно жестокие у африканского побережья, но и угроза быть подстреленным или захваченным в плен кочующими племенами арабов и туарегов.

В первый раз пилот летел по этой трассе пассажиром. Таким пассажиром и был Экзюпери у пилота Ригеля. На втором самолете, нагруженном почтой, летел Гийоме. Ригель, хорошо знавший, что может ждать самолет над побережьем, летел над океаном, все дальше удаляясь от земли. Антуан заметил это, когда земля уже казалась лишь туманной полоской за морщинистой поверхностью воды.

«Что же он удаляется от земли? — подумал Экзюпери. — Хороши мы будем, если откажет мотор...»

И тут же раздался характерный металлический треск. Сломался подшипник. Из мотора повалил дым.

«Вот-вот, так ему и надо», — подумал Экзюпери, забыв на миг, что он пассажир Ригеля.

К счастью, ветер дул в сторону суши и помог пилоту продлить планирование. Дотянули до берега. Весь он был загроможден коническими скалами, удобная площадка была гораздо дальше, чем мог пролететь быстро снижающийся самолет.

Ригель направил машину между скал. Три удара последовали один за другим: оторвалось крыло, затем шасси, разбился мотор. Ригель и его пассажир выбрались из-под обломков. Им повезло: отделались ушибами. Тотчас они заметили самолет Гийоме, летящий зигзагами над берегом. Гийоме разыскивал их. Вскоре он приземлился. Оставив почту под охраной Экзюпери, старшие летчики отправились на поиски жилья. И затем они втроем — друзья, объединенные общей бедой и общими заботами, — выбирались с пустынного берега. Конец происшествия Сент-Экзюпери рассказал в «Земле людей». Оно не было исключительным. Но каждый такой случай укреплял в Антуане «чувство локтя» — сознание прочности связей с людьми, вытекающей из общности дела. И все же совсем не каждый летчик мог быть другом Экзюпери. Он с первых дней был добрым товарищем каждого, но, кроме общности дела, нужны были и особые качества для того, чтобы стать его другом.

Гийоме оказал на Сент-Экзюпери огромное влияние, разлитое по всем книгам писателя. Ведь Антуан с юношеских лет искал человека, который соответствовал бы тому, чего он искал в людях. Сначала смутно, а со временем все яснее Экзюпери понимал, что не сложность натуры, не вычурность поведения составляют основу человеческой ценности. Сент-Экзюпери уподоблял летчика пахарю. Никто другой среди товарищей Антуана по Линии не подходил так под это сравнение, как сын пахаря Гийоме. Антуан видел разных людей, в большей или меньшей степени приближающихся к его идеалу человека. Гийоме был его

живым воплощением. Спокойный, уравновешенный Анри Гийоме, относящийся к грозовой туче так же, как относится крестьянин к участку трудной земли, готовящий свой самолет так же, как пахарь готовит упряжь и плуг, каждым своим жестом, каждой улыбкой, полным отсутствием вражды к людям, ясным и простым намерением созидать радовал Экзюпери, поддерживал в нем веру в правильность его взгляда на естество человека, на его простую и в то же время не желудочную, а духовную природу.

Гийоме был единственным человеком, который дал Сент-Экзюпери больше, чем получил от него. Рафинированный аристократ и сын крестьянина. Воплощенная сложность и естественная простота. Что может быть более разного? И вот человек, чья история жизни — непрерывное искание Истины, и другой, никогда не задумывавшийся, наверное, ни над одной философской проблемой, были связаны на протяжении всей жизни самыми сокровенными чувствами, о которых Антуан не говорил никогда, хотя много и не раз писал о Гийоме. Это было так же сильно и чисто, как первая любовь. И так же глубоко.

Нет, не ум, не единомыслие, даже не ремесло связывали Антуана и Гийоме так прочно. Все это поводы для близости, но не ее источник. Общность идей вряд ли способна создать бескорыстную дружбу. Но истинный ум всегда ведет к простоте и непосредственности.

Так, через социальные барьеры, через все ступени и степени становления духа человеческая сложность Антуана, приведенная к простоте, соединялась с естественной простотой «от земли» Гийоме. Сент-Экзюпери еще не мог осмыслить и выразить всего, что он выразит впоследствии. Но он чувствовал в Гийоме надежный ориентир и всю жизнь держался его. «Когда мне нужно принять важное решение, я спрашиваю себя: а что сделал бы в этом случае Гийоме?» — признавался Экзюпери.

Что можно добавить к этой фразе?

Мы еще не раз встретимся с Гийоме на страницах этой книги, а теперь хочется рассказать о другом

друге Сент-Экзюпери, человеке родственной ему души, но совсем иной судьбы. Этого человека привело в авиацию отчаяние.

Если детские годы Тонио похожи на жизнь сказочного принца, то детство Мермоза — это жизнь, полная лишений. Как и у Тонио, в жизни Мермоза большую роль играет мать. И он испытывает к ней такие же нежные чувства. И, как Тонио, с двенадцати лет, с тех пор, как его отдали учиться в ремесленную школу, он пишет матери письма. Но какие это разные письма! Антуан просит и жалуется. Жан Мермоз никогда не жалуется, а ободряет. Его мать оставила мужа и живет у своих родителей, мелких торговцев, в обстановке жестокой и недоброжелательной. Годы войны разлучили мать с сыном. В 1914—1918 годах он пережил немецкую оккупацию, попал в интернат. Но после войны мать и сын встречаются и решают больше не расставаться. Мать, чтобы порадовать Жана, снимает на Монмартре светлое ателье, и они живут в соседстве с художниками и поэтами. Мать работает сестрой милосердия в больнице, Жан посещает лицей Вольтера и яростно, самозабвенно читает. Рожденный, быть может, для того, чтобы выразить себя в стихах или в живописи, он чувствует, как сильно отстал. И он наверстывает упущенное, набирается знаний, которые доставались Антуану безо всякого труда.

Однако в час, когда Жана Мермоза призывают на военную службу, он, так же как и Антуан, не знает, каким путем следовать, что любить в жизни. До этого часа он, человек совсем не математического склада, пытался поступить в высшую инженерную школу. Он провалился. И не только из-за слабых знаний в математике. Он прям в поведении, и даже сильное желание стать опорой матери не смогло перебороть в нем чувства, что он на ложном пути. Подобно Экзюпери, Мермоз выбрал авиацию, не подозревая, что она станет делом его жизни.

Служба в армии стала для Жана длинной цепью мучительных раздумий. Ведь он был простым рядовым, не защищенным материнской поддержкой, кото-

рую находил Антуан. Его унижали, а он противился унижению. Ему непрерывно напоминали, что он всего лишь рядовой, а он хотел, чтобы в нем видели человека. Он покинул армию без сожалений, имея за плечами шестьсот часов, проведенных в воздухе, прекрасные характеристики и опыт борьбы с пустыней (так как отбывал военную службу в Северной Африке), который Антуан получил много позже.

Те годы, что Экзюпери провел в Париже в неопределенности и тоске по настоящему делу и настоящей жизни, были для безработного Мермоза борьбой за кусок хлеба. Он был бы рад предложить услуги любой авиакомпанией, но отсутствие связей и здесь ставило ему преграды. Подобно Экзюпери, Мермоз перебивается в Париже случайными заработками, но, конечно же, он испытывает при этом несколько иные чувства, чем Антуан. К чести Мермоза, он вовсе не делает из своей голодной жизни главную проблему. Его искания выше приспособленческой морали столь многих выходцев из его мелкобуржуазной среды. Он ищет дела, способного удовлетворить в нем чувство уважения к себе — человеку. Ведь именно на это чувство покушались обстоятельства жизни Мермоза с детских лет. Все складывалось так, чтобы подавить Жана, обезличить его.

А он искал признания своих достоинств, своих знаний, своего умения. Он уже тверд и умеет стоять на своем. Поэтому не удивительно, что после приглашения на Линию в 1925 году Мермоз в первый же день на аэродроме сталкивается с Дидье Дора. При этом столкновении полетели искры.

Оказавшись за штурвалом после долгого перерыва, Мермоз решил показать стальному директору, на что он способен. Он проделал над аэродромом серию головокружительных фигур высшего пилотажа. На земле его встретили словами: «Ну, можешь сворачивать вещички...» Начальник эксплуатации, не удостоив вниманием Мермоза, ушел в ангар.

— В чем дело? — спросил Мермоз.

— Здесь не требуются акробаты. Ступайте в цирк, — последовал ответ.

Дрожащими руками Мермоз сбрасывал с себя шлем, комбинезон, перчатки.

— Значит, уезжаете?.. — услышал он за спиной.

— Да, да! — ответил Мермоз.

— Гм... недисциплинирован... гм... самовлюблен... гм... да... — разобрал Мермоз сквозь кашель Дора.

— Да, да! — крикнул он. — Да, я доволен собой, я хорошо летаю!

— Это вы мне?

— Да, вам, вам, раз вы так говорите...

— Гм... скверный характер... гм... да. Что ж, придется вас дрессировать. Ступайте на взлетную полосу. Полет по прямой на высоте двести метров. Медленная посадка. Крейсерская скорость. Ясно? Крей-серская...

И Дора ушел, зная, что больше к этому летчику не нужно будет придирааться.

Одним из первых Мермоз осваивал участок Касабланка — Дакар. Туда приглашали добровольцев. Маленький отряд этих добровольцев — Розес, Вилль, Гурп, Эрабль, Лекривен, Гийоме, Рейн, Пиво, Дюбурдые — стал отрядом друзей. Мермоз причастился этой дружбы двумя годами раньше Экзюпери. И когда один журналист, совершивший воздушное путешествие вместе с Мермозом, захотел получить от него интервью для своей газеты, он получил вежливый отказ, исполненный чувства настоящего человеческого достоинства. «Позвольте мне отклонить ваше лестное предложение, — писал Мермоз, — это было бы незаслуженной рекламой для меня перед всеми моими товарищами, делающими каждый день то же, что и я... Мы не устанавливаем рекордов, мы не герои длительных рейсов: мы лишь доставляем почту к назначенному месту в назначенный срок...»

Эта скромность и чувство товарищества тем более весомы, что Мермоз с первых же дней выделился среди других летчиков мастерством и упорством. В 1925 году аэроклуб Франции наградил его медалью за самый длительный в году срок, проведенный в воздухе.

Тонкий, впечатлительный, тревожный и твердый,

собранный, упорный (впоследствии он пятьдесят три раза подряд попытается поднять в воздух перегруженный гидросамолет и поднимет его) — таков был второй друг Сент-Экса (как ласково стали звать Антуана товарищи), обретенный им на Линии. Их дальнейшие судьбы на Линии схожи: Антуан будет заменять Мермоза на всех его постах — в пустыне и в Южной Америке. Их восприятие мира — профессиональное и человеческое — станет настолько родственным, что безо всякой натяжки можно сказать: Мермоз был в авиации Антуаном де Сент-Экзюпери, не обладая, однако, его писательским даром и глубиной мысли. Нутром он чувствовал мир в точности так же, как Экзюпери, но, погруженный в непрерывную, многолетнюю борьбу с силами природы, не испытывал потребности выразить свои чувства. Это делал за него Антуан. А Жан Мермоз был первым — и всегда восхищенным — слушателем многих страниц писателя.

Лишь в последние годы их пути разойдутся — и на то есть причины, но и при этом они останутся друзьями.

Между Сент-Эксом и Мермозом не было того молчаливого взаимопонимания, которое роднило Антуана с Анри Гийоме. Их дружба проявлялась в словах, в долгих беседах, когда собеседники открывали друг другу души. Эхо этих бесед прозвучит в первом романе Сент-Экзюпери — «Почта — на Юг».

«Рождество и Новый год я встречу на работе, в полете. Сколько пожеланий я понесу в Испанию и в Касабланку!» — пишет матери Жан Мермоз.

«Я просто рабочий... Я везу в почтовых мешках духовную пищу тридцати тысячам влюбленных...» — так будет думать герой романа Жак Бернис.

Антуан отказался от легкой жизни и пришел на Линию. Мермоз отказался от унижительной жизни и тоже пришел на Линию. Их роднило уважение к личности человека, к его прямым творческим возможностям. Их роднило отвращение ко всему ненастоящему; будь то истребление непокорных арабов, на кото-

рое обрекла бы Мермоза служба в армии, или салонные беседы, угнетавшие Антуана.

По всему миру в те годы двадцатипятилетние парни, ищущие осмысленной жизни, приходили в авиацию и пытались сделать самолет орудием мирной борьбы со стихией. Американские, русские и немецкие парни, французы и англичане, прокладывая воздушные трассы, жили теми же идеалами дружбы, работы, борьбы. Они сами создали эти идеалы, они гордились тем, что осуществляют их. Но пройдут годы, и прежние парни окажутся разделенными убеждениями, партиями, фронтами. Почему так случится? Как можно избежать вражды, продолжая мирное дело?

Вернемся к истории жизни Сент-Экзюпери. Может быть, она поможет нам разобраться в этой мучительной проблеме, не решенной до наших дней.

«ХОЗЯИН ПЕСКОВ»

«Аликанте, 1 января 1927 года.

Ринетта, сейчас два часа ночи. Сегодня во второй половине дня я безо всяких происшествий прилетел сюда из Тулузы. Что за прекрасная погода! Аликанте — самое теплое место в Европе, единственное, где созревают финики. И под этим светлым небом я тоже — почти — созреваю. Я разгуливаю без пальто, изумляясь этой ночи из «Тысячи и одной ночи», этим пальмам, этим теплым звездам и этому морю, такому воздержанному, что его и не слышишь и не видишь, и оно обдувает тебя лишь слегка ветерком.

Выпрыгнув из кабины самолета, я вдруг открыл, как я молод. Мне захотелось растянуться на траве и зевать изо всех сил — это очень приятно — и потягиваться, что не менее приятно. Здешнее солнце дало расцвести самым невнятным моим мечтам. У меня была тысяча причин чувствовать себя счастливым. И у кучеров фиакров — тоже... И у чистильщиков сапог, которые так ласково отделявали их и смеялись, когда все кончено, — тоже. Что за новогодний

день, исполненный обещаний! Какое благо жить сегодня!

Я было поклялся больше вам не писать. Но я только что дал нищему три сигареты — у него был такой радостный вид, что мне очень захотелось как можно дольше запечатлеть на его лице это счастливое выражение, — и я снова почувствовал прилив доброты и снисходительности. И вот я прощаю вам. Да и... я звонил в тот вечер Бертрану, сам не желая признаться себе в своем лицемерии. А вы меня приручили — и я сразу стал таким кротким. Собственно, так приятно дать себя приручить! Но вы мне будете стоить много грустных дней, и я делаю большую ошибку.

Говорю это, Ринетта, без всякой горечи, но все эти вещи имеют для меня куда большее значение, чем для вас. Несправедливо, что за самую обычную грусть я расплачиваюсь какой-то болью. Грусть — это даже мило. Но вы не научились этого понимать.

Ладно. Сейчас я слушаю механическое пианино. Замечательно! И все испанки — оперные героини. Так мне кажется. В этом виновато механическое пианино. Одна из них плачет в дальнем углу. Хотелось бы знать отчего — это единственная плачущая женщина в Аликанте. Пять или шесть успокаивают ее и кричат все вместе. Ну и содом! Но она не хочет понять, что счастлива. Она цепляется за свою красивую печаль.

До свидания, Ринетта. Быть может, по возвращении я застану ваши письма. Я еще погуляю и приобшусь к испанцам. В такую мягкую погоду у всех есть свой секрет, и у всех он тот же. Потому что, встречаясь взглядами, все улыбаются друг другу. А чтобы улыбаться, не обязательно знать и три слова по-испански, вот я и разговариваю...

У меня с собой писчая бумага на тот случай, если бы захотел написать вам еще вечером.

Ну, а если не напишу...

Антуан».

Это «созревание» Антуана ускорено внешними событиями. В новом, 1927 году его назначают в Кап-Джуби начальником аэродрома.

Тут нужно добавить несколько подробностей службы на Линии, чтобы понять, чем было вызвано это назначение. В мае 1925 года Эмиль Лекривен впервые доставил почту из Касабланки в Дакар. Конечный пункт маршрута должен был со временем стать точкой, из которой протянется трасса через Атлантический океан в Южную Америку. Самые храбрые летчики убедились после первых же рейсов над пустыней в особой сложности этого участка. Первые случаи гибели пилотов, захваченных в плен кочевниками, заставили Дидье Дора нанять переводчиков-арабов, которые отныне должны были сопровождать летчика в полете. Теперь летчик, попавший в аварию над районами непокоренных племен, имел шансы остаться живым и быть выкупленным из плена.

Этот новый вид коммерции пришелся по душе кочевникам. Они специально выбирались на берег океана подстергать «руми», летящих на своих неуклюжих и капризных машинах. Машины эти, к слову сказать, почти ничем не отличались от тех, что бросали бомбы на неприятеля в 1916 году. У них был тот же трехсотсильный мотор «Рено» и та же максимальная скорость — 130 километров в час. Район действия был увеличен после установки дополнительных баков с горючим, утяжеливших аппараты. Без радио и навигационных приборов летчик был вынужден летать невысоко над землей, ориентируясь визуально. Без большого преувеличения можно сказать, что преодоление горных цепей требовало от летчика таких же усилий, как и от альпиниста.

Вот на эти машины и выходили охотиться «голубые воины». Нужно было избавить летчика от опасности пленения. Для этого Дора распорядился, чтобы на участке Касабланка — Дакар самолеты летали попарно. Уменьшился риск попасть в плен, почта стала доставляться более регулярно, так как второй пилот в случае аварии забирал и почту и летчика.

И все же затруднения на этой трассе были столь велики, что требовались иные срочные меры. Нужно было укрепить промежуточные пункты — Могадор, Агадир, Кап-Джуби, Вилла-Сиснерос, Порт-Этьенн,

Сен-Луи, — расположенные на этой почти трехтысячекилометровой трассе. Требовались запасные самолеты и летчики, чтобы в случае необходимости немедленно вылететь на поиски пропавшего самолета; требовались опытные механики, способные быстро починить потерпевший аварию самолет; наконец, были нужны оперативные и смелые руководители, способные принимать быстрые решения и энергично действовать.

Одним из первых в Кап-Джуби был послан Мермоз, до этого побывавший уже в плену у арабов и выкупленный за 12 тысяч песет. Но до 1927 года руководство аэродромом не было особой должностью. И вот в октябре этого года радист аэродрома в Касабланке принял лаконичную, как всегда, телеграмму Дидье Дора: «Пилот Сент-Экзюпери назначается начальником аэродрома Кап-Джуби».

Этому назначению сопутствовали и другие соображения, кроме тех, что приведены выше. Линия на Дакар пролегла над территорией, принадлежащей Испании, — Рио-де-Оро. Нельзя сказать, чтобы испанцы встречали здесь французов дружелюбно. Они держались в двух маленьких фортах — Кап-Джуби и Вилла-Сиснерос и не вмешивались в события, происходящие на огромной территории Рио-де-Оро. Они боялись входить в столкновения с кочующими племенами, и пилот, попавший в плен, не мог рассчитывать на помощь со стороны испанской администрации. С другой стороны, испанцы опасались, что существование французской линии на их территории может привести к отторжению Рио-де-Оро.

Для того чтобы получить от Испании разрешение устроить аэродромы в Рио-де-Оро, компании «Латекозр» пришлось преодолеть скрытую конкуренцию Германии, стремившейся взять под свой контроль воздушную связь с Южной Америкой.

В Джуби нужен был человек дипломатичный, способный завоевать симпатии испанской администрации и избежать с ней трений. До последнего времени, к моменту назначения Сент-Экзюпери, губернатором Рио-де-Оро был полковник Бенц, осторожный и любезный человек, не имеющий предубеждения против

французов. Два пилота—Жаладье и Дюбурдье, представлявшие в это время по очереди линию в Кап-Джуби, не имели нужды в дипломатическом обхождении с испанцами. Да они и не были дипломатами.

Но затем губернатором Рио-де-Оро был назначен полковник де ла Пенья, испанский аристократ, человек замкнутый, гордый и преданный своему правительству, настроенному весьма сдержанно по отношению к Линии. Вот тогда-то и подумали, что в Джуби будет на своем месте граф де Сент-Экзюпери, человек знатный и культурный. Полковник де ла Пенья питал слабость к титулам.

И еще одна маленькая подробность. Она касается некоторых особых качеств Экзюпери-пилота, некоторых его слабостей. Если бы товарищей Сент-Экса спросили, хороший ли он пилот, никто не нашел бы в его мастерском и смелом полете недостатков. Обрести дружбу Гийоме или Мермоза в значительной мере означало быть равным им в ремесле. Это означало также любить свое ремесло, как они. И тут не может быть двух мнений: Экзюпери был влюблен в авиацию. Но именно из-за того, что ремесло не могло исчерпать всех интересов молодого летчика, из-за того, что долгие часы одиночества в воздухе были очень удобны для размышлений, он страдал в полете опасной рассеянностью. Он был словно ученик за партой, одновременно прилежный и далекий в мыслях от классного задания.

В воздухе мысли Антуана часто не имели ни малейшего отношения к управлению самолетом. Никто не упрекал его за это, но рассеянность Сент-Экса рождала много забавных происшествий.

Разумеется, эта особенность Сент-Экса-летчика была известна всезнающему Дидье Дора. Если бы она не компенсировалась его достоинствами, Экзюпери должен был бы оставить Линию. И все же на Линии боялись, как бы однажды Сент-Экс не вылетел из кабины в полете при случайном толчке. Такая перспектива сегодня кажется смешной. Однако в то время и на тех самолетах летчики гибли таким образом совсем не редко. И администрация, посылая

Сент-Экзюпери в Кап-Джуби, может быть, тем самым уберегла летчика от преждевременной гибели.

Получив приказ, Сент-Экс собрал вещи в маленький чемоданчик и вылетел в пустыню. Он еще и не предполагал, чем станет для него Сахара, какие прекрасные страницы родит одиночество в пустыне, как научит она его понимать беспомощность и величие человека.

* * *

Кап-Джуби служил одной из десяти промежуточных посадочных площадок между Касабланкой и Дакаром. Это была вторая площадка после Агадира, если лететь от Касабланки. После Джуби промежуточные площадки следовали в таком порядке: Вилла-Сиснерос, Порт-Этьенн, Сен-Луи-дю-Сенегаль.

На самом берегу океана стоял маленький испанский форт, защищенный от волн и от кочевников невысокой стеной. Дальше была пустыня. Крохотный барак из досок, прилепившийся к стене крепости, служил летчикам и жильем и складом.

Старый механик Тото, «сосланный» в Джуби за пьянство, показал Сент-Эксу его «кабинет» и спальню — маленькую комнату с окном, выходящим на океан.

Когда бросаешь взгляд на Кап-Джуби, этот островок жизни кажется самым унылым и безрадостным местом, какое только можно себе представить: местом ссылки, где будет трудиться только раб, потерявший надежду на освобождение.

Население форта — штрафной батальон. Растительность — ни одного деревца. Площадка, на которой расположен форт, обнесена колючей проволокой. Удаляться более чем на триста метров запрещено: может подстрелить «голубой воин». Развлечение: кости, шахматы. Для защиты от воров через дверные ручки в бараке персонала Линии пропущен ток.

Два раза в месяц пароходик с Канарских островов доставляет питьевую воду и припасы. Иногда к стенам крепости приходит из пустыни племя кочевников, и вокруг поселения европейцев вырастают шатры. Становится более шумно, только и всего.

Люди, рожденные песками и живущие в песках, не нарушают их однообразия.

Но, пожалуй, самым страшным в этом далеком от цивилизации месте, как, впрочем, и в других подобных местах, было почти полное отсутствие человеческого общения. Никто не попадал в Кап-Джуби добровольно. Долг службы, наказание — только эти пути вели сюда.

И вот появился человек, наделенный огромной жизненной силой, человек, надежно защищенный от одичания тем, что его желания и его долг совпадали. И если для других обитателей форт был тюрьмой, то Экзюпери принимал свою новую жизнь как жизнь в монастыре, более приспособленную для упражнения в сосредоточенных раздумьях и в труде.

«Дакар — Джуби, 1927 год.

Дорогая мамочка.

Что за монашескую жизнь я здесь веду!..

Полное отрешение от благ. Дощатая постель, тощий соломенный тюфяк, таз, кувшин с водой. Да еще безделушки: пишущая машинка и казенные бумаги. Настоящая монастырская келья!

Самолеты прибывают целую неделю. Затем три дня перерыва. И когда они улетают, я чувствую себя словно насадка, у которой разбежались цыплята. Я тревожусь до тех пор, пока радио не принесет весть об их прибытии в следующий пункт — в тысяче километров отсюда. И каждый миг я готов лететь на поиски пропавшего цыпленка.

В часы приливов море добирается до нас, и, когда по ночам я сажу, облокотившись на подоконник моего окошка с решеткой, оно плещет подо мной, словно я на лодке.

Днем я угощаю шоколадом ораву арабских ребятишек — они хитрые и очаровательные. Я пользуюсь известностью среди ребятишек пустыни. Тут есть точные копии взрослых женщин, они похожи на индусских принцесс и в движениях подражают матерям...

Марабут дает мне уроки арабского. Учусь писать.

Уже немножко получается. Устраиваю приемы вождем. И они приглашают меня за два километра в пустыню на чашку чаю в их шатрах. Сюда не добирался еще ни один испанец. А я заберусь и дальше, ничем не рискуя, так как арабы начинают меня признавать.

Растянувшись на ковре, я смотрю в прорезь шатра на неподвижные пески, на детишек вождя, нагишом играющих под солнцем, на верблюда, лежащего вблизи. Возникает странное впечатление: словно нет ни одиночества, ни отдаленности, а только эта мимолетная игра...

...Я так далек от всякой жизни, что мне кажется, будто я во Франции, у себя, нахожусь в кругу семьи и встречаю старых друзей. Будто я на пикнике в Сен-Рафаэле.

Я приручил хамелеона. Приручать — это здесь моя задача. Мне она подходит — славное слово! Хамелеон похож на допотопное чудовище. На диплодока. У него чрезвычайно медлительные жесты, почти человеческая осторожность. Он погружен в бесконечное созерцание, часами оставаясь неподвижным. Он выглядит так, словно явился из тьмы времен. По вечерам мы с ним вдвоем мечтаем.

Чувствую себя хорошо. Мамочка, ваш сын очень счастлив, он нашел свое призвание».

Так на двадцать седьмом году жизни Антун впервые смог сказать своей матери, а значит, и самому себе, что путь найден. Это было важным открытием, но не единственным. Раз уверовав в правильность избранного пути, Антуан совершает на этом пути одно открытие за другим, и каждое событие, каждое происшествие дает теперь пищу для его ума и сердца.

С прибытием Сент-Экса у испанских офицеров форта появился любезный собеседник и партнер по шахматам, у трех техников — внимательный и требовательный начальник с такой способностью к общению, что они и не чувствовали себя подчиненными. Летчики встречали теперь в Кап-Джуби столь радушный прием, что при каждой возможности стремились провести свободные часы в обществе Сент-Экса.

Кочевники-арабы, которых летчики Линии считали разбойниками, готовыми в любой момент всадить пулю в мотор самолета, постепенно проникались доверием к «руми». Этот европеец, летающий на ненавистных арабам самолетах, оказался другом, способным входить в сложные взаимоотношения между племенами. Он понимал их дела, проблемы, ссоры и относился к ним с полной серьезностью. Удивленные арабы разнесли по Сахаре весть о том, что в Джуби появился белый мудрец, чуть ли не пророк. И отныне старые вожди являлись к форту, чтобы посоветоваться с мудрым «руми», на ком женить сына, объявлять ли войну соседнему племени.

Первый же рапорт, который Сент-Экс отправил в дирекцию Линии, убедительно говорил о том, что начальник аэродрома оказался на своем месте. Общась со всеми, кто жил в Джуби и в окрестностях, Сент-Экс извлек из своих наблюдений ясное представление о силах, мешающих Линии осуществлять свою задачу — доставку почты. И так как ничто не могло изменить ни бессильного недоброжелательства испанцев, ни характера кочевников, ненавидящих европейцев и ищущих в общении с ними лишь выгод, Сент-Эксу оставалось одно — «приручать».

Однажды пилоты Ригель и Дюмениль летели к Джуби. В тридцати пяти километрах от аэродрома Ригель совершил вынужденную посадку. Дюмениль подобрал товарища, и они явились к Сент-Эксу.

— Еще одно такси пошло к чертям! Мотор разрушен. Исправить невозможно. А чтобы доставить туда другой мотор, нужно построить сначала железную дорогу!

Всю ночь Сент-Экс размышлял. В принципе чинить аппараты, находящиеся в районе враждебно настроенных кочевников, было запрещено. С другой стороны, все-таки обидно бросать машину так недалеко от аэродрома. Но как доставить через пески пятисоткилограммовый мотор?

Наутро он призвал механиков и объяснил им свой проект: нужно соорудить платформу, способную вы-

держат тяжесть мотора. Верблюдов и охрану он найдет сам.

Закутавшись в одеяние, похожее на арабский бурнус, Сент-Экс торжественно отправился к вождю племени, раскинувшего лагерь неподалеку от форта. Он начал издали. Потом спросил осторожно: не хотят ли воины Изаргина помочь ему в беде?

Ему ответили отказом. Племя боялось столкновения с враждебными соседями — племенем Аит-Усса.

— Ну, а ты не боишься Аит-Усса, храбрый Зин Ульд Рхаттари? — спросил Сент-Экс молодого вождя, знаменитого среди арабов своей доблестью. Молодой воин согласился.

На пути следования каравана появлялись «голубые воины». Они кричали Зину:

— Ты водишься с «руми» и надеешься, что мы тебя пропустим?

Ночью Сент-Экс проснулся оттого, что его подняли на руки. Он хотел крикнуть, но ему крепко зажали рот. Настигаемый враждебным племенем, караван бесшумно снялся со стоянки и направился к поврежденной машине. Сент-Экс так и не узнал, от какой опасности его спасли воины Зина.

Наутро караван догнал посланник губернатора.

«К моему глубокому сожалению, — писал полковник де ла Пенья, — вынужден приказать вам вернуться в крепость, так как в окрестностях появился отряд враждебно настроенных воинов».

Узнав о содержании приказа, не дожидаясь решения, сопровождавшие Антуана воины повернули вспять.

— Что это значит? — крикнул Сент-Экс. — Кто здесь командует?

Воины, не оборачиваясь, продолжали свой путь.

— Поздравляю тебя! — сказал Сент-Экс Зину. — Ты и твои воины убегаете, даже не увидев врага! Вам достаточно услышать о нем!

Зин задрожал от оскорбления, но смолчал.

— Мне нужно было пригласить женщин! — сказал Сент-Экс. — Мы были бы лучше защищены!

И лишь после этого вождь приказал своим вои-

нам вернуться. Но как только караван достиг самолета, Зин заявил:

— Мы выполнили нашу работу. Мы уходим.

Следом за войнами потянулись кочевники, нанятые как рабочие.

— Жаль, жаль, — сказал им Сент-Экс. — Значит, вы напрасно проделали этот опасный путь? Ведь я обещал платить за работу, а не за прогулку.

Рабочие остались. Убедившись в этом издали, решив, что нельзя же уступать в храбрости безоружным рабочим, вернулись и воины Зина.

Когда Сент-Экс и механик Маршаль сняли испорченный мотор, над головами людей пролетел самолет с испанскими опознавательными знаками. Он описал круг на бреющем полете и сбросил вымпел. Тотчас же воины окружили Сент-Экса, заглядывая в бумагу.

— Читайте, — сказал он, улыбаясь. — Губернатор поздравляет нас с благополучным прибытием к месту и желает удачи.

Воины передавали бумагу из рук в руки, понемногу успокаиваясь. Никто из них не умел читать.

Депеша губернатора гласила: «Господин де Сент-Экзюпери, предписываю немедленно вернуться. Отряд враждебных кочевников окружает вас».

— За работу! — приказал Сент-Экс.

В полдень Зин пригласил его к своей стоянке и предложил чаю.

— Ты обещал нам четыре тысячи франков... Это немного. Если хочешь, чтобы мы остались, надо прибавить еще столько же.

— Хорошо, идите. Вы не получите ничего, — последовал ответ.

Сент-Экс вернулся к самолету и объявил рабочим:

— Воины хотят уходить. Они ничего не получают. Их плату получите вы.

Воины, конечно, остались.

В самый разгар работы послышался выстрел. Просвистела пуля. Рабочие распростерлись на песке.

Над лежащими выросла высокая фигура Сент-Экса.

— Что же вы? — крикнул он. — Вы не воины, вас

это не касается. Продолжайте свою работу, и пусть войны делают свою!

Под звуки перестрелки, сквозь которую слышались завывания нападающих, рабочие соорудили дорожку с трамплином для разбега. Когда Маршалль закрепил четвертый болт, фонтанчики песка поднимались вокруг с частотой дождя.

Наконец самолет с мотором, держащимся на четырех болтах, поднялся в воздух.

Да, наверное, «приручить» кочевников было труднее, чем лисенка-фенека, хотя тот и кусался и рычал, как лев. Эти люди принадлежали к другой цивилизации, со своими порядками, законами, представлениями о человеческих отношениях. Захватив, например, в плен беглого сержанта, они решили, что тот очень значительная персона, и хотели получить за него от «руми» миллион ружей, миллион песет и миллион верблюдов... Они убили двух летчиков, потерпевших аварию в песках, и после этого искали убежища у своего испанского властителя...

И, конечно, Сент-Экс, покупая у кочевников их раба негра Барка, чтобы вернуть ему свободу, чувствовал душевное превосходство перед ними, превосходство человека, рожденного его цивилизацией: ведь даже аэродромные техники отдали бывшему рабу свои сбережения. Они тоже презирали рабство.

Но мало чувствовать превосходство над отсталым племенем. Проникая все глубже в переменчивые души кочевников, в их обряды, обычаи, законы, Экзюпери учился понимать, что эти люди, ставшие жестокими и корыстными взрослыми детьми, некогда создали высокую цивилизацию, проникнутую духовным единством, и что угасание этой цивилизации, при котором он присутствует, не означает человеческого вырождения; человек в этих людях не умер — он спит. И фантастические поступки «голубых воинов», их суждения, их обычаи напоминают сны.

Среди снов есть и такие, что заставляют культурного европейца задуматься над своей цивилизацией. Старый вождь Муян, некогда подчинявшийся французам, признается: «Я буду стрелять в тебя, если

встречу далеко от форта». Нет, он не станет унижаться торговлей с «руми», хотя за белого каида можно получить много денег. «У тебя, — говорит он, — самолеты и радио, но у тебя нет истины. На что тебе твои самолеты и твое радио, если у тебя нет истины?»

И в самом деле: самолеты совершенствовались. Новая модель Латекоэра — «Лате-25» — поднимала в воздух четырех пассажиров и пилота с радистом. Компания «Аэропосталь» все лучше оборудовала свои аэродромы. Теперь самолет мог пролететь без посадки пять тысяч километров, поддерживая связь с землей. И вот однажды Сент-Экс был разбужен посреди ночи шумом мотора. Вскочив с постели, он кинулся зажигать сигнальные огни.

При свете прожекторов он узнал в пилоте Рейна — одного из пионеров Линии.

— Как ты здесь очутился? — спросил Сент-Экс. — И почему нас не предупредили по радио? Тебе повезло, что ты не свернул шею. У нас две недели подряд у земли держался туман. Только сегодня поднялся.

Тут Сент-Экс увидел инспектора Х., выходящего из кабины.

— В Агадире луна, — сказал инспектор, — вот я и решил лететь, а заодно попробовать ночной полет.

— Вам просто повезло, — повторил Сент-Экс. — Вы ведь не знали, какая погода здесь...

Инспектор Х., исполненный сознания собственной власти, совершенно не разбирался в летном деле.

— Господин Серр (это был прилетевший вместе с ним инженер по радиосвязи) с летчиком продолжат полет в Сиснерос, — распорядился инспектор.

— Но Сиснерос невозможно предупредить, — возразил Сент-Экс. — Там считают, что самолет в Агадире.

Инспектор только пожал плечами.

Не успели Рейн и Серр поужинать, как на пороге появился инспектор.

— Самолет заправлен. Вам пора.

Ранним утром, когда инспектор крепко спал, Сент-

Экс кинулся к радиопередатчику. В этот час работали все станции Линии.

— Запросите Сиснерос о прибытии Рейна и Серра.

— Там их нет, — сказал радист.

— Запросите Порт-Этьенн...

— Они ничего не знают.

— Сен-Луи?

— Тоже ничего.

— Какая погода в Сиснеросе?

— Туман на земле.

— У них запас горючего на семь часов. Будем ждать, — решил Сент-Экс.

К десяти утра стало ясно, что Рейн уже не в воздухе. Сент-Экс отправился на поиски, которые ничего не дали. Вернувшись, он собрал достаточно надежных кочевников и разослал их к разным племенам, чтобы попытаться выяснить судьбу Рейна и Серра. Две недели подряд летчики со всех аэродромов побережья разыскивали пропавших. Через некоторое время стало известно, что Рейн и Серр — пленники Рибата. Племя запросило огромный выкуп.

Два месяца летчик и инженер провели в плену на положении рабов, прежде чем удалось их выкупить.

Так ни современный самолет, ни радио не смогли быть полезными людям из-за одного-единственного инспектора и его вздорных распоряжений. Большое человеческое дело, которому Сент-Экс вместе с другими летчиками, техниками, радистами отдавал все силы, в которое он верил, теряло смысл из-за того, что всеми этими людьми распоряжался невежественный инспектор, умеющий только командовать. И этот инспектор Х. тоже принадлежал к более высокой и более живой цивилизации, люди которой презирают рабство!..

Каждый день Сент-Экс поднимался в воздух на одном из самолетов аэродрома и улетал на несколько часов в глубь Сахары. Это входило в его обязанности: климат пустыни на берегу океана днем напоминал раскаленную печь, а ночью — болото. Испарения оседали в холодном воздухе ночи, образуя густой туман. Влага проникала в моторы самолетов, и, чтобы

они не ржавели, необходимо было заставлять их работать.

Часы, проведенные над пустыней в одиночестве, были часами самой напряженной жизни Сент-Экзюпери. Пролетая над неприступными плато, где веками лежали в покое камни, упавшие с неба, над неподвижными косыми волнами песков, над развалинами древних городов и крепостей, чьи очертания проступали сквозь пески, он погружался в глубокое созерцание. Все, что он видел и слышал, что он чувствовал, с чем сталкивался в жизни, вставало в памяти длинной цепью вопросов. Один на один с небом и землей человек пытался решить эти вопросы, обрести ясность сознания и веру в правильность хода жизни.

Все, что осталось позади, и то, чем жил он теперь, представляло клубок мучительных противоречий. Экзюпери уже догадывался, что именно столкновение с противоречиями жизни оказывается для многих непреодолимым барьером. Их сознание, неспособное охватить жизнь целиком, после долгих блужданий останавливается на нескольких узких правилах, на нескольких привычках, и люди держатся за свои маленькие однобокие истины изо всех сил, воюют за них против других маленьких однобоких истин, поступают большими истинами ради сохранения своей, личной.

Ведь и сам Антуан, определив свой путь, готов был поверить, что именно он прав в своем поведении, и упрощенная конструкция мира, делимого на бескрылых мещан и людей, вдохновленных трудовым подвигом, совсем недавно могла его удовлетворять. Но теперь, сталкиваясь с новыми и неожиданными явлениями, он предчувствовал уже в себе иной мир, в котором контрасты черного и белого не являлись непреодолимыми.

Под спокойное гудение мотора он перебирал в памяти все пережитое: счастливое детство, полное непосредственной радости жизни, сменяется тревожной юностью, мучительное беспокойство которой так резко отличается от детской радости. Отчего человеку так больно расти? Может быть, оттого, что привычки окружающих, стиль жизни, в которой играет главную

роль стремление к удобству, к благам, тянут молодую душу назад, заражают ее эгоизмом, тщеславием, собственничеством? И живая душа, противясь ветхости привычного окружения, причиняет сознанию боль... Может быть, бесчисленные мертвые знания, которые вкладывают учителя в юношу и подростка, никогда не смогут заменить духовной пищи, так необходимой неокрепшей душе? Человеку, когда он растет, важно выразить себя, понять свое беспокойство и вернуть утраченную радость. А для этого нужно выработать стиль жизни и не загружать душу мертвым грузом школьной мудрости.

Затем начинается знакомство с миром причин и следствий, в котором люди поступают не так, как они хотят, а как их к тому вынуждают обстоятельства. Этих людей, связанных с жизнью простой необходимостью продолжать существование, в мире большинство. Их не волнуют проблемы духа, их истина — выжить в мире, где никто о них не думает, где они никому не нужны.

И рядом с этим — товарищество смелых людей, нашедших смысл жизни в непосредственной борьбе с природой, один на один. Только среди них вернул Экзюпери утраченную радость общности с людьми, но для того, чтобы ее достигнуть, понадобилось порвать все связи со средой, в которой он рос. Он обрел товарищей, обрел дело, способное его удовлетворить, но где-то за пределами всего этого осталась подавленная в памяти неразделенная любовь, остался дом детства, населенный близкими людьми, которых хочется видеть, слышать.

И летчик неожиданно обнаруживал, что вовсе не обязательно видеть и слышать каждый день дорогих сердцу людей, вовсе не важно, близко они или далеко. Достаточно закрыть глаза, и библейская ночь пустыни наполняется видениями далекого дома, в который можно вернуться. Среди кочевников-пиратов, живущих жаждой добычи, среди монотонной казарменной жизни, среди офицеров, убивающих время за бриджем и шахматами, Антуан открывал в себе безграничные возможности жизни, любви. И мир при-

чин и следствий с его противоречиями, раздорами, враждой переставал для него существовать, и весь он был поглощен невидимой жизнью человеческого духа.

Возвращаясь из своих одиноких прогулок, Сент-Экс был снова готов отправиться на поиски пропавшего пилота, на беседы с вождями кочевников, растерявшими в песках и столетиях прежнее величие.

Что же касается самодовольных инспекторов, считающих, что без них, без их приказов остановилась бы жизнь, — пусть они, думалось ему, пребывают в своей напыщенной бедности, в страшном духовном одиночестве. Они выражают себя в приказах, Сент-Экзюпери выразит себя в своих книгах. И как мало останется приверженцев у чиновников, как много друзей появится у писателя!

Он работает вечерами, исписывая страницы своим тонким отчетливым почерком. Он торопится: слишком надолго затянулось его открытие мира — первая книга. Он начал ее пять лет назад. Его мысль подгоняют новые образы, новые открытия, сделанные в пустыне. Он торопится записать первые впечатления человека, только что осознавшего себя, первую картину жизни, увиденную собственными глазами.

Иногда в тихие вечерние часы на пороге комнаты Сент-Экса появляется прилетевший Жан Мермоз. На его плече обезьяна, следом за ним просовывает в дверь свою нежную мордочку газель, которую Жан приручил. И всю ночь два молодых человека, горящих той же любовью к жизни, теми же пристрастиями, проводят в разговорах о жизни, о поэзии, о любви.

Сент-Экс хватает исписанные листки и проверяет впечатление Мермоза. Так ли получилось? Это ли чувствует пилот? Правильно я понял?

— Да, правильно, — отвечает Мермоз, зараженный вдохновением Сент-Экса. — Да, верно. Все происходит именно так. — И он смотрит влюбленными глазами на своего чудесного товарища с такой богатой душой.

Сент-Экзюпери провел в Кап-Джуби восемнадцать месяцев. И с каждым месяцем тоска по дому, проти-

воречивые чувства, рожденные добровольным затворничеством, утихали, а любовь к пустыне росла.

Его письма к матери этой поры совсем не похожи по тону на более ранние. Если в юности он жаловался на холод в комнате, а позже неловко пытался успокоить мать относительно своего состояния и положения дел в Париже, то теперь мужественная интонация писем не вызывает никаких сомнений в искренности. Конечно же, он хочет домой, хочет повидать мать, прежних друзей.

«Джуби, 1928 год.

Дорогая мамочка.

За последнее время мы тут проделали замечательные вещи: разыскивали потерявшихся товарищей, выручали самолеты и т. п. и т. п. Я никогда так часто не приземлялся и не проводил ночи в Сахаре и никогда так часто не слышал, как свистят пули.

Я все же надеюсь вернуться в сентябре, но один мой товарищ в плену, а мой долг — остаться, пока он в опасности. Быть может, я еще на что-нибудь пригожусь.

А между тем, подчас я мечтаю о жизни со скатертью, с фруктами, с прогулками под липами, возможно, с женой, о жизни, в которой при встрече любезно здороваются с людьми, вместо того чтобы стрелять, о жизни, где не блуждают в тумане на скорости двести километров в час и где ходят по белому гравию, а не по бесконечным пескам.

Все это так далеко!

Нежно целую вас.

Антуан».

В действительности в плен к арабам попали двое. Рейн и Серр. Сент-Экс пустился на рискованное предприятие. Тайком от испанцев он попытается выкрасть своих товарищей. Несмотря на всю изобретательность Антуана и проявленное им при этом мужество, его попытка не удалась. Зато переговоры «хозяина пустыни», как Сент-Экса прозвали арабы, хотя и были длительными, но завершились полным успехом.

Двадцатичетырехлетний незадачливый торговый агент, «блудный сын», на которого уже махнули рукой знатные родственники, кандидат в «оболваненные пижоны с перспективой игры в бридж и разговоров об автомобилях вместо духовной жизни» писал матери во время своего пребывания в Монлюсоне: «Ищите меня в том, что я пишу».

А тогда он не написал еще и десяти страниц, представляющих объективный интерес. И все же он просил своего самого большого друга — мать — верить ему, что внутренняя жизнь — единственное, что имеет для него ценность.

Чем человек духовно богаче, тем он сложнее и тем труднее ему втиснуть душу в простое дело, даже если ему кажется, что он об этом только и мечтал, что в этом его жизнь. Душа не влезает, не умещается.

Антуан пришел в авиацию по внутреннему зову, и он был, наконец, счастлив. Но ремесло летчика, несмотря на всю его сложность и на удовлетворение, которое давало ему преодоление всех сложностей ремесла, не только не убило в нем писателя, а, наоборот, явилось той благодатной почвой, на которой развивается и крепнет его большое дарование.

В начале 1927 года, когда Антуан начинает только совершать свои первые полеты над пустыней, он пишет Ринетте:

«Касабланка, 3 января 1927 года.

Еще только час ночи. Я вылетаю через пять часов, но мне не спится. И все же, как примерный мальчик, я лежу в постели.

Мне кажется, приятно будет вам написать. Думается, в этот час вы уже спите, могу, значит, рассказать вам все, что мне приходит на ум.

На дворе буря. Ветер с чудовищной быстротой хлопает моими ставнями. Это сигналы Морзе или позывные каких-то духов. Пытаюсь расшифровать их, но это мне не удается. А ведь так хотелось бы понять их язык!



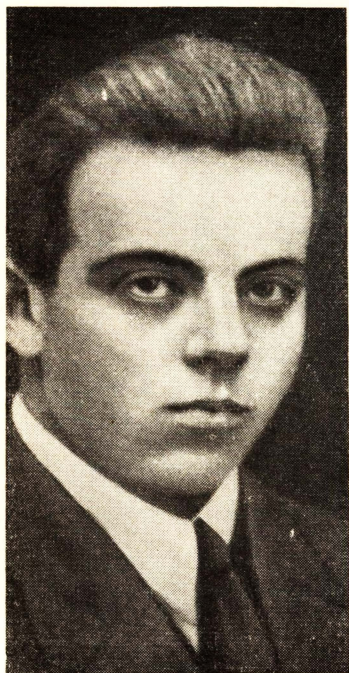
Антуану 7 лет.

Антуан (справа) на
детском празднике.

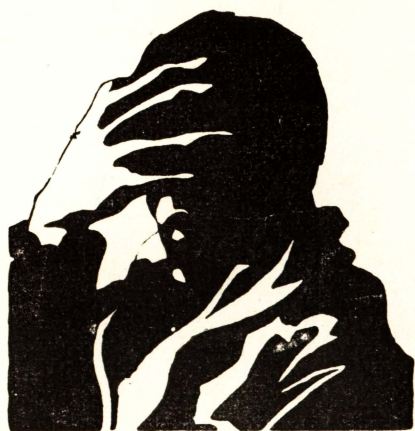


Замок Сен-Морис де Реманс и «старый парк с черными елями
и липами, со старой усадьбой, которую я так любил».





Антуану 17 лет



Автопортрет тушью
(1917—1918 гг.)

Снизу, из спящего города, доносятся скорбные гудки редких такси. Не нравятся мне и эти шаги на улице. Все, что настораживает меня, рождает беспокойство. А ведь я мог бы чувствовать себя таким счастливым!

У меня прекрасная комната. Жалко только, что я поставил свои туфли на стол. Это портит весь вид.

Ринетта, по ночам я совсем другой. Лежа на кровати с открытыми глазами, я испытываю тревогу, тоску. Мне не нравится, что ожидается туман. Не хочу завтра свернуть себе шею. Мир, конечно, мало что потеряет, а я — все. Подумать только, как много у меня и друзей, и воспоминаний, и солнца... И еще этот арабский ковер, который я сегодня купил: он превращает меня в собственника — меня, такого легкого, такого бесребренного.

Ринетта, один из моих товарищей ожег себе руки. Не хочу, чтобы мои руки были обожжены. Я смотрю на них и люблю их. Они умеют писать, зашнуровывать ботинки, импровизировать оперы. Вы не любите их, но меня они умиляют. Ведь на это понадобилось двадцать лет упражнений. А иногда они заключают в плен лица. Одно лицо...

Ринетта, этим вечером я встревожен, как заяц, мне что-то не по душе эта дакарская история. Здесь говорят: «Там брожение. Пилота, который попадет в аварию, убьют кочевники». «Убьют кочевники»... Не хочу, чтобы эту фразу бормотала ночь. Ночью все мне кажется таким хрупким. И то, что связывает меня со всеми, кого я люблю. Кто спит. Я тревожнее сиделки, когда я бодрствую в постели по ночам. Когда я их охраняю. Я так плохо стерегу все мои сокровища.

Я глуп. Днем все просто. Ведь я очень люблю полеты и риск. Люблю это днем, но не ночью. Ночью я неженка и жалею самого себя.

И еще я должен вам рассказать кое-что грустное. У меня был милейший приятель. Он умер три месяца тому назад в Танжере. Я проделал в Танжер довольно странное паломничество. Я искал его. Мне пришлось в голову обратиться к фифочкам — завсегда

бара. Он был милейший парень, они должны были его любить.

Ринетта, они его не уберегли. Они не остались ему верны и дали рассеяться всем драгоценным воспоминаниям. А между тем искать его надо было именно там. Это был самый верный путь. Ведь человек отдает от себя то, что может и кому может. А семья у него была — сплошь дураки. Но фифочки не всегда знают цену тому, что человек иногда им отдает. И то, что у него было самого очаровательного и самого душевного, они украли у него, не выражая никакого восхищения.

Ринетта, старина, я ничего не понимаю в жизни.

Я должен все же покинуть вас. Эти туфли на столе меня раздражают — потушу свет.

Антуан».

Заботы и опасности ремесла, поглощающие Антуана днем, не могут захватить его целиком. Это Дидье Дора, живущий исключительно делами Линии, может помнить и во сне, на кого нужно наложить штраф за неправильную посадку, кто просит шины или когда прибыл самолет из Аликанте.

Литературные впечатления Сент-Экзюпери, связанные с его ремеслом, формируются в его сознании днем, во время размышления в полете — ночь напоминает ему о необъятности мира, о необъятности жизни. Мир, жизнь невозможно познать сполна в действии, охватить их можно только в незримом полете чувств.

День и ночь. День, дробящий человека, отделяющий душу от ума, поступки от желаний, и ночь, когда человек может воссоединить себя, подняться над дневными заботами, собрать воедино свои разрозненные впечатления. Эта мысль, этот образ еще только зарождаются. Сент-Экзюпери выразит это гораздо позже в «Военном летчике».

В период, о котором идет речь, основное для Антуана — это почувствовать себя «честным и добросовестным» наедине с самим собой. Потребность в самоутверждении привела его на Линию, а ремесло,

объединяющее людей, стало главным источником поэтического вдохновения.

В приведенном выше письме к Ринетте привлекает внимание еще одна деталь: «Днем все просто. Ведь я очень люблю полеты и риск. Люблю это днем, но не ночью...»

Да, такие мысли были свойственны Антуану в первый период его работы на Линии. И они получили свое отражение в первых его произведениях. Но уже к концу пребывания в Кап-Джуби в голосе его зазвучат другие нотки. После случая с самолетом Ригеля, о котором уже было рассказано в предыдущей главе, Сент-Экс пишет Ивонне де Лестранж:

«...Впервые я слышал свист пуль над моей головой. Наконец-то я знаю, чего стою в таких обстоятельствах: я куда невозмутимее арабов...»

Но я понял также и то, что всегда меня удивляло: почему Платон ставит мужество на последнее место среди добродетелей. Да, мужество состоит не из очень красивых чувств: немного ярости, немного тщеславия, значительная доля упрямства и пошленькое спортивное удовлетворение... Никогда уже я не буду восхищаться человеком, который проявит одно только мужество...»

Конечно, желание быть «честным и добросовестным» с самим собой приводит Антуана к крайностям и преувеличениям, но это честные крайности, добросовестные преувеличения. Все его письма и произведения продолжают этот начатый разговор с самим собой: собственно, он-то и заставил молодого Сент-Экзюпери взяться за перо.

Мы вправе оценивать поступки Сент-Экзюпери, прилагая к нему понятия «доблесть», «мужество», «широта души», «человеколюбие». Мы можем уже в этот незрелый период его жизни назвать его поведение своеобразным рыцарством XX века. Однако все определения беспомощны и не нужны, когда тот, к кому прилагаются все эти эпитеты, может выразить себя сам. В этом большое счастье не только для него, но и для нас.

Два года, проведенные на Линии, подобны в жиз-

ни Сент-Экзюпери завершающим движениям пальцев скульптора: эта жизнь, снимаемая лишнюю глину, вылепила из него летчика, человека и писателя.

«Бегство Жака Берниса», незаконченная повесть, которой Антуан определил свой будущий путь; новелла «Авиатор», извлеченная из нее и напечатанная накануне поступления Сент-Экзюпери в компанию «Латекоэр»; наконец, одиночество вечеров, проведенных над бумагой в Кап-Джуби, — из всего этого родился первый роман «Почта — на Юг». Мы знаем, что особенные трудности писатель испытывал, работая над композицией своей книги. Не знал он и как ее назвать. Однажды на мешках с почтой, которую грузили в самолет, отправлявшийся в Дакар, он увидел надпись: «Почта — на Юг». Вопрос о названии романа был решен.

С композицией справиться оказалось куда труднее... Но нас интересует здесь не литературная, а человеческая сторона Сент-Экзюпери-писателя. И если мы иногда вскользь и упомянем о некоторых наиболее характерных для него качествах, то в основном памятуя бессмертное изречение Бюффона: «Стиль — это человек». Такой взгляд на творчество Сент-Экзюпери здесь особенно уместен. Опять и опять вспоминается: «Ищите меня в том, что я пишу».

Сто семьдесят страничек, на которых каждая буква начертана отдельно, словно писатель взвешивал ее, прежде чем занести на бумагу, это итог пятилетних усилий молодого писателя разобраться в себе, усилий, приводящих, по выражению самого Сент-Экзюпери, слова в полное соответствие с мыслями.

В письме матери Антуан пишет:

«Джуби, декабрь 1927 года.

Дорогая мамочка!

Чувствую себя хорошо. Жизнь у меня не сложная и дает мало пищи для рассказов. Впрочем, наступило некоторое оживление, потому что здешние арабы опасаются нападения других арабских племен, и у нас готовятся к войне. Сам форт волнуется не более, чем благодушный лев, но по ночам каждые пять минут

пускают ракеты, которые театральным светом озаряют пустыню. Все это кончится, как и все такие большие арабские волнения, уводом четырех верблюдов и похищением трех женщин.

Мы используем на нашем аэродроме в качестве рабочих нескольких арабов и одного раба. Этот несчастный — негр, которого четыре года тому назад похитили в Марракеше, где у него жена и дети. Поскольку испанцы не борются здесь с рабством, он работает на араба, который его купил, и каждую неделю отдает ему свою зарплату. Когда он уже не сможет больше работать, ему дадут издохнуть — таков обычай. Мы находимся в районе непокоренных племен, и испанцы бессильны что-нибудь изменить. Я с радостью посадил бы его на самолет, летящий в Агадир, но нас всех здесь перебьют. Раб этот стоит 2000 франков. Быть может, вы знаете кого-нибудь, кто возмутится, узнав об этом, и пошлет мне необходимые для выкупа деньги. Я отослал бы этого негра к его жене и детям. Это такой славный и такой несчастный человек.

Хотелось бы провести с вами рождество в Агее. Агей для меня — олицетворение счастья. Я, правда, иногда немного там скучаю, но так скучаешь от окружающего тебя постоянного неизменного счастья. Если я полечу на следующей неделе в Касабланку, что не исключено, то выберу для детишек коврики «заям» самой нежной расцветки. Кажется, им это очень нужно.

День сегодня сумрачный. Море, небо, песок сливаются. Пустынный ландшафт первичного периода. Иногда какая-нибудь морская птица издает пронзительный крик — и удивляешься этому проявлению жизни. Вчера я купался. И еще я поработал грузчиком. К нам прибыл пароходом тук в 2000 кило. Нелегко было доставить его через бар и выгрузить на пляж. Я командовал баркасом такой же величины, как баржа-прачечная, и с уверенностью, достойной бывшего кандидата в Высшее морское училище. Меня немножко укачало — мы делали чуть ли не мертвые петли.

Я ни в чем не нуждаюсь. Поистине у меня монашеские наклонности. Я пою чаем арабов и сам хожу к ним пить чай. Пописываю. Я начал работать над одной книгой. Уже написал шесть строк. Не бог весть сколько, но уже что-то.

Сегодня вечером сочельник. В песках это никак не отражается. Время течет здесь, не оставляя никаких видимых примет. Удивительный все же способ прожигать свою жизнь в этом мире.

Нежно целую вас.

Ваш почтительный сын Антуан».

Как видно из этого письма, Антуан, едва освоившись с новой обстановкой, начинает работать над своей книгой. Но для него это не новая книга, а уже давно выношенная. Правда, он имеет мужество начать все сначала.

Мы знаем, как шепетилен был Антуан в проявлении своих чувств. Несчастливая любовь, пережитая им в Париже, — одно из первых мучительных впечатлений жизни. И, как многим молодым авторам, ему надо было освободиться от этого груза, выговориться. А сделать он это мог только наедине с бумагой. Ему предстояло сделать общим достоянием самые сокровенные переживания. И вот писатель пускается на хитрость: он отдает свою любовь, свои мысли третьему лицу, сам как бы оставаясь в романе наблюдателем, рассказчиком.

Достаточно начать читать роман, чтобы увидеть в двух героях одного, расколотого надвое: так Сент-Экзюпери совмещает откровенность исповеди с попыткой защитить от читателей обнаженную душу. Скрытая откровенность!

Следует добавить, что в процессе работы над книгой горизонт Сент-Экзюпери сильно расширился; с приближением к душевной зрелости чувствуется, как он идет вперед гигантскими шагами. В зависимости от обстоятельств два дня подчас могут разделять в душе человека этапы его становления, на которые прежде требовались годы.

Из письма к матери, написанного уже много месяцев спустя, узнаем, как Антуан продвинулся в своей работе:

«Джуби, 1928 год.

Дорогая мамочка.

Чувствую себя сносно. Мне попросту на будущий год, вероятно, нужен будет небольшой курс лечения в Эксе. А так все то же однообразное солнце над вечно волнующимся морем, океан всегда спокоен.

Читаю немного и решил писать книгу. Написал уже страниц сто и очень запутался с композицией. Мне хочется всунуть в книгу слишком много вещей и с разных точек зрения. Я все спрашиваю себя, что бы вы сказали о моей рукописи.

Если мне удастся месяца через два-три провести несколько дней во Франции, покажу ее Андре Жиду или Рамону Фернандесу.

Я начал нащупывать почву с испанцами насчет инспекционной поездки в Марокко, в повстанческий район. Поначалу, чтобы не отпугнуть их, я заговорил об охоте в тамошних местах. Затем уже я попробую добиться большего. Нужно не спешить и проявить много дипломатии. С другой стороны, не знаю еще, как сейчас к этому отнесется моя компания. Раньше она смотрела на это положительно. Так или иначе — придется подождать с этим по меньшей мере с месяц, так как неподалеку идет война.

С грустью мечтаю о Сен-Морисе и об Агее, хотя, по правде говоря, море мне начинает надоедать. И я соскучился по всей мягкости Франции.

Целую вас столь же нежно, как и люблю.

Ваш почтительный сын Антуан».

Написано уже сто страниц. И летчик-рассказчик, предостерегающий своего друга от заблуждений любви, — это тот же летчик, но более зрелый. Два человека в одном совершают поступки и разговаривают о любви, но если их мысли и чувства различны, то окружающий мир они созерцают одними глазами и видят так, как никто до них этот мир не видел.

Невольно приходят на ум слова автора: «Нужно учиться не писать, а видеть».

И второе: впервые мы находим в романе такое сочетание поэтических раздумий и действия. Они совершенно органичны и неотделимы друг от друга.

Впечатление поэтичности еще усиливается мускулистостью, собранностью фраз. Не будь этого, Сент-Экзюпери можно было бы упрекнуть в некоторой вычурности и даже выпренности. Но это поэзия в прозе: все подчинено внутреннему ритму. А ритм этот — бьющая через край жизненная сила.

Многое на первый взгляд сближает Сент-Экзюпери с Мальро и молодым Монтерланом. Но тут же и вырисовывается основная разница. У Сент-Экзюпери гораздо меньше романтизма. Он настраивает воображение на действие, а не на риск и приключение. Во главу угла он ставит самоотверженность, а не нелепую смерть. Все это уже вполне ощутимо в первой же книге писателя, несмотря на налет пессимизма — следствие некоторых преувеличений, свойственных молодости, и исключительной впечатлительности.

И хотя до сих пор многие критики считают, что первая книга Сент-Экзюпери носит печать чересчур личного, легко можно различить новое мироощущение крылатого человека, которое впоследствии станет основой всего, что напишет и скажет писатель-летчик. Это ощущение, что человек в мире и мир в человеке, — узел связей, который однобокое развитие культуры слишком часто разрывает. Нужно распутать этот узел, найти оборванные концы и вновь прочно закрепить их. Вся последующая жизнь и творчество Сент-Экзюпери посвящены мучительным поискам этих концов, восстановлению порванных связей.

Пилот Жак Бернис, герой романа «Почта — на Юг», погибает в самуме, его творец пилот Сент-Экзюпери продолжает жить. Жить в полном смысле слова. Он полон мыслями и чувствами, которые хочет выразить, он уже снова готов встретить женщину и полюбить ее, он готов снова перевозить послания влюбленных. Он преодолел свое отчаяние. Он полон сил, хотя и не вполне еще знает, к чему их приложить.

Одно ему уже вполне ясно: в противовес тем, которые «отделяют мысль от действия, подобно тому, как иные отделяют действие от мечты и грез и, делая работу аналитиков или историков, теряют способность найти свое место на стройке жизни», — он не будет зрителем, он будет участником...

Возвращаясь во Францию в марте 1929 года, он сжимал под мышкой рукопись «Почты — на Юг». С замиранием сердца, краснея, как школьник, он нес свою первую книгу в издательство Н. Р. Ф. (Гастону Галлимару). По прочтении рукописи издательство подписывает с ним договор на семь книг. Антуан счастлив, он радуется этому, как новой игрушке. Он ведь не думал... Он вовсе не был уверен, что написал хорошую книжку.

Упоенный неожиданным успехом, он едет к родным в Агей.

В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ

Дидье Дора никогда не предупреждал пилотов о новом назначении. Это казалось ему излишним. Поэтому Антуан, покидая Кап-Джуби, чтобы провести свой отпуск во Франции, в кругу семьи, понятия не имел о том, что ему предстоит.

«Почта — на Юг» у издателя. Отдохнув в Агее, Сент-Экзюпери направляется в Брест, где он должен пройти курс высшего пилотажа. На этот раз он подчиняется распоряжениям своего директора, как бы следуя обычной рутине, не вкладывая в дело души. Мысли его заняты другим.

Он рассеян и неисполнителен, чем очень огорчает лейтенанта Шассэна, своего руководителя, который впоследствии станет генералом и сделает все возможное, чтобы позволить немолодому летчику вернуться за штурвал боевого самолета.

По рассеянности Антуан портит навигационные инструменты. Однажды он едва не утопил гидроплан. В итоге нескольких месяцев занятий он получает на экзамене самую скромную оценку, едва не проваливается.

«Почта — на Юг» вышла в свет, и впервые его одолевают заботы молодого литератора.

«Брест, 1929 год.

Дорогая мамочка.

Ваша телеграмма меня растрогала. Я так зол на себя за то, что разучился писать письма.

Больше всего меня тронуло ваше письмо по поводу моей книжки. Я так жажду поскорей вас увидеть! Если через месяц моя книга начнет продаваться, мы вместе поедem в Дакс — мне это очень нужно, до того я грустен, до того раскис. И я вам покажу книжку, которую начал писать.

В Бресте не больно весело.

Будь у меня четыре-пять тысяч франков, я бы просил вас приехать ко мне в Брест. Но пока что у меня сдни долги. Я бы с радостью одолжил где-нибудь, так как уверен, что заработаю на книге, но у кого?

Как бы там ни было, еще месяц, и меня здесь не будет.

• Хотелось бы снова побывать в Сен-Морисе, взглянуть на мой старый дом. И на мой сундук. Правда, я часто о них вспоминал в моей книге.

Мамочка, как можете вы задавать такой вопрос: не наскучили ли мне ваши письма?! Это единственное, что заставляет биться мое сердце.

Пишите мне чаще и сообщайте, что говорят о моей книжке. Но ради бога не показывайте ее X. или Y. и другим дуракам! Надо по меньшей мере понимать Жироду, чтобы понять ее.

Нежно целую вас.

Антуан».

Ивонна де Лестранж собирает для своего двоюродного брата впечатления в литературной среде. Отзывы весьма лестны для молодого писателя. Знатоки литературы, опытные писатели, как, например, Андре Жид, снисходительны к слабостям романа и, наоборот, обнаруживают в «Почте — на Юг» ее истинные достоинства: новый круг проблем, новый, индивиду-

альный взгляд на мир, своеобразное видение, свой, ни с чем не сравнимый голос. Да и тема авиации, бурно развивающейся в эти годы и породившей столько героев, вызывает значительный интерес.

Оценены и художественные достоинства книги: ее точный динамичный стиль, емкость слов и фразы, музыкальный ритм. А сознание того, что твои достоинства не прошли незамеченными, что их оценили, весьма воодушевляет писателя.

Для Сент-Экзюпери, человека весьма впечатлительного, остро переживающего негативное критическое отношение, большое счастье, что влиятельный круг литераторов, объединяющихся вокруг толстого журнала «Нувель ревью франсэз», издаваемого Галлимаром, группа, в которую вне зависимости от своего мировоззрения и политических пристрастий входили такие видные литераторы, как Арагон, Андре Жид, Мальро, Селин, Жан Прево, Дриё ла Рошель, Элюяр и другие, принял книгу положительно.

И Антуан не скрывает своей почти детской радости, спешит поделиться ею с матерью:

«Брест, 1929 год.

Дорогая мама.

Вы чересчур скромны. Контора газетных вырезок посылает мне все, что относится к вам. Я так счастлив, моя знаменитая мамочка, что город Лион приобрел вашу картину!

Вот это семья!

Надеюсь, дорогая мамочка, вы все же чувствуете небольшое удовлетворение и своим сыном и собой. Не пройдет и трех недель, как я увижу вас. Для меня это будет такая радость!

Читали вы статью самого знаменитого критика Эдмона Жалу?

Если вы не разделяете его мнения, скажите мне.

Целую вас от всего сердца, так же нежно, как и люблю.

Ваш почтительный сын Антуан».

Сент-Экс проводит много времени в кабачке среди матросов. Иногда ходит в дансинг, где не танцует,

а лишь сидит ночь напролет с товарищами и рассказывает приключения из жизни в пустыне. Пребывание в Бресте томительно, он скучает и как будто не очень знает, что ему нужно для того, чтобы избавиться от томления.

В это время он начинает обнаруживать большой интерес к вопросам улучшения авиационной техники. В нем начинает просыпаться изобретатель. Но практических последствий это еще не имеет. Ему надо еще значительно пополнить свои знания в математике и физике. Сделает он это постепенно, путем самообразования.

Нам трудно судить о том, как поступил бы Сент-Экзюпери, если бы ему в этот момент была предоставлена полная свобода действий.

И, может быть, к счастью для себя, он не властен над своим временем. Приказ Дора, как всегда, лаконичен и не подлежит обсуждению: «Пилот Сент-Экзюпери направляется в распоряжение компании «Аэропоста-Аргентина».

12 октября 1929 года Антуан отплывает в Буэнос-Айрес.

* * *

— Возможно, мы пересечем океан, — сказал летчикам в 1919 году Латекоэр. В 1925 году линия протянулась из Касабланки в Дакар, туда, где Африканский материк мощной дугой выдается в океан и как бы тянется к выступу Южноамериканского континента. Дакар — Натал — самое короткое расстояние между двумя материками, разделенными Атлантикой. Но эти 3100 километров по прямой все еще оставались доступными лишь судходству.

Одномоторные маленькие самолеты с крейсерской скоростью не более двухсот километров в час — вот чем располагали в это время все страны, претендующие на борьбу с океаном. Французские, американские, немецкие летчики смотрели на Атлантический океан как на самого достойного противника. С ним стоило померяться силами. Люди были готовы к борьбе. Отставала техника. Уже была назначена премия тому, кто отважится пересечь океан.

В 1927 году прославленный военный летчик Нэнжессер со своим механиком Коли вылетели в сторону Североамериканского континента на белом самолете со зловещими знаками на фюзеляже: черный гроб, черные свечи, черные скрещенные кости. Через несколько часов полета моряки с одного из кораблей увидели в волнах обломки белого крыла...

Еще не утих газетный шум, вызванный гибелью Нэнжессера и Коли, когда с американского аэродрома вылетел другой маленький почтовый самолет и взял курс на Европу. Никому не известный двадцатипятилетний почтовый летчик Чарльз Линдберг понадеялся на выносливость своей рядовой машины. Через тридцать часов непрерывного полета сквозь бури и снег он стал известен всему миру. Он совершил подвиг, потребовавший таких фантастических усилий, с которыми не сравнится ни один из подвигов будущего, разве только рейсы космонавтов. Техника была еще далеко не на высоте, вся тяжесть осуществления задачи ложилась на уменьше летчика и на его нервы.

Это был прыжок в завтрашний день.

Ни одна авиационная компания в это время не могла еще обещать людям доставку почты через океан. Латекоэр готовился к этому. Но пока что в Дакаре почту, предназначенную для Буэнос-Айреса или Сант-Яго, перегружали с самолетов на быстроходные посыльные суда. А на южноамериканском берегу почту уже ждали самолеты, те же самолеты Латекоэра, те же летчики — победители пустыни. Помимо всего, для того чтобы установить воздушную связь с Южной Америкой, требовалась не только техника. Нужно было завоевать расположение латиноамериканских стран.

В 1924 году блестящий пилот капитан Руаг пересек на корабле Атлантический океан с несколькими летчиками, самолетами, запасными частями. Авиационная миссия компании «Латекоэр» вступила на землю Аргентины. То, что капитан Руаг предложил аргентинцам, показалось им похожим на романы Жюль Верна и Уэллса. Одних замыслов, разумеется,

было недостаточно для организации линии над лесными дебрями Аргентины, над возвышавшимся на пять километров барьером Кордильер, над голыми скалами Огненной Земли. Нужны были энтузиасты. И вот однажды на набережной Буэнос-Айреса Руага остановил изящно одетый господин с гордым лицом испанского гранда.

— Альмонасид! — воскликнул Руаг.

Это и был тот энтузиаст, которого не хватало для успеха дела. Виценте Альмандос де Альмонасид за время первой мировой войны стал не просто героем авиации, а прямо-таки сказочным героем. О его военных приключениях рассказывали легенды. Доброволец французской авиации в 1914 году, Альмонасид первым стал летать ночью. На родине после войны его ждала слава национального героя. Он не отказался от самолета и после войны: на военном истребителе он перелетел вершину Аконкагуа высотой в семь тысяч метров.

Альмонасид представил Руага президенту республики Альвеару, после чего французы получили полную возможность летать над материком и пользоваться площадками для промежуточных посадок, которые надо было сначала оборудовать, чтобы установить регулярные рейсы. Не обошлось и без скрытого противодействия: аргентинские офицеры были настроены далеко не дружелюбно к Франции; военные кадры страны готовила Германия. Но даже их противодействие разрешено было самым романтическим способом. Узнав, что один из полковников авиации повинен в недружелюбных действиях по отношению к французским летчикам, Альмонасид вызвал его на дуэль. И хотя этот полковник был чемпионом фехтования, а летчик никогда в жизни не держал в руках шпаги, полковник был посрамлен. Достаточно было одного этого рыцарского эпизода, как общественное мнение страны полностью перешло на сторону французских летчиков. Отныне каждое новое начинание Линии Латекоэра над дикими землями молодых стран встречали с восторгом. Мермоз и Гийоме, прежде чем стать известными у себя на

родине, стали национальными героями Латинской Америки.

Пилоты Ваше, Амм, Лафэ связали две столицы — Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айрес. Затем трасса протянулась до Натала. В Бразилии компанию встретили новые затруднения. Бразильские промышленники не хотели допускать Латекоэра в свою страну, хотя сами и не могли наладить связь между всеми странами материка. Начинание Латекоэра впервые оказалось под угрозой. Он вложил в латиноамериканскую линию больше двух миллионов франков. Шел уже 1926 год, и первые дуновения грядущего кризиса давали о себе знать, и прежде всего там, где предприниматели шли на риск, не считаясь с затратами.

Тогда Латекоэр, не видя других возможностей поддержать пошатнувшееся дело, обратился к промышленнику и финансисту Буйю-Лафону, французу, осуществлявшему в Бразилии громадное строительство зданий и прокладывавшему дороги. Он предложил этому крупному дельцу вложить в линию свои капиталы, обещая большие выгоды в будущем. Буйю-Лафон выслушал Латекоэра со смехом. Однако, просматривая цифры проекта, он скоро перестал смеяться. Его поразили не только очевидные экономические выгоды предприятия, но и размах замыслов Латекоэра, осуществить которые тому было уже не под силу. Покрыть пять тысяч километров почти девственных земель воздушными линиями — это импонировало широкой натуре Буйю-Лафона — строителя небоскребов, портовых сооружений, шоссе и железных дорог в джунглях.

Со свойственной ему энергией финансист-предприниматель принялся строить аэродромы вдоль всего побережья Атлантики. Латекоэр в Тулузе готовил для новой линии новые самолеты. Лучшие пилоты линии Бедриньян, Пиво, Жан Мермоз, Томас были посланы в Южную Америку.

— Мермоз назначается главным пилотом! — объявил директор новой линии Пранвиль.

— Что это значит? — спросил летчик. — Вместо

того чтобы летать, я буду сидеть в конторе? Нет уж, позвольте мне летать.

И Мермоз, равный теперь по должности самому Дидье Дора, совсем иначе повел дело. Он поддерживал дисциплину и мужество на новой линии своим собственным мужеством, своей собственной готовностью вылететь в любой день и в любой час на поиски пилота, потерпевшего аварию. Он сам, придерживаясь установленного расписания, доставил в Натал первую почту из Буэнос-Айреса, предназначенную для Европы.

— Нужно, чтобы почта доставлялась быстрее, — заявил он Пранвилю. — Мы и без того теряем неделю в Атлантике. Нужно летать ночью.

— Но ведь ночные полеты составляют исключение даже на хорошо налаженных линиях, с оборудованными аэродромами, — возразил директор. — А мы здесь из-за тропических шквалов и днем непрерывно рискуем!

— Беру риск на себя, — сказал Мермоз.

Он первым вылетел ночью. На промежуточных посадках горели три бензиновых факела. Впервые почта из Рио-де-Жанейро в Буэнос-Айрес была доставлена за одни сутки. Обычно на доставку почты уходило пять суток...

Не только дисциплину и мужество поддерживал Мермоз в товарищах своим собственным примером. Он показывал им пример человеческого достоинства перед лицом сильных мира сего.

Слухи о героическом пилоте — победителе ночи дошли до Буйю-Лафона.

— Доставьте мне Мермоза, — распорядился промышленник. — Он повезет меня на специальном самолете.

Мермоз в этот день должен был лететь с почтой. Узнав о распоряжении председателя правления «Аэропосталья», он пришел в ярость.

— Я Мермоз, — сказал он промышленнику, войдя к нему. — Когда мы летим?

— Когда я захочу! — ответил Буйю-Лафон.

— Я пилот, слышите, пилот линии! — крикнул

Мермоз. — Я здесь для того, чтобы перевозить почту и прокладывать новые трассы, а не для того, чтобы служить шофером знатным господам! — И он вышел, оставив промышленника наедине с его уязвленным самолюбим.

К чести Буйю-Лафона, он не стал настаивать: «Скажите Мермозу, что я полечу с ним на почтовом самолете, обычным рейсом». И шестидесятилетний тучный человек просидел, скорчившись, восемнадцать часов полета среди мешков с почтой. После этого он попросил Мермоза обучить его пилотажу.

До приезда Сент-Экзюпери в Буэнос-Айрес Мермоз совершил еще один подвиг: он установил регулярную связь с Чили через Кордильеры на самолете, потолок которого едва достигал пяти тысяч двухсот метров. В 1929 году благодаря усилиям Мермоза и его товарищей новая линия протянулась от Натала до Огненной Земли и связала Бразилию, Аргентину, Парагвай и Чили. Сам Сент-Экзюпери очень поэтично расскажет об этом впоследствии в книге «Земля людей».

Когда Сент-Экс прибывает в Буэнос-Айрес, на набережной его встречают Мермоз, Гийоме и «крестник» Антуана — Рейн, некогда плененный арабами и вырученный благодаря дипломатии «хозяина пещер».

— Прости, что опоздал! — крикнул он. — Я нашел тебе королевские покои. Это тебе больше подойдет, чем твоя хижина в Кап-Джуби.

Как только Сент-Экс выясняет свое новое положение, он пишет матери.

«Буэнос-Айрес, Мажестик-отель,
25 октября 1929 года.

Дорогая мамочка.

Наконец-то я знаю, на каком я свете...

Я назначен директором эксплуатации компании «Аэропоста-Аргентина», филиала Всеобщей авиапочтовой компании «Аэропосталь» (с окладом что-то около 25 000 франков в год). Я думаю, вы довольны.

Меня это немного печалит — я так любил свое прежнее существование.

У меня чувство, точно я старею.

Впрочем, я еще буду летать, но только для инспекции и разведывания новых трасс.

Меня поставили в известность только сегодня вечером, поэтому я не хотел раньше ничего вам говорить. А теперь надо спешить, так как до отправки авиапочты осталось лишь полчаса.

Пишите мне по указанному адресу (в отель Мажестик), а не по адресу компании. Как только у меня будет квартира, пишите мне туда.

Буэнос-Айрес — отвратительный город, неприветливый, неинтересный, и ничего в нем хорошего нет.

В понедельник я на несколько дней отправляюсь в Сант-Яго в Чили, а в субботу в Комодоро-Ривадавия в Патагонии.

Завтра пошлю вам пароходом большое письмо.

Целую вас от всей души, любящий вас

Антуан».

Казалось, есть чему радоваться — материально он теперь обеспечен. Но с первых же дней новой службы и жизни на новом месте, в роскошной квартире, Сент-Экс начинает чувствовать смутное неудовлетворение. Из письма к Ринетте, последнего письма этому другу юности, мы узнаем о его настроении.

«Буэнос-Айрес, 23 января 1938 года.

Вот так сюрприз, Ринетта! Я уж почти не ждал весточки от вас. Вы и не представляете, как много она для меня значит. Я так не терплю Аргентину и в особенности Буэнос-Айрес, что ваше письмо было для меня настоящим вторжением тысячи забытых и прелестных вещей. Портвейн, граммофон, вечерние споры после кино. И гарсон из ресторана Липпа, и Эвсебио, и моя очаровательная нищета, которую я оплакиваю, потому что тогда дни от начала и до конца месяца были окрашены по-разному. Прожить месяц было настоящим приключением, и мир казался прекрасным, потому что, не имея возможности ничего

приобрести, мне хотелось обладать всем. Сердце тогда казалось необъятным. А теперь, когда я купил красивый кожаный чемодан, о котором давно мечтал, шикарную мягкую шляпу и хронометр с тремя стрелками, мне больше не о чем мечтать. И эти месяцы, у которых нет в конце черных дней, лишают жизнь настоящего ритма. Какой она становится тусклой!

Главное же, я больше не кажусь себе легкой тенью (у меня было такое вполне субъективное ощущение), я чувствую, что отяжелел и постарел из-за роли, которую вовсе не хотел играть: ведь я директор эксплуатации компании «Аэропоста-Аргентина», филиала «Аэропосталя», созданного для внутренних южноамериканских линий. У меня сеть линий в три тысячи восемьсот километров. Секунда за секундой она высасывает из меня все, что осталось во мне от молодости и столь милой мне свободы. Зарабатываю двадцать пять тысяч франков в месяц и не знаю, что с ними делать; тратить их изнурительно, и я начинаю задыхаться в комнате, загроможденной тысячами предметов, которые никогда мне не понадобятся, которые я начинаю ненавидеть, как только они становятся моими. И все же гора моих вещей растет с каждым днем. Это, наверное, я бессознательно приношу жертвы неизвестному богу.

Живу в пятнадцатизэтажной гостинице, семь этажей подо мной, семь — надо мной, а вокруг громадный бетонный город. Вероятно, я чувствовал бы себя так же легко, если бы был заточен в Великой пирамиде. Думается, у меня была бы такая же возможность совершать красивые прогулки. Ко всем прелестям здесь еще есть аргентинцы.

Интересно, есть ли времена года в Буэнос-Айресе? Как может весна проникнуть сквозь эти миллионы кубометров бетона? Я вспоминаю, весной лопаются почки у герани на окошке, в горшке... Я так любил весну в Париже! Эту радость жизни, охватывавшую меня в пору цветения каштанов на бульваре Сен-Жермен. Необъяснимое ощущение бытия, рассеянное повсюду.

Не знаю только, нужно ли сожалеть о Париже:

теперь я чувствую себя там так мало на своем месте, люди там так заняты всякими делами, которые не имеют ко мне никакого отношения. Они уделяют мне крохи своего времени: у меня там нет больше моего невидимого места, и это чувствуется с ужасающей явственностью.

Единственное мое утешение — полеты. Летаю в инспекционные поездки, предпринимаю разные опыты, разведываю новые трассы. Никогда так много не летал. Позавчера возвратился с крайнего Юга: 2500 километров за день. Ничего полет?

Наверное, впервые после Дакара я могу разговаривать с вами без горечи. Я очень был на вас зол! Удивительно, как вы великолепно умеете ничего не понимать, когда хотите. А ведь на таком расстоянии наша дружба не таила в себе никакой опасности. Я был тогда смешным и немного сумасшедшим мальчишкой — точнее, до Дакара, — еще во власти некоторых иллюзий молодости, с обманутыми надеждами. Вы же были крайне рассудительной. Мне так кажется. Сначала мне было худо от этого, потом хорошо. Теперь все в порядке...»

Семь этажей сверху и семь снизу оказались для Антуана более тягостными, чем его барак на берегу океана. Впервые он испытал так явственно ужас большого города, бетонной тюрьмы, которую люди сами себе построили. Буэнос-Айрес по своему характеру, конечно, не Париж. Париж никогда не вызывал у Сент-Экзюпери того резко отрицательного отношения, какое неизбежно появлялось у писателя в городах, выросших, как грибы, в двадцатом столетии. Да и, естественно, город юности — совсем не то же самое, что город службы.

Антуан, в силу своей впечатлительности, склонен преувеличивать свою грусть, мрачные чувства, вызванные окружающим. Однако его жизнедеятельному характеру чужды упадочнические настроения — надолго попасть к ним в плен он не может.

Огромный город, разросшийся за короткий срок, дома, лишённые малейших признаков индивидуального стиля, — все это угнетало его, и все же столица

Аргентины давала немало возможностей заполнить нерабочие досуги. Здесь у него происходили встречи с друзьями и товарищами по Линии, и в их кругу он забывал все, что ему претило в самом городе. В обществе товарищей он проводил вечера в ресторанах, не замечая за разговорами, как поедал огромные ломти говяжьего филе, запивая его густыми хмельными местными винами. Иногда такой кутеж мог продолжаться ночь напролет. Другьям, встречавшимся между рейсами, не хотелось расставаться, и они шли из одного ночного кабаре в другое, а в особенности рады были отправиться всей компанией в Арменонвилль, где девушки славились своей красотой.

Антуан часто бывает и у своего прямого начальника, директора аргентинского филиала «Аэропосталья» Пранвиля, инженера-политехника, человека высокой культуры, интересного собеседника и примерного семьянина. В обществе Пранвилей и своего друга Гийома, недавно привезшего молодую жену, он утоляет время от времени возникающий у него голод по семейному уюту.

К сожалению, близость с Пранвилем продолжается недолго. 13 мая 1930 года, когда Мермоз в сопровождении Дабри и Жимье впервые доставляет почту через океан в Натал, Пранвиль с пилотом Негрэном, механиком Прюнета и двумя пассажирами вылетает ему навстречу. Над Рио-де-ла-Платой самолет попал в густую полосу тумана и потерял ориентировку. В поисках Монтевидео Негрэну пришлось сильно снизиться. Туман как бы «прилип» к воде широкого устья реки, пилот не заметил, как колеса коснулись водной глади и самолет начало медленно засасывать. Летчики бросились искать спасательные пояса. Их оказалось всего два. Они отдали их пассажирам, а сами утонули вместе с самолетом.

Обстоятельства гибели Пранвиля, Негрэна и Прюнета еще раз подтвердили высокий моральный уровень людей, которых так умело подбирал Дора, и еще больше укрепили авторитет компании «Аэропоста-Аргентина».

Прекрасно обеспеченный к этому времени, особен-

но по сравнению с годами первой молодости, когда чуть ли не каждый месяц ему приходилось прибегать к помощи матери, Сент-Экзюпери вначале нелегко приспособляется к новому положению. Материальное довольство томит его и толкает на неоправданные поступки.

Однажды, приглашенный на обед к Пранвилям, он купил у торговки цветами весь ее товар вместе с тележкой. В этом широком жесте больше необузданности, порожденной каким-то отчаянием, чем бесшабашного сумасбродства. По существу, Антуану было бы куда милее подарить кому-нибудь один или несколько цветков.

Единственную подлинную радость, которую ему приносит его благосостояние, — возможность накопить-то помочь матери.

«Буэнос-Айрес, 1930 год.

Дорогая мамочка.

На следующей неделе вы получите телеграфно 7000 франков, из коих 5000 для уплаты долга Маршану и 2000 для вас. И я буду с конца ноября посылать вам по 3000 франков в месяц вместо 2000, как я раньше сказал.

Я о многом думал. Хотелось бы, чтобы вы провели зиму в Рабате и имели возможность писать картины. Вы были бы так счастливы и могли бы одновременно заняться рядом интереснейших благотворительных дел.

Я оплачу ваш проезд, и затем с тремя тысячами франков в месяц вы сможете очень приятно жить. Но я слишком далеко, чтобы самому найти вам что-нибудь подходящее. Не могли ли бы вы написать д'Овенэ или каким-нибудь другим знакомым, у которых есть друзья в Рабате? Не хотелось бы, чтобы вы чувствовали себя чересчур одинокой, но мне кажется, вы будете полностью наслаждаться счастьем. Там так красиво! И через два месяца все будет в цвету.

Вы сможете поехать и в Марракеш и остаться там писать, если вам захочется, но, думаю, Рабат вас вполне устроит.

Во всяком случае, не хочу, чтобы вы ехали в Касабланку.

Здесь довольно мрачная страна. Но я разгуливаю по ней. На днях я был на юге, в Патагонии (нефтяные промыслы Комодоро-Ривадавия), и здесь на пляжах мы встретили тысячеголовые стада тюленей. Мы изловили малыша и привезли его с собой на самолете. Юг здесь — это холодный край. Южный ветер — холодный ветер. И чем дальше на юг, тем больше мерзнешь.

Дорогая мамочка, нежно целую вас.

Антуан».

Антуан много зарабатывает, но он и тратит не считая. Да и, кроме того, у него со старых времен накопилось немало долгов. Ведь он всегда был так уверен в своих возможностях, что одалживал где только мог, не задумываясь.

Буэнос-Айрес, как и все южноамериканские столицы, — город контрастов. Рядом с чрезмерным довольством здесь уживается черная нищета. На набережной города Сент-Экс встретил докера-француза. Рабочий выглядел изнуренным и был плохо одет. Узнав в Сент-Эксе соотечественника, докер поздоровался с ним. Разговорились. Докер рассказал, что он приехал в Южную Америку пятнадцать лет назад, еще молодым человеком, в надежде разбогатеть. Но его одурачили мошенники, забрав скопленные им деньги, и теперь он ведет нищенскую жизнь.

— Здесь я работаю для того, чтобы иметь возможность вернуться во Францию. Работа очень тяжелая, у меня нет к ней привычки, я совсем обессилел. — Он показал свои высохшие руки.

Сент-Экзюпери спросил:

— А у вас еще есть близкие?

— Да, сударь, во Франции. Хотелось бы повидать их. Не дохнуть же здесь в одиночестве.

Напомнил ли ему этот несчастный Барка, счастлив ли был Антуан предоставившейся возможности на сей раз без чьей-либо помощи повторить свой жест в Кап-Джуби, но он подумал немного, коснулся плеча рабочего и сказал:

— Подождите меня здесь.

Походив в задумчивости по набережной, никого не замечая, Антуан зашел в мореходную контору.

— Когда уходит во Францию очередной пароход?

— Завтра вечером отходит «Мендоза». Остались места только в третьем классе.

— Дайте мне билет, — попросил Сент-Экзюпери.

Рабочий с удивлением посмотрел на него, когда Сент-Экзюпери протянул ему билет.

— Но, сударь... сударь... — бормотал он в растерянности, не веря своим глазам.

Сент-Экс добавил к билету немного денег и сказал:

— Завтра на «Мендозе»! Счастливого пути!

Он удалился в глубокой задумчивости. Он и раньше встречался с нищетой и несчастьем, думал о них, но противоречие между богатством и бедностью не казалось ему главным злом, устранив которое можно излечить мир. Он думал о великом хаосе жизни, непрерывно роящем противоречия, возводящем бетонные города и рождающем трущобы, создающем высокие посты с крупным жалованьем и предлагающем крохи людям, неспособным ни на что, кроме физического труда. Он думал о неестественности своего собственного положения в жизни, рожденной этим хаосом. И он все сильнее испытывал потребность осознать, какими путями можно установить такой порядок в мире, чтобы никто не страдал от этого порядка, чтобы, наоборот, он давал возможность пробудиться всему лучшему в человеке.

Все было не так, как хотелось бы, от больших событий до мелочей. Сент-Экзюпери приходил в бешенство, если портились его электрические бритвы или авторучки. Он хотел любить мир техники, технической цивилизации, да он и любил его: все, от самолета до электрической бритвы. Но он хотел, чтобы бритвы не портились, самолеты доставляли почту вовремя, а люди, производящие и потребляющие все это, имели человеческий облик. Он хотел, чтобы техническая цивилизация служила любви, чтобы летчики Линии несли духовную пищу миллионам влюбленных.

По-видимому, Сент-Экзюпери был все же хорошим директором-организатором, хотя его всегда мучила необходимость распоряжаться своими товарищами, ничуть не менее опытными и достойными, чем он сам. И то, что позднее его отозвали во Францию, скорее всего объясняется затруднениями Линии, связанными с началом кризиса. На своем посту он вел себя так же, как Мермоз на своем: личный пример был для него не воспитательным средством, а глубокой внутренней необходимостью. Служба директора с ее мелкими хозяйственными заботами не увлекала его. Он старался не жить проблемами дня, как бы их много ни было. Он справлялся с ними, не замечая их. Можно думать, что в своих повседневных заботах Сент-Экзюпери старался походить на Дидье Дора. Он наверняка был тверд и требователен к подчиненным.

Однажды он узнал, что начальник одного из аэродромов проиграл все казенные деньги в карты. Какую феерическую административную драму мог бы извлечь из этого случая бюрократ! Сколько расследований, волокиты, бумаг! Но вот как поступил Сент-Экс: он предупредил аэродром о том, что завтра прилетит с инспекционным смотром. Проигравшийся начальник мигом позанимал деньги у знакомых, и к прилету Сент-Экзюпери касса была полна. Каково же было удивление и огорчение начальника, когда, проверив кассу, Сент-Экс взял ее с собой и улетел! Игроку пришлось самостоятельно выяснять отношения с работодателями.

Как ни стремился Антуан не давать волю своему мрачному настроению, оно подчас одолевало его. Он настолько погружался в себя, что порой забывал даже близких людей. Длительные рейсы над Патагонией, над Кордильерами, особенно ночные полеты, которые он полюбил в это время, возвращали его к размышлениям, к плодотворному одиночеству, подобному тому, какое он находил в пустыне. Пролетая над огоньками Байя-Бланка или Комодоро-Ривадавия, замечая среди бесконечных джунглей крохотный огонек какой-нибудь хижины, он уподоблял их свету человеческого сознания, этому единственному чуду,

которое может привести мир в порядок. Он находил общую меру вещей: если мир хаотичен, если в своей беспорядочности он подобен нагромождениям скал, то существуют все же силы, способные преодолеть этот хаос. Эти силы пробуждаются в человеке в столкновении с силами природы, их верно или неверно направляет воля человека, ответственного за действия и жизнь других людей.

Свободными вечерами, запершись в комнате своего бетонного небоскреба, он пишет новую книгу. На этот раз он куда более определенно знает, что хочет выразить. Омытый, освеженный долгими и трудными полетами, он решает жизненно важную для него задачу: выясняет, как воля руководителя передается другим людям, как она строит мир, какое несет в себе созидание и что разрушает в мире.

Позже он расскажет и о своих полетах над Южной Америкой, дававших ему необходимое для писательства напряжение чувств и очищение души.

«НОЧНОЙ ПОЛЕТ»

В Буэнос-Айресе Сент-Экзюпери пишет новую книгу. В сущности, для него это была задача, подобная теореме, которую надо решить. В жизни возникло новое явление: Линия, летчики, повседневно рискующие жизнью и добровольно принимающие суровую дисциплину, руководитель, внушающий своим подчиненным весьма жесткие правила. Все это заставляло задуматься над тем, какое место занимает человек в эпоху технического прогресса, человек, владеющий прогрессом как орудием, направляющий его, — и рядовой исполнитель. Какое место в жизни таких людей занимают любовь, долг, страх смерти, другие извечные движущие силы человеческих поступков, чувства и новые ощущения.

В «Почте — на Юг», как хорошо понимал Антуан, концы с концами не сведены. В эту свою первую книгу он вложил чересчур много личного. Он тогда лишь предчувствовал новый великий смысл дела, которое захватило его.

Теперь он пытался отстраниться от всего личного, уподобляясь аналитику-ученому, склонившемуся над лупой. И вот он принялся исследовать этот причудливый организм — Линию, а через него и развитие человеческих отношений, вытекающих из новых условий жизни века.

На этот раз Сент-Экзюпери взялся за перо с точно определенными намерениями, от этого и образы книги и ее построение так подходят на символы, которыми оперируют точные науки. Пилот Линии, директор, инспектор и т. д. — это летчик, руководитель, бюрократ, обобщенные до той грани, за которой начинается абстракция. Превозношение действия спасает от абстракции и метафизики лишь то, что это действие во имя человека, требующее проявления высоких человеческих качеств.

Книга легко читается, она просто построена. Ее легко пересказать. Однако впечатление, что Сент-Экзюпери все время задает читателям задачи, не покидает вас до конца. Есть четыре силы, исчерпывающие мир: люди действия, их руководители, направляющие это действие к тому, чтобы человек превзошел самого себя, поступающие так, словно в мире существует нечто еще более ценное, чем человеческая жизнь, есть обыватели маленьких городков, еще не пробужденные к действию, и есть природа: ночь, грозы, горы, пустыня, в борьбе с которыми человек и получает настоящую радость, настоящую жизнь. В расстановке этих сил, изображенных Сент-Экзюпери, — правда. Есть еще одна сила, которая в эту правду не умещается; у нее есть собственная правда — это любовь. У Сент-Экзюпери — супружеская любовь. Она враждебна правде руководителя Ривьера, но Ривьер и ее, эту правду, принимает на свои плечи. «Любовь, одна любовь — какой тупик!» Ривьер смутно чувствовал, что «есть какой-то иной долг, который выше, чем долг любви...».

И все же легкость и стройность книги, простота ее восприятия, достигающая простоты решения теоремы в учебнике, на самом деле вовсе не результат нескольких рассуждений, которые Сент-Экзюпери иллюстри-

рует схематическими примерами пилота, директора, жалкого чиновника, любящей жены. Если бы это было так, Экзюпери никогда бы не приобрел той известности, которая пришла, как только «Ночной полет» поступил в продажу.

Да, конечно, в основе книги — мысль, не чувство, не психологическое исследование. Но эта мысль, вернее, комплекс мыслей, совсем еще не была ясна писателю, когда он приступал к книге. Показательно, что из четырехсот страниц рукописи он оставил всего сто сорок. Принцип вычеркивания, сокращений очевиден: Сент-Экзюпери искал свою мысль на бумаге и, когда она прояснялась, сгущал ее, упаковывал в одну или несколько фраз. И эта густота мысли, перемежающаяся с точной поэзией ночного полета и борьбы со снежной бурей в горах, сделала книгу художественно значительной.

«Ночной полет» принес писателю известность, но теперь, когда уже прожита его жизнь, когда уже написаны его книги, когда мораль завоевателя, мораль солдата уступила место морали обживания земли, освоения того, что завоевано, в этой книге заметны черты, ограничивающие художественные возможности писателя. Поэзия и мысль существуют в книге раздельно. Мы цельны и живы до тех пор, пока фундамент наших мыслей, наша непрерывная способность чувствовать питает нашу мысль. У Сент-Экзюпери мыслит нечувствующий человек Ривьер. Он не может знать цену любви, страдания, горя, именно потому, что не чувствует. Он не может поэтому определить, в чем добро и в чем зло. Он поэтому не может олицетворять собой высокую человеческую истину. Ривьер, принимающий вспыхнувшую в нем искру сочувствия к людским слабостям за признак старости, на самом деле всю жизнь прожил неполноценно. Да и повелевает он людям, которые, по существу, сами горят жаждой действия, сами рвутся в схватку с ночью, с грозами. И им, так же как их повелителю, неведома любовь.

Неведома ли? Не сказала ли в подходе к этому вопросу душевная драма, еще столь недавно пережи-

тая автором, от которой он, казалось, вполне излечился?

Так или иначе, мир в «Ночном полете» увиден глазами человека действия, который не исчерпывал душу самого Сент-Экзюпери. Отказавшийся в книге от «личного», писатель, как мы знаем, переживает в это время очень горькие чувства. Его не удовлетворяет пост, воспетый и возвеличенный в «Ночном полете». Его угнетают достижения цивилизации — большие города. Его душа раздвоена и не может соединиться в целое. Письмо другу молодости, приведенное в предыдущей главе, выдержано в совсем иных тонах, чем книга, которую он пишет как раз в это время. Письмо к матери с воспоминаниями о детстве, полными нежности и тоски, приведенное в первой главе этой книги, составляет слишком резкий контраст со строгим и вместе с тем приподнятым тоном «Ночного полета». Чего стоит одно только признание: «Я никогда не жил до девяти часов вечера». К слову сказать, упомянутое письмо на три четверти представляет собой отрывки из «Ночного полета», не включенные писателем в окончательный текст. Он определенно хотел создать более широкую картину жизни, хотел решить проблему человека в современном мире на более разнообразном материале. В процессе работы он отказался от этой попытки: опыта не хватало. И не только внешних впечатлений. До этой эпохи Сент-Экзюпери очень не хватало опыта счастливой любви.

Думающий человек, читая «Ночной полет», обращает внимание на ограниченность картины мира, созданной писателем, он видит также настойчивое желание писателя утвердить эту картину как истинную. Это желание рождено отчаянием. Все, что Антуан в это время видит и чувствует, непрерывно напоминает ему о неполноценности, неравномерности жизни, он «задыхается» у себя в бюро. Сбегая от своих административных обязанностей в ночь на самолете, он получает слишком специфический опыт. Этот опыт, безусловно, благороден, но и он не дает всей полноты жизни.

Антуан очень импульсивен. Оттого, что он не видит

возможности совместить любимое дело с другими радостями жизни, превратить жизнь в радость, он намеренно отсекает все, что не действие, не победа над страхом, не победа над слабостью. Силой своего таланта он намеренно возвышает своего героя и обстоятельства жизни вокруг него. И если бы не талант автора, это возвышение стало бы просто преувеличением.

И в то же время все, о чем написал Сент-Экзюпери в «Ночном полете», было правдой. Были правдой эти люди-символы, была правдой «мистика почты», увлекавшая таких пилотов, как Мермоз и сам Сент-Экзюпери, был правдой аскетический и суровый директор Линии.

«Ночной полет» посвящен господину Дидье Дора. Многие из тех, кто знал его лично, увидели в Ривьере его образ. Это Дора наказывал летчиков за аварию, происшедшую не по их вине. Это он увольнял техников, раз заметив неисправность в самолете. Он бодрствовал ночами, следя по радио за продвижением самолетов на пятнадцати тысячах километров линий, организованных им. И это ему кричала вдова погибшего летчика: «Ты убил моего мужа!» И когда с аэродрома поднимался в нелетную погоду или темной ночью самолет с почтой, его вел летчик, воспитанный Дидье Дора, по приказу Дидье Дора.

То, что Дидье Дора был прообразом Ривьера, как будто уже не вызывает сомнений у всех, кто писал о Сент-Экзюпери. Неверно лишь то, что Дора — это Ривьер. Размышляя о жизни, о том, почему его Линия так отличается характером жизни, ее интенсивностью от других современных ему явлений, Сент-Экзюпери больше всего думал о Дора, об этом действительно выдающемся организаторе громадного и опасного дела, формировавшего людей особого типа — героев, победителей природы.

Рисунок поведения Ривьера в точности совпадает с манерой Дора. Различие очень важно: Дидье Дора не был человеком интеллектуального склада и вряд ли мог выразить словами свои побуждения.

Между тем вот как рисуется одна из характернейших сцен романа.

Патагонского почтового дожидается в своем бюро директор Линии Ривьер — это главный, основной момент, ради которого написана книга. Ривьер — только директор, Ривьер — человек несгибаемой воли, считающий признаком старости то, что «душа его требует какой-то иной пищи, кроме действия».

Пока Ривьер ждет прибытия самолетов, одному из которых не суждено вернуться, он подводит мысленно итог сорока годам своей службы, объясняя и оправдывая свою жизнь. И так как Сент-Экзюпери то и дело переходит от прямой речи своего героя к авторскому тексту, поясняющему мысли Ривьера, грань между рассказчиком и героем стирается. Мыслит не Ривьер, за него мыслит его создатель.

Что это, психологический этюд? Нет, думается, Антуан продолжает прерванный было диалог с самим собой. Такова и передача внешних и внутренних ощущений пилота Фабиана в полете. Поэт Сент-Экзюпери, несмотря на поставленную перед собой задачу, не может совершенно уйти от личного. И в этом для читателя очарование книги. Прекрасные изображения полета над Патагонией вопреки замыслу Сент-Экзюпери наполняют книгу живым дыханием искусства, обволакивающим жесткие, намеренно схематизированные образы людей и сюжет, скрывающий за собой рассуждение.

Это изображение полета рождено собственными одинокими скитаниями Антуана, о которых уже говорилось в предыдущей главе. И для тех, которые ищут живого Антуана в его творчестве, большой интерес поэтому представляет новелла «Летчик и силы природы», опубликованная Сент-Экзюпери в еженедельнике «Мариан» 16 августа 1939 года, вошедшая в виде отдельной главы в американское издание «Земли людей» («Ветер, песок и звезды»):

Летчик и силы природы

Рассказывая о тайфуне, Конрад едва останавливается на описании громадных волн, мрака и урагана. Он сознательно уходит от того, чтобы использовать этот материал. Вместо этого он рисует нам трюм ко-

рабля, битком набитый китайскими эмигрантами. Качка разметала по трюму весь их убогий скарб, разбила ящики с добром и смешала в одну кучу все их жалкие сокровища. Деньги, которые копейка по копейке они копили всю жизнь, вещицы со всеми связанными с ними воспоминаниями, столь одинаковые и в то же время столь разные, снова обезличились, вернулись к первобытному хаосу. Конрад показывает нам в тайфуне лишь вызванную им социальную драму:

Все мы чувствовали такую же беспомощность свидетелей, когда, вырвавшись из бури, вновь собирались, как у родного очага, в маленьком кафе в Тулузе под крылышком служанки. Мы и не пытались описать тот ад, из которого выбрались. Наши рассказы, жесты, громкие фразы вызвали бы улыбку на устах товарищей, как вызывает усмешку ребяческое бахвальство. И это не случайно. Циклон, о котором я хочу рассказать, и в самом деле неистовство природы. Более дикого явления мне никогда не приходилось испытывать. Между тем стоит мне выйти за пределы обычного — и я не способен передать ярость вихрей, не прибегая к нагромождению превосходных степеней. А это ничего не дает, разве только неприятный привкус преувеличения.

Мало-помалу я понял глубокие причины такой беспомощности рассказчика. Ведь хочешь передать драму, которой и не было в природе. Если рассказчик терпит неудачу при попытке передать ужас, причина вся в том, что ужаса-то и не было — его изобретаешь впоследствии, когда восстанавливаешь свои воспоминания о пережитом. Ужас не проявляется в самой природе вещей.

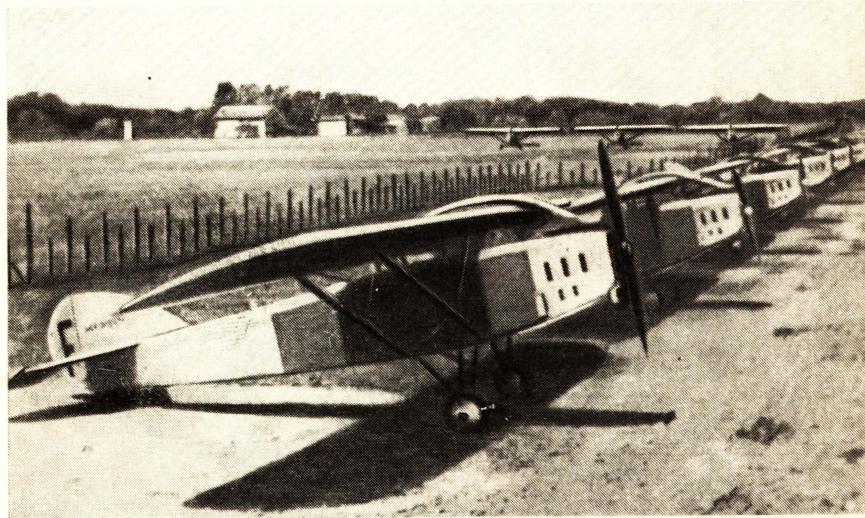
Вот почему, когда я приступаю к рассказу о пережитом мною буйстве возмущенной стихии, у меня такое чувство, что я говорю о драме, передать которую нельзя.

* * *

С аэродрома Трелью я вылетел в направлении Комодоро-Ривадавия в Патагонии. Там пролетаешь над землей, своей бугристостью напоминающей ста-



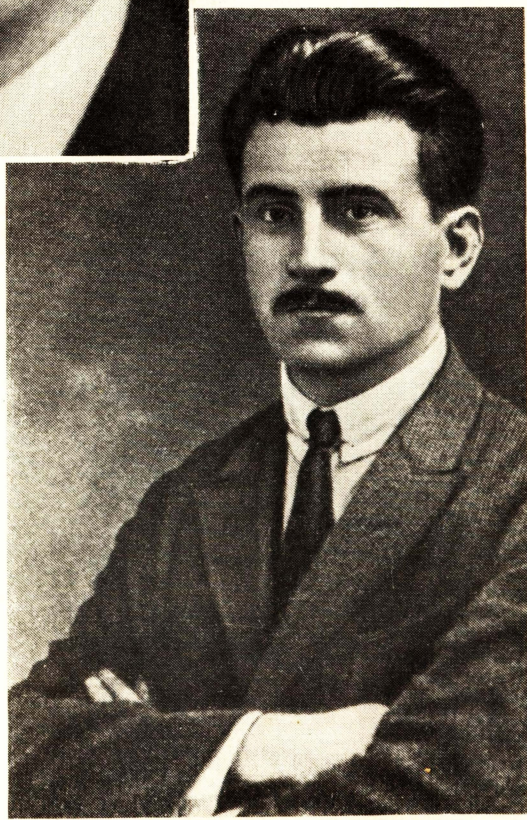
Рабат, 1921 год.



Тулуза-Монтодран



Сент-Эксу 25 лет.



Дидье Дора,
который в 1926 году
принял на работу
Антуана в качестве
почтового летчика.

рый котелок. Нигде земля не выглядит такой изношенной. Воздушные потоки, которые под высоким давлением устремляются из Тихого океана в разрыв Кордильерских Анд, еще сдавливаются и ускоряются в узком горле шириной в сто километров и, несясь к Атлантическому океану, сравнивают все на своем пути. Единственная растительность этих мест — нефтяные вышки, напоминающие лес после пожара, — прикрывает наготу этой изношенной до дыр земли. Кое-где над круглыми холмами, на которых ветер оставил лишь немного твердого гравия, возвышаются заостренные, зубчатые, обнаженные до костяка вершины, напоминающие форштвень корабля.

Во время трех летних месяцев скорость ветров, измеренная у земли, здесь достигает ста шестидесяти километров в час. Нам они были хорошо знакомы. Как только я и мои товарищи оставили позади себя пустошь Трелью и приближались к зоне, где бушевали ветры, мы тотчас же узнавали, буйствуют они или нет, по какому-то серо-синему цвету неба. В предвидении сильной болтанки мы затягивали туже пояса и плечевые ремни. И тут начинался тяжелый полет. На каждом шагу мы проваливались в невидимые ямы. Это была настоящая физическая работа: с плечами, согнутыми под тяжестью резких перегрузок, мы битый час гнули горб, как докеры. Час спустя немного дальше мы снова попадали в полосу затишья.

Машины не подводили. Мы полагались на прочность креплений крыльев. Видимость в большинстве случаев оставалась хорошей и не создавала добавочных проблем. Мы относились к этим полетам, как к тяжелому труду, но не видели в них ничего драматического.

Однако на этот раз мне не понравился цвет неба.

* * *

Небо было голубым. Чистейшей голубизны. Чересчур чистое. Ослепительное солнце струило жесткий свет на обработанную рашпилем землю. То тут, то там в лучах его сверкали, поражая своим суровым величием, обглоданные костяки горных гребней. Но

чистая голубизна все больше отливала ножевой сталью.

Я заранее чувствовал смутное отвращение в предвидении тяжелых физических испытаний. Чистота неба угнетала меня.

Черная буря — враг, который не таится. Можно примериться, какую площадь он захватит, можно подготовиться к его нападению. Черная буря — враг, с которым можно схватиться врукопашную. Но на большой высоте при чистом небе буйные вихри голубой бури захватывают летчика врасплох, как облавы, и под ногами пилота разверзается бездна.

Я заметил еще кое-что. На уровне горных вершин появилось нечто. Не туман, не испарения, не песчаная завеса, а как бы облачко пепла. Мне стало не по себе от этого облачка испепеленной земли, которое ветер нес к морю. Я натянул до отказа плечевые ремни и, управляя одной рукой, другой вцепился в лонжерон моего самолета. А между тем я все еще плыл в удивительно спокойном небе.

Но вот оно вздрогнуло. Всем нам были знакомы эти таинственные толчки, предвестья настоящей бури. Ни бортовой, ни килевой качки. Никаких больших бросков. Самолет все так же не отклонялся от прямой и продолжал свой плавный полет. Но крылья уже восприняли эти предупреждающие толчки: не частые, едва ощутимые, чрезвычайно короткие удары. Время от времени они сотрясали самолет. Точно в воздухе происходили небольшие пороховые взрывы.

И внезапно все вокруг взорвалось.

О последовавших двух минутах мне нечего рассказать. В моей памяти всплывают лишь несколько немудреных мыслей, попыток в чем-то разобраться, несложных наблюдений. Я не могу назвать их драмой, потому что никакой драмы не было. Я могу лишь воспроизвести все в некоторой последовательности.

Прежде всего я перестал продвигаться вперед. При попытке взять вправо, чтобы компенсировать внезапный снос, я заметил, как ландшафт подо мной все замедляет свой бег и, наконец, окончательно останавливается. Я не делал больше ни шага вперед. Ланд-

шафт под моими крыльями как бы застыл. Я видел, как земля качается подо мной, кружит, но все на том же месте: самолет буксовал, словно бы у шестеренок передач сразу сломались все зубья.

В тот же миг во мне родилось нелепое чувство, точно я подставляю себя ударам противника. Все вершины, гребни, пики, о которые, оставляя за собой борозду, разбивался на бурлящие струи шторм, показались мне жерлами орудий, нацеленными на меня и накрывающими меня ураганными шквалами. Постепенно у меня возникла мысль спуститься пониже и искать в долине укрытия за склоном какой-нибудь горы. Да и, хотел я того или нет, меня уже засасывало и тянуло к земле.

Так, попав под первые удары циклона, который — как мне это стало ясно двадцать минут спустя — несся с фантастической скоростью в двести сорок километров в час, я нисколько не испытывал чувства, что переживаю трагедию. Если закрыть глаза и забыть о самолете и о том, что я нахожусь в воздухе, если попытаться выразить почерпнутый мною опыт во всей его сокровенной простоте, возникает образ носильщика, старающегося во что бы то ни стало удержать в равновесии свой груз: он то резким движением хватается за какую-нибудь вещь, отчего другая соскальзывает, и вдруг, теряя способность соображать, испытывает нелепое желание разжать руки и бросить всю свою поклажу. Никакая опасность не рисовалась моему воображению. Есть своего рода закономерность в том, что образ возникает кратчайшим путем. Человек находит для всякой вещи символ, способный наиболее кратко и быстро выразить явление: я был мойщиком посуды, поскользнулся на паркете и готов был выронить из рук свой хрупкий груз фарфора.

Но вот я — пленник долины. От этого мне стало не лучше, а, наоборот, еще хуже. Правда, болтанка никогда никого не убивала. Ведь мы хорошо знаем, что выражение «прижатый ветром к земле» — лишь выдумка газетчиков. Однако сегодня в глубине долины самолет на три четверти вышел из повиновения. Впереди форштевень — скала то раскачивается спра-

ва налево, то внезапно вздымается в небо и вдруг на секунду нависает надо мной, прежде чем исчезнуть за горизонтом.

Горизонт... Впрочем, никакого горизонта и нет. Меня словно заперли за кулисами театра, загроможденными декорациями. Горизонтальные, вертикальные, косые — все линии и планы перемешались. Сотни поперечных долин создают обманчивую перспективу. Не успеваю я сориентироваться, как новое неистовство бури заставляет меня повернуть на девяносто градусов или опрокидывает меня. И снова и снова мне приходится выбираться из-под обвалившейся штукатурки. И вот в моем мозгу зарождаются две мысли. Первая из них — открытие: я только сейчас начинаю понимать причину некоторых катастроф в горах — туман для них не объяснение, его не было. Пилот просто путал на миг в этом кружении ландшафта склоны гор с горизонтальными плоскостями. И вторая — навязчивая идея: надо вернуться к морю. Море — плоское. За море я не зацеплюсь.

И я поворачиваю, если можно назвать поворотом эту едва управляемую пляску посреди долин, тянущихся к востоку. В этом тоже еще нет ничего особенно волнующего. Я борюсь с беспорядком, я изнемогаю в борьбе с беспорядком, изнемогаю в беспрестанных попытках восстановить огромный карточный замок, который все время рушится. Разве что во мне иногда едва-едва брезжит первобытный страх, когда одна из стен моей тюрьмы вдруг, точно огромная волна, опрокидывается на меня; или чуть-чуть сжимается сердце, когда шквал, сорвавшийся со скалистого гребня, мимо которого я лечу, ставит мне подножку. Взрываются невидимые пороховые склады. Среди путаницы невнятных чувств отчетливо ясным становится лишь одно — чувство почтения. Почтение, которое у меня вызывает этот пик. Почтение перед этим остроконечным гребнем. Почтение перед этим куполом. Я весь почтение перед этой поперечной долиной, которая врезается в мою и вызовет сейчас бог знает какое завихрение, влив свой воздушный поток в тот, что уже несет меня.

И я открываю, что борюсь вовсе не с ветром, а с самой вершиной, гребнем, скалой. Да, со скалой, несмотря на расстояние, отделяющее меня от нее. С помощью невидимых отростков, с помощью скрытых мышц она противоборствует мне. Впереди, справа от себя, я узнаю пик Саламанки — правильный конус; я знаю, он возвышается над морем. И, значит, меня все же вынесет в море! Но сначала я должен пробиться сквозь нисходящий поток воздуха этого пика. Сквозь ветер, который, как мы говорим, он «обрушивает» на самолет. Пик Саламанки — гигант... И я — весь почтение перед пиком Саламанки.

На секунду наступает затишье... Секунда... две... Что-то готовится, завязывается, стягивается. Я удивлен, не более. Таращу глаза. Мне кажется, самолет мой дрожит, удлиняется, увеличивается в объеме. Он как бы застыл на месте в горизонтальном положении, и вдруг словно в апофеозе его возносит ввысь на пятьсот метров. Внезапно я парю над моими врагами, я, который вот уже сорок минут не мог подняться выше, чем на шестьдесят метров. Самолет дрожит, как в кипятнике. Передо мной широко распаивается океан. Долина выходит на океан, впереди спасение...

И тут без всяких переходов, всего в какой-нибудь тысяче метров от океана пик Саламанки наносит мне удар в живот. Все валится у меня из рук — и я кубарем качусь в море.

* * *

Теперь я лицом к берегу. Перпендикулярно к берегу. Мотор мой работает на полные обороты. За одну минуту произошло множество событий. И прежде всего не я выбрался к морю. Меня словно выплюнуло чудовищным кашлем, изрыгнуло из моей долины, как из жерла мортиры. Когда, как мне думалось, я сразу после этого повернул на двести семьдесят градусов, чтобы проверить расстояние до берега, мне показалось, что он уже ступшевывается в десяти километрах от меня и голубеет вдаль, как чужой берег. И зубцы гор, четко вырисовывавшиеся в голубом не-

бе, произвели на меня впечатление зубчатой стены крепости. Меня прижало к самой воде силой нисходящего потока воздуха, и я тотчас же смог оценить скорость циклона, навстречу которому, слишком поздно поняв свою ошибку, я пытался лететь. Дав полный газ, летя со скоростью двухсот сорока километров в час (быстрее в это время никто не летал) в двадцати метрах над барашками волн, я ни на йоту не продвигался вперед.

Когда такой ветер налетает на тропический лес, он, подобно пламени, охватывает ветви, изгибает их спиралью и вырывает с корнем, как редиску, гигантские деревья... Здесь, скатываясь с гор, он обрушился на море.

Лицом к берегу я всей мощностью моего мотора схватился с ветром. Каждый зубец на берегу, цепляясь за воздушный поток, делил его на струи, которые, подобно змеям, прокладывали свою борозду. И мне казалось, что я ухватился за конец чудовищного бича, который хлещет море.

* * *

На этой широте Америка — уже узкая полоса земли, и Анды тянутся неподалеку от Атлантического океана. Я отбивался не только от нисходящих с гор потоков воздуха, но и от всего неба, которое обрушилось на меня с высоты Андийских Кордильер. Впервые за четыре года полетов на линии я начинал сомневаться, выдержат ли крылья. Я боялся также врезаться в море, и не из-за нисходящих завихрений. Они, естественно, создавали над самой водой горизонтальную подушку. Но опасность была в том, что завихрения захватывали меня невольно в самых акробатических положениях. Каждый раз, когда меня швыряло, я сомневался в том, что успею выправить положение самолета до того, как врежусь в воду. И прежде всего я опасался попросту потонуть, как только кончится горючее. А это представлялось мне неизбежным. Каждую секунду я ждал выхода из строя моих бензиновых насосов. В самом деле, самолет сотрясало так, что плеск бензина в полупорожних баках или

в бензопроводе вызывал частые перерывы в работе двигателя, и вместо однообразного ворчания он издавал удивительные звуки, что-то вроде сигналов Морзе — длинный, короткий...

И все же, вцепившись в штурвал моего тяжелого транспортного самолета, поглощенный физическими усилиями, я испытывал лишь самые несложные чувства и бесстрастно следил за работой ветра в море. Я видел широкие, метров в восемьдесят, белые пятна, мчавшиеся на меня со скоростью двухсот сорока километров в час оттуда, где спускающиеся с неба смерчи разбивались о воду в горизонтальном взрыве.

Море было одновременно зеленым и белым. Белым, как размолотый сахар, с зелеными, как изумруд, лужами. В этом беспорядочном бушевании невозможно было отличить одну волну от другой. Водяные струи образовывали в море потоки. Ветер прокладывал в них огромные борозды, подобно налетевшему осеннему шквалу, бушующему в хлебах. Временами между отмелями море становилось причудливо-прозрачным, и тогда взору открывалось зелено-черное дно. Затем громадное стекло моря рассыпалось на тысячи белых осколков.

Да, я уже считал, что гибну. После двадцати минут борьбы со стихией я не продвинулся и на сто метров к берегу. К тому же держаться в воздухе, даже в десяти километрах от скалистого хребта, было трудно. И я спрашивал себя, выдержу ли я то и дело обрушивающийся с гор шквал, если мне и удастся приблизиться к берегу. Ведь я шел на приступ батарей, открывших по мне ураганный огонь. И где уж мне было испытывать страх! В голове у меня не мелькало ни одной мысли, только изредка возникал образ какого-либо действия. Выправить крен. Еще выправить. Выправить!

* * *

И все же моментами наступало затишье. Правда, эти затишья походили еще на самые жестокие бури, которые мне когда-либо пришлось пережить. Но по сравнению с предыдущим неистовством стихии я на-

слаждался полным отдыхом. Все же не было такой необходимости тут же отвечать ударом на удар. Я уже научился предвидеть эти затишья. И не я двигался к этим зонам относительного спокойствия, но эти почти зеленые пятна оазисов, четко вырисовывавшиеся на морской глади, плыли ко мне. Я хорошо различал на воде эти признаки возможных для существования районов. И каждый раз на протяжении временного затишья способность мыслить и чувствовать возвращалась ко мне. Вот тогда-то я считал, что погиб. Тогда-то закрадывалась в меня тревога. И с приближением нового наступления белой опасности меня ненадолго охватывала паника — до той самой минуты, когда на рубеже бушующего моря я вновь вступал в схватку с невидимым глазу штормом. С этого момента я уже ничего не чувствовал.

* * *

Подняться! Я все же осознал это желание. Зона затишья показалась мне вдруг такой обширной и глубокой, что во мне пробудилась еще смутная надежда: «Я наберу высоту... Выше я встречу другие потоки... Они позволят мне продвинуться к берегу... Сейчас я...» Воспользовавшись перемирием, я попытался поспешно вскарабкаться. Карабкаться оказалось нелегко — нисходящие потоки оставались серьезными противниками. Сто метров... двести метров... И я подумал: «Взобраться бы на тысячу метров — и я спасен». Но на горизонте я заметил спущенную на меня белую свору. И я выровнял самолет, чтобы не подставить под удар открытую грудь, чтобы противник не захватил меня врасплох в опасном положении. Поздно. От первой же подножки я скатился вниз. И небо показалось мне скользким куполом, на котором не удержаться.

* * *

Но как дать приказ собственным рукам? Я только что сделал открытие, от которого меня бросило в дрожь. Мои руки затекли. Мои руки мертвы. От них не приходят никакие сигналы. Должно быть, они в

таком состоянии давно, только я не замечал. Опасность в том, что я это заметил и ставлю себе такой вопрос...

В самом деле, сгибаясь, крылья действовали на тяги управления, и штурвал мой сам беспорядочно ходил у меня в руках. В течение сорока минут я изо всех сил цеплялся за него. Я пытался хоть сколько-нибудь амортизировать рывки, опасаясь, что они порвут тягу. Я слишком судорожно вцепился в штурвал и теперь не чувствую больше рук.

Ну и открытие! Мои руки — чужие руки. Рассматриваю их, отвожу один палец: он послушен мне. Отворачиваюсь. Отдаю пальцу тот же приказ. Не знаю, слушается ли он меня. Он не подает мне никакого сигнала. Думаю: «А вдруг руки разожмутся, как я узнаю об этом?» Поспешно бросаю на них взгляд: они не отпустили штурвал, но мне стало страшно. Как отличить образ разжатой руки от решения разжать ее, когда обмен информацией между этой рукой и мозгом уже прерван? Образ, волевой акт — как отличить одно от другого? Нужно отогнать от себя образ этих разжатых рук. Они живут самостоятельной жизнью. Нужно избавить их от этого искушения. И я бормочу нелепые заклинания: «Я сжимаю руки... сжимаю руки... сжимаю руки...» Одна мысль. Один образ. Одна фраза, которую я неустанно повторяю, — и так до самого конца полета. Я весь собран в этой одной фразе, и нет больше ни белой пены моря, ни шквала, ни зубчатого горного хребта. Осталось только то, что я сжимаю руки. И опасности, и циклона, и потерянной земли больше нет. Есть только где-то резиновые руки, которые, раз отпустив штурвал, уже не успеют опомниться, чтобы еще до воды предотвратить падение самолета в море.

* * *

Ничего больше не знаю. Чувствую только полное опустошение. Иссякают силы, иссякает моя воля к борьбе. Мотор продолжает свои сигналы Морзе: длинный, короткий... Слышен прерывистый треск рвущегося авиационного полотна. Когда тишина продол-

жается больше секунды, у меня чувство, точно сердце останавливается. Бензиновые насосы вышли из строя... Конеч! Нет, мотор снова заворчал...

Термометр на крыле показывает тридцать два градуса ниже нуля. Но я с ног до головы в поту. Пот течет у меня по лицу. Ну и пляска! Позже я узнаю, что аккумулятор сорвал свои стальные скобы, грохнулся о потолок кузова кабины и пробил его. Я узнаю также, что нервиры крыльев расклеились, а некоторые тросы управления перетерлись и держались на волоске.

Пока что я опустошен. Не знаю, когда уже на меня найдет безразличие от большой усталости и смертельная жажда покоя.

Ну что тут кому расскажешь? Ничего. У меня болят плечи. Очень болят. Как если бы я носил чересчур тяжелые мешки. Высовываюсь из кабины. Сквозь зеленое пятно я различил совсем близкое дно. Такое близкое, что мне видны все детали. Но пинок ветра разбивает рисунок на стекле.

* * *

После часа и двадцати минут борьбы мне удалось подняться на триста метров. Чуть южнее я заметил на море длинный след — как бы голубую реку. Я решил дать себя снести к этой реке. Здесь я не продвигаюсь вперед, но меня и не относит назад. Если бы мне удалось достичь этой реки, которая в силу каких-то причин защищена от ветра, возможно, я смогу мало-помалу добраться до берега. И я даю сносить себя влево. Неистовство ветра как будто утихает.

* * *

Мне потребовался целый час, чтобы покрыть десять километров. Затем под прикрытием скал я продолжал спускаться к югу. Я пытаюсь теперь набрать высоту, прежде чем лететь над землей к аэродрому. Мне удается удерживаться на высоте трехсот метров. Погода все еще ужасная, но никакого сравнения. Кончено...

На посадочной площадке я замечаю сто двадцать солдат. Их вызвали сюда ради меня, из-за циклона. Приземляюсь среди них. После часа усилий самолет удается ввести в ангар. Вылезаю из кабинки. Ничего не говорю товарищам. Я хочу спать. Медленно шевелю пальцами. Они все еще не отошли. Едва вспоминается: еще не так давно мне было страшно. Страшно? Я наблюдал удивительное зрелище. Что за удивительное зрелище? Не знаю. Небо было голубое, а море — белое-белое. Я должен бы рассказать о своем приключении, ведь я возвращаюсь из такого далёка! Но я никак не могу ухватить происшедшего со мной. «Представьте себе: море белое... бело-белое... еще белее...» Нагромождением эпитетов ничего не передашь. Этот лепет ничего не передает.

Ничего не передает, потому что нечего и передавать. В мыслях, которые тебе сверлят мозг, в этих истрадавшихся плечах не кроется, по существу, никакой драмы. Никакой драмы не кроется и в конусообразном пику Саламанки. Он был начинен взрывчаткой, как пороховой склад. Но если сказать это, будут смеяться. И я сам... проникся почтением к пику Саламанки. Это все. Никакой драмы в этом нет.

Никакой драмы, ничего волнующего нет ни в чем, кроме человеческих взаимоотношений. Возможно, завтра я почувствую волнение, приукрашивая свое приключение, воображая себя, живого, себя, разгуливающего по земле людей, — гибнущим в циклоне. Это будет передержкой, ибо того, кто руками и ногами боролся с циклоном, никак нельзя сравнить со счастливым человеком завтрашнего дня. Он был слишком занят.

Моя добыча невелика. Я сделал лишь незначительное открытие. Вот оно, мое свидетельство: как отличить от обычного образа действий волевой акт, когда нет больше обмена информации?

Вероятно, мне удалось бы вас взволновать, расскажи я вам сказку о каком-нибудь несправедливо наказанном ребенке. А я вас приобщил к циклону и все же вряд ли взволновал. Да разве в кино, утопая в глубоком кресле, мы не наблюдаем точно так

же бомбардировку Шанхая? Мы можем без ужаса любоваться столбами дыма и пепла, которые медленно выбрасывают в небо эти превращенные в вулкан земли. А между тем, как и зерно из закромов, как и наследие поколений, как и семейные сокровища, эта переработанная на дым плоть сожженных детей медленно удобряет почву.

Но сама по себе физическая драма волнует нас только тогда, когда нам делается очевидным ее духовный смысл.

КОНСУЭЛО

Сент-Экзюпери вернулся из очередного рейса в Патагонию. Еще два дня тому назад в Пунта-Аренас, прислонившись к фонтану, он смотрел на проходящих девушек, которых не знал и никогда не узнает.

«Что я могу знать о девушке, которая возвращается домой неторопливо, потупя взор и сама себе улыбаясь, уже полная выдумок и восхитительной лжи?» — спрашивает он себя в «Земле людей» как раз по поводу девушек из Пунта-Аренаса.

Он пролетел две тысячи километров с остановками в Сан-Хулиане и Байя-Бланке. От пустынных земель, горбившихся лавой, он добрался до зеленеющих равнин, до более оживленных мест — до более цивилизованных, как говорится. Он снова вернулся к безрадостной жизни среди шумных улиц Буэнос-Айреса, побывал в конторе компании, но остался там недолго. Завтра он составит свой рапорт и пошлет его во Францию следующей почтой. На будущей неделе г-н Дора его прочтет. Он будет знать, что промежуточные аэродромы организуются, что Линия оборудуется и все идет хорошо.

Затем, не найдя друга, с которым бы провести вечер, — супруги Гийоме находились в Чили, другие товарищи — кто в Натале, кто в Асунсьоне, — не желая пойти в кафе или в кино, Сент-Экс загрустил и, как всегда, когда с ним не было его товарищей, почувствовал свое одиночество.

Сидя за столом с наваленными на нем книгами, тетрадами, листами бумаги, исписанными его тонким почерком, Сент-Экзюпери закурил сигарету и жадно затянулся. С улицы доносился шум, походивший на морской прибой.

Сент-Экзюпери взял в руки листы рукописи «Ночной полет», вытащил авторучку и принялся перечитывать то, что написал. Нет, он не мог работать сегодня вечером. Для того чтобы писать, ему было необходимо какое-то возбуждение, нужны были перед этим разговоры, нужно было разгорячиться спорами. Он никогда так хорошо не работал, как вернувшись поздно вечером к себе после беседы с друзьями.

Отложив рукопись начатого романа, Сент-Экзюпери взял свой блокнот и написал в нем несколько строк:

«Она сумела создать свой мир из помыслов, звуков голоса и молчаний возлюбленного, и отныне все, за исключением друга, для нее не более как варвары. Эта девушка замкнулась в своей тайне, в своих привычках, в певучих отголосках своей памяти. Я чувствую, что она дальше от меня, чем если бы мы находились на другой планете. Вчера только рожденная вулканом, травянистыми лужайками или солеными водами моря, — она уже полубожество».

Мысль его все возвращалась к молодым девушкам Пунта-Аренаса, медленно шагавшим с опущенными глазами. Он снова видел, как они проходят мимо фонтана, у которого он стоит, прислонившись, и от этого он чувствовал себя еще более одиноким.

«Я ожидаю встретить девушку — красивую, и умную, и полную очарования, и веселую, и успокаивающую, и верную, и... и такую я не найду».

И я однообразно и скучно ухаживаю за разными Колеттами, Полеттами, Сюзи, Дэзи, Габи серийного производства, которые, не проходит и двух часов, надоедают мне. Это залы ожидания».

Нет, Антуан написал это не в ту минуту, о которой идет речь. Это выдержка из письма от 1924 года, адресованного из Парижа Габриэли (Диди), сестре писателя.

Желание жениться становилось у него все острее, все настойчивее, когда одиночество тяготило его. И не черствостью сердца, не неспособностью любить, а высокими требованиями в любви — и к себе и к женщине, которую он полюбит, — объясняются его любовные неудачи. Луиза де Вильморен — Женестьева «Почты — на Юг» — вряд ли когда-нибудь догадывалась, какая незаживающая рана осталась надолго в душе Антуана после их разрыва. В 1955 году Луиза опубликовала в журнале «Мари-Клер» легкомысленные воспоминания о своей «помолвке ради смеха» с Сент-Экзюпери. А ведь Антуан, увидев ее через семь лет после расторжения этой «шуточной помолвки», едва не упал в обморок. Он все еще ее любил. Ему была дана от природы сила чувств, с которой никак не могло сравниться то, чем отвечала ему эта девушка. И вряд ли ей приходило когда-либо на ум, читая в «Земле людей» историю раба Барка, что, быть может, ей мы обязаны такими строками:

«Люди, долгое время жившие большой любовью, а затем лишенные ее, подчас устают от благородного одиночества. Они смиренно возвращаются к жизни и находят счастье в будничном чувстве. Они находят уладу в самоотречении, в заботах, в покое домашнего очага».

В «Почте — на Юг» Антуан пытался разобраться в своей любовной неудаче и пришел к выводу: как можно надеяться на любовь, если люди благодаря своим интересам, корням, связывающим их со своей средой, своими обычаями, так разобщены! И это рождает у него мысль об отказе от любви. Но мысль эта никогда не сумела пустить в его душе достаточно глубокие корни. Он все еще молодой человек, который однажды, в бытность свою торговым агентом фирмы «Сорер», после очередной поездки по центральным департаментам Франции, возвратясь в Париж, писал матери:

«Сейчас полночь. Я только что сбросил шляпу на кровать и почувствовал все свое одиночество.

По возвращении я нашел ваше письмо, и теперь оно составляет мне компанию. Вы можете быть уве-

рены, мама, если я и не всегда пишу, если я и нехороший, ничто не равноценно для меня вашей ласке. Но эти вещи трудно выразить, и я никогда не умел их высказывать, настолько они внутри, настолько они прочны и постоянны. Я люблю вас, как никогда никого не любил...»

«Мама, то, что я требую от женщины, это успокоить мою внутреннюю тревогу, — пишет он в том же письме. — Вот поэтому женщина так и необходима мне. Вы не можете себе представить, как тягостно одному, как чувствуешь свою молодость никчемной. Вам не понять, что дает женщина, что она могла бы дать».

Тревога! Кажется, Сент-Экзюпери иногда сам ее искал, она была ему полезна. Мы еще вернемся к этому слову.

«Я слишком одинок в этой комнате.

Не подумайте, мама, что у меня тяжелая хандра. У меня всегда так, как только я открываю дверь, сбрасываю шляпу и сознаю, что день кончен, снова проскользнул между пальцами.

Если бы я писал каждый день, то был бы счастлив тем, что от меня хоть что-то останется.

Ничто меня так не восхищает, как слышать из чужих уст: «Какой ты еще молодой!» — потому что у меня такая потребность чувствовать, что я молод».

И тут же осторожно добавляет:

«Только я не люблю людей, вроде С., которых счастье полностью удовлетворило; они останавливаются в своем развитии. Нужна какая-то доля внутреннего беспокойства, чтобы понимать происходящее вокруг. И вот я боюсь жениться. В браке все зависит от женщины.

И все же толпа, в которой прогуливаешься, полна обещаний. Но она безлика. А женщина, которая мне необходима, как бы составлена из двадцати женщин. Я слишком многого требую — это меня раздавит...

Целую вас со всею нежностью. Не подумайте, что я «тону», но вы все же можете меня благословить.

Антуан».

Пять лет спустя один в своей квартире в Буэнос-Айресе он мог бы писать, работать над «Ночным полетом», но ему не хочется.

И, как всегда, когда он полон умиротворенной грусти, он делится своими чувствами и переживаниями со своим самым большим другом — матерью:

«Буэнос-Айрес, 20 ноября 1929 года.

Дорогая мамочка.

Жизнь течет просто и мерно, как в песенке. Я летал в Комодоро-Ривадавия в Патагонии и в Асунсьон в Парагвае. В остальном я веду спокойный образ жизни и прилежно занимаюсь делами «Аэропоста-Аргентина».

Не могу вам передать, какую радость я испытываю при мысли о том, что мое положение означает для вас. Это как бы прекрасный реванш за те огорчения, которые вам принесло данное мне воспитание, не правда ли? Ведь вам столько раз ставили это в укор.

А не так уж это плохо — быть директором такого крупного предприятия в двадцать девять лет!

Я снял очень милую маленькую квартиру. *Пишите всегда на этот адрес:* г-ну де Сент-Экзюпери, Галерия Гоемес Калле Флорида, департамент 605, Буэнос-Айрес.

Я познакомился с обаятельнейшими друзьями Вильморенов (их два брата в Южной Америке). Не сомневаюсь, что я найду и других людей, любящих музыку и книги, и они возместят мне мою Сахару. А также и Буэнос-Айрес, который — пустыня другого рода.

Мамочка, получил от вас такое нежное письмо, что я все еще под его впечатлением. Мне так хотелось бы иметь вас здесь! Быть может, через несколько месяцев это станет возможным? Но я так опасуюсь для вас Буэнос-Айреса, этого города, где так сильно чувствуешь себя узником. Подумайте только, в Аргентине нет деревни. Никакой. Некуда удрать из города. Вне города только квадратные поля, ни деревца, а посреди полей какой-нибудь барак или

сооруженная из железа водяная мельница. С самолета на протяжении сотен километров видишь только это. Писать картины — невозможно... Совершать прогулки — невозможно...»

И он заканчивает письмо:

«Я хотел бы жениться».

Эту жену, которую он жаждет встретить уже несколько лет, он встречает в Буэнос-Айресе.

* * *

О первой встрече Сент-Экзюпери и Консуэло Сунцин рассказывают много небылиц.

Рассказывают, что друзья затащили однажды Антуана на доклад о браке. Аудитория состояла в основном из студентов. Докладывала молодая женщина. Вся ее речь была направлена против брака, и развивала она свои тезисы, приправляя их оригинальными аргументами вперемежку с довольно спорными сентенциями, как-то: «Брак убивает любовь» и т. п. и т. п. Это позабавило Сент-Экзюпери. Докладчица красива, Антуан просит, чтобы его представили, уводит ее и женится на ней.

Другая легенда связана с авиацией. Однажды в воскресенье на авиационном поле в Пачеко — аэродроме Буэнос-Айреса — Сент-Экс в рекламных целях совершает «воздушное крещение» посетителей. Одной из пассажирок оказалась молодая женщина. Во время полета забарахлил мотор. Сент-Эксу с трудом удалось приземлиться. При этом ему пришлось прибегнуть к столь акробатическому приему, что это могло бы испугать кого угодно. Но пассажирка не проявила страха и, сохраняя полное самообладание, продолжала улыбаться летчику. Он делает ее своей женой.

Эта история сама по себе вероятна, но не соответствует действительности. Неверна и история, которую распространял о Сент-Экзюпери один монах, который, рисуя перед молодыми слушателями путь писателя-летчика к «святости», рассказывал, как тот привез из Аргентины молодую голубоглазую девушку-сироту и женился на ней.

Существует еще и такой вариант встречи будущих супругов. Это тоже романтическая история, но значительно более близкая к правде. Однажды вечером Сент-Экзюпери выходил из ресторана в Буэнос-Айресе. В эту минуту на улице разгорелась схватка между приверженцами двух полковников: начало очередного южноамериканского «пронунциаменто». Между двумя группами сражающихся — безразличная к выстрелам молодая красивая женщина. Летчик замечает ее — и тут же влюбляется. Она станет графиней де Сент-Экзюпери.

Эти побасенки приведены здесь не для развлекательности, а для того, чтобы обратить внимание читателя на то, какой ореол окружал в глазах современников личность Антуана де Сент-Экзюпери, если еще при жизни он вошел в легенду. К тому же, как говорится, нет дыма без огня, и во всех побасенках заключена какая-то доля истины. В данном случае правда — в большинстве характеристик личных качеств Консуэло и Антуана, которые проскальзывают во всех этих роекзаяниях.

Любопытно также отметить, как уже при жизни писателя многие стараются «присвоить» себе его. Вплоть до католической церкви, которая пытается выдвинуть идею о его пути к «святости».

Но Сент-Экзюпери опрокинул все расчеты, в том числе и расчеты католической церкви, потому что всегда и во всем он прежде всего оставался самим собой.

Возвращаясь к рассказу о женитьбе Антуана, скажем: в последнем варианте почти все верно, с той небольшой разницей, что Сент-Экзюпери знал эту молодую женщину, его с ней недавно познакомил Бенжамэн Кремье. Для большей точности следует также добавить, что она отнюдь не пренебрегала стрельбой, а, наоборот, поспешила укрыться от выстрелов в объятиях летчика.

Весной 1931 года, по возвращении во Францию, через несколько месяцев после встречи с Консуэло, Сент-Экзюпери женился на ней. Свадьба состоялась в Агее.

Бенжамэн Кремье был известным критиком и эрудитом. Он принадлежал к группе писателей, объединившихся вокруг журнала «Нувель ревью франсэз», и входил даже в его редколлегию. (Впоследствии, во время оккупации, он был вывезен гитлеровцами из Франции как еврей и умер в концлагере.) Сент-Экзюпери познакомился с ним в свое время в редакции журнала. Бенжамэн Кремье привез Антуану из Франции известия об успехе его первой книги. Он интересовался, над чем работает Сент-Экзюпери. Писатель прочел ему отрывки из своей новой книги и привел своего слушателя в восторг. Таким образом, Бенжамэн Кремье уже в Южной Америке ознакомился с «Ночным полетом», о котором опубликовал в «Н. Р. Ф.» большую критическую статью по выходе книги.

Несколько лет спустя Сент-Экзюпери прочел Кремье в присутствии Дриё ла Рошеля первые страницы «Цитадели». Но Кремье, как, впрочем, и Дриё, не выразил при этом большого восторга, что в тот момент привело Антуана в уныние, хотя он и утешал себя мыслью, что Кремье — все же переводчик ненавистного ему Пиранделло, а у Дриё вообще политический сумбур в голове.

Бенжамэн Кремье не был чужаком в Буэнос-Айресе. Его семья долго жила в Аргентине, и у него здесь было немало связей. В 1914—1918 годах он познакомился с аргентинским журналистом Гомецом Карилльо, военным корреспондентом на французском фронте. Репортажи Карилльо о трагической борьбе в Европе создали ему известность. Он рано умер от последствий фронтовой жизни, оставив молодую вдову Консуэло.

Консуэло была скорее маленького роста. Рядом с Сент-Эксом она казалась еще меньше. (Кстати, вообще-то Антуану нравились крупные стройные блондинки.) Ее смуглое лицо с тонкими подвижными чертами освещалось огромными выразительными, лучезарными глазами. Фотографии не передают впечатления, создаваемого этим лицом. Впрочем, и ни один снимок Сент-Экзюпери не дает полного представления

о его внешнем облике. Как и фотографии Консуэло, это маски, за которыми нельзя разглядеть обаятельной выразительности оригинала.

В многочисленных книгах о Сент-Экзюпери жене его уделяется очень мало места. И это понятно. В кругу близких к Антуану людей сложилось резко отрицательное отношение к Консуэло. Из уважения к Сент-Экзюпери никто не хотел о ней говорить плохо. Но хочешь не хочешь, в жизни Антуана Консуэло сыграла не последнюю роль, и поэтому объективность требует разобраться в их отношениях, отзвук которых можно различить в некоторых произведениях писателя.

По всем этим причинам огромную ценность для нас приобретает свидетельство дочери выдающегося русского писателя Александра Ивановича Куприна, хорошо знавшей Консуэло еще до брака с Сент-Экзюпери и продолжавшей встречаться с молодыми супругами в первые месяцы после их свадьбы. Приводим рассказ Ксении Александровны во всей его живости и непосредственности.

«Познакомил нас наш общий друг. Я тогда снималась не помню уже для какого фильма, а она, понимаете ли, вращалась в артистических кругах. Она мне очень понравилась, мы сразу почувствовали симпатию друг к другу и подружились.

Она жила за Мадлэн... улица Каstellан, в маленькой скромной квартирке. Я очень хорошо помню ее квартирку. Маленькая-маленькая, двухкомнатная, такая захлавленная. В одной комнате в углу на постаменте стояла маска ее первого мужа Гомеца Карилльо, которая трещала, когда она себя плохо вела. Да, да, трещала, издавала треск... Все слышали... Ну, если она кокетничала с кем-нибудь или говорила что-нибудь, что не нужно, маска трещала, трещала...

Мне было тогда лет девятнадцать, да и ей ненамного больше: лет так двадцать пять... но она была очень молода. Она была очень маленькая, очень грациозная. Да, очень грациозная. С прелестными руками, изящными движениями, как это бывает у этих

южноамериканцев. Какой-то есть танец в их теле, в их руках... Громадные, как звезды, черные глаза, очень выразительные, очень блестящие... прелестные глаза у нее были... Но кожа у нее была такая, знаете, смугловатая...

Я еще хорошо вижу все. Мы проводили у нее приятные вечера, и разговоры были интересные. У нее в доме царил очень симпатичная атмосфера, но совершенно сумасшедшая. Помню еще, в одной комнате стоял громадный стол и на нем слепок с руки Гомеца Карилльо. Рука эта якобы по ночам писала. Я, правда, не видела, чтобы она писала, но я видела рукопись! В общем полная мистики атмосфера... Она была очень сумасбродная, взбалмошная бабенка. Надо сказать, к ней приходило очень много народу, видные, интересные люди: писатели, журналисты, адвокаты, артисты... Они расстилали на полу газету, приносили дешевое красное вино, бутерброды с сыром и колбасой — и вечера проходили очень интересно и содержательно.

Я думаю, Гомец Карилльо сделал из нее очень изысканную женщину, культурную, развитую. Она была очень начитанная... очень... и обладала большой памятью. Потом она начала изучать персидский язык, для того чтобы читать и переводить с подлинников... персидских поэтов. Она была очень интересным человеком. С громадной фантазией!

Обаятельнейшее существо!.. И именно ее фантазия... Веселая, остроумная. Невероятно остроумная!.. И опять же огромная фантазия... Вы никогда не знали, когда она врет, когда говорит правду... Вдруг где-то теряли представление, что правда, а что неправда... совершенно... И как-то все так смешивалось, что вам начинало казаться: вы какой-то уж чересчур «заземленный» человек. Вы начинали чувствовать себя таким слоном перед ее легкостью, грациозностью, обаянием... Прелестнейшее существо! С ней можно было сидеть хоть ночь напролет, разговаривать. День у нее смешивался с ночью. Не было больше никаких устоев, никаких правил, ничего...

В домашнем укладе — полнейшая богема. Пол-

нейшая! И такая странная атмосфера в доме. Вдруг какие-то двери сами раскрывались ночью... Один мой знакомый, самый что ни на есть уравновешенный человек, сбежал как-то... Там царила настоящая мистика. Когда так рассказываешь, это кажется невероятным. Но в обществе Консуэло, в ее атмосфере все воспринималось как вполне естественное.

Ходили слухи, что она наркоманка. Мне было девятнадцать лет, я была еще весьма наивной и не могла судить. Несмотря на нашу близость, мне она никогда об этом ничего не говорила. Впрочем, я сомневаюсь. Вокруг нее было очень много народу... И она тогда очень нуждалась. Один момент она пошла даже продавать духи. Пошла, как коммивояжер, стучаться из квартиры в квартиру. Представьте себе, такая красивая, элегантная женщина (к тому же она очень хорошо одевалась, с большим вкусом, у лучших портных). И люди были поражены при виде ее, растеряны и покупали то, что им было совершенно не нужно.

Впрочем, трудно сказать, почему она занялась этой продажей духов. Возможно, так, из озорства. Кое-что ей все-таки оставил Голец Карилльо. Какую-то часть она уже истратила, но остались туалеты... А туалеты надо часто менять...

Да, она искала какую-нибудь работу, что-нибудь подзаработать. Наверное, ее средства подходили к концу... Вот так она и поехала на родину Голеца Карилльо прочесть там ряд докладов. Его имя открывало там все двери. И вот там она встретила Сент-Экзюпери.

Но здесь начинается полная фантастика. О своей встрече с Антуаном она мне рассказывала сплошными метафорами, то есть не то, как это было, а то, как она это видела:

«...И ты понимаешь, я была одна в горах... Затерянная... в опасности... и буря... ночь... И тогда пришел он — сильный, большой, красивый... Он унес меня и спас...»

Вот так! Это был ее стиль, ее жанр.

Когда она сердилась на него, она говорила:

«Я хотела бы приобрести красные простыни и зарезать его на этих простынях!.. На простынях цвета кр-рови...»

Их любовь началась с ссоры. Консуэло была очень избалована обожанием. Гомец Карилльо внушал ей, что она самая красивая, самая обаятельная женщина. Когда они должны были пойти куда-нибудь на прием или просто в гости, он ей всегда говорил: «Помни, что ты самая красивая, помни, что ты будешь лучше всех, ты самая элегантная!» «И я, — рассказывала Консуэло, — входила вот так: как маленькая королева. Он дал мне такое сознание своего достоинства... и красоты... и всего, всего...»

Ну, а Сент-Экзюпери не был тот человек, чтобы говорить комплименты... Он был малоразговорчив... да... Много он не говорил... Во всяком случае, у меня осталось о нем такое впечатление... Наверное, застенчивый. Рядом с ней он казался молчаливым.

Что точно между ними произошло, я не знаю. После ее отъезда в Буэнос-Айрес я долго ее не видела. И однажды она мне звонит, голос совершенно убитый: «Приезжай!» — «Что такое?» — «Приезжай сейчас же!»

Я приехала. Консуэло была похожа на маленькую обезьянку: глаза совсем потухли, носик покраснел, личико сделалось как кулачок (у нее ведь было такое маленькое личико), и стало серое, а сама она была вся в черном... вся в слезах. И тут она мне рассказала, что она встретила, наконец, человека — сильного, красивого, замечательного, который спас ее от всего в жизни... горя, отчаяния, страха... И между ними началась большая любовь. Потом они куда-то поехали, и там случилась «революционе»... Он был в этой «революционе» как-то замешан — и его расстреляли на ее глазах, «и по белым камням, залитым ярким солнцем, текла его алая кровь...».

Мне было девятнадцать лет, я страшно сочувствовала ей, переживала вместе с ней... С ней была все время истерика, то и дело она хотела покончить самоубийством... Наш общий друг дал нам ключи от своего домика в Ангьене, на озере под Парижем, и

сказал, что ей лучше уехать, успокоиться. И я, значит, в качестве такой няньки поехала с ней в Ангьен. Три дня и три ночи я то и дело бегала вытаскивать ее из озера, ночью она не давала мне спать своими отчаянными истериками, и я все боялась, что она либо вскрыет себе вены, либо отравится...

На третий день прибыла телеграмма — Консуэло начала танцевать.

«Что такое? В чем дело?»

«Он приезжает!»

«Кто «он»?»

«Тот самый, кого я люблю».

«Как! Ведь его расстреляли на твоих глазах?!»

«Понимаешь, я не хотела любить этого человека, я думала — он меня покинул, изменил... И вот я придумала, что он умер!»

Я возмущилась невероятно. Ведь мне было девятнадцать лет! Так возмущилась, что перестала с ней встречаться. Подумать только, трое суток я с ней возилась, как с малым дитяtkом... так переживала... и так меня обмануть!..

Прошло некоторое время — и он действительно приехал. Помню, там было что-то со свадьбой... То ли его родные возражали (ведь у него такая католическая семья из обедневшей провансальской аристократии), то ли еще что-то... может быть, припасли ему кого-то... какую-то благородную девицу... Она все же была вдова... она была... Знаете, они не любят этого... Они, конечно, не хотели ни за что этого брака. А он относился с большим уважением к своим родным, в особенности к матери. Наверное, на этой почве (ведь мать его, кажется, как раз в это время приезжала в Буэнос-Айрес), а может, и на какой-то другой, я сейчас не помню, между ними и произошла размолвка в Аргентине.

Но тут все произошло очень скоро. Помню только, мы с ней помирились, и я у нее была. В это время пришел Сент-Экзюпери — такой большой, неуклюжий в этой обстановке... он как-то заполнил всю квартиру. При этом она мне говорила, что он замечательный красавец. А я нашла его совсем не-

красивым, вырубленным топором... и очень широко расставленные глаза... длинные-длинные... Но очень подвижные черты, и такая обаятельная, застенчивая, какая-то детская улыбка...

После этого я ее несколько месяцев не видела. Потом я снималась на юге Франции — и мы с ними встретились. Они жили, не помню сейчас точно где, но не у родителей. Такая была чистенькая комната, очень модерн... Дом я не помню, помню только комнату, где мы правили корректуру вот этого... «Ночного полета»... все вместе... Комната была с выбеленными стенами, и очень веселый чинш на окнах. Удобные большие кресла...

Всю ночь мы работали... Ему надо было во что бы то ни стало сдать корректуру «Ночного полета». Мы где-то пообедали, потом ужинали — и никуда уже нельзя было пойти, он засадил нас за работу. Помню еще, он водил машину как бешеный, прямо страшно было... как самолет...

Она мне рассказывала про свою свадьбу... очень смешную. Она как-то не принимала всерьез эту свадьбу... испанский костюм, в который нарядилась... часовенку... У родных его там была своя часовенка. Очень все было торжественно. Все принимали это очень всерьез, и она потешалась над ними. Она так смешно рассказывала, пела даже исполнявшиеся при этом псалмы, чтобы показать мне, как все происходило и как она строила из себя такую приличную девочку... благовоспитанную... В общем они сбежали оттуда.

В Париже я их уже не встречала. Хотя, помнится, еще раз я ее видела. Это я помню как-то смутно. Не то она мне рассказывала, не то я была у нее, когда он пропал в Ливийской пустыне... Нет, наверно, была у нее. Помнится, она все слушала радио и то и дело повторяла:

«Не хочу вторично остаться вдовой! Э, нет, не хочу!..»

Это у нее был основной лейтмотив... Основной!

Потом я ее потеряла из виду. Они, кажется, куда-то уехали. Да и вообще в Париже сходишься,

расходишься с людьми... Попадаешь в другую компанию. Это все разные миры.

Я их еще видела в разгар их любви. В полном согласии, веселыми, счастливыми. Мне казалось, что Консуэло внесла в его жизнь какую-то поэзию, фантазию, легкость... и очень много ему этим дала. У нее была масса того, что французы называют «персоналите», а у нас своеобычностью. Но в большой дозе она была утомительна. Я знаю, во всяком случае, что после двух-трех дней, проведенных в ее обществе, мне необходимо было переменить атмосферу. Я больше не могла: мне, знаете, где-то уже нужно было найти землю и воздух... и чтобы деревья стояли на месте, а не вниз головой... Понимаете, с ней все было вверх тормашками! Она, например, никогда не рассказывала что-нибудь просто. Все всегда было невероятно запутано... Факты перемежались с необузданнейшей фантазией... даже самые интимные... и притом сумасшедшие вещи!.. Она, наверно, не могла и мыслить иначе. У Сент-Экзюпери, должно быть, тоже возникала необходимость где-то отдохнуть спокойно, съесть яичницу с луком и поговорить о самых обыкновенных вещах...»

Из этого рассказа, не вызывающего сомнения в своей достоверности, возникает образ взбалмошной, эксцентричной женщины, немного мифоманки, но обаятельнейшего, грациозного существа, полного поэзии. Не удивительно, что Консуэло могла привлечь к себе внимание и вызвать глубокие чувства в душе такого человека, как Сент-Экзюпери.

С другой стороны, рассказ этот освещает и один побочный вопрос. Действительно, для людей, хорошо знающих Париж, могло показаться странным, что Сент-Экзюпери, как это указывается во всех его биографиях, избрал местом жительства одну из улиц, пользующихся, как говорят, «дурной репутацией». Если же, как вытекает из рассказа К. А. Куприной, это была квартирка Гомеца Карилльо, то все объясняется очень просто.

Гомец Карилльо был журналистом, и, как для журналиста, для него представляло несомненный интерес находиться поблизости от редакций больших газет. Между тем иностранцам, живущим в Париже, если они не обладают большими средствами, очень трудно найти подходящую квартиру в центре города, на «хорошей» улице. За такую квартиру в старом доме с регламентированной квартирной платой надо обычно заплатить большие «отступные». Поэтому нет ничего удивительного, что иностранцы, которые в силу своей профессии заинтересованы в том, чтобы жить в центре города, часто селятся на улицах с «дурной репутацией». Домовладельцы на таких улицах менее притязательны и разборчивы и не требуют «отступных». В противном случае иностранцу остается на выбор либо жить в мебелированных, либо в гостинице. Для семейного человека, естественно, это не выход. Есть, правда, и третий выход: снять большие апартаменты, сдающиеся без «отступных», но с очень высокой квартирной платой. Однако этот выход иностранцу не всегда доступен, даже если его доходы ему это позволяют. Домовладельцы, как правило, люди осторожные, и если об иностранце не известно, что он обладает большим состоянием, ему, как пришлому элементу, такую квартиру не сдадут.

Этот третий выход был зато возможен для такого человека, как представитель старинного французского рода графов де Сент-Экзюпери, и Антуан, как мы увидим позже, широко им пользовался. Думается, именно этим обстоятельством, а не какой-то манией величия и объясняются дальнейшие квартирные дела Сент-Экзюпери, о которых еще будет рассказано.

Но вернемся к Консуэло. Консуэло не могла быть ни матерью, ни домовитой хозяйкой, не могла и влиять на творчество своего мужа, такое индивидуальное и по истокам его и по стилю. Больше всего их роднило все тревожное, неуравновешенное, что было в избытке в их натурах. Кто-кто, а уж Консуэло никак не принадлежала к женщинам «серийного производства», а Сент-Экзюпери ненавидел однообразие во всем.

Роднило их и сильно развитое у обоих чувство поэзии. Случалось, Консуэло рассказывала Антуану какую-нибудь историю, имевшую вполне реальную подоплеку. В какой-то момент вступало в силу ее воображение — появлялись удивительные описания, волшебные образы. Внезапно Антуан останавливал ее.

— Постой, Консуэло, повтори мне последнюю фразу!

И Консуэло повторяла эту фразу с еще большим чувством, еще большим жаром.

Семейное счастье, которое Консуэло вносила в жизнь Антуана, не было тем счастьем, что может удовлетворить целиком. Это не была любовь, «которая умеряет все порывы». Беспокойство, тревога, которую Консуэло постоянно создавала в жизни Сент-Экзюпери, были не всегда того рода, в котором он нуждался, чтобы творить.

Родом из Сан-Сальвадора, Консуэло была горяча, экспансивна. Ее побуждения, хорошие и плохие, подобно извержению вулкана, неудержимы. Самые нежные слова, самые разумные доводы, уговоры не оказывают на это маленькое существо никакого влияния, когда оно разойдется. Однажды между супругами возник спор. Консуэло была не права, но не хотела в этом признаться. А Сент-Экс даже ради собственного спокойствия не хотел ей уступить. Ему вскоре пришлось об этом пожалеть, потому что спор перешел в ссору, и Консуэло разразилась криками, как капризный ребенок. Антуан боялся, что на шум прибегут соседи, он умолял жену замолчать. Но она еще пуще разошлась. Тогда он отнес ее на кровать и прикрыл периной. Она защищалась, царапалась, укусила его за руку и продолжала кричать. Сент-Экс крепко держал ее. Внезапно крики начали стихать, доносились как бы издали, но жестикуляция становилась все отчаяннее. Антуан отпустил жену, приподнял перину и увидел, что Консуэло прокусила перину. Рот ее был полон пуха, она задыхалась. Все это выглядело смешно. Несколько позднее, когда Консуэло успокоилась, Антуан сказал: «Никогда не

видел, чтобы такое маленькое существо производило столько шума».

Это лишь одна из многих сцен, которые происходили между супругами. Иногда эти сцены носили еще более бурный характер и приводили к временному разрыву.

Однажды Консуэло исчезла, уехала, не предупредив мужа. Прошло 48 часов — ее нет. Сент-Экс начинает серьезно беспокоиться. Он обзванивает всех знакомых — безрезультатно. Все же он еще не решается предупредить полицию. Внезапно раздается звонок. Сент-Экс вздрагивает, бросается к телефону, в трубке раздается голос Консуэло.

— Не заставляй меня так тревожиться, — говорит Антуан. — Умоляю тебя! Я прощаю тебе, вернись!

— Нет.

— По крайней мере скажи, где ты.

— На берегу канала Сен-Мартэн, и я сейчас брошусь в воду. Прощай, Тонио!

Молодой человек, опасавшийся брака с женщиной, которая создаст ему мещанский уклад, и писавший матери: «Нужна какая-то доля внутреннего беспокойства, чтобы понимать происходящее вокруг. И вот я боюсь жениться. В браке все зависит от женщины», — получил больше того, что искал, и всякого беспокойства сверх меры.

По всей вероятности, Антуан опасался того, что называют мещанским браком. Он боялся союза с женщиной, которая создала бы вокруг себя спокойную, уравновешенную жизнь. Когда он работал в Тулузе, проходил первую стадию своего обучения на Линии, у него была милая подруга. Она очень любила этого большого парня, хотя и не всегда понимала его. Однажды Сент-Экс застал ее за штопкой носков. Не говоря ни слова, Антуан уходит и, ничуть не обеспокоенный причиняемым им горем, больше не возвращается: подруга заставила его представить себе, во что вылилась бы с ней будничная жизнь.

В тот же период в письме к Ринетте от декабря 1926 года содержатся следующие строки:

«Что касается моей жизни в Тулузе, то я, как

истый провинциал, уже протаптываю свою дорожку. Обхожу всегда справа такой-то фонарь, а в кафе сажусь всегда на один и тот же стул. Покупаю газету в одном и том же киоске и каждый раз приветствую газетчицу одной и той же фразой. И все те же товарищи, Ринетта... и все это, пока я не почувствую внезапно неудержимого желания удрать и обновиться. И тогда я эмигрирую в другое кафе, обхожу другой фонарь, покупаю газету в другом киоске и изобретаю другое приветствие для газетчицы. Какую-нибудь более красивую фразу.

Я быстро устаю от себя, Ринетта, так я никогда ничего не сделаю в жизни. Во мне слишком большая потребность чувствовать себя свободным».

Свободой в браке Сент-Экзюпери обладал полной. Вероятно, это и явилось залогом прочности такого весьма оригинального брака. Но уступкой со стороны Консуэло этого назвать нельзя. Тот, кто был близко знаком с супружеской четой Сент-Экзюпери, знает, что «уступка» была обоюдной: Антуан не придавал никакого значения физической верности.

То, что большинство людей называет счастьем, для Сент-Экзюпери было застоем. Покой, тишина не только не соответствовали его характеру, наоборот, для работы он нуждался в беспокойной, тревожной атмосфере. Он писал в кафе, в поезде. Когда внутренняя тревога кажется ему недостаточной, он бессознательно, как бы в силу инстинкта, в силу необходимости, старается всячески подогреть ее. Его воображение и чувствительность усиливают восприятие окружающего. Доктор Пелисье, который лечил его, говорит, что, когда Экзюпери бывал нездоров, он преувеличивал свой недуг и становился мнительным. Он возмущался врачом, если тот не находил у него воображаемой болезни.

Эта внутренняя тревога, которая так была необходима Сент-Экзюпери, чтобы творить, часто создавалась и поддерживалась его женой. Бурная супружеская жизнь, которая, как это может показаться, была пагубна для него, в действительности — наподобие черного, как кофе, чая и американских сигарет,

которые он не вынимал изо рта, — действовала на Антуана возбуждающе, подстегивала его к работе.

Возможно, Консуэло иногда переходила границы, тогда он уходил из дому и после более или менее длительного отсутствия возвращался к той, что так умело поддерживала в нем постоянную тревогу.

Утверждают, что демонстративные поступки жены Сент-Экзюпери, ее эксцентричность и сумасшедшие выходки были нарочитыми, вызванными желанием привлечь к себе внимание. Должно быть, в этом есть известная доля истины. Консуэло была весьма эгоцентрична — она очень ревновала к вниманию, которое уделяли ее знаменитому супругу. Она ни за что не хотела оставаться в тени.

Однако Консуэло и семейные обстоятельства супругов Сент-Экзюпери интересуют нас постольку, поскольку это отражалось на жизни и творчестве Антуана.

В отношении богемной жизни они отлично подходили друг другу. После трехмесячного отпуска, проведенного в основном в Париже, в мае 1931 года Сент-Экс снова приступает к работе на Линии в качестве пилота на отрезке Касабланка — Порт-Этьенн. Супруги вынуждены поселиться в Касабланке. Здесь Консуэло устраивает такой же беспорядок, как и в своей квартире на улице Каstellан. Оба — и Антуан и его жена — расточительны, тратят не считая. Те, кто бывал у супругов во время их пребывания в Марокко, вспоминают, что на камине у них стояла старинная суповая миска, впрочем очень красивая, в которую Сент-Экс сыпал каждый месяц свое жалованье, размененное на мелкую монету. По мере необходимости Антуан, его жена и... араб-слуга черпали из этой миски. Часто к середине месяца она была уже пустой.

Разумеется, такое хозяйничанье весьма отрицательно отзывалось на жизненном укладе. Скажут, что для Антуана было бы лучше иметь экономную жену, заботящуюся о равновесии домашнего бюджета. Это избавило бы его от материальных затруднений, которые он так часто испытывал и которые

вызывали в нем такую горечь. Возможно, это избавило бы его впоследствии и от некоторых необдуманных шагов. И все же именно такая семейная жизнь по душе Антуану. Разве он согласился бы, чтобы жена не давала ему тратить деньги по своему усмотрению? А будучи справедлив, он не мог ограничивать в этом и свою жену.

Консуэло не дала ему детей. Сент-Экзюпери не познал той ласки, той теплоты, той радости, которую вносят в дом дети, хотя и не раз мечтал о ней. Но сделал ли бы он счастливыми своих детей и их мать? Был ли он создан для такой семейной жизни? В этом можно усомниться.

Какой бы порывистой и эксцентричной ни была Консуэло, она умела быть ласковой и нежной. Иногда она впадала в сентиментальность, становилась игривой, ребячливой. Правда, ее чувства не всегда полноценны. Но в самой основе этой «игры чувств» была какая-то ребяческая, глубокая искренность. Это трогало Антуана, вызывало у него наплыв нежных чувств.

В подтверждение можно привести такой пример.

Через несколько лет после свадьбы, когда им пришлось столкнуться в Париже с серьезными материальными трудностями, однажды вечером супруги оказались у себя в квартире без газа, без электричества, без телефона. Все было выключено за неплату в течение нескольких месяцев.

Сент-Экс был одновременно подавлен и раздражен. Он спрашивал себя, как выйти из этого неприятного положения. Тогда Консуэло нежно прижалась к мужу.

— Не расстраивайся, Тонио, я буду работать.

Антуан скептически улыбнулся.

— Ты мне не веришь?

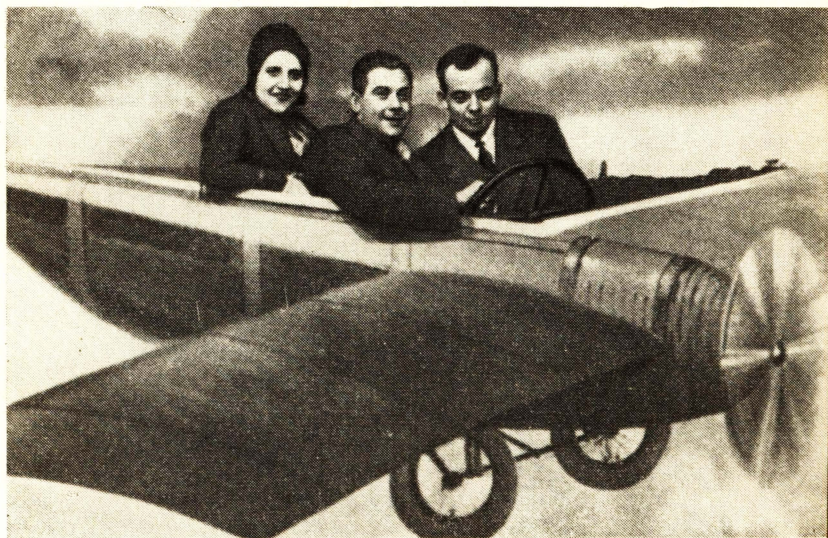
— Верю, — ласково сказал Сент-Экс. — Но что ты будешь делать?

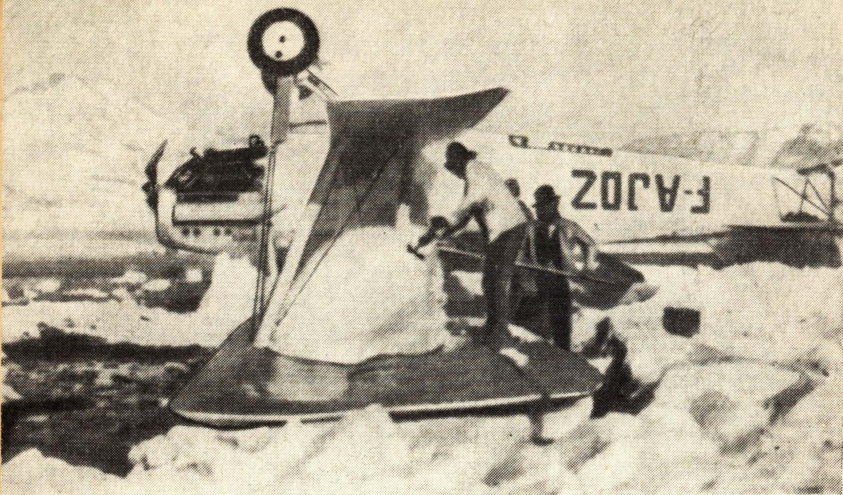
— Не знаю, что угодно. — Затем, выскользнув из объятий мужа, она произнесла энергичным тоном: — Я буду поденщицей.



Сент-Экс и Гийоме.

Сент-Экс и Гийоме с женой. Снимок сделан в Луна-парке Буэнос-Айреса.





Самолет Гийоме после катастрофы в Андах

Друзья снова вместе:
Антуан обнимает спасенного Гийоме
1930 год



Антуан взял ее руки в свои и долго рассматривал их, качая головой.

— С такими крохотными руками...

Тогда Консуэло высвободила руки, расправила их, как на кресте, и воскликнула:

— У Христа тоже были маленькие руки!

Сент-Экс обнял жену, приподнял ее, поцеловал и со вздохом опустил на пол.

— Дитя!.. — пробормотал он.

Сент-Экзюпери немало страдал от неуравновешенного характера своей жены. И все же только любовь могла подсказать ему слова полушутливой молитвы, которую он написал для нее:

«Боже, вам незачем слишком утруждать себя. Только оставьте меня такой, какая я есть. Я кажусь тщеславной в мелочах, но в серьезных вещах я скромна. В мелочах я кажусь эгоисткой, но в серьезных случаях я способна отдать себя всю, даже свою жизнь. В мелочах я кажусь нечестной, но я счастлива только, когда чиста.

Боже, сделайте меня такой, какой мой муж всегда видит меня.

Боже, боже, спасите моего мужа, потому что он по-настоящему любит меня и без него я буду сиротой. Но сделайте так, боже, чтобы он умер первым. Он выглядит таким сильным, невозмутимым, но на самом деле, стоит мне не пошуметь в доме, и он полон тревоги.

Боже, избавьте его прежде всего от тревоги. Сделайте так, чтобы я всегда шумела в доме, даже если я от времени до времени и разбиваю что-нибудь. Помогите мне сохранить ему верность и не видаться с теми, кого он презирает и кто ненавидит его. Это приносит ему несчастья, потому что я — его жизнь.

Храните, боже, наш дом.

Амины!

Ваша Консуэло».

Супружеская жизнь, такая, какую она нам рисуется, не могла не оказывать влияния на человека. И, конечно, для такой впечатлительной натуры, как

Антуан де Сент-Экзюпери, это не могло пройти бесследно. Как эхо различных переживаний и размышлений, навеванных его бурной супружеской жизнью, звучат многие места в его последних произведениях и в особенности в «Цитадели». Ошибаются те, кто уверяет, что Антуан не любил жену, потому что они однажды услышали от него: «Это мой крест, и я ношу его». Ответом им могут служить слова самого Сент-Экзюпери из «Цитадели»:

«...ибо человек, конечно, создан для любви, но и для страданий».

Скажут: еще одно противоречие этого столь сложного человека! Однако это противоречие лишь отражение сложности и противоречивости самой жизни.

Но иногда Антуан все же нуждался в покое. Этим покоем он наслаждался в обществе другой женщины, занявшей тоже значительное место в его жизни. Но к этому мы еще вернемся.

КОНЕЦ ЛИНИИ

1931 год внес значительные изменения в жизнь Сент-Экзюпери. Впрочем, оказался он поворотным и для Линии. Вернувшись в январе в Париж, Антуан не мог еще предполагать, какие испытания ждут его. Из Южной Америки он привез с собой Консуэло, а также и рукопись «Ночного полета». Ее прочел Андре Жид. Издатель Галлимар обласкал молодого писателя. Признание литературного дара Сент-Экзюпери в художественных кругах было полным и безусловным.

Однако его ожидают совсем неожиданные трудности. Во время работы в Южной Америке он не очень задумывался над тем, почему его отозвали с поста, который он занимал в Буэнос-Айресе. Скорее он даже радовался прекращению службы, мало соответствующей его устремлениям. Не думал он и о том, что воспетая им Линия, созданная и существующая благодаря непрестанным усилиям ее руко-

водителя и пилотов, может стать столь легкоуязвимой. Даже на своем административном посту Антуан, в силу полного равнодушия к коммерческой стороне предприятия, не мог догадаться о назревающих событиях.

В 1927 году, как уже говорилось, Латекоэр передал сеть своих линий почти полностью крупному промышленнику и финансисту Буйю-Лафону. Этот незаурядный делец, помимо чисто деловых качеств, обладал в некоторой мере своего рода романтикой предпринимательства. Полюбив дело, он вложил в него все свои капиталы с долей риска, превышающей допустимую, и непомерно раздул предприятие. За недостатком личных средств ему пришлось обратиться за помощью к французскому правительству, поддержавшему уже Латекоэра и обещавшему ему значительные кредиты. Однако происшедший в 1929 году крах нью-йоркской биржи и последовавший за ним сильный экономический кризис с некоторым опозданием перебрался в Европу, вызвав глубокие потрясения в экономике Франции. При создавшихся обстоятельствах правительство оказалось вынужденным отказать Буйю-Лафону в предоставлении утвержденных уже парламентом кредитов.

Попав в затруднительное финансовое положение, предприниматель пытается оказать давление на правительство и для этого свертывает деятельность компании. Как всегда в таких случаях, к сложной экономической обстановке присоединилась политическая борьба. Для правительства с особой остротой встал вопрос о сохранении национального престижа Франции. Министр авиации Дюмениль тайно вызвал в Париж Дидье Дора и, объяснив ему положение вещей, настаивал на том, чтобы линии продолжали свою деятельность. Дора, не колеблясь, дал согласие. Жизнь созданного им дела являлась для него основной целью.

Разгневанный Буйю-Лафон, узнав об этом свидании, бросил своему директору горький упрек: «Когда в 1927 году я купил у Латекоэра Линию, единственная настоящая ценность, которую он мне продал,

были вы. В этой истории — вы самая тяжелая моя утрата».

Но в том-то и дело, что Дора отнюдь не считал себя предметом купли и продажи. Со своей стороны, летный персонал, несмотря на невыплату жалования, продолжал работать. Однако ни самоотверженность летчиков и механиков, ни упорство Дора не смогли предотвратить неминуемого краха. 13 марта компания «Аэропосталь» вынуждена была объявить себя неплатежеспособной.

Разражается крупный политический скандал. Пока ведется судебное разбирательство, выясняющее, кто виноват в разорении акционеров «Аэропосталья», пока в парламенте ведутся дебаты по вопросу о национализации крупной промышленности и предприятий национального значения, Соединенные Штаты и Германия захватывают в Южной Америке позиции Франции, завоеванные мужеством и жертвенностью пилотов Линии. Американская «Пан-Америкэн Эйруэйз» и немецкая «Люфтганза» вытесняют «Аэропоста-Аргентина» из Латинской Америки.

За честь своей Линии вступились пилоты. Им все равно, как будет называться компания, кто будет ее владельцем, — им важно сохранить предприятие.

Мермоз обращается к членам правительства, депутатам, общественным деятелям. «Я заступаюсь не за промышленников, — говорил он, — но невысказанно, чтобы дело, созданное ценою таких жертв во славу Франции, погибло. Мои товарищи вынесли все: и плен и смерть от руки кочевников, они боролись с песками, снегами, горами, океаном, они делали это не для держателей акций, мы хотели служить стране, показать, что Франция способна на великие дела. Нельзя допустить, чтобы в момент, когда мы достигли наивысшего успеха, порыв, усилия стольких самоотверженных людей были сведены на нет. Мы должны продолжать, иначе плоды наших трудов пожнут другие».

В момент, когда началось дело «Аэропосталья», Сент-Экзюпери находился в трехмесячном отпуске и с тревогой издали наблюдал за ходом событий. Пол-

ностью разделяя взгляды Мермоза в этом вопросе, он все же вынужден был оставаться в стороне, не обладая еще в то время достаточным весом. Мермоз был самым знаменитым человеком Франции, ему и положено было говорить. Звезда Сент-Экзюпери только-только начинала всходить, да и то в литературном мире.

Правительство назначает временную конкурсную администрацию во главе с Раулем Дотри. Политические страсти вокруг дела «Аэропосталья» не утихают, и конкурсной администрации, как всякой новой администрации, необходимо найти козла отпущения. Этим козлом отпущения становится Дидье Дора. Этого человека, не имевшего ничего общего с финансовой стороной предприятия, обвиняют во всех смертных грехах, вплоть до того, что он якобы вскрывал письма своих подчиненных и, когда самолеты терпели аварию, сжигал доверенную компании корреспонденцию.

В мае Сент-Экзюпери возвращается на работу в качестве пилота, обслуживающего отрезок линии Касабланка — Порт-Этьенн, а затем летает и до Дакара. За это время страсти накалились до предела, и, чтобы дать какое-то удовлетворение общественному мнению, разжигаемому разнузданной прессой, а может быть, и чтобы устранить возможного конкурента на пост директора вновь организуемой компании, Рауль Дотри окончательно устраняет Дидье Дору. Мермоз, Гийоме, Сент-Экзюпери (на этот раз он полагает, что его слово будет иметь больший вес, ведь он уже небезызвестный писатель) и некоторые другие пытаются вступить за своего начальника, но напрасно. В июне его увольняют с поста директора эксплуатации.

Как уже было сказано в предыдущей главе, новое назначение Сент-Экзюпери заставило его переехать с женой в Касабланку. Теперь он летает не один. На почтовом самолете «Лате-26» появился уже радист. Часто спутником Антуана в это время будет Нэри. Как и его пилот, он человек творческого склада. Нэри — художник и повсюду возит с собой этюдник.

В воздухе, сидя один позади другого в открытом самолете, они не могут разговаривать. Когда им нужно обменяться мыслями или впечатлениями, они передают записки. Иногда на этих клочках бумаги вместо слов — рисунки, и оба товарища хорошо понимают друг друга.

В «Земле людей» Сент-Экзюпери упоминает о Нэри. Он не мог допустить, чтобы его радист — который впоследствии служил радистом у Гийоме, совершавшего рейд через Южную Атлантику и ставшего чемпионом этих перелетов в эпоху, когда это граничило с настоящим подвигом, — чтобы этот радист остался неизвестным. Он включил его имя наряду с некоторыми другими именами в свою книгу, как бы желая его увековечить.

Сколько волнующих воспоминаний для летчика! Между Касабланкой и Дакаром, на этой линии песков, где Сент-Экс уже жил столько времени, он снова находит свою милую пустыню, жгучее одиночество, трудную жизнь, которая дала ему открыть самого себя и одновременно сблизилась с людьми. Он совершает посадки в промежуточных пунктах; каждый из них для него открытая книга, где записаны какой-нибудь подвиг или жертва — имя исчезнувшего товарища. Вот Агадир, а вот и Джуби с испанским фортом, с баракком за колючей проволокой и тенью старого Барка. Вот Порт-Этьенн, где его встречает начальник аэродрома Люка. Он «днем и ночью заводит граммофон, который в этом глухом углу говорит с нами на полузабытом языке, навевая беспричинную грусть, странным образом напоминающую жажду». Немного дальше он угадывает в ночи под крыльями самолета военный пост Нуад-Шотт, где после приключившейся с ним, Ригелем и Гийоме аварии молодой летчик впервые познал «вкус пустыни».

Но вот однажды, в декабре 1931 года, Дюбурдые, находившийся в это время в Тулузе, увидел Сент-Экса, вылезавшего из кабины самолета, доставившего почту из Марокко. «Он весь зарос трехдневной бородой, почернел от выхлопных газов, был обут

в старые сандалии и одет в замасленные, изношенные брюки и синее ратиновое пальто с веревкой в качестве пояса, не закрывавшее обнаженной груди».

Наверное, Сент-Экс никогда так не торопился, как на этот раз: он узнал, что «Ночному полету» присуждена премия «Фемина», и получил разрешение доставить почту в Тулузу и отправиться в Париж, для того чтобы лично присутствовать на церемонии вручения премии.

Но именно это-то и оказалось для Сент-Экзюпери роковым. Дело в том, что Дидье Дора, в котором многие узнали главного героя книги Ривьера, создал себе своими методами руководства не только почитателей и друзей, но и многочисленных врагов. Да и выход книги совпал со временем, когда против него велась ожесточенная кампания. Что до летчиков Линии, то Ривьер для них был попросту самим Дидье Дора. Не все они были сделаны из такого теста, как Мермоз или Гийоме. Не все, в особенности из поступивших на Линию в последние годы, смотрели на своего директора их глазами. Он не был для них пионером Линии, занимавшим свой пост благодаря собственным заслугам, он был просто директором, возводящим в некий культ им же самим установленные жесткие правила службы. Все захотели узнать в Ривьере Дора, но не все были согласны с оценкой его деятельности, данной автором.

Сент-Экзюпери утверждал, что он по-братски любил всех своих товарищей по Линии. Но, естественно, не со всеми он был одинаково близок. Люди в обществе, в школе, на каком-либо предприятии, если их и связывает одинаковое отношение к своей профессии, если им и свойственна одинаковая целенаправленность, как это было в «Аэропостале», все же не однородны. Каждый человек чувствует влечение к тому или другому товарищу. Симпатии и антипатии имеют свои причины, которые нам не всегда понятны. Здесь играет, по-видимому, основную роль общая настроенность.

Летный персонал Латекоэра был весьма разношерстный. Многие из товарищей Антуана вышли

из неимущих слоев и вне своей профессии не отличались широким кругозором. Некоторые из них, как Гийоме или Мермоз, вследствие общения с более образованными товарищами значительно повысили свой интеллектуальный уровень. На других работа, требовавшая большой доли сообразительности и моральных качеств, мало повлияла в смысле расширения их умственного горизонта. Такие смотрели всегда на Антуана, на которого воспитание наложило определенный отпечаток, как на некоего аристократа в дурном смысле слова. Его застенчивость, обходительность воспринимались ими как проявление высокомерия. Для них он был «барчуком». В героический период Линии об этом было забыли. Но вот товарищ, который наравне со всеми летал, чистил свечи, монтировал моторы в ангаре Монтодрана или там, на линии Тулуза — Дакар, возвысился над ними, стал директором «Аэропоста-Аргентина» и писателем. И в книге своей он на первый план выставлял технического директора Линии, хмурого начальника, который открывал рот лишь для того, чтобы отдать приказание или разнести кого-нибудь. «Ночной полет» показался этим людям апологией одного человека — Дора. Они не поняли, что Сент-Экзюпери одновременно прославляет и их.

Вдруг, после стольких лет дружеского общения, вспомнили, что Сент-Экзюпери граф, и, чтобы подчеркнуть пропасть, существующую между ним и рядовыми летчиками, бросили ему самый обидный упрек, какой только можно было придумать: Сент-Экс, мол, не профессиональный летчик, а любитель, поступивший на Линию от скуки.

Да и некоторые другие, менее приземленные, увидели Сент-Экса иными глазами. Естественную гордость писателя, которому удалось создать неплохое произведение, получившее высокую оценку квалифицированного жюри, и всячески выражающего свою радость по этому поводу, они приняли за заносчивость. Столь единые в их суровом ремесле, столь великодушные во время опасности, столь наделенные чувством братства, некоторые из этих товарищей не

были лишены одной слабости, часто принижающей многих, — завистливости.

Меньше всего Сент-Экзюпери ожидал нападков со стороны товарищей — и это большее всего ударило по нему. К этому прибавились различные другие обстоятельства.

Казалось, награждение премией «Фемина» должно обеспечить на некоторый срок его материальное благосостояние. Правда, сама по себе премия невелика, но она обеспечивает автору значительный тираж его книги. А так как автор во Франции получает проценты с продажной стоимости книги, причем процент этот с увеличением тиража прогрессивно возрастает, то присуждение премии сулило Антуану, во всяком случае в первый год, довольно значительный доход.

Однако Сент-Экзюпери, никогда не отличавшийся экономностью, привык к тому же в Буэнос-Айресе жить на широкую ногу. Что-что, а сорить деньгами Консуэло тоже умеет. Супруги живут не по средствам. Сент-Экс, взявший отпуск для получения премии, возвращается на работу только в феврале 1932 года.

Но как мог быть в почете у временной администрации, уволившей Дора, один из его ярких защитников, автор книги «Ночной полет», приобретшей силу исторического документа, книги, которая как будто возвеличивала того же Дора — Ривьера? И Сент-Экзюпери получает назначение не на свою милую линию, а на пассажирскую линию Марсель — Алжир, обслуживаемую гидропланами. По распоряжению администрации он должен совершить сначала два рейса Марсель — Алжир — Марсель в качестве второго пилота, затем сдать в Мариньяне экзамен на самостоятельное вождение и только тогда получить назначение первым пилотом.

Все это похоже на издевательство. У Антуана создается впечатление, что новая администрация стремится всячески его унижить, отбить желание продолжать работу в авиакомпании. В самом деле, окончание курсов в Бресте и многолетний опыт и так

давали ему право на вождение гидропланов. Скрепя сердце он подчинился. Однако же экзамена, по-видимому, не сдавал и продолжал некоторое время работать вторым пилотом.

Впрочем, недолго. В июле он снова просит предоставить ему отпуск по семейным обстоятельствам и всячески оттягивает возвращение на работу. Сент-Экс явно растерян: он любит свое ремесло летчика, все же оно обеспечивает ему какой-то твердый минимум, но его тянет писать. А оба дела трудно совместить. Да и чем жить, если полностью отдаться литературному творчеству? Правда, книга его продается и потянула за собой переиздание «Почты — на Юг», у него договор с издателем на несколько книг вперед, но в лучшем случае это дает возможность получить аванс — на этом жизнь не построить. Поколебавшись и истратив последние деньги, свои и взятые в долг, — Антуан так же легко брал займы, как и давал, когда у него были деньги, всем кто ни попросит, — Сент-Экс возвращается на работу.

Свидетельства о последующих нескольких месяцах жизни Сент-Экзюпери противоречивы. По одним сведениям, его уже в этот момент не приняли больше на работу, по другим — с августа он возвращается опять в Марокко и летает с почтой из Касабланки в Дакар. Известен все же один документ — письмо из Порт-Этьенна, датированное 11 сентября 1932 года:

«В путешествиях ужасно то, что к ним надо относиться с полной серьезностью. Чтобы наслаждаться пребыванием в какой-нибудь стране, среди какой-нибудь народности, в какой-либо среде, надо полностью принять ее обычаи и порядки. Они-то и дают возможность пустить корни. Жизнь вне обычаев и порядков среды вызывает во мне глубокую грусть. Страдаешь как бы отрывом от реальности. В первый раз, когда я был здесь, я полностью приобщился к этой жизни.

Час утреннего завтрака, колокольчик молочника, ревматизм, который вынашиваешь, а при необходи-

мости и церковная служба создают эту реальность, под сенью которой можно жить. И тогда в мире, приобретшем глубокий смысл, пускаешь росток — и интрижка, которую заводишь с почтовой чиновницей, замечательна в своей человечности...»

И другое письмо, не датированное, но очень сходное по настроению:

«...Мое грустное настроение вызвано, вероятно, моей трудной жизнью. Я только и делаю, что оплачиваю различные счета, и моя тяжелая работа не ведет ни к чему. Я едва-едва свожу концы с концами... Деньги сами по себе так мало меня интересуют, что это мне безразлично, и все же мало-помалу у меня создается ощущение крайнего неуютта. Словно предо мной выросла стена. Все мои нужды носят характер срочности. А так хотелось бы на минуту перевести дух...»

Если только не предположить, что письмо из Порт-Этьенна датировано ошибочно 1932 годом, то приходится остановиться на втором варианте. Да и судя по тому, как развивались события, это выглядит правдоподобнее. Безусловно, новая администрация была явно настроена против Сент-Экзюпери и, весьма возможно, искала первого предлога, чтобы его уволить, — так, во всяком случае, думал сам Антуан. Но надо принять во внимание его обычную мнительность, к тому же еще обостренную различными неудачами семейного, материального и морального порядка.

Так или иначе, был ли Антуан уволен или ушел сам, имеет для нас второстепенное значение. Нам хорошо известно мнение о нем Дора. А Дора понимал толк в людях и знал, что в трудных условиях полета, в непогоду Сент-Экс — один из лучших его пилотов. В тихое безветрие, над ровной местностью он мог быть рассеянным, так как на свободе много размышлял о вещах, не имеющих отношения к его профессии. Зато он был неплохим организатором, и Дидье Дора сумел его использовать сообразно с его особыми качествами, не закрывая глаз на его недостатки. Новая, временная администрация не сумела или

не захотела этого сделать, да и сам Антуан своим поведением давал повод для обвинения его в некоторой неустойчивости, в некоторой неуравновешенности характера.

«Деньги сами по себе» его «не интересуют». Но они нужны, ох, как нужны! Как раз в этом отношении намечается проблеск. Американская фирма ставит фильм «Ночной полет». Однако права автора оказались плохо защищены, и Сент-Экзюпери почти никакой материальной выгоды из этого не извлек.

Дора, не потерявший связи с Латекоэром, помогает Сент-Экзюпери устроиться летчиком-испытателем на авиазаводе. Погруженный в свои заботы, в подавленном состоянии Сент-Экс приступает к этой опасной работе, требующей от летчика особенной собранности.

От этого времени сохранилось одно его письмо: «Возвратился с базы гидросамолетов, где проводил испытания. В ушах стоит шум, руки перепачканы маслом. Пью на террасе маленького кафе, вокруг постепенно темнеет, а у меня нет желания даже пойти пообедать... Живу здесь один, потому что мотаюсь между Тулузой, Перпиньяном и Сен-Рафаэлем. Дни провожу на лимане — это не море и не озеро, просто безжизненная гладь, я ее не люблю. Соленые воды, если это только не море, всегда тоскливы, не знаю почему. Защищенные воды! Пресные воды называют «мягкой» водой — это так верно. Настоящее озеро, с домами, стоящими вокруг и глядящими друг на друга, представляется мне образом любви. Когда любишь девушку с другого берега, она кажется недоступной и близкой — заманчивое приключение. Кажется, что лодки в этой вечной гавани достигли, наконец, берега желаний. А в Сен-Лоране для Саланк, где я провожу дни, дышишь гниющими водорослями. И это тупик, даже внутренний тупик. Здесь я не чувствую себя счастливым. То же происходит и вечерами, когда я возвращаюсь в Перпиньян, — вечера вроде нынешнего бесконечны. Ни с кем здесь не познакомился и не стремлюсь к этому.

Обрывки фраз и смех, доносящиеся до моего угла, причиняют мне боль. Эти звуки напоминают бульканье закипающей похлебки. Эти люди булькают в своей кастрюльке до самой смерти. Зачем тогда жить? Меня, правда, навестила чета друзей — молодое семейство, уверенное в своем благополучии, конечно, счастливое, но мне его счастье показалось затхлым. Знаешь, в нем чувствовалось брюзжание слишком благополучных людей. Необоснованная озлобленность счастья. Когда они ушли, я свободно вздохнул. Правда, я их очень люблю, но я ненавижу такую успокоенность. Есть же, наверное, люди, поющие на ветер с моря!»

Да, сам он мечется, как ветер с моря. Консуэло в Париже. Он нигде не находит себе места, он то здесь, то там. И сам не вполне знает, чего хочет.

Андре Дюбурдые, который часто видал его в это время, говорит, что он не мог вполне сосредоточиться на своей работе, а это особенно необходимо летчику-испытателю.

Однажды Сент-Экзюпери должен был испытать новую модель трехмоторного самолета. Еще на колодках левый мотор стреляет. Это его не останавливает. Он подымается в воздух. Естественно, в полете мотор забарахлил еще больше, и из него пошел дым. Сделав разворот, Сент-Экс пошел на посадку. Наблюдавшие за ним с земли с ужасом заметили, что от самолета что-то отделилось — не то часть крыла, не то оторвавшийся от фюзеляжа лист обшивки. Между тем самолет продолжал спуск вполне нормально. На земле выяснилось: оторвавшийся предмет был дверцей кабины, которую Сент-Экс забыл закрыть при взлете.

Другой случай еще более характерен. Сент-Экзюпери принимает партию самолетов «Лате-28», запрошенных Венесуэле. После обязательных в таких случаях испытаний — подъем на три тысячи метров, полет на ограниченном отрезке с максимальной скоростью — Сент-Экс совершает посадку. Подошедший инженер спрашивает его, все ли в порядке.

— О нет! — восклицает Сент-Экзюпери. — Этот

самолет на большом газу очень сильно кренит, его едва можно выровнять.

— В какую сторону крен? — спрашивает инженер.

Сент-Экзюпери задумывается: он уже не помнит. Сколько он ни поворачивался лицом к аэродрому, как ни старался представить себе дорогу в Мюре, проходившую слева, положение по отношению к солнцу, садившемуся напротив, он не был в состоянии сказать, в какую сторону кренился самолет. Ему пришлось снова подняться в воздух, чтобы ответить на вопрос инженера.

Товарищи забавлялись подобными происшествiями. Но для инженеров в этом не было ничего смешного.

В ноябре при испытании гидроплана Сент-Экзюпери чуть не гибнет в бухте Сен-Рафаэля. Это единственный случай в его карьере летчика, когда авария произошла по его вине, все остальные рассказы — легенда. Но в этом случае неправильная посадка на воду привела к тому, что самолет зарылся и начал тонуть. Своим спасением Сент-Экс поистине обязан чуду. Это чудо — «купание в Сен-Рафаэле» — он описал в «Земле людей».

Следствием этой аварии явился временный вынужденный отдых. Сент-Экзюпери закончил сценарий фильма «Анн-Мари», начатый еще в Буэнос-Айресе, и написал либретто сценария фильма «Игорь». Русскому читателю будет небезынтересно узнать, что в основу сценария «Игоря» положен эпизод возвращения на родину революционера, за которым охотится царская полиция. Два его товарища жертвуют собой, чтобы дать ему благополучно сойти с корабля на берег. Основное в сценарии — это разработка столь милой сердцу Сент-Экса темы товарищеской взаимовыручки. Острые драматические коллизии, выявляющие благородство человеческих чувств, коллизии, для которых сюжетной канвой служит революционная деятельность, не привлекли к себе должного внимания и интереса продюсеров. Ни к каким практическим результатам попытки Сент-Экзюпери писать

специально для кино не привели. При его «негибкости» поползновения продюсеров и режиссеров расправляться с творением писателя по своему усмотрению, корезить его произведение как им заблагорассудится в угоду так называемым вкусам широкой публики или своим собственным наталкивались со стороны Сент-Экзюпери на резкий отпор. Антуан очень разочарован своей деятельностью киносценариста. Он пишет другу:

«Я никогда не рассматривал фильм как свое детище. По существу, фильм всегда коллективное творение, он всегда результат лучших или худших компромиссов, которые никогда не удовлетворяют автора. Я тщательно избегаю чересчур связывать такую работу со своей точкой зрения и пытаюсь приобщить свои усилия к усилиям моих соавторов».

Как видно, совместная работа с режиссером пришла Сент-Экзюпери не по душе, и он отказался от дальнейших попыток в этой области. Он хотел бы иметь возможность одновременно писать сценарий и самому ставить фильм, но это ему не удалось.

Сент-Экзюпери возвращается на работу у Латекозра. У него появляется некоторый досуг, и, когда к нему обращаются с просьбой написать предисловие к книге Мориса Бурде «Величие и кабала авиации», он с радостью ухватывается за эту соломинку. В этом предисловии он снова изливает всю свою душу, подводит итог своим размышлениям над чудом, каким была для него Линия, раскрывает самое ценное, что давал ему повседневный труд небесного пахаря. В этом небольшом стихотворении в прозе много грусти, навеянной воспоминаниями, но и много подлинной радости.

Величие и кабала авиации

Около двух часов ночи, когда самолет с почтой вылетает обратным рейсом из Дакара в Касабланку, темный капот мотора утверждается среди звезд, имени которых я не знаю, немного правее ковша Большой Медведицы. По мере восхождения звезд меняешь ориентиры. Меняешь советников. И мало-пома-

лу, закончив большую стирку видимого мира, оставив от него лишь проступающие на черном песке звезды, ночь с тем же рвением затевает большую стирку в сердце. Ничтожные тревоги, казавшиеся столь значительными, раздражения, невнятные желания, ревность стираются, и проступают лишь важные заботы. И тогда, час за часом спускаясь по лестнице звезд к рассвету, чувствуешь себя чистым.

Величие и кабала ремесла летчика! Морис Бурде пытается в этой книге со всем своим талантом, со всей душой дать их почувствовать. Хотел бы сказать здесь несколько слов о том, что мне кажется самым главным.

Да, есть величие ремесла: радость возвращения, когда преодолел бурю; скольжение к залитому солнцем Аликанте или Сант-Яго, когда выбрался из мрака или грозы, могучее чувство, что возвращаешься к своему месту в жизни, в чудесный сад, где есть деревья, женщины и маленькие портовые кафе. Какой пилот Линии не пел, когда, оставив позади давившие его грозные массивы, сбавив обороты и склоняясь к земле, он вел самолет на посадку?

Да, есть в ремесле и свои невзгоды, за которые, наверно, тоже любишь его. Внезапные побудки, срочный вылет в Сенегал, вынужденный отказ от многих удобств и благ... И эти аварии в какой-нибудь трясине и тяжелые переходы в песках или снегах! Ведь человеку, заброшенному судьбой на неизвестную планету, надо же выбраться, бежать от смерти в мир живых, вырваться из плена гор, песков, безмолвия. Да, есть и безмолвие. Когда пилот с почтой не прибыл в положенное время, его ждут час, день, два, но безмолвие, отделяющее его от тех, кто еще надеется, все сгущается. Сколько наших товарищей, пропавших без вести, канули в вечность, словно бы провалились в снежный сугроб!

Невзгоды, величие, да... но есть и еще нечто! Ведь когда темный капот самолета, подобно леерному ограждению на носу корабля, мерно покачивается меж звездами, пилот в ночи, возвращающийся с поч-

той в Касабланку, вновь окунается в самую суть вещей.

На его глазах протекает такое значительное событие, как перевоплощение ночи в день. Ему удается подстеречь самый сокровенный момент в этом значительнейшем акте. Правда, он знал, что небо на востоке бледнеет еще задолго до того, как выплывает солнце. Но только в полете он открывает родник света. Пусть он хоть тысячу раз встречал зарю, он видел лишь, как небо светлеет, но не знал, что свет бьет ключом и растекается по небу. Он и не ведал об этом артезианском колодце дня. День, ночь, горы, море, грозы... Посреди первозданных божеств, управляемый несложной моралью, гражданский летчик причащается крестьянской мудрости.

Старый деревенский врач, совершающий вечерний обход ферм, дабы вернуть свет угасающим глазам, садовник в своем саду, чьи опытные руки способствуют рождению роз, — все те, чье ремесло приобщает к жизни и смерти, обогащаются тою же мудростью. Вот в этом одно из высоких достоинств опасности. Как далеко все это от показной удали, от литературного вкуса к риску, от двусмысленного девиза, кем-то когда-то намалеванного на самолете и прославляющего Куртизанку и Смерть. Кто из нас, товарищи мои, не испытывал перед такой рисовкой чувства оскорбления за настоящее мужество, оскорбления за тех, для кого опасности — повседневный хлеб, за каждого, кто в суровой борьбе добивается того, чтобы вернуться?

Ну, а самое существенное? Главное, быть может, не могучие радости ремесла, не невзгоды и не опасности, но взгляд на мир, до которого они возвышают. Когда, снизив обороты, приглушив мотор, пилот скользит к гавани и обозревает город с его человеческими напастями — денежными заботами, изменностью, завистью, враждой, — он чувствует себя чистым и неуязвимым. И если ночь в пути была ненастной, он попросту радуется жизни. Ведь он не каторжник, замыкающийся после работы в своем пригороде, он — владетельный князь, вновь вышед-

ший в свой сад на прогулку. Зеленые леса, голубые реки — все это возвращенные ему сокровища. Сокровище — и эта женщина, еще затерянная среди камней города, которая выпростается из своей каменной оболочки, вознесется к нему. Женщина, которой он несет свою любовь...»

Да, здесь, в этой небольшой поэме в прозе, Сент-Экс не говорит о чувстве товарищества, не идеализирует руководителя, дающего летчикам почувствовать вкус жизни. Эта радость жизни возникает без посредников, сама, был бы только человек подготовлен к прямому общению с природой, к прямому восприятию жизни.

НА ЗЕМЛЕ И В НЕБЕ

30 августа 1933 года компания «Аэропосталь» преобразуется в национальную компанию «Эр Франс», в которую вливаются все другие мелкие авиакомпании. Назначается новый директор. Дидье Дора приглашают в «Эр Франс» в качестве чиновника по особым поручениям. Для Сент-Экзюпери снова замерцала надежда вернуться на Линию. Но новая администрация хотя и не с таким предубеждением относится к нему (он-де поэт, а не летчик), все же на просьбу о зачислении в летный состав отвечает, что кадры укомплектованы.

Антуана это приводит в отчаяние. Он то и дело мчится в Париж и хлопчет, хлопчет... Единственный человек, который мог бы поддержать его морально в эти трудные для него минуты жизни, находится в Южной Америке. Антуан давно порывался ему написать, но как-то стеснялся выразить на бумаге свои чувства. Но вот он узнает, что Гийоме возвращается обратным рейсом на «Арк-ан-сиель», на котором Мермоз впервые только что пересек Атлантический океан, и к Гийоме несется крик его души. Письмо это отправлено на адрес компании «Эр Франс»:

«Гийоме, я слышал, что ты приезжаешь, и сердце у меня стучит. Если бы ты знал, какую ужасную

жизнь я здесь вел со времени твоего отъезда и какое отвращение к жизни мало-помалу охватило меня! За то, что я написал эту несчастную книгу, меня приговорили к нищете, и я окружен недружелюбием товарищей. Мермоз расскажет тебе, какую репутацию мне постепенно создали те товарищи, которых я больше не видел и которых я так любил. Тебе скажут, что я зазнался! И ни один из товарищей от Тулузы и до Дакара в этом не сомневается. Я сильно озабочен также моим долгом, но я даже не всегда имел возможность платить за газ и хожу в старом, потрепанном костюме трехлетней давности.

Впрочем, ты прибываешь, быть может, в момент, когда подует другой ветер, и, возможно, мне удастся освободить свою совесть от невыполненного обязательства. Постоянные неудачи, несправедливость создавшейся обо мне легенды не давали мне писать тебе. А вдруг и ты поверил тому, что я изменился? Я никак не мог бы решиться на то, чтобы оправдываться перед единственным человеком, которого я считаю братом. Дело дошло до того, что даже Этьенн, которого я не встречал с отъезда из Америки, говорил всем, хотя и не виделся со мной, что я стал позером!

Ведь вся жизнь испорчена, если у лучших товарищей создается обо мне такое представление и если моя работа на Линии после преступления, которое я совершил, написав «Ночной полет», почитается скандалом. И надо же, чтобы это случилось со мной, который так не любит всяких историй!

Не ходи в гостиницу. Остановись у меня на квартире — ты там у себя. Через четыре или пять дней меня не будет в Париже. Ты будешь как дома, и у тебя под рукой будет телефон, что гораздо удобнее. Но, быть может, ты не захочешь! И, возможно, мне придется признаться себе в том, что я потерял даже лучшего друга.

Сент-Экзюпери, улица Шаналей, 5,
телефон Инв. 62-90.

Если меня не будет, ключи у консьержки, и в доме есть кому тебя обслуживать. Ты можешь привести, кого хочешь, и ломать все, что хочешь. Но я пишу тебе, а сам дрожу при мысли, что ты не примешь этого доказательства моих чувств к тебе и что Дакар, ром, которым мы делились, — все это так же далеко, как и волшебные детские сказки».

Легко себе представить моральное состояние Сент-Экзюпери, если он мог в это время сомневаться даже в дружеских чувствах Гийоме, человека, о котором он говорил: «Дай книгу Гийоме и, хотя он не обладает широкой культурой, увидишь, ошибется ли Гийоме в оценке содержания».

Еще в Буэнос-Айресе однажды вечером он принес рукопись «Ночного полета» своим друзьям. Летчик и его жена сели рядышком читать рукопись, а Сент-Экс с трепетом ожидал приговора. Он беспокойно расхаживал по комнате, останавливался, садился, наливал себе что-нибудь выпить, снова вставал, закуривал, шел к окну и рассеянно смотрел на улицу. Друзья, увлеченные чтением, не обращали на него никакого внимания. Наконец Гийоме отложил рукопись.

— Ну, что вы об этом думаете?

— Посмотри на мою жену, — ответил Гийоме.

Мадам Гийоме молча плакала.

Несмотря на все свалившиеся на него невзгоды, Сент-Экзюпери не собирался отказываться от себя. Ни от своих взглядов, ни от любимого ремесла. Он упорно продолжает настаивать на своем возвращении на Линию. Однако в конце года Дора уходит из «Эр Франс» и вместе с Беппо де Массими при поддержке министра почт, телеграфа и телефона Жоржа Манделя создает компанию «Эр блё», обслуживающую почтовые авиалинии внутри страны. Сент-Экс мог бы, конечно, устроиться у Дора, но эта работа не по нем. Он ищет широких горизонтов, непосредственного контакта с природой, столкновений со стихиями, и работа воздушного извозчика его не устраивает.

Политический горизонт страны мрачен. Назревают крупные события. Французская буржуазная демократия Третьей республики как бы исчерпала себя. В парламентских кругах царит коррупция. В этих обстоятельствах многие честные люди, обладающие незаурядными данными, большим темпераментом и характером, но полностью лишенные умения анализировать политическую обстановку, мечутся из крайности в крайность. В их числе оказался и Мермоз, давший увлечь себя в фашистское движение «Боевых крестов» (подразумеваются ветераны войны 1914 года, орденосцы, награжденные Военным крестом). В действительности организация эта вобрала в себя весьма разношерстную публику, к ней примкнуло всякое отребье, по молодости лет вовсе не участвовавшее в войне и не награжденное никакими орденами. Характерно, что во время петэновского режима даже сам полковник де ля Рокк, возглавлявший это движение, отмежуеться от правительства коллаборационистов, в организации произойдет раскол, часть ее составит кадры петэновской фашистской милиции, а некоторые члены примут даже участие в Соппротивлении.

Но на данном этапе, в начале 1934 года, демагогия де ля Рокка приводит к затмению даже неплохих мозгов. В частности, организация старается всячески использовать в своих низменных интересах Мермоза, увлеченного своим темпераментом, победителя Атлантики и национального героя.

Сент-Экзюпери всегда стоял в стороне от политики. Но он обладал ясным умом и трезвым суждением. Внимательно следя за выступлениями фашистских лидеров де ля Рокка, Кьяппа, Доржереса, Деа, Кабруччия, Дорио, наблюдая за разнузданной кампанией клеветы против одного из социалистических лидеров, Саленгро, приведшей его к самоубийству, и за тем, как все реакционеры используют в своих целях дело о коррупции в парламентских кругах (так называемое дело Стависского), он по своему обыкновению ищет нечто общее, постоянное во всех этих частных случаях, все время заносит записи в свой

блокнот и, подытоживая, выводит из всех этих явлений назидательный урок о мышлении и способах выражения мыслей. Он обрушивается на пустоту и несостоятельность мышления «правых», оставляя в стороне сущность политических вопросов.

На почве политической деятельности Мермоза между товарищами возникает серьезный конфликт. И все же это обстоятельство не могло разрушить их многолетнюю дружбу. Столько было пережито вместе, столько радостей и невзгод... Правда, между ними уже не сохранилось того ничем не омраченного взаимопонимания, характеризовавшего отношения между Антуаном и Гийоме, — и это еще уточняет смысл, который Сент-Экзюпери вкладывал в фразу, взятую нами из «Земли людей» и избранную эпиграфом к этой книге. Пример отношений с Мермозом и некоторыми другими товарищами подсказывает ему мысль: «Величие всякого ремесла, быть может, в том, что оно объединяет людей. Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения». Антуан пытается убедить Мермоза в ничтожестве тех людей, которые используют его имя. Он говорит о полковнике де ля Рокке:

«Я не приемлю этот ничтожный язык, который одновременно выражает ничтожность сознания. Куда нас может привести это беспозвоночное?..»

Как можно прислушиваться серьезно к словам человека, который может выражаться так: «аспект, являющийся учреждением»?..»

И дальше:

«...Полковник не понимает даже, что цель — общая для всех людей (гармония, мир, порядок, благополучие), но что существует серьезное разногласие по поводу достижения ее. Он не понимает, что средства определяют действительную цель, ибо создаешь то, что делаешь, лелеешь то, чем занимаешься, и не существует косвенных рассуждений. Разница между целью и средством — различие, делаемое педагогом и находящее оправдание лишь потом. Если я беру в истории какой-нибудь отрезок времени, я узнаю, что предшествовало конечному состоянию,

но я мог бы иначе раскрыть историю, и конечная цель называлась бы средством (данный вопрос смешивают с проблемой развития живых организмов, у которых какое-нибудь предшествующее существо определило эволюцию, которая не может быть повторена)...

Мермоз, передавший об этом разговоре полковнику де ля Рокку, сообщил Сент-Экзюпери о яростной диатрибе, с которой обрушился на него полковник, обозвавший его «коммунистом», на что Антуан заметил: «Вот и доказательство бестолковости этого жалкого человечка. В своих речах он утверждает: «Никто не ближе к коммунистам, чем я. Никто не больший враг капитала, чем я...» И он верит в то, что говорит. Но все эти утверждения беспозвоночно лишены всякого смысла... Это банкротство человеческого достоинства у «правых», которые избирают себе таких вождей. Ибо концепции «правых» бедны, и чтобы их прославлять, можно довольствоваться таким вот певцом. Я вправе думать: все то, за что «Боевые кресты», по их утверждению, борются, ничтожно, раз они нуждаются во внешних проявлениях своей силы и эту силу направляют на действия, в которых нет ничего, что казалось бы мне порядочным...»

Надо полагать, что подготовка к фашистскому путчу, сопровождавшаяся постоянными уличными беспорядками, жертвой которых становились в большинстве случаев ни в чем не повинные граждане, евреи, протестующие рабочие и журналисты, выполняющие свой долг информаторов печати, производила на Сент-Экзюпери удручающее впечатление. Во время самого путча 6 февраля 1934 года и последовавшего за ним ответа всего трудового Парижа 9 и 12 февраля того же года, приведшего к созданию Народного фронта, Сент-Экзюпери, по-видимому, не было в Париже. Во всяком случае, на этот счет не сохранилось никаких свидетельств.

В апреле Антуан получает от авиакомпании письмо, в котором говорится: «...Учитывая находящийся уже на службе у компании летный состав, администрация ставит вопрос о том, чтобы привлечь

вас к работе в качестве внештатного сотрудника отдела пропаганды авиации с заданиями как в самой Франции, так и за рубежом...» Сент-Экс чувствует себя уязвленным в своем профессиональном самолюбии, униженным как пилот. Можно не сомневаться, что он отверг бы это предложение, если бы в письме не сообщалось также, что отдельные задания он будет выполнять и в качестве пилота. Поколебавшись немного, Антуан все же принимает это предложение.

Первое свое путешествие в новой должности Сент-Экс совершил в Индокитае. Цель поездки осталась неизвестной. По-видимому, она была связана с намерением «Эр Франс» распространить свою деятельность и на эту область земного шара. Известна только авария, происшедшая на следующий день после прибытия Сент-Экзюпери в Сайгон. Антуан обнаружил там старый, давно не используемый гидросамолет «Лиоре» и решил пролететь на нем в глубь страны. Через двадцать минут полета мотор отказал. По свидетельству сопровождавшего его старого товарища по брестским курсам Пьера Годийера, Сент-Экс при этом совершил мастерскую посадку на реке Меконг, тем самым еще раз подтвердив, что в трудных обстоятельствах он летчик высокого класса.

Самому Сент-Экзюпери эта вынужденная посадка на желтые воды Меконга напомнила аварии в пустыне, прежнюю столь милую сердцу жизнь. Сидя, свесив ноги, на верхнем крыле гидросамолета, он предался своим воспоминаниям, то и дело перемешивая их, как обычно, с впечатлениями момента и более общими размышлениями. Спутник его был очарован. Затем Экзюпери запел одну из песенок своего детства, которые так любил, и, умолкнув, погрузился в глубокое раздумье. Это случалось с ним порой даже в присутствии кого-нибудь из приятелей.

Поездка в Индокитай ободрила Сент-Экса. Что до компании, то, надо думать, итоги поездки удовлетворили ее, потому что после еще ряда поездок в другие страны она предлагает Сент-Экзюпери проделать большое турне по всему средиземноморскому бассейну. Вместе с организатором турне Жан-Мари Конти

он должен облететь на предоставляемом ему самолете типа «Симун» основные города бассейна: Касабланку, Алжир, Тунис, Бенгази, Каир, Александрию, Бейрут, Дамаск, Анкару, Стамбул, Афины, Рим — и выступить с лекциями о почтовой и гражданской авиации.

Конти должен был произносить вступительное слово, Сент-Экзюпери предстояло рассказывать об истории Линии, о ее героях. Это было не легко для него. Он не любил больших аудиторий и не чувствовал себя лектором. Вот рассказывать в дружеской компании — другое дело. Лекции, несмотря на значительный наплыв слушателей, едва окупали расходы по передвижению. К счастью, Сент-Экс и Конти обедали в большинстве случаев у городских властей, где Антуан снова становился остроумным и блестящим рассказчиком.

Путешествие то и дело приводило к грустным или забавным приключениям, вызванным подчас недоразумениями. И это не удивительно в условиях нашего века, где люди разделены границами, несхожими правилами и порядками, принципами, предубеждениями.

В Турции после перелета границы Сент-Экс совершает вынужденную посадку в пустынной местности. Самолет выкрашен в красный цвет — и летчиков принимают за большевиков. Не будучи в состоянии сговориться с жандармами, Антуан и Конти с помощью одного крестьянина удирают на розыски компетентных властей. С трудом им удается избежать тюрьмы и получить необходимую помощь, чтобы продолжать свое путешествие.

Лекция в Риме по настоянию французского посла отменяется. Отношения между Францией и Италией натянуты до предела. Муссолини заявляет претензии на Корсику и Ниццу. В итальянской прессе и парламенте поджигатели войны ведут яростную кампанию против Франции. Возвращаясь из Афин в Париж, Сент-Экзюпери вынужден все же для заправки горючим совершить посадку в Бриндизи, но все обходится благополучно.

По возвращении из поездки вокруг Средиземного моря Сент-Экзюпери проводит несколько дней в Марокко, где снимается в фильме. Да, да, в экстерьерах дублирует героя фильма, так как Бийон ставит «Почту—на Юг» с Дженни Хольт и Пьером-Ришаром Вильмом в главных ролях — и в сценах полета Вильма — Берниса заменяет сам Сент-Экс!

В апреле 1935 года Сент-Экзюпери едет в качестве журналиста от газеты «Пари суар» в СССР. Поездка эта не была подготовлена, и Сент-Экзюпери согласился на нее только ввиду большого интереса к советскому опыту. Вследствие условий, в которых протекало это путешествие, Антуан, к своему глубокому сожалению, мог очень мало увидеть и даже не попал во время первомайской демонстрации на Красную площадь, так как французское посольство не успело заблаговременно предупредить власти о его прибытии; да и в СССР в то время его еще никто не знал. Встречавшийся с ним в аэроклубе в Париже после возвращения Антуана из России советский летчик Л. П. Василевский, находившийся проездом во Франции, вспоминает о том, что Сент-Экзюпери еще был полон впечатлений и старался узнать как можно больше от своего собеседника о жизни в России. Л. П. Василевский свидетельствует, что нашел в нем вдумчивого собеседника, ничуть не поддавшегося впечатлению от всяких неправдоподобных рассказов, имевших тогда большое хождение на Западе.

Сент-Экзюпери опубликовал в «Пари суар» ряд репортажей, но, доверяя лишь собственным впечатлениям и, как всегда, доискиваясь в любой обстановке и в любых обстоятельствах того, что он принимал за духовную сущность, он очень мало говорит о материальной стороне развития страны, о жизни в ней, да и, возможно, сам поверхностный характер газеты, для которой он писал и которая с предвзятостью относилась к Советской стране, вряд ли располагал писателя к откровенности. В таком мнении нас утверждает настроенность Сент-Экзюпери, выразившаяся, в частности, в заключительной главе «Земли людей», наброски для которой были сделаны им в поезде по

пути в СССР. Там он упоминает о польских шахтерах, изгнанных из Франции в результате забастовки. Наибольший интерес в его московских очерках представляет зарисовка уходящего мира. Поистине он вытаскивает на свет божий музейные экспонаты. И в мягком юморе его столь непосредственного повествования можно легко различить едва скрытую насмешку над теми, кого он поехал представлять как журналист.

«Удостоверившись, что это и есть тридцатый номер, останавливаюсь напротив большого грустного дома. Сквозь ворота замечаю вереницу дворов и строений. Вход в Сальпетриер производит не более тоскливое впечатление. Это настоящий муравейник, составляющий часть отмирающей Москвы. Вскоре его снесут и воздвигнут на его месте высокие белые дома.

За несколько лет население Москвы возросло на три миллиона. И вот они ютятся в квартирах, разделенных перегородками, в ожидании новых домов, где они будут жить.

Это организуется просто. Группа преподавателей истории, к примеру, или группа краснодеревцев образует кооператив. Правительство дает ссуду, погашаемую ежемесячно. Кооператив заказывает постройку государственной организации. Каждый уже выбрал себе квартиру, обои, обдумал будущее устройство. И каждый теперь терпеливо ждет в грустных комнатах, в этой передней жизни, потому что она — временная.

Новый дом растет уже из земли...

И они ждут, как часто ждали пионеры-строители в необжитых странах.

Я успел познакомиться с современными квартирами, где индивидуальная жизнь вновь обретает окраску. Но я хотел посмотреть собственными глазами на еще многочисленные трущобы времен мрачного прошлого. Поэтому я и прогуливался неслышно, как тень, вдоль этого тридцатого номера. Я еще немного верил в «агентов», следующих за иностранцами по пятам. Я боялся еще, что они возникнут передо мной

и преградят мне путь к государственным тайнам СССР. Но я прошел в ворота совершенно свободно. Никто не обратил на меня внимания. Никто угрожающе меня не окликнул. Оказавшись в муравейнике, я показал первому встречному листок, где я старательно записал адрес и имя лица, которое я хотел застать, хотя лицо это и не подозревало о моем существовании:

«Где живет мадемуазель Ксавье?»

Первая встреча оказалась расплывшейся теткой, которая немедленно прониклась ко мне симпатией. Она захлестнула меня словами, из которых я ничего не понял. Я не знаю русского.

Я смущенно заметил ей это, на что она разразилась потоком дополнительных объяснений. Не осмеливаясь ранить столь любезное существо попыткой к бегству, я дотронулся до своего уха и показал женщине, что ничего не понимаю. Тогда она решила, что я глухой, и возобновила свои объяснения, крича их вдвое громче.

Мне осталось лишь понадеяться на счастье и, поднявшись по первой попавшейся лестнице, позвонить в любую дверь. Меня провели в комнату. Человек, открывший мне дверь, спросил меня по-русски. Я ответил ему по-французски. Он долго рассматривал меня, затем повернулся и исчез. Я остался один. Вокруг я заметил груды вещей: вешалку с несколькими пальто и фуражками, пару туфель на шкафу, чайник на чемодане. Я услышал детский крик, потом смех, потом патефон, потом скрип нескольких дверей, которые открывали или закрывали в чреве жилища. А я по-прежнему был один, словно взломщик, в квартире, где я никого не знал. Наконец человек вернулся. Его сопровождала женщина в фартуке, которым она вытирала с рук хлопья мыльной пены. Она обратилась ко мне по-английски, я ответил по-французски. Мужчина и женщина погрустнели и снова исчезли за дверью. Я услышал, что они советуются. Шум усиливался.

Время от времени дверь приоткрывалась, и незнакомые лица окидывали меня удивленным взглядом.

Вероятно, было принято какое-то решение, отчего ожил весь дом. Вошел третий персонаж, на которого те, кто теснился позади, явно возлагали большие надежды. Он приблизился, назвал себя и заговорил по-датски. Все мы были разочарованы.

Посреди всеобщего разочарования я все думал о том, какие усилия прилагал, чтобы пройти незамеченным. Толпа жильцов и я грустно смотрели друг на друга, когда ко мне привели как знатока четвертого языка самое мадемуазель Ксавье. Это была старая баба-яга, худая, морщинистая, сгорбленная, с блестящими глазами. Еще ничего не понимая, она попросила меня следовать за ней.

И все эти славные люди, обрадованные тем, что я спасен, стали расходиться.

Вот я и у мадемуазель Ксавье. Чувствую себя несколько взволнованным. Она — одна из трехсот француженок в возрасте от шестидесяти до семидесяти лет, затерянных, словно серые мыши, в городе с четырьмя миллионами жителей. Прежние учительницы или гувернантки старорежимных дочек, они перенесли революцию. Удивительное время. Старый мир обрушивался на них развалинами храма, революция сломила сильных и рассеяла слабых, ставших игрушками бури, на четыре стороны света, но она не коснулась трехсот французских гувернанток. Они были так беспомощны, так сдержанны, так корректны! Уж так долго в тени своих прекрасных учениц они привыкли оставаться незаметными! Они учили изяществу французского языка, а их ученицы тотчас же пленяли нежностью слов самых прекрасных гвардейцев. Старенькие гувернантки сами не знали, какой тайной властью обладают стиль и орфография, они ведь никогда не пользовались этим для любовных дел. Они обучали также манерам, музыке и танцам; эти науки делали старушек еще более чопорными, но у юных девушек науки эти становились чем-то живым и легким. А старые гувернантки, одетые в черное, строгие и скромные, старели. Они были тут, но невидимые, как добродетель, как правила и хорошее воспитание. И революция, скосившая роскошные

цветы, даже не коснулась, по крайней мере в Москве, этих сереньких мышек.

Мадемуазель Ксавье семьдесят два года, и мадемуазель Ксавье плачет. Я первый француз за тридцать лет, сидящий у нее. Мадемуазель Ксавье повторяет в двадцатый раз: «Если бы я знала, если бы я знала, я бы хоть убрала в комнате получше!» А я замечаю открытую дверь и думаю о посторонних, которые сто раз успеют донести о нашей встрече. Я все еще смотрю на эту жизнь сквозь какие-то очки. Но мадемуазель Ксавье окончательно опровергает побасенки.

«Я нарочно открыла дверь, — признается она мне с гордостью. — У меня такой гость!»

Она с грохотом открывает шкафчик, звенят стаканы. С шумом появляется на столе бутылка мадеры, печенье...

Мы чокаемся. Теперь я слушаю, что она говорит. Я спрашиваю ее о революции. Мне любопытно, что она скажет. Что такое революция для серой мышкИ? И как можно выжить, когда все рушится вокруг?

«Революция, — доверительно говорит хозяйка, — революция — это скучно».

Мадемуазель Ксавье жила уроками французского, которые она давала дочери повара за обед... Каждый день она пересекала для этого Москву. Чтобы заработать что-нибудь на карманные деньги, она продавала по пути разные мелочи, которые старые люди доверили ей перепродать за бесценок. Губную помаду, перчатки, лорнеты.

«Это было запрещено, — признается мадемуазель Ксавье. — Это считалось спекуляцией».

Она рассказывает о самом для нее мрачном дне гражданской войны. В этот день ей поручили продать галстуки. Галстуки в такой день! Но мадемуазель Ксавье не видела ни солдат, ни пулеметов, ни мертвых. Она слишком была занята галстуками, которые, говорит она, были тогда в большом спросе.

Бедная старая гувернантка! Социальное приключение, как и любовное, обошло ее, пренебрегло ею. Так, наверно, на пиратских кораблях находилось не-

сколько божьих старушек, которые никогда ничего не замечали, занятые починкой рубашек корсаров.

Однажды она все же попала в облаву, и ее заперли в темной галерее...

Приключение в эту ночь еще раз обернулось для нее своей приветливой стороной. Лежа на нарах над черным проемом, уходящим в вечность, мадемуазель Ксавье получила на ужин ломоть хлеба и три шоколадные конфеты. Возможно, эти три конфеты с удивительной яркостью выражали лишения, которым в то время подвергался весь народ. Мне это напоминает рояль красного дерева, огромный концертный рояль, который одна приятельница мадемуазель Ксавье продала тогда за три франка. И все же эти три шоколадные конфеты придавали всему характер какой-то игры и напоминали светлую пору детства.

Приключение обошлось с мадемуазель Ксавье, как с маленькой девочкой. А между тем ее грызла большая забота. Кому доверить перину, которую она купила за час до ареста? Она спала, прижимая перину к себе, и, когда мадемуазель Ксавье позвали на допрос, она не захотела расстаться с ней. Она предстала перед судьями, прижимая огромную перину к своему крохотному телу. И судьи тоже не приняли ее всерьез. Вспоминая о допросе, мадемуазель Ксавье вся дышит возмущением. Судьи, окруженные солдатами, восседали за большим кухонным столом. Председатель, которого бессонная ночь лишила живости, устало просмотрел ее документы. И этот человек, от чьих решений зависела жизнь или смерть, почесал за ухом и робко спросил ее:

«У меня есть дочка двадцати лет, согласились ли бы вы, мадемуазель, давать ей уроки?»

И мадемуазель Ксавье, прижимая перину к сердцу, ответила ему с убийственным достоинством:

«Вы арестовали меня — судите меня. И если я останусь жива, завтра мы поговорим о вашей дочери!»

А сегодня вечером со сверкающим взглядом она добавляет:

«Они не смели больше смотреть мне в глаза — они были все в таком замешательстве».

А я уважаю эти восхитительные иллюзии. И думаю: человек замечает в мире лишь то, что он несет уже в себе самом. Нужен известный размах, чтобы почувствовать патетичность обстановки и прислушаться к тому, что она выражает.

Я вспоминаю рассказ жены одного приятеля. Ей удалось укрыться на борту последнего корабля белых, вышедшего в море перед вступлением красных в Севастополь или, быть может, в Одессу.

Суденышко было битком набито людьми. Любой дополнительный груз мог его перевернуть. Оно медленно отходило от набережной. Еще узкая, но уже непреодолимая трещина пролегла между двумя мирами. Стиснутая в толпе на корме, молодая женщина смотрела назад. Вот уже два дня, как побежденные казаки откатились от гор к морю и теперь все текли и текли. Но кораблей больше не было. Достигнув набережной, казаки перерезали глотки своим коням, сбрасывали с себя бурки, бросали оружие и ныряли в море, чтобы вплавь добраться до еще столь близкого суденышка. Но люди, которым было приказано не допускать их на борт, стреляли с кормы, и с каждым выстрелом на воде расплывалась красная звезда. Вскоре вся бухта была расцвечена этими звездами. Но поток казаков не иссякал, с бредовым упорством они появлялись на набережной, прыгивали с коней, перерезали им глотки и плыли до тех пор, пока не расплывалась красная звезда...

А сегодня вечером мадемуазель Ксавье собирает десять таких же, как и она, старых француженок в лучшей из их комнат. Это очаровательная маленькая квартирка, которую хозяйка целиком расписала сама. Я принес порто, вина и ликеры. Мы все захмелели и поем старинные песни. В глазах старушек — детство, и сердцем им теперь двадцать лет, потому что они меня не называют иначе, как «мой милый». Пьяный от славы и водки, я что-то вроде сказочного принца посреди целующих меня старушек!

Появляется очень важный человек. Это соперник.

Каждый вечер он приходит сюда пить чай, говорить по-французски и есть пtiфуры. Но в этот вечер он присаживается у кончика стола, суровый и полный горечи.

Но старушки хотят показать мне его во всем блеске.

«Это русский, — говорят они. — А знаете, что он сделал?»

Я не знаю. Пытаюсь догадаться. А мой соперник напускает на себя все более скромный вид. Скромный и снисходительный. Скромный вид большого барина. Но старушки обступили его, они его подгоняют:

«Расскажите нашему французу, что вы делали в 1906 году».

Этот значительный человек играет цепочкой часов. Он заставляет себя упрашивать. Наконец он сдается, поворачивается ко мне и небрежно бросает, в то же время отчеканивая слова:

«В 1906 году я играл в рулетку в Монте-Карло».

И вот старушки торжествуют и хлопают в ладоши.

Час ночи — и надо все же вернуться. Меня с почетом провожают до такси. На каждой руке по старушке. По старушке, которая неуверенно держится на ногах. Это я сегодня дуэнья.

А мадемуазель Ксавье шепчет мне на ухо:

«В будущем году у меня тоже будет квартира, и мы все соберемся у меня. Вот увидите, какая она будет уютная! Я уже вышиваю дорожки. — Она еще ближе придвигается к уху: — Вы навестите меня в первую очередь. Я буду первой, не правда ли?»

Мадемуазель Ксавье в будущем году исполнится всего семьдесят три года. Она получит собственную квартиру. Она сможет начать жить...»

Конечно, первые впечатления, рассказанные в репортажах из Москвы, не исчерпали того, что Сент-Экзюпери увидел в советской столице. Пройдет немного времени, и он, оказавшись в Испании в обстановке гражданской войны, глубже поймет характер изменений, происходящих в мире.

«...Я как будто уже понимаю, в чем дело, — пишет он. — Они создали новое общество и теперь хотят, чтобы человек не только уважал его законы, но и жил его законами. Они требуют, чтобы люди образовали социальное единство не только внешне, но чтобы оно жило в человеческих сердцах. Лишь тогда станут ненужными меры принуждения...»

«Понемногу я вижу, как был наивен, когда верил всяческим рассказам... Я не стану удивляться внешним проявлениям жизни... Не удивлюсь даже тогда, когда русские друзья останутся без завтрака, потому что их кухарка пошла навестить больную мать. По собственным ошибкам я сужу, как настойчиво у нас пытаются исказить русский опыт. Нет, эту страну надо искать в другом. Лишь через другое можно понять, как глубоко ее почва взрыта революцией...»

«Если откроешь книгу N., — пишет Сент-Экзюпери в другом письме, — то безусловно, несомненно прочтешь там какую-нибудь глупость. Это как порошки с давно известными этикетками. Заранее знаешь, что будешь пить. И жажда пропадает...»

Далеко не все понравилось Антуану в СССР. Об этом можно судить по некоторым его заметкам в записных книжках и по изредка брошенным мыслям и замечаниям. Но он не торопится с выводами, не делает обобщений и избегает всего, что может дать пищу злонамеренным толкам. В этом сказалось большое уважение к стране, которую ему не удалось узнать глубже.

«...И НЕТ У МЕНЯ НА СВЕТЕ БОЛЬШЕ НИ ОДНОГО ВРАГА»

Однако поездки по особым заданиям компании «Эр Франс», лекции, журналистика не удовлетворяют жажду деятельности Сент-Экзюпери. Ему нужно что-то большее, чтобы восстановить свои душевные силы. Пока он ездит, другие летчики совершают рекордные полеты. Это эпоха больших воздушных рейдов. Соб-

ственно, в рейдах и раньше не было недостатка. Но за последние несколько лет в авиаконструкциях достигнуты значительные успехи. Двигатели стали более мощными, причем вес их не увеличился. Аэродинамика сделала тоже большой шаг вперед, профиль самолетов улучшился. Если в первый период после первой мировой войны основное требование к экипажам воздушных кораблей заключалось в том, чтобы покрыть наибольшее расстояние, то начиная приблизительно с 1932 года на повестку дня выдвигается вопрос о скорости передвижения. И вот летчики, в большинстве своем еще одиночки, соревнуются за установление рекордных скоростей на дальних расстояниях.

Французский летчик Андре Жапи в перелете Париж — Токио связал Париж с Сайгоном за восемьдесят семь часов. Значительная премия — сто пятьдесят тысяч франков (около пятидесяти тысяч новых, «тяжелых» франков) — ожидала летчика, который побьет этот рекорд.

Сент-Экс полагал, что на хорошо знакомом ему «Симуне» можно значительно улучшить время Жапи: «Симун» — быстроходный самолет фирмы «Кодрон» с двигателем «Рено» в 240 лошадиных сил, с воздушным винтом изменяемого шага и посадочными щитками. В то время самолет этот являл собой значительный прогресс в авиационном строительстве.

Перспектива рейда Париж — Сайгон показалась Антуану весьма заманчивой. К тому же он только недавно летал на той же трассе. Но как раздобыть такой самолет? Для этого требовались немалые деньги. Правда, за последнее время с разных сторон (гонорары за книги и репортаж из СССР, сценарии двух фильмов: «Почта — на Юг» и «Ночной полет», участие в съемках, поездки по заданию «Эр Франс» и т. д.) Антуану почти одновременно поступили кое-какие деньги, и он, по-видимому, не успел их еще истратить, но этого было далеко не достаточно. Помогли друзья. Дора, возглавлявший с некоторого времени компанию «Эр блё», где он как раз использовал «Симуны», предоставил Сент-Эксу на льготных усло-

виях несобранный самолет; Прево, сопровождавший Антуана в качестве механика во время поездок для «Эр Франс», самоотверженно предложил свои услуги.

Надо сказать, что Дора — суровый, жесткий, сухой Дора — проявил в этом вопросе большое великодушие. Хотя он и знал, в каком состоянии находится Сент-Экс, хотя он и считал, что «это не даст ему проявить спокойствие, необходимое для успеха такого рейда», он все же решил помочь ему, «чтобы спасти его от угрожавшей ему моральной и физической депрессии». Дора считал себя в какой-то степени должником писателя, в глубине души хранил признательность ему и рад был предоставившемуся случаю хоть чем-то ее выразить. На помощь Сент-Эксу пришел и старый его товарищ Мермоз, к этому времени порядком поостывший от своего увлечения полковником де ля Рокком. Большое участие проявил и генерал авиации Даве.

Благодаря помощи всех этих людей рейд может состояться. Но надо торопиться. 1935 год на исходе, сочельник уже на носу, а чтобы получить премию, необходимо побить рекорд Жапи до 24 часов 31 декабря. Если этот рейд и имеет для Сент-Экзюпери в первую очередь большое значение «для души», то он не безразличен и к его денежной стороне. Ведь премия может на некоторое время избавить Антуана от материальных забот, которые угнетают его и не дают писать.

Обстановка, в которой проходят приготовления к рейду, совсем в манере Сент-Экса. Он счастлив, как дитя, и проявляет полную ребячливость. Какая разница между расчетливостью, с которой готовились к своим рейдам Кодос, Буссутро, Кост и даже такая летчица, как Мариза Бастье! На время подготовки к рейду Антуан перебирается в гостиницу «Пон-Руаяль», на углу улицы де Бак и бульвара Сен-Жермен неподалеку от Палаты депутатов. Он располагается там с женой и несколькими друзьями. Зачем это ему понадобилось, неизвестно. Разве только он хотел создать вокруг своего рейда некоторую шумиху, не прибегая к услугам агентов по рекламе. Это позво-

лило бы ему в случае удачи извлечь из предприятия значительно бóльшую материальную выгоду. Надо полагать, что в этом кроется основная причина такого поведения Антуана. Ведь денег на рекламу у него не было, а без рекламы весь его доход ограничился бы премией.

Так или иначе, Антуан готовится к трудному перелету в атмосфере полного ералаша. Номер, который он занимает в гостинице, напоминает не то чайный салон, не то опереточную штаб-квартиру. Люди входят, выходят. В комнате стоит непрерывный шум и гам. Трудно представить себе, что в этой обстановке решается вопрос жизни и смерти двух людей. Консуэло очень взвинчена и, как всегда, ведет себя эксцентрично. То и дело драма перемежается с комедией, трагическое с комическим. Антуан хотел бы отдохнуть, но Консуэло не дает ему ни минутки покоя. Единственный человек, относящийся со всей серьезностью к предстоящему рейду и продолжающий невозмутимо работать в этой атмосфере, это Жан Люка, товарищ Сент-Экса по Порт-Этьенну. Он прекрасный штурман и, в то время как Антуан пытается отдохнуть, прокладывает на карте курс.

Сент-Экс идет прилечь. Но Консуэло, лежащая рядом, курит сигарету за сигаретой и продолжает надоедать ему. Она ежеминутно вскакивает, жестикулирует, что-то кричит. Наконец обычно столь уравновешенный и спокойный Люка выходит из себя и делает в ее адрес какое-то замечание. Она вскакивает, как разъяренный зверек, и дает ему пощечину. Не раз уже она бросалась так на Антуана, но для нее он был слишком высок. С невозмутимым видом Люка берет Консуэло под мышку и отшлепывает ее, как маленькую девочку.

Как только он ее отпустил, Консуэло заявляет:

— Вот это по крайней мере мужчина!

Тогда Люка говорит Сент-Эксу:

— Видишь, это, пожалуй, лучший способ ее утихомирить.

На что Антуан с тяжелым вздохом отвечает:

— Да. Но мне она приходится женой.

Двое суток Сент-Экс почти не спал. Он едва вздремнул, когда 28-го в 4 часа утра Люка потряс его за плечо.

— Проснись. На этом вот листке время восхождения и захода луны. Сегодня ночью, до 22 часов ты еще захватишь кусочек. Сильно светить она не будет — только-только родилась. А вот и солнце по Гринвичу и по местному времени, а также карты с проложенным курсом. В путь. Надо поспешить в Бурже!

В машине, которая везет его на аэродром, Сент-Экс замечает, что забыл взять термосы. Он покупает их в дежурной аптеке и наполняет один кофе, а другой белым вином в единственном открытом в этот ранний час рабочем бистро. Прево уже на месте. Самолет выведен из ангара. Холодным дождливым утром заканчиваются последние приготовления.

При виде самолета Антуан не чувствует уже никакой усталости. От сознания, что он сейчас вырвется на простор, убежит от жизни, которая его не удовлетворяет, все ожидающие его впереди трудности он ни во что не ставит. От этого полета он ждет для себя какого-то чуда — чего-то вроде воскресения из мертвых. Он обходит самолет со всех сторон, нежно поглаживает крылья. Прево тоже в хорошем настроении и полон радужных надежд.

На борту нет радио. Сент-Экс всегда был того мнения, что «нет ничего опаснее радио, которым неумело пользуешься». Вместо громоздкой по тем временам радиоаппаратуры он предпочел взять с собой механика и немного лишнего горючего.

На первом же этапе полета предвидение Антуана оправдало себя полностью. Неподалеку от Марсея, едва самолет пересек береговую черту и начался полет над морем, обнаруживается утечка горючего. Самолет возвращается к берегу, совершает посадку в Мариньяне, и Прево быстро устраняет неполадку. Снова самолет в воздухе. Тунис. Пока баки наполняют горючим, Сент-Экс заходит в канцелярию подписать документы. В это время раздается странный

звук — «хлюп», точно что-то падает в воду. Столкнулись две быстроходные машины.

«В тиши вечерних сумерек, — напишет позже Сент-Экзюпери, — злой рок совершил вылазку: чья-то красота, разум или жизнь разрушены... Так подкрадываются в пустыне пираты, и никто не слышит их упругих шагов по песку. Вот пронесся по поселку недолгий шум набега. И снова все погрузилось в золотистое безмолвие. Снова тот же покой, та же тишина... Возле меня кто-то говорит о проломе черепа. Не хочу ничего знать об этом безжизненном, окровавленном лбе; поворачиваюсь спиной к дороге и шагаю к самолету. Но на сердце остается ощущение угрозы. И этот только что услышанный звук вскоре снова раздастся в моих ушах. Когда на скорости в двести семьдесят километров в час я натолкнулся на черное плоскогорье, я узнаю этот хриплый кашель, это «ух!» злого рока, поджидавшего нас в пути».

Эта миниатюра из «Земли людей», где в художественной форме повествуется, в частности, и об этом полете, завершившемся катастрофой, чуть не стоившей жизни Сент-Экзюпери и Прево, хорошо иллюстрирует душевное состояние Антуана и его повышенную впечатлительность уже спустя несколько часов после вылета из Бурже. Но приведем здесь официальный отчет летчика об этом неудачном рейде:

«Вылетев из Парижа в семь часов семь минут по моим часам, я без особого труда достиг Средиземного моря, несмотря на низкий потолок. Летя уже минут двадцать над морем, я заметил серьезную утечку горючего. Оно вытекало из бака левого крыла через бензомер, на котором лопнула прокладка.

Я повернул на Марсель, где устранил неполадку, и продолжал путь. До Бенгази полет протекал нормально, я приземлился там в 22 часа по Гринвичу, темной ночью, и вылетел оттуда в 22 часа 30 минут. Я рассчитывал на попутный ветер скоростью от 20 до 40 километров в час, как меня в этом уверили метеорологические станции Парижа, Туниса и Бенгази.

Единственный ориентир, которым я мог пользо-

ваться, было море, при условии, чтобы в столь темную ночь виден был все же берег.

К несчастью, многочисленные запретные зоны не позволяли мне придерживаться этого маршрута. Ночь была безлунной, радио на борту у меня не было, и я решил взять курс на середину правого сегмента Каир — Александрия, с тем чтобы ориентироваться, несмотря на возможные отклонения, на огни того или другого из этих городов или, во всяком случае, на огни долины Нила.

Избранная мною крейсерская скорость, не принимая во внимание скорости ветра, составляла 270 километров в час. Я рассчитывал, что буду лететь, таким образом, со средней скоростью 300 километров в час и что преодоление расстояния приблизительно в 1000 километров составит самое большее 3 часа 45 минут полета. Около 1 часа ночи по Гринвичу я вошел в кучевые облака. С этого момента я почти все время летел среди облаков. Земля виднелась лишь в узких разрывах туч, но эта земля лежала во мраке. Я сделал ряд безуспешных попыток то набрать высоту, то опуститься и вырваться из туч. Но затем перестал обращать на них внимание, надеясь быстро оставить их позади.

После 4 часов 15 минут полета я решил, что, весьма вероятно, уже пересек Нил. Из-за облачности я мог не заметить огней, хотя перед тем и надеялся, что просветы в тучах дадут достаточную видимость.

И, следовательно, я не мог продолжать полет по прямой, так как рисковал натолкнуться на склоны Синайских гор, а также не мог начать перелет Аравийской пустыни, не внося необходимые поправки в соответствии с невыясненным еще происшедшим за четыре часа отклонением.

Поскольку даже при отсутствии всякого попутного ветра я должен был уже достичь нулевой отметки на карте долины Нила и ее непосредственного продолжения, я решил повернуть на север и спуститься ниже облаков, чтобы в левое стекло мне ударили огни города, которые, как я полагал, остались позади.

Во время этого маневра, выскользнув уже из туч,

на высоте 400 метров по моему альтиметру, а в действительности на высоте 300 метров, я и врезался в грунт.

Хотя я и вырвался уже из облаков, но ничего не мог различить.

Между тем в момент катастрофы я был занят тем, что искал под собой огни, но низко лежащий над пустыней туман создавал впечатление ложной глубины. Впрочем, ночь да к тому же облачность сгущали непроглядную тьму.

К моему удивлению, первый же услышанный мною треск, вместо того чтобы закончиться полным разрушением самолета, отозвался в кабине наподобие землетрясения. Примерно 6 секунд меня с чудовищной силой непрерывно трясло.

Я не знал, как истолковать это явление, когда ощутил заключительную встряску, еще более сильную, чем остальные, и увидел, что правое крыло разлетелось на куски. Самолет застрял, как на козлах.

Опасаясь пожара, мы с Прево выскочили. Вооружившись электрическим фонарем, я тотчас же обследовал грунт — это был песок, усеянный черными круглыми камнями. Ни былинки. Никакого следа растительности. Я описал большой круг, ориентируясь на зажженную лампочку, которую держал в руке Прево. И, наконец, убедился, что врезался в пустыню.

На заре мы восстановили обстоятельства катастрофы. Самолет, коснувшись земли при его скорости в 270 километров в час, прошел еще 250 метров. Тележка оторвалась, и он катился на брюхе по круглым камням, как по шариковым подшипникам, не встретив достаточного препятствия, которое бы его уничтожило. Наконец его задержала небольшая песчаная полуса, свободная от камней. Он уже потерял скорость, но она была еще достаточной для того, чтобы конечная встряска выбросила из кабины на пятьдесят метров в окружности различные предметы. Положение наше было не блестящим. Наши запасы были уничтожены. Мы остались без воды и, кроме того, могли лишь весьма приближенно, с разницей до 300 километров, определить свое положение в пустыне.

Тем не менее мы тотчас отправились в путь, предварительно начертав на песке 10-метровыми буквами указания о том, где нас искать. У нас оставалось три четверти литра кофе, и нужно было достичь цели, прежде, чем начнутся муки жажды.

В этот день мы прошли около 60—70 километров, включая возвращение к самолету. В 35 километрах от отправной точки, осматриваясь с высоты одного гребня, мы все же не обнаружили никакого присутствия жизни, если не считать миражи, которые таяли, когда мы к ним приближались.

Мы предпочли возвратиться к месту аварии, надеясь в некоторой степени на то, что нас будет искать авиация. В этот день мы израсходовали наши несколько глотков кофе.

На заре второго дня мы собрали на крыльях и обшивке разбитого самолета немного росы, смешанной с краской и маслом. Эта влага не принесла нам большого облегчения.

Я изменил тактику и оставил Прево у самолета. Он должен был разложить костер (листья магнолии, горящие ярким белым пламенем, а не, как потом говорили, сухую траву, которой не было), чтобы в случае поисков указать местонахождение потерпевшего аварию самолета. Я отправился на разведку один и без капельки воды.

В этот день я проблуждал от восьми до девяти часов быстрым шагом. Ходьба была тем более трудной, что я должен был заботиться о том, чтобы, несмотря на очень твердый грунт, оставлять следы, которые позволили бы мне вернуться.

На обратном пути меня застала ночь, но Прево разжег костры, и это позволило мне сориентироваться еще за несколько километров.

Ни один самолет не пролетел над нами. Поэтому мы предположили, что находимся вне зоны поисков. Мы начали тяжело ощущать недостаток воды и решили пуститься в путь на заре и идти все прямо, куда глаза глядят, до тех пор, пока не упадем. Нам казалось бесполезным возвращаться к самолету, поскольку нас не разыскивали в этом районе.

Я вспомнил о Гийоме, который таким образом спасся в Андах, и последовал его примеру.

Мы очень рассчитывали собрать этой ночью немного росы с разложенного на земле парашюта. К несчастью, то ли неизвестный состав, которым был пропитан парашют, то ли соли, осевшие на стенках бензинового бака, в который мы выжали влажный парашют, заставили нас расплатиться получасом жестокой рвоты за несколько капель выпитой воды.

Мы потеряли целый час, и в пути нас все еще мучила тошнота. Далеко уйти мы не рассчитывали. Мы избрали северо-восточное направление только потому, что еще не исследовали его. Хотя отнюдь не надеялись уже ни на что.

На следующее утро мы были настолько измождены, что, пройдя двести метров, вынуждены были остановиться. Вот так мы добрались до караванного пути, и нас подобрала арабы.

Впоследствии мы вернулись к самолету на машине и смогли, таким образом, измерить пройденный нами путь. Оказалось, что после того, как мы в последний раз покинули самолет, мы прошли восемьдесят пять километров.

Бедуины доставили нас на верблюдах до поселка компании «Салт энд Сода» (завод, расположенный в самой пустыне), и оповещенная о нашем прибытии администрация выслала нам навстречу машину.

Как выяснилось, мы находились на прямой линии Бенгази — Каир, за 200 километров от Каира. Вместо обещанного попутного ветра всю дорогу дул сильный встречный ветер.

В последний день, когда мы шли по пустыне, над нами пролетело пять самолетов, но, не говоря уж о том, что мы были лишены возможности привлечь их внимание, они не заметили и наш потерпевший аварию самолет».

Сент-Экзюпери вылетел из Бурже во вторник утром. С вечера следующего дня встревоженное министерство авиации дало знать французским предста-

вителям в странах Ближнего Востока о намечавшемся маршруте Сент-Экзюпери, дабы они могли организовать поиски пропавшего летчика. Господин де Витас, французский посланник в Каире, попросил англичан пролететь над пустыней, хотя в точности не было известно, в каком секторе организовать поиски.

В субботу, 2 января, французский посланник в Багдаде телеграфировал своему коллеге в Египте, что он прекращает поиски.

В тот же вечер господин де Витас удалился в полночь на покой. Полчаса спустя жена разбудила его и сообщила, что Сент-Экзюпери только что звонил из гостиницы «Континенталь» и что он находится там в баре... Посланник поспешно прошел к себе в кабинет, где еще находился один из его советников, который начал подшучивать над его доверчивостью. «Не забудьте, господин посланник, что звонок-то из бара и к тому же в субботу после полуночи...» Посланник все же позвонил в бар «Континенталь» и вызвал господина Сент-Экзюпери. Несколько секунд спустя он услышал веселый голос. Сент-Экзюпери вкратце информировал его об аварии и о своем спасении.

В своей комнате в гостинице Сент-Экзюпери организовал маршрут в три этапа: на первом этапе стояла бутылка с шампанским, на втором бутылка виски, а на третьем (рассудительном) стояла бутылка минеральной воды. Прохаживаясь большими шагами от этапа к этапу, он объяснял господину де Витасу: «Понимаете, господин посланник, я совершенно обезвожен, и вот я восстанавливаю влажность тела...»

«Вода!

Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты — сама жизнь. Ты наполняешь нас радостью, которую ощущениями нашими не объяснить. С тобой возвращаются к нам силы, с которыми мы было уже простились. По твоей милости в нас вновь начинают бурлить высохшие родники нашего сердца... С тобой вливается в нас бесконечно простое счастье...

Что до тебя, спасший нас ливийский бедуин, твой

облик совершенно сотрется в моей памяти. Я никогда не смогу вспомнить твоего лица. Ты — Человек и рисуешься мне с лицом всех людей. Ты никогда не присматривался к нам — и сразу же узнал. Ты — возлюбленный брат мой. И я, в свою очередь, узнаю тебя в каждом человеке.

Я вижу тебя в ореоле великодушия и добра: ты — могущественный повелитель, владеющий даром утолять жажду. В твоём лице все мои друзья, все мои враги протягивают мне руку — и нет у меня на свете больше ни одного врага».

Увы! По возвращении в Париж после первых радостей свидания с близкими Сент-Экзюпери ожидают новые трудности, новые неприятности. Вместо того чтобы облегчить его материальное положение, неудачный рейд только усугубил его. Долги его выросли. Он, правда, не виноват в постигшей его неудаче, за которую сам он и Прево едва не заплатились жизнью, но не все толкуют это одинаково. Если бы все прошло удачно, никто бы и не подумал говорить, что он совершил грубейшую ошибку, захватив с собой вместо радиустановки механика. Теперь же это вызывает кривотолки. Шантажный листок «Вольтер» доходит до того, что 30 января 1936 года публикует о его полете клеветническую статью. Среди всей прочей лжи в ней содержатся такие перлы:

«1. Он преспокойно приземлился в глухом месте в окрестностях Каира, так близко от города, что никто и не подумал искать его там.

2. Он ни словом не обмолвился о том, как обсыпал крылья песком, что не дало возможности разыскивавшим его самолетам различить с воздуха опознавательные знаки».

Узнав об этом гнусном выпаде, Сент-Экс страшно огорчился. И хотя друзья доказывают ему, что ни один серьезный человек не читает этот продажный листок, Антуан привлекает «Вольтер» к ответу за клевету.

Но что в этом удивительного для нравов Франции того времени!

Вскоре, однако, Антуан узнает, что враги имеются не только у него, но и у всего человечества. Судом с ними не разделаешься. И он сделает из этого соответствующий вывод. В данный момент он еще изучает мир: не ко всему он выработал определенное отношение и еще очень импульсивен. После своего неудачного рейда он уже не возвращается на работу в компании «Эр Франс».

Несмотря на все свалившиеся на него неприятности, Сент-Экзюпери ничуть не сожалеет о своей неудаче. Для него главное в жизни — обогатиться опытом, вынести из любого приключения какой-то урок.

И удивительнее всего, как много он сумел извлечь из своей аварии в Ливийской пустыне. Даже в смертельной опасности, даже потеряв всякую надежду на спасение, он не лишился своей обычной наблюдательности, не утерял интереса к окружающему. В «Земле людей», описывая свои приключения и переживания в пустыне, он пишет: «Крышка мне, лисонька, но — вот ведь как странно! — это не помешало мне заинтересоваться твоим поведением». Здесь как бы уже говорит Маленький принц. И когда Сент-Экзюпери сам иллюстрирует свою сказку, то лиса, которую он рисует, не похожа ни на лесную лису, ни на лису из басен. Это фенек с удивленным взглядом.

ЖИЗНЬ В ПАРИЖЕ

С 1932 года, когда для Сент-Экзюпери наступила пора неудач и трудной жизни, он вначале лишь изредка появлялся в столице, но с 1934 года и до самой катастрофы, разразившейся над Францией, он, несмотря на частые поездки в различные страны и к родным в Агёй, никогда надолго не отлучался из Парижа.

Еще не так давно, во времена своей юности, здесь же, в Париже, одинокий и грустный, Антуан часто предавался своим размышлениям и грезам, сидя в каком-нибудь дешевеньком кафе или бистро.

Тогда он только вступал в жизнь, искал свой путь, жаждал найти свое призвание, мечтал о еще неведомой, но незаурядной судьбе. Судьба эта раскрылась перед ним, как он думал, в суровой и прекрасной жизни на линии, которая позволила ему использовать свои богатые природные дарования. Теперь он был выбит из колеи — жизнь стала тусклой, небо, к которому он всегда так стремился, чтобы возвыситься и в то же время сблизиться с людьми, заволокло тучами — и нет в них просвета.

Повседневные материальные заботы, неустроенность не дают ему собраться, развернуться, направить все усилия на что-то одно, самое важное.

Сент-Экзюпери не на шутку встревожен. Он, который всегда считал, что «человек должен сбиться», достичь душевной полноты, он, который записал в своем блокноте: «Действие спасает от смерти. Оно спасает и от страха, и от всех слабостей, даже от холода и болезней», — он видит, как все валится у него из рук. Неужели Сент-Экс начнет сомневаться в себе, запишется в неудачники?!

Подчас, возможно, такие горькие мысли и обуревали его. Быть может, он иногда и укорял себя в неумении жить, ведь на одних своих книгах он еще недавно заработал шестьдесят-восемьдесят тысяч новых, «тяжелых» франков, и все эти деньги и немало других уплыли как-то совсем незаметно. Никогда он так не погрязал в долгах и не нуждался в каждой копейке. Но он не умел жить расчетливо, и, хотя и писал в бытность свою директором «Аэропоста-Аргентина»: «Зарабатываю двадцать пять тысяч в месяц и не знаю, что с ними делать: тратить их утомительно...» — деньги сами находили себе употребление. Правда, как раз в трудные для него годы он много помогал матери, близким, которые в это время часто вынуждены были обращаться к нему за поддержкой; выручал он, не считая, и многих друзей и товарищей.

Однако скорее всего он вряд ли задумывался над тем, куда у него уходят деньги. Это не в его характере. Ему всегда нужно было много денег, и когда

у него их не было, он очень страдал. Но в основном он больше мучался вопросом, как их раздобыть, чем тем, куда они девались.

Обычно так внимательно присматривавшийся к поведению своего друга Гийоме и во многом старавшийся ему подражать, Сент-Экс в вопросах материального существования полностью игнорировал его пример.

Да и не трудно понять его. Гийоме, зарабатывавший значительно меньше Антуана, жил, правда, не плохо и сумел даже за довольно короткий срок отложить на черный день около шестисот тысяч франков (более двухсот тысяч новых, «тяжелых» франков). Однако он доверил кому-то распорядиться своими сбережениями и остался сам на бобах. Как видно, и ему повседневно рисковать жизнью, побеждать пустыню, горы, океаны, испытывать всякие лишения было проще, чем управлять собственным, трудом созданным «капиталом». Его «крестьянская» практичность, выразившаяся в желании сохранить за своими сбережениями их постоянную покупательную силу (держать тогда деньги в банке или государственных бумагах уже не было выгодно из-за постоянного обесценивания денег), оказалась для него столь же роковой, как и для Сент-Экса его «аристократическое» пренебрежение к деньгам.

Мадам Гийоме, горестно пожаловавшаяся Сент-Экзюпери на обрушившееся на них несчастье, услышала в ответ сначала тяжелый вздох, сопровождаемый восклицанием: «Шестьсот тысяч!» — и затем фразу, произнесенную самым серьезным тоном: «Ну и ну, если бы Анри поступал, как я, с вами этого бы не случилось!»

Запас житейских наблюдений Антуана вообще не богат, и поэтому он до крайности непрактичен. За время своей жизни в Париже он множество раз менял квартиры. В главе «Консуэло» уже говорилось о некоторых особенностях найма квартир, характерных для всех больших городов Франции и в особенности для Парижа. В случае Сент-Экзюпери к этому,

по-видимому, добавлялось, что он никогда аккуратно не вносил квартирную плату.

Его небрежность в отношении разных житейских, несущественных, как ему казалось, вопросов приводила иногда к трагикомическим происшествиям.

Однажды на него был составлен протокол «за превышение скорости». Собственно, правилами уличного движения в Париже в то время не предусматривалось ограничение скорости. Однако регулировщикам, «ажанам», предоставлялось право составлять протокол на водителя, если они усматривали в его поведении «опасную неосторожность». За это обычно полагался довольно значительный штраф и от одного до нескольких дней тюрьмы. Правда, «ажаны» не приводились к специальной присяге, как это было с судебными исполнителями, нотариусами, жандармами, и их показания на суде не носили безапелляционного характера. Но Сент-Экс не обратил никакого внимания на протокол, куда-то уехал и не явился в суд.

По возвращении в Париж Сент-Экс едва вошел в квартиру и поставил свой чемодан, как у дверей раздался звонок. Он открывает — два жандарма.

— Сент-Экзюпери Антуан?

— Он самый.

— Следуйте за нами.

Тюремная машина, ожидание в канцелярии — все это протекает еще в атмосфере добродушия и не вызывает у Антуана беспокойства. Но вот жандармы внезапно набрасываются на него, грубо срывают с него галстук и выдирают шнурки из туфель. Он пробует протестовать. Но перед ним уже не люди, а только жандармы. «Так уж заведено — думать они умеют только кулаками», — напишет он позже. И в эту минуту наблюдательность не покидает его, и он не преминул обобщить действия турецких жандармов с французскими.

Сент-Экса вталкивают в полутемную камеру, он взволнованно закуривает сигарету и, затянувшись несколько раз, бросает ее. Происходит небольшая свалка из-за окурка, и затем раздается насмешливый голос:

— Эй, ты! Ты что ж, зеленый?

Сент-Экс только теперь замечает, что в камере он не один, и у него сразу же пробуждается интерес к жизни. Ему задают вопрос:

— Ты как сюда попал?

Ответ его кажется товарищам по заключению столь невразумительным, что даже они, застарелые правонарушители и завсегдатаи этого учреждения, заинтересовываются этой «странной птицей».

— Превышение скорости? Что за чушь! Никогда не слышали!

Весь день проходит в разговорах. Антуан уже не сожалеет, что не подумал позвонить адвокату или кому-нибудь из друзей, прежде чем дать себя увести, — еще одно поучительное приключение. Но наступает ночь. В камере грязь и зловоние. Соломенные тюфяки кишат насекомыми, и в довершение всего у него уже нет ни одной сигареты. Один из сожителей по камере великодушно протягивает ему его же сэкономленный окурочок.

Промучавшись всю ночь, Антуан на следующий день снова вступил во владение своими шнурками и вернулся домой. Но происшествие это, ни в чем не изменив его привычек, раз и навсегда, как и в случае с фельдфебелем, пробудило у него неприязнь ко всему, что имеет отношение к полиции и власть предержащим.

Страсть к кочевой жизни у Сент-Экса настолько сильна, что некоторые биографы пытаются объяснить частую смену квартир желанием хоть как-то переменить обстановку, когда обстоятельства вынуждали его к оседлой жизни.

Может быть, здесь и заключена доля истины, но, думается, основная причина в том, что, как уже указано, он зачастую просто вынужден был это делать. Живал Экзюпери в самых различных квартирах — от крохотных, в которых при своих габаритах едва мог повернуться, и до огромных. Человек, имеющий выбор, при всем своем легкомыслии так не поступает.

В трудное для него время он ухитрился или его угораздило (что в его случае одно и то же) снять

великолепные апартаменты на площади Вобан, против Инвалид, с астрономической квартирной платой в двадцать пять тысяч франков в месяц — в франках 1936 года. Правда, вопреки тому, что обычно требуют домовладельцы, для которых обстановка является добавочной гарантией платежеспособности съемщика, Сент-Экс никогда не был озабочен тем, чтобы комфортабельно устроить квартиру, обставить ее. Для него квартира — временная гавань, промежуточная посадка. В огромных апартаментах на площади Вобан почти отсутствовала мебель, а та, что находилась там, была с бору по сосенке. Белый крашенный стол — и рядом зеленые садовые стулья. Зато Антуан раздобыл себе прекрасный рояль, проводил за ним немало времени, и сюда частенько к нему наведывался композитор Артур Онеггер, с которым он дружил.

В спальне его всегда царил невообразимый беспорядок. Стулья, стол, кровать завалены вещами: начиная от рубашек и галстуков и кончая книгами и пачками сигарет. Сигареты — единственное, чем он всегда запасается в большом количестве, так как курит не переставая. Хуже всего было то, что он часто забывал о начатой сигарете, зажигал новую, а старая догорала где придется. Удивительно еще, что все обходилось без пожаров!

В неустроенности его жизни значительная доля вины падает, несомненно, на Консуэло, но и Сент-Экс не был тем человеком, который мог приучить ее к какому-то порядку. Даже газ, электричество или телефон у них частенько бывали выключены, так как он платил за них только тогда, когда у него случайно оказывались «лишние» деньги. Консуэло на это было тоже наплевать, она попросту уходила из дому.

Постоянное беспокойное состояние и внутренняя изволнованность заставляли Антуана все время искать общества людей. Как только у него появлялось немного денег, он немедленно увлекал друзей в какой-нибудь ресторан.

(Кстати сказать, что касается денежной помощи, то издатель Галлимар проявил в отношении Сент-

Экса, как и некоторых других писателей, большое понимание, чуткость и, можно было бы добавить, чутье, если учесть, что с 1929 года Сент-Экзюпери опубликовал лишь две небольшие книги, причем первая из них, «Почта — на Юг», за первые три года разошлась всего в количестве 4 тысяч экземпляров и поначалу вряд ли принесла издателю какую-либо выгоду. На сегодняшний день тираж ее превысил уже 500 тысяч, а тираж «Ночного полета» — миллион. И хотя издатели, как известно, не очень любят давать авансы, но Сент-Экзюпери часто донимал его своими денежными требованиями, и Галлимар скрепя сердце шел ему навстречу, давая себя выдоить. Чтобы правильно понять сказанное, нужно добавить, что по французскому авторскому праву проценты причитаются писателю только за проданные экземпляры, а не за тираж. Поэтому литераторы на практике всегда живут за счет авансов, зависящих от великодушия издателя и его веры в автора.)

В зависимости от содержимого своего кошелька Антуан выбирал лучший или худший ресторан, но, как свидетельствует Н., с некоторого времени вошедшая в его жизнь, «не буржуазный и не шикарный». Он ужасно не любил мишуры и мещанства, зато с детства был ценителем хорошей кухни. В этом отношении, как и в других, он был далек от «догматизма». Одинаково наслаждался хорошо приготовленными жареными свиными ножками, чесночным соусом на майонезе, кровяной колбасой, молочками карпа или бифштексом по-татарски. Но любил он и утку по-пекински, хотя и не гнушался «запустить зубы в колбасу, запивая ее стаканчиком перно». Часто захаживал он и к Андруэ. Собственно, это даже не ресторан, а фирма, торгующая сырами. На улице Амстердам, неподалеку от вокзала Сен-Лазар расположен ее магазин, где производится дегустация сыров. А сыров этих во Франции — тысяча. И, кажется, во всем мире одному Андруэ известно, к какому сыру требуется какое вино. Для больших банкетов сыры с соответствующими винами заказывают у Андруэ. Заказы приходят не только из Франции, но и из-за рубежа.

Вот сюда особенно любил заглядывать Антуан. Едва перешагнув порог, он с восторгом вдыхал насыщенный острыми запахами воздух и своим тонким обонянием умел распознавать аромат различных сыров. Из всех сыров у него было пристрастие к рокфору с желе из крыжовника.

Вообще он предпочитал все острое и, несмотря на больную печень, злоупотреблял такими блюдами. Единственное, что он терпеть не мог, — это брюссельскую капусту, шпинат и зеленые бобы.

Он накупил для Консуэло всякой кухонной посуды, но, поскольку в его семейной жизни редко наступали моменты затишья, не часто питался дома. Но иногда он все же приводил друзей и домой.

Про Сент-Экзюпери можно было бы сказать, что он чрезмерен во всем. Так, например, в отношении одежды он всю жизнь, даже когда у него не было недостатка в деньгах, был весьма непритязателен. Эта материальная сторона жизни, как и обстановка квартиры, обходилась ему чрезвычайно недорого. Зато передвижения стоили ему всегда немало денег. Когда у него не было собственной машины, он ездил только на такси.

Его появления в каком-нибудь общественном месте или у приятеля всегда носили неожиданный характер и казались невероятными. Ведь он только что тонул в Сен-Рафаэле, терпел аварию на реке Меконг в Индокитае, погибал от жажды в Ливийской пустыне, слал репортажи из Москвы! И в то же время никто не был таким реальным, естественным, таким по-парижски уютным и непосредственным, как Антуан.

Он появлялся в дверях внезапно, загоразивая весь проход своей крупной фигурой. И не удивительно: ростом 1 метр 84 сантиметра, широкоплечий, массивный. Его круглое лицо с подвижными чертами, широко расставленные длинные глаза, вздернутый нос, ранняя лысина, сияющий или хмурый вид хорошо были известны на всем левобережье Сены и в особенности в районе Сен-Жермен де Пре.

— Смотрите-ка, Сент-Экс! — восклицал какой-нибудь приятель.

Если внешне по некоторым признакам поверхностный наблюдатель и мог принять его за жуира и бонвивана, то по своему содержанию он резко отличался от этой чисто парижской категории. Просто его образ жизни давал возможность бесконечно расширять круг людей, с которыми он встречался, и заводить интересные знакомства. Жажда его и любознательность в отношении людей были ненасытны. С человеком любой профессии он находил о чем поговорить. И это были не пустые разговоры, как можно было подумать, видя его с жаром беседующим в каком-нибудь ресторане или кафе. Он не был ресторанным говоруном, хотя и не отказывался рассказать о своих приключениях, когда его о том просили. Но то, что он рассказывал, не было простым времяпрепровождением, будило мысль и заставляло окружающих из пассивных слушателей превращаться в активных собеседников.

Вопреки тому, что особенно распространено во Франции, предметом его бесед с малознакомыми людьми лишь в очень редких случаях становилась политика. На эту тему он всегда больше выспрашивал, чем говорил сам. И стоило кому-нибудь попытаться втянуть его в политический спор, как он сердился и прекращал разговор.

«Нелепо постоянно быть только против...» — часто говаривал он.

Больше всего его интересует внутренний мир людей, все, что связано с их жизненным опытом, трудовой деятельностью, — их духовное содержание вне вопросов материального существования. И он интуитивно прекрасно чувствует каждого, умеет вызывать на откровенный разговор, умеет, когда того хочет, подчинить человека всей силе своего обаяния.

Сегодня, когда явления непосредственного (без помощи речи) восприятия чужой психики, а также восприятие объектов внешней среды (без помощи известных нам органов чувств) перестали вызывать лишь любопытство и мистический ужас и когда явления эти стали предметом серьезного исследования; сегодня, когда парапсихология, изучающая такие фе-

номены, начинает занимать подходящее ей место среди других наук, Сент-Экзюпери и в этом отношении, несомненно, привлек бы к себе внимание и интерес ученых.

Среди товарищей, друзей и знакомых Сент-Экс славился своими карточными фокусами. Где бы его ни просили об этом, он никогда не отказывался продемонстрировать свое искусство. Примечательно в его фокусах было то, что ловкость рук в них играла самую незначительную роль. Весело и непринужденно болтая, Антуан внимательно присматривался к своим партнерам и в каждом отдельном случае действовал согласно каким-то одному ему ведомым психологическим законам. В его манеру показывать фокусы входила в первую голову подготовка аудитории — искусство, которым он владел в совершенстве. Но «зубозаговариванием» это тоже нельзя было назвать — самые наблюдательные люди не могли открыть в его фокусах никакого трюкачества.

Леон Верт, знакомый с секретом некоторых его фокусов, утверждал, что к «зубозаговариванию» Сент-Экс прибегал именно для того, чтобы заставить поверить в свою ловкость, действовал же он исключительно в силу интуиции и какой-то сверхчувствительности. Поэтому никто и не мог разгадать и повторить его фокусы.

Эта интуиция проявляется во всем, к чему бы ни прикасался Сент-Экзюпери. Не обладая никакими познаниями в графологии, которую, впрочем, многие и не признают наукой, Антуан совершенно точно по почерку определял характер человека, даже его душевное и физическое состояние и то, где он в данный момент находился. В юности он забавлялся тем, что гипнотизировал гувернанток своих сестер, внушая им, что лимонад в их стакане превратился в керосин. Позже, на Линии, в облачную погоду, без радиосвязи, он всегда знал, не сверяясь с часами, над каким местом пролетает, и мог ориентироваться на знакомом участке вслепую. А разве не интуицией, не тончайшим проникновением в чужую психику является то, что он сам называл своим даром «приручать»? Вспомним

некоторых непокорных арабских вождей, которых он не раз навещал во время своей службы в Джуби. Возможно, что это все феномены не одного порядка, но иначе, как интуицией, их одним словом не определишь.

Общаясь со многими людьми, доступ к своей душе Сент-Экзюпери открывает только избранным. Он ищет в людях все то, что их возвышает, и, когда не находит, как бы уходит в свою раковину и, сворачиваясь, замыкается в ней.

«Я люблю в человеке то, что пробуждаю в нем благородные чувства. Когда могу дать больше, чем сам получаю... Я люблю в человеке то, что могу приподнять его лицо, погруженное в воды реки. Люблю извлечь из него особые интонации голоса, улыбку. Допустим, что только душа, стремящаяся вырваться из заточения, волнуется. Стоит протереть погибающего хоть три секунды над водой — и в нем «просыпается доверие». Ты не представляешь себе, каким становится его лицо. Возможно, у меня призвание открывать родники. Пойду искать их глубоко под землей...»

Слова эти адресованы Н. — подруге и другу, который полностью вытеснил в его мыслях последнее воспоминание о Ринетте, этом «выдуманном друге», как он не без горечи с иронией ее назвал. Никогда у него с ней не было настоящей близости — близость эту он одно время «изобрел». Ему надо было кому-то излить свою душу. Потребность эту, потребность доверять кому-то самое сокровенное, что у него в мыслях и на сердце, он будет ощущать до самой смерти. Потому что хоть он и мужает с каждым днем, но никогда не состарится душой.

Однако чем старше он становится, тем уязвимее он в своих чувствах, тем легче его ранить.

«Я удивительно одинок, за исключением вот таких просветов...» — жалуется он в том же письме подруге.

Недоразумения, неприятности, разочарование в человеке причиняют ему чисто физическую боль: «внезапно, как ножом по сердцу».

Обычно столь вежливый и обходительный, он выказывал редкую нетерпимость к любому проявлению конформизма, к любому оппортунизму и даже самым незначительным сделкам с совестью. Сталкиваясь с такими беспринципными, лишенными самостоятельного мышления людьми, он становился резким, злоязычным. Тон его голоса, обычно глуховатый, теплый, постепенно повышался, он начинал говорить быстрее, и его слова разили собеседника, как остро отточенные стрелы. Затем, через силу сдерживаясь, он умолкал, и ничто больше не могло вывести его из угрюмой замкнутости, он выключался.

Думается, именно эта нетерпимость ко всякому конформизму и отсутствию самостоятельного мышления и сблизила его с Н. и в особенности с Леоном Вертом в большей степени, чем какие-либо совпадения взглядов. Совпадали не их взгляды, а общая настроенность.

Леон Верт был диалектиком-материалистом, марксистом, хотя и не примыкавшим к какой-либо известной политической группировке. В подходе к социальным явлениям его взгляды резко отличались от взглядов Сент-Экзюпери, искавшего во всем духовное начало. Известно, например, что он долго убеждал Антуана не заканчивать «Землю людей» фразой: «И только дух, коснувшись глины, обращает ее в человека». Он считал эту фразу неуместной, значительно снижающей содержание книги, потому что она могла создать двусмысленность — впечатление о божественном начале человека, что вовсе не входило в замысел автора. В том, что Сент-Экзюпери ее сохранил, сказалось нежелание пойти на уступку пониманию, зараженному каким бы то ни было конформизмом. Но в интересе, проявленном к марксизму, в принятии его методологии, в подходе ко многим вопросам все же проявилось несомненное влияние Верта.

«Я думаю, все согласятся с точкой зрения, что, если даже в целом марксистские принципы весьма спорны, когда их прилагают к сегодняшнему обществу, значительно изменившемуся со времени

Маркса... — записывает в свой блокнот Сент-Экзюпери, — ... можно считать, что сам марксистский метод сохраняет всю свою ценность...»

Художественный критик, журналист и писатель Леон Верт казался нелюдимым и несносным многим людям из литературного мира того времени. Антуан познакомился с ним еще в юности в том же салоне Ивонны де Лестранж, где он впоследствии встретил Н. Язвительный ум этого человека и независимость суждений сразу же привлекли внимание Сент-Экса.

Что до Верта, то, когда ему сказали об интересе, проявленном к нему Сент-Экзюпери, он только буркнул:

— Зачем мне знакомиться с летчиком?

В этом предубеждении против «летчика» он пробыл весьма недолго. С первых же фраз, которыми они обменялись, они почувствовали внутреннее родство. Родство это, или «настроенность», выразалось в непоколебимой приверженности ко всему, что возвышает человека.

Оба не умели и не желали мыслить прописными истинами, хотя бы и самыми высокими.

Впоследствии Верт напишет:

«И что мне до того, что он был велик и гениален и даже чистейший из людей?! Для меня существует только наша дружба. И если я нарушаю все же молчание, то только потому, что его часто малюют одной краской и в таком портрете невозможно найти ни малейшего сходства с оригиналом. Да, конечно, он был сподвижником Мермоза и Гийоме. Да, конечно, он сумел как-то опозитизировать авиацию и сделать ее источником поэтического вдохновения... Да, конечно, героическая легенда о нем нерушима. Он и в самом деле был человеком своей легенды. И это чудо. Я даже знаю случаи, когда он превзошел свою легенду... Но этот героизм, который легко изобразить в лубочных картинках, был у него сам собой разумеющимся...»

Да, для Верта, как и для Сент-Экзюпери, самым главным была их философская дружба. И что еще имело большое значение в этой дружбе — Верт был

намного старше Антуана, он годился ему в отцы. И хотя Верта и привлекало в Сент-Экзюпери его постоянное стремление совместить отвлеченное и конкретное, действие и мысль, труд и творчество, но он не был из тех друзей, что восхищенно ахают при каждой удачной фразе, прочитанной ими. Его суждения о творчестве друга были точны, справедливы, подчас остры. И он был единственным, от кого Антуан терпел эту остроту суждений.

Они виделись часто в Париже. «Я очень хочу вас видеть, — говорил подчас Сент-Экс, — но не располагаю средствами передвижения». Это означало, что у него нет денег даже на такси. И так как у Леона Верта со «средствами передвижения» обстояло часто не лучше, друзья отправлялись на свидание пешком. Чаще всего у Верта, иногда у Сент-Экзюпери друзья вели бесконечные беседы. Антуан прикуривал одну от другой крепкие американские сигареты, Верт посасывал свою трубку. Обоим было противопоказано пить, но без бутылки не обходилось. В особенности в эти годы Антуан много пил.

«Не помню, чтобы на протяжении десятка лет мы говорили о литературе хотя бы несколько минут», — вспоминает Верт. Речь здесь идет о литературе вообще, а не о том, что писал Сент-Экзюпери. Никто так сильно, как Верт, не разделял ненависти Антуана ко всевозможным литературным ухищрениям, к литературе, не основанной на реальном столкновении с жизнью. И они говорили о жизни. Они излагали друг другу общие взгляды на жизнь, различное миропонимание и мироощущение, сведенные к нескольким конденсированным мыслям. Каждый старался выразиться как можно яснее, охватить мыслью как можно больше явлений.

Когда позволяли средства, встречались они и в ресторанах и в кафе. Иногда Антуан увозил друга на такси в прогулки по Парижу, длившиеся всю ночь. Случалось, он прививал другу вкус к самолету — довольно-таки безуспешно, поскольку Верт называл своего пилота «лихачом».

Привязанность Сент-Экзюпери к Верту была на-

столько сильна, что все последние годы жизни он продолжал мысленно свои разговоры с другом.

Что до Верта, то у этого малообщительного человека, предубежденного в отношении среды, из которой происходил Сент-Экзюпери, возникли к Антуану чисто отеческие чувства или чувства старшего брата. Сент-Экс «приручил» его.

Приручил он и другого оригинала, каковым являлся поэт Леон-Поль Фарг, автор «Парижского пешехода». Как и Сент-Экзюпери и Верт, этот человек из литературного мира не примыкал ни к одной литературной школе, если не считать того, что он входил в кружок писателей, объединявшихся вокруг журнала Галлимара «Н. Р. Ф.» и его издательства.

«Ночная птица» Парижа, Фарг с наступлением темноты появлялся в одном из обычных для него ресторанов или кафе, где его уже часто поджидал Сент-Экзюпери. Тонкий ум, независимость суждений, своеобразность этого блестящего собеседника, удивительно сочетавшего в себе светского человека, гавроша, бесшабашного гуляку, отвечали какой-то внутренней потребности Антуана, лишенного теперь общества товарищей и почти не встречающегося со сверстниками.

Друзья заговаривались до закрытия заведения. Очутившись вдвоем на темной улице, они не хотели расставаться и ловили такси.

— Езжайте куда хотите! — говорил Сент-Экс шоферу. Тот медленно ехал по спящему городу, а друзья курили и продолжали прерванный разговор.

Но вот Фарг замечал освещенные окна какого-нибудь ночного бистро. Тогда он стучал своей тросточкой в стекло к шоферу — и в разговорах за стаканом вина продолжалась бессонная ночь.

Фарг принадлежал к людям, которые никогда не стареют; как и Сент-Экс, он мог с большим пониманием говорить и о преимуществах французской кухни, и о русском балете, и о психоанализе. У него, выдавшего еще лысую голову Верлена, иногда возникало желание познакомиться с новейшими достижениями науки и техники. Тогда приятели договарива-

лись о встрече днем — и Сент-Экс вез Фарга на какой-нибудь авиационный завод, на выставку достижений авиации, на аэродром. Но их путь, начинавшийся с приобщения к современной технике, все равно кончался обсуждением всего виденного и неувиденного за бутылкой вина.

Фарг, как и Верт, успел еще написать посмертное слово о своем друге:

«Сент-Экзюпери был в полном смысле слова человеком. Таких мало. Но он им был естественно, без всякого напряжения, в силу природного таланта... Пожатие его руки всегда превращалось в событие. Заметишь его, подойдешь, наберешься новых идей — и ты счастлив. Да, таков был этот единственный в своем роде человек...»

И для последнего штриха к этой попытке сделать набросок Сент-Экзюпери тридцатых годов дадим еще раз слово Леону Верту:

«Сент-Экзюпери был самым спокойным и в то же время самым беспокойным человеком... Был верен всему и всем — и не верен никакому счастью... Прежде «беспокойный» означало «омраченный». Но в Сент-Экзюпери беспокойство было скорее безустанной игрой света, чем метанием теней...»

ИСКАТЕЛЬ

Казалось, у Сент-Экзюпери было два основных занятия, способных дать удовлетворение самому притязательному человеку: самолет и литературное творчество. Однако и то и другое Сент-Экзюпери мог себе позволить не всегда. Да и вообще его широким умственным и духовным запросам была чужда какая-либо ограниченность. Круг его умственных интересов был поистине необъятен, а разносторонность знаний граничила с гениальностью. Единственное, чего он не терпел как в товарищеских отношениях, так и в любви и в интеллектуальном общении, — это посредственности.

Среди людей, с которыми он встречался в Париже, — астроном Анри Минер, директор Высшей шко-

лы прикладных наук и искусств профессор А.-Р. Метраль, заведующий лабораторией Жолио-Кюри и сам крупный физик Фернан Хольвек — его большие друзья.

Поэт, писатель, летчик, Сент-Экзюпери может с одинаковым успехом говорить и о биологии, физике, астрономии, социологии, психологии, психоанализе, творчестве изобретателя, музыке... Он не только беседует обо всем этом, но, как показывают его «Карне» («Записные книжки»), опубликованные посмертно, напряженно размышляет на материале различных наук и искусств о прогрессе человеческого познания, о движении человечества. Чтение «Карне» оставляет глубокое впечатление. Эта маленькая книжка достойна занять место в одном ряду с «Мыслями» Паскаля.

Когда Антуан работал над каким-нибудь произведением, он избегал литературных чтений. Стол его был завален научными трудами, и собеседников в часы досуга он искал соответствующих.

«Для меня, как и для всех, кто имел счастье общаться с ним, — вспоминает генерал Шассэн, сам человек весьма эрудированный, в прошлом преподаватель Антуана на Высших курсах пилотажа и навигации в Бресте, — Антуан де Сент-Экзюпери — всеобъемлющий гений. Он был одновременно и крупным писателем, и крупным философом, и ученым, и математиком, не говоря уже о его качествах гражданского летчика, летчика-испытателя, инженера-конструктора, не говоря уже о его героизме во время войны и о том, что он собой представлял просто в качестве друга».

Со своей стороны, А.-Р. Метраль пишет:

«У Сент-Экзюпери был хороший научный фундамент. Он любил напоминать, как бы извиняясь за вопросы, которые в силу своей любознательности задавал мне, что он был кандидатом в «Эколь наваль» (Высшее военно-морское училище) и вынужден был отказаться от карьеры моряка только из-за того, что получил плохую оценку по французскому языку... Благодаря этим общенаучным основам Сент-Экзюпери сохранил вкус к физике; кроме того, он свободно владел математикой в размере курса специаль-

ного класса лицея. Привычный к интеллектуальной гимнастике, он мог без особого труда читать научные работы по прикладной механике и физике. Его философский ум хорошо приспособлялся к изучению научных вопросов и к размышлениям по поводу общих аксиом этих наук, и он составил себе, в частности, по поводу современных теорий относительности и волновой механики весьма ясные и точные схемы...»

Но больше всего поражал профессора Метраля, как и других ученых, которые общались с Сент-Экзюпери, особый склад его ума:

«Математические трудности не останавливали его, но он постоянно старался заменить сухость чисто математического рассуждения и доказательства формально логическими объяснениями, исключаяющими всякий символизм. Было очень любопытно следить за ходом его испытующей мысли, за его обращением подчас к самым неожиданным аналогиям, за его удивительно тонкими философскими рассуждениями...»

Роль биографа отнюдь не заключается в том, чтобы анализировать философские концепции своего героя. Однако предыдущие высказывания требуют — для ясности и объемного представления о замечательной личности Сент-Экзюпери — наглядного примера, говорящего о своеобразии его манеры и глубине мышления.

Сент-Экзюпери много размышлял над взаимоотношениями поэзии и математики, а также над творческими возможностями языка как средства выражения мысли. «Истина, — говорил он, — это то, что делает все проще». В письме одному физика — следствии довольно живого обмена мыслями — он объясняет, что понимает под «относительностью внешнего мира», и при этом объясняет свою точку зрения на «ценность» понятий:

«Вы, по существу, противопоставляете одна другой мою «развернутую мысль об относительности внешнего мира и мою мысль об абсолюте в духовной и моральной области» — и удивляетесь этому противоречию.

Прежде всего повторяю, несколько схематизируя, то, что я в тот день говорил. Я сказал:

«Явления представляются человеку вначале без всякой взаимосвязи, откуда не созданы эффективные понятия, чтобы их (эти явления) «уловить». Если созданные понятия неполноценны, то явления представляются противоречивыми».

Но прежде всего надо договориться о значении слова «понятие».

Понятие — это, по существу, определение и напоминание словом некоей системы взаимоотношений, свойственной предмету или данному опыту, которая может быть перенесена на другие предметы или опыты. Первобытный человек, пользовавшийся в своем языке отдельным словом для обозначения красной вишни и другим — для зеленой вишни, одним — для зеленого пера и другим — для красного пера, сделал большой шаг вперед в отношении понятия, выделив качество «красный» из предмета «вишня» и прилагая его, без необходимости каждый раз уточнять, либо к предмету «перо», либо к предмету «вишня». Так, например, «ревность» определяет некоторую структуру взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Но слово это может служить мне для того, чтобы совершенно в другой области вызвать представление о подобной же структуре взаимоотношений. И, например, я могу определить жажду; как «ревность» к воде. Жажда, когда от нее умирают, располагает к горестным образам. Она не носит характер врожденной болезни (врожденная болезнь никогда не требует лекарства), а скорее характер желания, которое требует удовлетворения. Для того, кто умирает от жажды, вода отдается другому. Но может ли сохранение энергии — понятие, созданное как результат определенного опыта — быть, приложено таким, какое оно есть, к другому опыту? Чтобы быть эффективным, объяснять, понятие должно сразу же охватить известную систему взаимоотношений там, где это понятие применяется. Понятие, которое нельзя сразу же приложить, — ложное понятие. Это относится, например, к понятию «выгода» во многих тракта-

тах социальной философии. Если сущность взаимоотношений, на которую я собираюсь указать, говоря «руководствоваться выгодой», не выведена мною из конкретного опыта, то мое высказывание не сможет быть ни подтверждено, ни опровергнуто, когда я применю эту структуру к другим частным случаям.

Я всегда окажусь на высоте, доказывая это. Так, выгода апостола, подвергшегося пыткам, — в опьянении жертвенностью. Но такая посылка ничего мне не объяснит ввиду своей уязвимости. И наоборот, если бы я вывел понятие «выгода» из наблюдений над человеком, стремящимся к материальному удовлетворению с наименьшими усилиями, то моя основная посылка оказалась бы опровергнутой, если бы ее применили к апостолу.

Приведу пример того, как может создаваться понятие.

Люди сегодня борются друг с другом. Везде, во всем мире я замечаю проявления воинственности, которые поначалу мне кажутся беспорядочными. Будь я обитателем Сириуса и возвратись я к себе домой, я унес бы с собой представление о полнейшей неурядице.

Но я мог бы сделать усилие для выражения своих мыслей и создать разъясняющие понятия. Например: «демократия», «расизм». (Не критикуйте мой выбор, я не утверждаю здесь никакой истины, а лишь показываю ход мыслей.)

Однако чтобы мое понятие соответствовало своему назначению, придется взять на себя риск уточнить его, прежде чем им пользоваться. Определю, например, «демократию», исходя из Декларации прав человека либо исходя из уважения к свободе личности. А для «расизма» приму, например, тезис Гобно. Теперь только приложу эти понятия к «миру». При этом я убеждаюсь, что, грубо говоря, они «работают». В какой-то мере они разъясняют некоторые аспекты моей проблемы. И все же я не могу ими удовлетвориться. Они не создают полной ясности, о которой я мечтал...

Вот это проблема языка как способа выражения

мыслей. По мере того как я опытом устанавливаю противоречия, мне приходится либо усложнять свои понятия оговорками и исключениями (и они уже не создадут у меня ясности мысли), либо создавать новые понятия, которые на сей раз были бы эффективны. Это дело чистейшего созидания, а не наблюдения. Совершенно ясно, что моя система взаимоотношений свяжет реальные вещи и что она не будет сама по себе ни правильной, ни неправильной. Но выбор той или иной системы взаимоотношений произволен. Существует бесконечное количество определенных систем взаимоотношений между данными вещами. Есть сельскохозяйственные проблемы, в которых я разберусь лучше с помощью представлений о пахотной земле, лесах, пастбищах, а есть другие, в которых удобнее разобратся с помощью представлений о земельной собственности. Линия раздела поместий нарушает единство лесов, пашен и пастбищ. Я показал различные аспекты, взяв за основу одни и те же вещи.

В самом деле, количество возможных понятий бесконечно. Но мне ни к чему схема взаимоотношений, которую я, например, выведу из опыта того дня, когда, страдая зубной болью, я повстречал трех уток. Я никак не смогу распространить этот опыт на что-нибудь другое. Но я извлеку нечто приложимое к другим случаям из схемы взаимоотношений, называемых ревностью, понятия, приобретенного мною в результате частного случая — опыта того дня, когда, влюбленный в одну блондинку, я заметил, что она улыбается какому-то гусару.

В этом смысле закон Ньютона — понятие, или, точнее, точка зрения. (Это не истина в себе.) В опыте падения камня я могу различить целый ряд элементов. Тысячи поэтов воспоют это под тысячью углов зрения. Что до планет, вращающихся вокруг Солнца, я могу и этому дать тысячу описаний. Но если, следуя за Декартом, я стал бы утверждать, что вселенную можно выразить с помощью понятий «массы», «пространства», «времени», «улавливающих» совершенно лишённые взаимосвязи вещи, ...с помощью

которых все может быть выражено (существуют-де только элементарные массы или ассоциации элементарных масс, движущиеся в пространстве и времени), — то, будь я Ньютоном, я мог бы создать понятие:

$$F = K \frac{mm'}{R^2},$$

откуда можно вывести:

$$m = \frac{d^2x}{dt^2} = mg.$$

В приложении к маленькой планете — яблоку это уравнение выражает тот факт, что пройденные при падении отрезки пути будут пропорциональны квадратам времени прохождения их. А в приложении к планете Луна оно выражает то, что площади секторов, описанных радиусом Земля — Луна, в одинаковые промежутки времени будут одинаковы. В самом деле, ничто не возбраняет рассматривать яблоко, отделившееся от ветки, как планету. Ничто, присущее только яблоку, когда оно не прикреплено к ветке и еще не «пристало» к Земле, не отличает его от Луны. Зная закон пройденных яблоком при падении отрезков пути, измеренных моими предшественниками, и зная закон описываемых при движении Луны секторов (закон Кеплера), я выражу общность этих явлений законом обратной пропорциональности силы квадрату расстояния. Я упростил бы этим вселенную, уподобил бы, казалось, весьма разнородные явления.

Я начинаю смутно улавливать значение слова «абсолют». Ведь я вам уже сказал в тот день, продолжая мою первую мысль о развитии понятия: «По мере создания понятий внутренняя связь в моем мире все растет». (Яблоко идентично Луне.) Есть надежда, что мне удастся еще усилить эту связь. Вместе с Максвеллом я уподоблю свет — электричеству. Вместе с Эйнштейном уподоблю электричество и свет — тяготению. Тогда одно и то же исходное уравнение в приложении к яблоку выразит падение, в приложении к Луне — эллиптическую траекторию, а в приложении к электромагнитным волнам — их рас-

пространение. Такой ход мыслей является приближением к Всеобщему. Научный ход мысли неуклонно приводит к тому, что с каждым новым шагом по пути развития понятия я все приближаюсь, и это без единого отступления, к всеобщей формулировке мира. При этом я разрушаю свои прежние теории. Но это разрушение отнюдь не означает, что я их опровергаю. Оно означает, что от понятия к понятию я все время двигаюсь по восходящей линии. Моя истина все приближается, хотя и без надежды достичь ее, к абсолютной истине. И речь здесь идет вовсе не об абсолютном, лежащем вне человека, который трудно определить и которому присущ метафизический отенок. Речь идет о слове, смысл которого весьма прост. Мало-помалу я намечаю отправные точки, которые связывают все большее количество явлений, прежде не связанных между собой. Удайся мне связать *все* явления между собой, я бы достиг этого абсолюта. Это утверждение отвечает основному условию, которому подчинено всякое утверждение, — оно в принципе уязвимо и могло бы быть опровергнуто опытом. Однако в действительности опыт подтверждает его.

Я — пока — не претендую ни на что другое терминем «абсолют». Но как раз здесь-то наш спор и отклонился от своей цели, еще до того как мы уточнили его содержание вот таким предисловием. Ведь я говорил об измерении высоты графина, а вы меня плохо поняли.

Я говорил: на протяжении XIX века понятия, управляющие выражением моих мыслей, на которые я опирался, чтобы придать ясное значение утверждению: «Этот графин, измеренный таким-то метром-эталоном, имеет в высоту тридцать сантиметров», — оказались недостаточными.

Я отнюдь не пытался утверждать этим, что высота — это человеческое понятие, зависящее от избранной меры. При этом я ни в малейшей степени не затрагивал туманную метафизику и не пользовался никаким значением «относительности» (кстати, что вы понимаете под относительностью? Значение этого

слова должно быть определено с тысячью предосторожностей). Я говорил:

В XIX веке обнаружили, что утверждение «Высота этого графина, измеренного таким-то метром-эталоном, равна тридцати сантиметрам» имеет не более ясное абсолютное значение, чем «Война является войной демократии против нацизма». Или точнее: в XIX веке открыли, что если с помощью моего метра-эталоны я буду измерять высоту графина, стоя неподвижно рядом с ним на уровне земли, и высота его действительно окажется равной тридцати сантиметрам (мера, определяемая как абсолютная, а вовсе не «относительная»), то в моем методе рассуждения или в языке, который управляет им, что-то неладно, ибо мое утверждение оказывается ложным, как только я поднимаюсь с тем же метром на пятый этаж своего дома или если даже не поднимаюсь над уровнем земли, просто передвигаюсь со своим метром. (В действительности в XIX веке столкнулись с противоречиями лишь при попытке измерить некоторые явления света. Но в этих противоречиях уже содержался зародыш более широких обобщений, тех самых, которые я избрал как пример.)

Вера в тридцать сантиметров — «длину в себе», измеренную вполне определенным метром-эталоном (измерение, в котором нет ничего относительного), и в самом деле предполагает: масса, длина, время — реальности взаимонесвязанные (то есть существующие сами по себе). Так, время не зависит ни от масс, ни от положений; длины не зависят ни от масс, ни от времени; массы не зависят ни от времени, ни от положений. И, следовательно, я могу сказать: «Высота этого графина равна тридцати сантиметрам», — не указывая условий, в которых движется вышеназванная система величин в отношении графина, не указывая состояния масс во вселенной по отношению к массе самого графина.

Однако в XX веке открыли, что если метр находится на пятом этаже, то, поскольку поля тяготения там, где находится соответственно метр и графин, не одинаковы, мое утверждение ложно. Точно так же,

если я буду передвигаться с метром, так как от скорости моего передвижения размер графина также изменится. Итак, я обнаружил, что понятия «пространство», «масса», «время» относительны. Но речь идет вовсе не о какой-то таинственной относительности. Просто эта «относительность» выражает существование взаимоотношений между понятиями, которые я ошибочно считал независимыми. Вина в том, что я неудачно выбрал свои понятия...

Мой язык становился непригодным, как только я пытался с чересчур большой точностью им пользоваться. Закон

$$F = K \frac{mm'}{R^2}$$

становился неприложимым, ибо значение его затуманивалось: F становилось зависимым от m' и от R ; m от F и от R ; R от S и от m . Понятие «силы», о которой математики сказали бы, что ее «размерность» MLT^{-2} , по тем же соображениям затуманилось. И дело не в том, что что-то стало ложным. Понятие не может быть ни правильным, ни ложным. Понятие — только точка зрения. Дело в том, что оно не вносило никакой ясности. Так, я могу создать понятие $F' = mm'$. Но это понятие тоже ни правильно, ни ошибочно. Впрочем, к чему оно мне? С таким же успехом я мог создать понятие в тот день, когда, мучаясь от зубной боли, встретил трех уток. Но к чему мне и это понятие?..

Слово «относительность» не дает нам здесь основания ни на какое метафизическое головокружение. Оно не имеет никакого отношения к метафизическому абсолюту. Оно означает просто, что существуют взаимоотношения между массой, пространством и временем, или, если вам угодно, такие понятия (как и «демократия» или «расизм») уже не охватывают независимые реальности. Выбор их неудачен. Они уступят место новым понятиям, которые в течение некоторого времени будут казаться независимыми. В свою очередь, и эти уступят место новым, «неизменным» понятиям. К сожалению, эти новые

понятия нельзя уже будет выразить общеупотребительным языком. В этом нет ничего поразительного, ибо общеупотребительный язык отражает лишь чувственный опыт, а чувственный опыт ничего нам не говорит о связях, существующих между массой, временем и пространством, потому что существующая между ними взаимосвязь выражается в столь малых величинах, что органы чувств не улавливают ее.

Представление об эйнштейновском мире как о менее абсолютном, чем предшествующий ему, — лишь результат игры слов. С метафизической точки зрения он ни более и ни менее абсолютен. С научной точки зрения он более абсолютен, ибо взаимно уподобляет большее количество явлений. Единственный урок, который можно из этого извлечь, — это необходимость для человека быть скромнее, поскольку его представления о массе, времени, движении и даже об отождествлении — лишь антропоморфические представления, и следует ради точности заменить их другими понятиями — на сей раз математическими.

Не знаю, разъясняет ли вышесказанное термины «абсолют» и «относительность» в науке. Подытожу так: наука выражает взаимоотношения. Когда наука начала выражать отношения между независимыми в прошлом божествами, такими, как масса, пространство, время, заговорили об относительности. Исчезающий абсолют не был тем абсолютом, которого добивалась наука. Это был абсолют отдельных частных понятий. После того как их долгое время считали простыми первичными кирпичами в построении мысли, они оказались сложными. Эта катастрофа имела психологическое значение, ибо понятия, которые человек считал незыблемыми, сводились к опытным данным, — зато они лишались какого бы то ни было метафизического значения. Действительно, эта замечательная относительность сама двинула вперед науку к единственному абсолюту, который ее интересовал, — к абсолюту единого выражения явлений. Что до изживших себя понятий, они попросту уступили место другим, таким, как эйнштейновский «интервал» или постоянная Планка h .

Итак, мне не ясен вопрос, который вы как бы ставите мне, утверждая: «Механизм восприятия, которым мы являемся, подвержен той же относительности, что и всякий физический предмет...»

Не буду прибегать к нечестным приемам полемики в письме, где я пытаюсь взвешивать каждое слово, и использовать против моего оппонента данные им скоропалительные определения. Нужно стараться понять, как оппонент выражает собственную истину, а не ставить ему подножки, когда на то представляется случай. Однако ваш вопрос, несомненно, очень важен, а формулировка его для меня туманна. Моя добрая воля мне не в помощь.

Мне известны «физические взаимоотношения», но «физическая относительность» мне неизвестна. Мне известны «физические структуры», но неизвестны «физические предметы».

Если я пробую перевести сказанное вами на язык, который полностью отказался от употребления неопределенного представления о такой физической относительности, поскольку смысл, придаваемый ей вами, мне неизвестен, то я формулирую для себя вами сказанное (не знаю, является ли это точной передачей вашей мысли) следующим образом:

«Мы можем реагировать различно друг от друга и, в зависимости от момента, различно от самих себя на то или иное произведение искусства». Но что вы понимаете в таком случае под единством произведения искусства?

Противопоставление неопределенного абсолюта неопределенной относительности серьезно путало меня. Но я могу принять противопоставление единства множеству. Меня побуждает формулировать так вашу мысль то, что вы сказали: «Вы говорите, что впечатление, производимое на вас картиной, едино...»

Однако, высказываясь здесь, я вынужден определить сначала, что я понимаю под единством.

Картезианский первичный кирпич, та единая, неделимая частица, из которых строится мироздание, приказал долго жить. Атом теперь — лишь геометрическое построение, схема взаимоотношений и, следова-

тельно, лишь умозрительная формула. По существу, покопавшись поглубже в кирпичике мироздания — атоме, мы находим человека с его представлениями. Даже больше того: я не берусь утверждать, что я буду подразумевать под единством фотона или электрона, так как на этом уровне антропоморфическое представление об индивидууме едино, когда он перестает быть сложным, а между тем физика учит меня, что как только я избавлюсь от сложности, одновременно исчезает и понятие «существа». Фотоны и электроны представляют собой теперь не более как поверхностный образ, который за отсутствием в общепотребительном языке ясно сформулированных понятий я пытаюсь как-то спасти.

Поэтому я определю «единое» иначе. Я скажу, что существо едино, когда оно не может быть разделено на составные части без уничтожения его специфических качеств и, следовательно, когда его свойства не могут быть определены, исходя из качеств его составных частей.

Так, например, я говорю: дерево едино, так как дерево нельзя определить, исходя из минеральных солей, из которых оно состоит, и, следовательно, оно не может распасться на минеральные соли и остаться деревом.

Еще проще я скажу: молекула воды едина, потому что свойства, которые проявляются на уровне молекул воды, лишены всякого смысла на уровне ее составных частей. Молекула трансцендентна по отношению к атому.

Я скажу: подобным же образом живая клетка трансцендентна по отношению к молекуле — она едина.

Я скажу: живой организм трансцендентен по отношению к клеткам — он един.

Я скажу: собор трансцендентен по отношению к камням — он един.

Я скажу: картина Ренуара трансцендентна по отношению к пятнам красок — она едина.

Я не могу предвидеть качеств атомов, исходя из свойств электронов.

Я не могу предвидеть качеств галактик, исходя из свойств молекул.

Я больше не могу предвидеть качеств молекул, исходя из свойств атомов.

Как мне кажется, вовсе не случайно то, что нет полного сочетания между квантовой физикой (которая управляет очень малыми величинами) и релятивистской физикой (которая управляет очень большими величинами).

Все это уже бросалось в глаза в биологии, но я мог приписать возникшую трудность временному неведению.

Я не умею предвидеть качества живой клетки, исходя из свойств молекул.

Я не умею предвидеть качества какого-нибудь органа тела, исходя из свойств клеток.

Я не умею предвидеть качества человеческого сознания, исходя из свойств органов его тела.

Лишь когда я сопоставляю характеристику биологических существ, которые на разных ступенях мне показывает наука, с подобной же характеристикой неорганических «существ», биологические бездны представляются мне в особом свете.

Впрочем, следует остерегаться весьма опасной ловушки языка. Ибо я могу всегда — вернее, я могу всегда надеяться — «объяснить посредством...». Так, я могу объяснить качества молекул свойствами атомов. Но ход мыслей при этом совершенно иной — это аналитический подход. В самом деле, я могу объяснить и собор посредством камней. Но что невозможно — это «предвидеть» собор, исходя из камней. Между тем, если вы внимательно присмотритесь к научному ходу мыслей, то убедитесь, что он всегда является «объяснением посредством...», а не «предвидением, исходя из...». Научное рассуждение объясняет воду посредством кислорода и водорода. Оно не предвидит воду. Оно удовлетворяется ходом своих синтезов, если, вновь восстанавливая комбинацию составных частей, оно вновь «обнаруживает» свойства воды.

Но больше всего меня волнует то, что в моей вселенной все отнюдь не пригнано одно к одному в со-

ответствии с описанием, данным Паскалем. Я уже отказался от первичных масс и от ассоциации этих первичных масс. Во вселенной, с которой я сталкиваюсь, на каждой новой ступени появляются новые качества, лишённые смысла на последующих ступенях. Законы, управляющие ассоциацией атомов, вовсе не идентичны тем, которые управляют ассоциацией электронов. С помощью чистого картезианства факт этот слабо можно объяснить.

Биологическими ступенями являются: электрон, атом, молекула, клетка, организм, сознание.

Материальные ступени: электрон, атом, молекула, небесное тело, галактика, вселенная.

И еще раз: меня отнюдь не смущает, что подобные умозаключения могут показаться спорными».

Как бы отголоском этого письма является другое, из которого приведем следующие строки:

«Я скажу: дерево едино, ибо его нельзя определить, исходя из минеральных солей, входящих в его состав. Я отнюдь не отрицаю сложность основы. Я вовсе не отрицаю, что дерево может гореть, вместо того чтобы цвести. Я не только не отрицаю этой сложности основы, но я говорю: единственное имеющее значение единство — это то, которое трансцендентно в отношении сложности, проявляющейся на более низкой ступени его составных материалов.

В общем, еще проще: я утверждаю «существо». Я утверждаю его по двум причинам. Во-первых, для меня нет иной психологической реальности: я люблю женщину, а не сумму клеток, и восхищаюсь собором, а не суммой камней.

Во-вторых, я вынужден был отказаться от картезианского построения мироздания. «Механизм» этот умер. Продвигаясь от первичного кирпичика мироздания к еще более простейшему кирпичику, аналитическое знание подошло в конечном счете к неожиданной бездне: к человеку!..»

Сент-Экзюпери никогда не упускал случая приобрести дополнительные знания.

«Уже одно перечисление тем наших бесед, вероят-

но, удивило бы даже некоторых ближайших друзей Сент-Экзюпери, — пишет профессор А.-Р. Метраль. — Его скромность, если не застенчивость, мешала ему говорить о своей научной любознательности иначе, чем с глазу на глаз со специалистами данных вопросов... Я надолго сохраню в памяти наши беседы о жиро-скопах, об использовании волн всякого рода и, наконец, о направленных реактивных явлениях в сжимаемой среде».

Однако в обществе друзей Антуан никогда не чувствовал себя стесненным и, наоборот, увлекал всех и сам увлекался самой разносторонней беседой. Сохранилось даже письменное свидетельство об одной из таких бесед.

В феврале 1940 года Сент-Экзюпери приехал в Париж на один день из Сент-Дизье. Хольвек пригласил его позавтракать вместе с ним у одной приятельницы. За столом собрались еще несколько друзей ученого-физика. Говорили обо всем: об искусстве, о литературе, о событиях в науке, были затронуты некоторые чисто научные темы. Когда речь зашла об одной теории чисел, астроном Анри Минёр, выслушав соображения Сент-Экзюпери, был поражен, с какой легкостью писатель оперирует научными данными.

Принимаясь за камамбер, Сент-Экзюпери попросил его объяснить, что такое энтропия материальной системы и в чем заключается принцип Карно. Анри Минёру показалось трудным объяснить что-либо, не прибегая к математике. Он попытался найти наглядный пример:

— Возьмем два литра воды, — сказал он, — один при 0° , а другой нагретый до 100° , смешайте их, и у вас образуется два литра воды с температурой 50° . Но если у вас будут два литра воды с температурой 50° , они сами собой не превратятся в один литр с температурой 0° и другой — с температурой 100° . Чтобы добиться такого результата, вам придется остудить один литр до 0° , а второй литр нагреть до 100° , что потребует добавочной энергии от какого-либо нового источника, хотя привносимая энергия и равна количественно той, что высвобождается при остывании

первого литра. В этом случае энергии количественно равны, но качественно различны. Энтропия в некотором роде является мерой этого состояния. Принцип Карно утверждает невозможность самообратимости первого явления.

Затем Минёр прибег к другому примеру.

— Два сосуда — А и В, вместимостью в один литр каждый, соединены резиновой трубкой, снабженной краном. В начале опыта А пустой, а В наполнен воздухом под давлением в две атмосферы. Открываем кран сообщения, и через некоторое время в каждом из двух сосудов будет по одному литру воздуха под давлением в одну атмосферу. Но явление это не самообратимо. Если сосуда А и В содержат каждый по одному литру воздуха под давлением в одну атмосферу и мы откроем между ними кран сообщения, то трудно представить себе, чтобы А опорожнился и чтобы весь находящийся в нем воздух перешел бы в В.

Сент-Экзюпери внимательно выслушал его и возразил:

— Но ведь, если я не очень ошибаюсь, газ состоит из движущихся во все стороны молекул. Молекулы эти движутся в соответствии с общими законами механики. Хорошо, разберем ваш пример. Вначале сосуд А пустой, а В полный. Мы открываем кран, и, поскольку молекулы находятся в постоянном движении, половина молекул из В перейдет в А. Представим себе теперь, что направление движения молекул изменилось, что вполне возможно, поскольку все уравнения в механике имеют и обратное значение, и тогда все молекулы из А возвратятся в В. Следовательно, мы будем иметь случай, когда в начале эксперимента оба сосуда были полные, а затем сосуд А отдал все свое содержимое В.

Минёр отвечал, что в принципе Сент-Экзюпери прав, но решающее значение имеет здесь другое обстоятельство. Дело в том, что количество молекул, равное миллиарду миллиардов, столь велико, что, исходя из уравнения механики, которое обратимо, приходишь к необратимому процессу. Ибо в данном слу-

чае обратимость процесса при определенном случайном состоянии молекул столь маловероятна, что ее можно принять за ноль. В силу вступил закон больших чисел. Если знать только, что сосуды А и В содержат воздух под давлением в одну атмосферу, можно и в самом деле представить себе такое положение и изначальную скорость молекул, при которых все молекулы из А перейдут в В, но вероятность того, что молекулы окажутся в таком положении и будут иметь такую скорость, чрезвычайно незначительна. В общем принцип Карно, может быть, и неправилен, но вероятность того, что он окажется неправильным, столь незначительна, что ею можно пренебречь.

— Энтропия, — заключил Минёр, — это логарифм вероятности данного состояния.

Сент-Экзюпери показалось удивительным, что, исходя из обратимых уравнений механики, приходишь к необратимому результату. Минёр объяснил ему, что эта необратимость — следствие закона больших чисел и вытекает из понятия вероятности явления. Он поразился, что человек с установившейся репутацией литератора способен так легко проследить за сложным научным построением. Убедившись в высокой сообразительности своего слушателя, Минёр добавил, что имеются и другие примеры подобных явлений. Так, исходя из элементарных законов электродинамики (закон Лапласа, закон индукции), которые исключают распространение волн, пришли к уравнениям Максвелла — Герца, доказывающим распространение электромагнитных волн со скоростью света.

— В данном случае, — сказал Минёр, — причиной этого изменения является ток смещения. Это показывает, что математическое выражение не просто тавтология, а содержит в себе большую долю истины, чем это предполагал его первоначальный составитель. Открытия часто совершались учеными, увлечшимися исследованием какого-нибудь уравнения.

Они заговорили о других вещах, о понятии времени, о диалектическом материализме. Сент-Экзюпери без всякого труда следил за ходом мыслей ученого.

Он всегда был счастлив, когда беседа вызывала необходимость напряжения мысли.

Впрочем, его чисто интуитивное понимание часто превосходило его познания в области математики.

Специализация областей знания, достигшая в XX веке небывалого уровня, не позволяла Антуану проявлять себя с одинаковым блеском во всех областях. Да и, надо думать, он сознательно ограничивал себя наиболее близким ему кругом проблем, которые в силу обстоятельств требовали своего немедленного разрешения.

И надо ли удивляться, что новые проблемы, возникавшие в ремесле, которому он отдался всей душой, особенно привлекали его? Творческий ум Антуана постоянно был занят разрешением таких проблем, а реализация ряда изобретений порождает у него как следствие сопутствующих изобретательской деятельности исканий все новые и новые проблемы.

Правда, Сент-Экзюпери мало известен как изобретатель. Во-первых, другие его таланты подчас тормозили, а затем и затмевали его изобретательскую деятельность. Да и, надо сказать, Антуан не всегда занимался практическим использованием своих изобретений. Очень часто, изобретая что-нибудь, он брал патент, затем сразу же переключался на что-нибудь другое. И все же его идеи, безусловно, если и не были использованы другими — утверждать это было бы преувеличением, — то по меньшей мере вдохновляли других изобретателей, помогали им. Ведь нельзя, например, утверждать, что Леонардо да Винчи изобрел самолет. Но можно предположить, что эскиз его летательного аппарата три века спустя вдохновил англичанина Джорджа Кейли, «изобретателя аэроплана». Впрочем, и «крыло Эола» Клемана Адера, «отца авиации», несколько не отличается от рисунка гениального итальянца.

Изучение патентов, взятых Антуаном де Сент-Экзюпери, ярко свидетельствует о том, сколь сильно он был увлечен всякими новыми вопросами летного дела вообще. В частности, он был озабочен тем, чтобы работа летчика была как можно проще и без-

опаснее, и для этого старался непрерывно улучшать методы пилотирования и аэронавигации.

Изобретения Сент-Экзюпери можно подразделить на несколько групп. Первую из них можно условно назвать «геометрической». Таких патентов, основанных на геометрических построениях, четыре. Все они от 1938—1939 годов.

Первый из этих патентов, выданный 18 ноября 1938 года, касается нового типа гониографа — инструмента, который дает возможность из любой точки провести прямую линию, идущую под заданным углом относительно любого направления. Этот прибор чрезвычайно прост. В нем сочетается применение геометрии и теории механизмов и машин. При помощи трех зубчатых шестеренок разрешается задача, имеющая бесспорный интерес для всякого штурмана.

16 декабря того же года Сент-Экзюпери патентует систему репитора (повторителя) показаний измерительной и контрольной аппаратуры. В этом патенте на помощь геометрии приходит физика вращающихся зеркал и фотоэлементов. Идея изобретателя состояла в том, чтобы исключить какие бы то ни было искажения в системе передачи показаний приборов на расстояние, которые могут затруднить отсчет или прочтение показаний приборов, удаленных от летчика. Эти искажения показаний приборов при передаче их на расстояние могут происходить из-за неточности системы передачи показаний, люфтов в зубчатых или рычажных передачах и ошибок и запаздываний электромагнитных систем. Вся шкала перемещений стрелки основного измерительного прибора освещается вращающимся световым лучом, который отражается оптическим устройством, расположенным на стрелке, и воспринимается фотоэлементом. Фотоэлемент при помощи синхронного устройства, уже применяемого в репиторах и анализаторах, дает отметку на градуированной шкале прибора, находящегося перед летчиком. Взятие отсчета на этом репиторе можно производить без ошибки.

Чрезвычайно остроумным является и запатентованный 4 сентября 1939 года прокладчик курса. За-

дача этого прибора состоит в том, чтобы получить проекции на две взаимно-перпендикулярные оси отрезка любой величины, направленного под любым заданным углом к одной из осей. Этот прибор основан на свойствах прямоугольного треугольника, вписанного в окружность таким образом, что его гипотенуза является диаметром этой окружности. Треугольник этот изменяющийся (веревочный); катеты его пропорциональны косинусу и синусу половины центрального угла, образованного гипотенузой и соответствующей ей медианой. Если эта половина центрального угла взята точно равной курсу самолета или корабля, то изменения катетов прямоугольного треугольника должны дать искомые составляющие по долготе и широте места самолета или корабля в момент измерения. Эти изменения катетов находят свое выражение в разности длины двух тросиков, один конец которых закреплен в вершине прямого угла, которая описывает полуокружность, а два других пропущены через ролики на соответствующих концах гипотенузы. Концы этих тросиков воздействуют на два регистратора, приводимые в движение специальным устройством, перемещение которого, в свою очередь, непосредственно связано с показаниями скорости самолета или корабля, получаемыми от лага или авиационного указателя скорости типа трубки Вентури. Следовательно, в каждый данный момент можно непосредственно получить две величины, пропорциональные скорости корабля и косинусу или синусу его курса. (Таким образом, оказывается, реализован прокладчик курса.)

Четвертый патент этой группы, выданный 22 сентября 1941 года, когда Сент-Экзюпери уже покинул Францию, был заявлен им 24 июня 1939 года. Изобретение это имеет целью еще упростить и повысить точность чтения показаний приборов и взятия отсчетов. В самом деле, внимательно изучив радиоконпас «ЛМТ» и приспособление, вычерчивающее восьмерки, направление которым дает пеленг передающей станции, изобретатель встретился с классическим затруднением определения максимума неясно очерченной

кривой и разработал геометрический метод определения этого максимума, составивший предмет изобретения.

Рассматривая некоторую экспериментальную кривую, вычерченную записывающим прибором со всяческими изгибами и погрешностями, но о которой априори известно, что она является симметричной относительно оси или точки, он берет другую строго симметричную кривую и накладывает с максимальной возможной на глаз точностью обе кривые одна на другую. Опыт показывает, что человеческий глаз, не смотря на несовершенство вычерчивания этих кривых, обеспечивает достаточно точное их совмещение. Глаз в этом случае является своего рода весьма тонким интегратором, который устраняет все случайно выпавшие точки, не соответствующие общему ходу кривой. В патенте описано устройство, в котором к регистрирующему или вычерчивающему прибору добавлен электрический или, например, оптический механизм, дающий симметричную кривую, которую при помощи соответствующих средств точной регулировки можно наложить на экспериментальную кривую.

В этот очень сложный патент, наконец, входит также и описание его радиогониометрических применений и описание пеленгатора в сочетании с катодным осциллографом. В патенте также приведено несколько вариантов его осуществления.

Ко второй группе изобретений Антуана де Сент-Экзюпери относятся патенты, касающиеся слепой посадки. Пилоты часто испытывали затруднения при посадке во время стелющегося по земле тумана, и Антуан постоянно искал наиболее совершенный способ посадки самолета при нулевом потолке облачности. Этой очень важной проблеме посвящены два патента Сент-Экзюпери.

Первый из них взят в 1936 году (это вообще его первое изобретение). Второй патент взят в 1938 году с добавлениями к нему в январе 1939 года. Первый патент имеет заголовок «Приспособление для посадки самолетов». Изобретение это основано на приеме отраженных волн фотоэлементом, снабженным враща-

ющимся обтюратором с оптическим коллиматором. Вся эта система изохронно связана с источником света, возбуждаемым фотоэлементом. Этот источник света заключен во вращающуюся синхронную систему, направляющую на экран посредством оптического устройства пучок света. Этот пучок света образует световую полосу на помещенном перед летчиком экране, на котором вырисовываются колеса шасси. Таким образом, летчик непосредственно на экране видит расстояние, отделяющее его от земли, и характер изменения высоты. Источник света располагается где-нибудь на самолете — предпочтительно на уровне шасси. Он посылает вниз пучок параллельных лучей. Фотоэлемент расположен в задней части самолета. Происходит автоматическое определение места светового пятна на земле, причем это определение места производится с высокой точностью. В патенте описаны устройства экрана, дающие все более и более высокую точность по мере приближения самолета к земле. Описанный прибор в том виде, как он представлен изобретателем, по-видимому, больше подходит для посадки ночью, а не в тумане. В этом последнем случае, по-видимому, лучше прибегнуть к помощи отраженных электромагнитных волн.

Второй патент этой группы касается нового метода слепой посадки. В этом патенте автор и прибегает как раз к помощи электромагнитных волн. Согласно этому патенту радиопередатчики располагаются в двух неподвижных точках на земле. Они отправляют один или несколько пучков волн, вращающихся с постоянной скоростью вокруг этих неподвижных точек. Угловая скорость этих пучков достаточно велика для того, чтобы определить инерцию светового восприятия в принимающем аппарате. Сигнал засечки положения самолета, позволяющий точно ориентировать показания, даваемые приемником, также посылается с земли. Приемник имеет с одной стороны лампу с малой световой инерцией, помещенную на приемной антенне, с другой стороны — оптическое устройство с источником света, подающее на экран обтюрации изображение в виде световой полосы. Это

оптическое устройство приводится во вращение со скоростью, очень близкой к скорости вращения пучков волн, посылаемых наземными станциями. Приводной двигатель этого устройства имеет регулировку скорости вращения. В патенте предусмотрено четыре варианта реализации сигнала, засекающие место самолета. В своем добавлении к этому патенту автор заменяет вращающиеся передачи с очень малым углом раствора пучка передачами с большим углом, но вызывающим в приемнике синусоидальный или примерно синусоидальный ток. Точно так же передача засечки места самолета производится непрерывно, но изменяется во времени также по закону синусоидальной амплитуды с той же частотой, что и раньше. Максимум этой амплитуды соответствует определенному направлению в пространстве.

Из этого, хотя и весьма краткого, описания можно вывести заключение о глубоких познаниях автора в области радиотехники, а также о его оригинальной творческой мысли.

Эта оригинальность и изобретательность особенно ярко проявляются в третьей группе патентов Антуана де Сент-Экзюпери. В этих патентах речь идет о подъемной силе и о силе тяги во время движения тела в сжимаемой среде, то есть, по существу, о принципе реактивного движения. Вот что свидетельствует об этом профессор А.-Р. Метраль:

«При прочтении его патента от сентября 1939 года и двух добавлений к нему, заявленных 22 и 26 июля 1939 года, на которые были выданы патенты от 12 ноября 1940 года и 9 января 1941 года, мне вспомнились страстные споры, которые мы с ним вели в течение всего 1938 года. В то время я занимался исследованиями реакции, вызванной отклонением сжимаемой струи, и уже получил некоторые результаты в ходе предварительных опытов. Я ознакомил его с этими данными и развернул перед ним картину будущего реактивного движения в том виде, как его представлял себе в то время. Антуан сам увлекался этой проблемой и как поэт предвидел наступление новой, революционной эры авиации. Вскоре после этого он

REPUBLIQUE FRANÇAISE.
—
MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.
—
DIRECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

BREVET D'INVENTION.

Gr. 6. — Cl. 4.

N° 850.093

Système de sustentation et de propulsion, notamment pour avions.

M. Antoine de SAINT-EXUPÉRY résidant en France (Seine).

Demandé le 17 août 1938, à 10^h 21^m, à Paris.

Délivré le 4 septembre 1939. — Publié le 7 décembre 1939.

[Brevet d'invention dont la délivrance a été ajournée en exécution de l'art. 11 § 7 de la loi du 5 juillet 1889 modifiée par la loi du 7 avril 1902.]

L'invention a pour objet un système de sustentation et de propulsion, applicable notamment à des avions, qui consiste

à bien qu'en fait le rendement de la fusée se puisse s'en trouver amélioré.
L'invention sera mieux comprise d'ail-

N° 850.093

M. de Saint-Exupéry

Pl unique

Fig 1

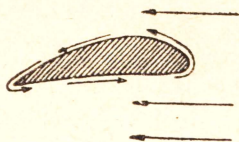
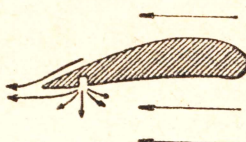


Fig 2



Один из патентов Антуана де Сент-Экзюпери, относящихся к реактивному движению.

изложил мне свои мысли по этому вопросу. Исходя из гипотез, отличавшихся, впрочем, большой смелостью, и рассуждая скорее интуитивно, я бы сказал — в философском плане, а не подвергая проблему физическому анализу, он посредством комбинации ракет или других источников, способных вызвать расширение сжимаемой среды, во всех деталях построил теорию создания вокруг тела, перемещающегося в воздухе, термической циркуляции. Приравнивая эту циркуляцию к так называемой циркуляции Жуковского, он пришел к выводу, что она обладает свойствами, позволяющими подъем и продвижение вперед при помощи рекуперации механической энергии, которая в течение очень короткого времени после расширения газов может быть использована в атмосфере. Когда познакомишься с патентом и с набросками к нему, сделанными автором и легшими в основу окончательного текста, поражаешься, как чисто интуитивно Антуан совершенно правильно анализирует явления реактивного движения, не прибегая, разумеется, к их количественному анализу. В первом добавлении к патенту он применяет свою идею термического источника к кольцу, окружающему миделевое сечение обтекаемого тела, которое может быть, а может и не быть телом вращения. Если рассматривать одномерный непрерывный поток идеального газа, то можно теоретически показать, что действительно должен иметь место тепловой обмен в том направлении, которое интуитивно было указано Сент-Экзюпери.

Во втором добавлении он использует пульсацию давления, стараясь поместить в зоне понижения давления участки с увеличивающимся поперечным сечением и в зоне повышения давления — участки с уменьшающимся поперечным сечением. Эти интуитивные соображения полностью совпадают с недавно полученными теоретическими результатами (это написано в 1945 году). Поражаешься, как творческая сила мысли и умение абстрагировать привели Сент-Экзюпери, несмотря на недостаточное знание термодинамики, к результатам, которые не так-то

просто получить и с помощью расчетов методами математической физики».

Остается мельком упомянуть еще о двух чрезвычайно своеобразных патентах.

Один из них касается усовершенствования средств контроля работы авиационного двигателя в полете. Это изобретение было заявлено 22 июля 1939 года, а патент был выдан 22 октября 1940 года. Автор ищет средства проверки правильности зажигания двигателя, величины опережения зажигания одного какого-нибудь двигателя по отношению к другому и, наконец, синхронизации работы всех двигателей самолета. Для этого он применяет катодные осциллографы с постоянной круговой разверткой и добавляет к каждому двигателю по полифазному генератору возбуждения К пластинам радиального отклонения луча осциллографа, он прикладывает напряжение, подаваемое на свечи одного или нескольких двигателей. Вся эта электрическая информация трансформируется в чрезвычайно простые и легко считываемые показания прибора, находящегося перед глазами летчика.

Второе изобретение касается запуска двигателей, и в частности двигателей авиационных. Наблюдая в течение длительного времени за работой находившихся в эксплуатации пусковых приспособлений и задумавшись над этой проблемой, изобретатель четко выявил необходимость для запуска мощных двигателей (в особенности установленных на подвижной платформе, в данном случае на самолете, где стараются получить максимальную экономию веса) использования тяжелого пускового маховика, приводимого во вращение сколь возможно менее мощным двигателем, и устройства, обеспечивающего автоматическое изменение момента. Иначе говоря, он старался достигнуть максимума аккумулированной энергии при возможном минимуме потерь. Предложенная им реализация этой идеи чрезвычайно любопытна. Его маховик представляет собой последовательность радиальных цилиндров, попарно расположенных один против другого и, следовательно, составляющих чет-

ное число. Поршни, попарно соединенные какой-нибудь упругой связью, приводятся в движение, и в то же время какая-нибудь жидкость, например вода, поступает в центральную часть маховика и заполняет цилиндры. Центробежная сила действует одновременно и на поршни и на воду, и натяжение упругой связи прогрессивно компенсируется все возрастающей центробежной силой. Таким образом, получается маховик, масса которого возрастает вместе с ростом скорости вращения и который, следовательно, не требует очень мощного двигателя. При замедлении движения момент автоматически изменяется пропорционально впуску воды.

Для полноты картины следует еще упомянуть о заявке на один патент и на добавление к патенту, поданные Сент-Экзюпери 19 и 29 февраля 1940 года, в самый разгар войны. Ввиду особых условий военного времени патент этот и добавление никогда не были опубликованы, а возможно, эти изобретения и сейчас имеют некоторый военный интерес. О них известно только то, что они еще развивают идеи, заложенные в основном патенте от 1938 года, и касаются нового способа определения местоположения объекта и засечки (пеленгования) самолета при помощи электромагнитных волн.

Мы позднее еще вернемся к рассказу об изобретательской деятельности Сент-Экзюпери в военное время.

«МЕНЯ МУЧАЕТ, ЧТО В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ, БЫТЬ МОЖЕТ, УБИТ МОЦАРТ»

«Если капиталистическая система (в которой каждый представитель капитала играет роль государства) благоприятствует человеку, я не вижу ничего неуместного в том, чтобы она господствовала еще более явно и способствовала развитию человечества. Ведь возмутительно это только в том случае, если такая система находится в противоречии с интересами человека. И только в этом случае меня возмущает

пресса и коррупция парламента. Но это второстепенные проблемы. Если интересы нации, то есть людей, уже не совпадают с интересами капитализма, пусть он уступит место другой структуре».

Трудно в точности установить, когда Сент-Экзюпери внес эту заметку в свою записную книжку. Вероятнее всего, в 1934 году, во время событий, о которых уже говорилось, хотя, возможно, еще раньше, во время дела «Аэропосталья» и преобразования его в Национальную компанию «Эр Франс».

Но точное время, когда это написано, не имеет в данном случае решающего значения. Так или иначе — это относится к периоду внутренней ломки французского государственного строя, подъема на борьбу народных масс. Восстание в Астурии, образование Народного фронта в Испании и затем во Франции, различные события, словно судороги, сотрясавшие тогда Европу, не могли оставить Антуана равнодушным.

«Я не умею ни взвешивать, ни измерять человека... Я не знаю, как определить справедливость. Единственный вопрос: какая структура наиболее благоприятствует созиданию и духовной жизни? Ошибка многих в том, что, как им думается, они оказались в состоянии измерить человека», — заносит писатель в свой блокнот.

Все эти записи и множество других не говорят о том, к чему пришел в это время Сент-Экзюпери, но зато свидетельствуют о ходе его мыслей.

Было бы проще всего предположить, что бурные события, разразившиеся в Испании, сильно взволновали Сент-Экзюпери. И хотя ему претило быть нейтральным зрителем, он принимает предложение газеты «Энтрансижан» и выезжает в качестве ее корреспондента в Барселону, Сарагосу, на фронт в Лериде и публикует 12, 13, 14, 16 и 19 августа серию репортажей под общим заголовком «Испания в крови». Затем в апреле 1937 года отправляется в осажденный Мадрид, на этот раз по поручению газеты «Пари суар». Публикует в ней 27, 28 июня и 3 июля ряд очерков. В 1938 году 2, 3 и 4 октября, сразу по-

сле Мюнхенских соглашений, выступает в газете «Пари суар» с серией статей под названием «Мир или война?», статей, в которых он возвращается к испанским впечатлениям. В 1939 году выходит «Земля людей», где в еще более обобщенной форме даются выжимки из тех же впечатлений...

Однако Леон Верт предостерегает нас от такой удобной, но упрощенной схемы — такой «стройной архитектуры», как он выражается:

«Он (Сент-Экзюпери) не выработал себе в отношении больших проблем незыблемых, твердых, как металл, суждений, не подверженных никаким изменениям температуры».

К этому следовало бы добавить, что, как и в репортажах из СССР, в своих очерках на испанские темы Сент-Экзюпери проявил большую сдержанность, учитывая специфический характер тех органов печати, для которых он писал. Об этом можно судить хотя бы по некоторым записям в его блокнотах и по письмам друзьям.

Так, на следующий день после приезда в Барселону из его репортажа мы узнаем, что он должен встретиться с лидером каталонских анархистов Гарсиа Оливерой. Но впечатлениями от своей встречи, как и от некоторых других встреч, он делится лишь с самим собой в своих записях. А иногда в беседах и письмах — с друзьями.

Говоря о необходимых для него условиях, чтобы занять определенную позицию, Антуан поверяет подруге:

«...Вот именно, для меня существуют случаи, когда духовное начало спорит с чувством. Не будь этого противоречия, я был бы анархистом. Среди анархистов Барселоны во время гражданской войны в Испании я снова нашел ту самую атмосферу, в которой протекала деятельность экипажей «Аэропосталья». Та же отдача всего себя, то же опасное существование, та же взаимопомощь. И в мыслях тот же высокий образ человека. Они могли бы сказать мне: «Ты — наш единомышленник». Однако они говорили: «Почему ты не с нами?» Я не

мог им ответить ничего, что дошло бы до них. Они жили чувствами, а в области чувств мне нечего было возразить ни коммунистам, ни Мермозу да и никому на свете, кто готов жертвовать своей шкурой и предпочитает всем благам хлеб, которым делишься с товарищами. Но я не верю, что барселонский анархист открывает путь человеку. Анархист этот обязан своим величием тому, что он не восторжествовал. Стоит ему победить — и из его супового котелка не появится на свет ничего, кроме тщеславной личинки, представляющей для меня незначительный интерес. (Готов объяснить почему.) Почему из желаний насладиться, как под действием наркотика, опьянением я стал бы разрушать мою духовную цель? Это было бы малодушием. Дух должен преобладать над чувствами. Простейший пример: человек приемлет такую точку зрения, когда наказывает собственного сына».

К сожалению, литературное наследство писателя еще полностью не разобрано. Содержит оно и материалы, которые по разным причинам, иногда интимного характера, не скоро будут опубликованы. Подчас это вызывается трудностью разобрать мельчайший почерк, которым сделаны некоторые записи. Сам писатель не всегда мог себя прочесть.

К тому же точной хронологии его записей пока не существует, как не существует и точной хронологии набросков для «Цитадели» — произведения, над которым Сент-Экзюпери работал всю пору своей зрелости, начиная с 1936 года. Произведение это, по его собственному выражению, «пустая порода», или, как мы бы сказали, «еще даже не обогащенная руда». В таком состоянии, если знать хронологию записей, оно представляет больший интерес для биографа, чем для литературного критика.

Сопоставляя эти записи с тем, что опубликовано самим Сент-Экзюпери, и с записями его друзей, биографу легко проследить становление писателя-мыслителя.

Однако все же известно, что если в первый раз Сент-Экзюпери довольно неохотно согласился по-

ехать в Испанию, вторично он сам рвался туда. В это время он еще полон оптимизма, полон веры в близкое наступление здравого смысла, доброты, совершенства Человека. Он еще не выработал себе определенной точки зрения, как этого достигнуть, но, ему кажется, знает уже, чего надо избегать.

В промежутке между двумя поездками в Испанию Сент-Экс совершает другое путешествие. В начале 1937 года на деньги, полученные от страховой компании за свой разбитый в Ливии самолет, он приобретает новый «Симун» и по договоренности с министерством авиации совершает перелет над Сахарой по маршруту Касабланка — Тимбукту — Гао — Бамако — Дакар. Прямая воздушная связь Касабланка — Тимбукту установлена впервые.

В Дакаре один приятель дарит ему львенка. Сент-Экс хочет во что бы то ни стало привезти его во Францию и сделать такой замечательный подарок, по всей вероятности, Н. Однако львенку воздушное путешествие явно не понравилось. Он начал рычать и громить все в кабине. Верному Прево, сопровождавшему Сент-Экса в этом путешествии, едва удастся справиться с разъяренным зверенышем и обезопасить пилота. Но сам он при этом немало пострадал.

Сент-Экс в восторге от своего путешествия. Перед отлетом, вспоминая о своем неудачном рейде Париж — Сайгон, он все время повторял: «У меня старые счеты с пустыней!» Теперь он по-детски счастлив. Ведь в случае аварии он и Прево могли рассчитывать только на самих себя, помощи в пустыне ждать было не от кого. Он пишет Гийоме, которому не надо объяснять, с какими трудностями связан полет над пустыней:

«Дружище.

Отсылаю тебе твой словарь ворожбы. В настоящее время я в Алжире, где пытаюсь написать ряд статей, которые оплатят мне часть расходов по путешествию. Отсюда я вернусь прямо во Францию и встречу с тобой. Благодаря моему роскошному компасу и усовершенствованному указателю сноса, выкрашенному в белый цвет (у него такой дешевый вид),

я здорово летаю. Я совершенно точно приземлился в Атаре, где остался ночевать в надежде присутствовать при великих пиршествах, о которых мне говорили. К несчастью, полковник добродетелен, и мы большей частью распевали духовные гимны.

На следующий день, все еще по своему компасу, пренебрегая ориентировкой по тропам, проложенным в пустыне, я напрямик угодил в Форт-Гуро, а затем и в Тэндуф. Прямой путь перерезает Рио-де-Оро. Я все время выглядывал через окно, но никого не узнал. Увидишь Прево, спросишь его. В Тэндуф я попал с точностью до трех километров. Когда какой-нибудь филантроп подарит мне большой компас, величиной с суповую миску, я буду попадать с точностью в середину круга.

Правда, погода стояла чудесная. Меня ни разу не беспокоил дождь. Впрочем, несмотря на зимнее время, я заметил очень мало разливов воды.

Если хочешь обогатиться, можешь основать в этих краях общество спасения утопающих. За идею деньги с тебя не возьму.

Целую. Я вновь воскресил несколько часов из лучших лет моей жизни.

Сент-Экс».

Страсть к изобретательству, с некоторых пор охватившая Антуана, сказалась и здесь. По-видимому, он воспользовался этим полетом, чтобы испытать некоторые свои усовершенствования. Но дальнейшего развития они как будто не имели.

В Алжире Сент-Экзюпери пишет свой знаменитый рассказ о приключениях Гийоме в Андах. Он опубликован 2 апреля в газете «Энтрансижан» под названием «Драматическое приключение Гийоме, рекордсмена перелетов через Южную Атлантику и Андийские Кордильеры». С трогательной нежностью Антуан просит в письме извинения у своего друга за то, что написал о нем, не спрашивая его разрешения. «Не обижайся на меня», — говорит он.

На обратном пути из Орана 16 февраля он пишет подруге:

«...Я доволен моим путешествием. И на обратном пути я летел все время вне караванных путей. Хотя они и могли бы служить мне ориентирами, я летел напрямик над песками, разыскивая, как островки в море, французские военные посты. В этом была какая-то игра, и я был рад этому, потому что чувствовал уверенность в себе. Я был счастлив, когда за тридцать километров, среди песков, различал крошечный квадратик форта. И это после пятисот, тысячи или полутора тысяч километров над пустыней! В такие часы мотор и в самом деле бьется, как сердце. Но этого недостаточно. Нужно еще не промазать. Окажись я менее опытным, чем сам себя считал, меня ожидало бы тяжелое возмездие. Но я был уверен в себе и, не задумываясь, делал ставку на точность моего глаза и моих выкладок. Я возвращаюсь удовлетворенный моим путешествием и самим собой...

Горы, грозы, пески — вот они, мои привычные божества. С ними я спорю на равной ноге...»

Резко и отчетливо всплывшие воспоминания, прилив бодрости настраивают его лирически. Не будет чересчур смелым предположить, что именно в эту поездку, хотя еще смутно, у него рождается замысел «Земли людей».

В апреле он уже снова в Испании. На этот раз он прилетел на своем «Симуне». 12-го из Валенсии он пишет подруге:

«Завтра на заре мне дадут машину, чтобы ехать в Мадрид. Мне пришлось потерять здесь целый день, чтобы получить пропуска и рекомендации, которые позволят мне жить в Мадриде настоящей фронтовой жизнью. Меня не влечет посещение города, даже такого, который бомбят, если я буду при этом обедать в отеле и спать в своей постели. Интервьюировать каких-нибудь генералов не представляет для меня интереса. Нет, я должен быть среди людей, рискующих своей шкурой, перед которыми возникают чертовски неотложные проблемы; я должен погрузиться как можно глубже в изрытую землю фронта, в человеческие переживания, делить их судьбу...»

То, что Сент-Экзюпери написал в результате этой поездки, значительнее по содержанию предыдущих очерков. Не скрывает он и своего восхищения мужеством защитников Мадрида. Каждая его строчка дышит необыкновенной любовью к людям, тревогой за их судьбу.

И как художественно, с какой поэзией он сумел сделать ощутимым трагический контраст войны и мира в осажденном городе!

Объективному исследователю бросается прежде всего в глаза: даже работая для прессы, кормящейся сенсациями, Сент-Экзюпери нигде и никогда не делает уступки бессодержательной анекдотичности. «Я знаю, какой упрек мне сделают, — пишет сам Сент-Экзюпери в одной статье. — Читатели газет требуют конкретных репортажей, а не размышлений. Размышления хороши в журналах, в книгах. Но я на этот счет другого мнения».

Везде и во всем он ищет корни социального, человеческого, но не во внешних его проявлениях, а в душе людей. Материальное и духовное — трагическое противоречие, думает он. Оно выражается даже в том, что внешне гражданская война подчас ничем не проявляется — «граница ее проходит в сердцах людей».

Нам остается только подбирать его мысли как жемчужины для ожерелья по качеству, величине, цвету и нанизывать их одну за другой на нитку. Таких ожерелий можно было бы составить многое множество и подбирать для них в каждом случае соответствующую нитку. Сложный он был человек! От противоречия к противоречию мысль его подымается на высшую ступень.

«Если мы будем располагать одними описаниями ужасов, мы не победим войну, но и не победим ее описаниями прелести жизни и тем, что будем говорить о жестокости никому не нужных смертей. Вот уже тысячи и тысячи лет говорят о скорби и материнских слезах. Приходится признать, что такие речи не мешают сыновьям умирать.

И не в рассуждениях мы найдем спасение. Если количество смертей более или менее велико... Позвольте, а начиная с какого количества они допустимы? Мир не построишь на такой гнусной арифметике! Мы скажем: «Необходимая жертва... Трагическое величие войны...» Или, вернее, всего, мы промолчим. Мы не располагаем языком, который позволил бы нам без сложных рассуждений разобраться в различном характере смертей. А наш инстинкт и опыт заставляют нас остерегаться рассуждений: доказать можно все. Но истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать: это то, что делает наш мир проще...

Не ищите, какие меры спасут человека от войны. Спросите себя: «Почему мы воюем, хотя и знаем, что война нелепа и чудовищна? В чем здесь противоречие? В чем правда войны, правда столь непреклонная, что заставляет подчас примириться с ужасом и смертью?» Если мы сумеем вникнуть в это, тогда только над нами не будет властна, как более сильная, воля слепого рока. Тогда только мы избавимся от войн.

Конечно, вы можете ответить, что опасность войны в безумии человека. Но тем самым вы отказываетесь от имеющейся у вас возможности что-то осмыслить. Точно так же вы могли бы утверждать, что Земля вращается вокруг Солнца, потому что такова воля божья. Допустим. Но в каком уравнении эта воля находит свое выражение? И каким совершенно ясным языком можно выразить военную горячку — это безумие — и таким образом излечиться от него?..»

«Есть в Европе двести миллионов человек, чье существование лишено смысла... Население рабочих поселков хочет, чтобы его пробудили. Есть и другие — люди, погрязшие в рутине различных профессий, люди, которым недоступны радости первооткрывателя — поднимателя целины, радости веры, радости ученого. Кое-кому думалось, что достаточно одеть их, накормить, удовлетворить все их насущные потребности, чтобы возвысить их душу. И вот мало-помалу из них создали мещан... сельских политиков, тех-



Апрель 1931 года
Свадьба

1931 год. Сент-Экзюпери
подписывает «Ночной
полет»





1935 год. Сент-Экс с Беппо де Массими
и Мермозом (с права).

ников, лишенных внутренней жизни. Им дают неплохое образование, но это не культура. Тот, кто думает, что культура — набор вызубренных формул, невысокого о ней мнения. Посредственный ученик специального класса лицея знает больше о природе и ее законах, чем Декарт или Паскаль. Но разве такой ученик способен мыслить, как они?..

Когда в саду удается вывести новую розу, всех садовников охватывает волнение. Розу изолируют, окружают заботой, всячески способствуют ее развитию. Но для людей нет садовников...

Меня мучает то, что не может излечить даровая похлебка для бедняков... Меня мучает, что в каждом человеке, быть может, убит Моцарт...»

Надо было бы все цитировать, но ограничимся этими двумя примерами, отметив про себя, что, если нам и не все известно об этом периоде развития Сент-Экзюпери, Испания в крови оставила у него неизгладимое впечатление и что поездки в эту страну, где бушует гражданская война, сыграли в его становлении не меньшую, если не большую роль, чем работа на Линии. В своих произведениях он постоянно возвращается к впечатлениям и мыслям, которыми обогатился во время этих поездок.

«ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ»

В один январский день 1938 года Сент-Экзюпери сошел на берег в Нью-Йорке с парохода «Иль де Франс». На следующий день портовый кран выгрузил на пристань огромный ящик, в котором находился его «Симун». На этом самолете Сент-Экс хотел попытаться установить прямую связь Нью-Йорк — Огненная Земля. Зачем это понадобилось — не совсем понятно. За исключением французского министерства авиации, озабоченного падающим престижем французских крыльев и заинтересованного в осуществлении такого рейда, расходы по которому ложились почти целиком на самого его организатора, никто в этом не был заинтересован. Целесообразность

такого перелета в то время спорна. Самолеты «Пан-Америкэн Эйруэйз» уже связывали между собой крупные центры Северной, Центральной и Южной Америки, разве что не связывали их с южной оконечностью материка. Впрочем, за несколько лет до того, в бытность свою директором «Аэропоста-Аргентина», Сент-Экс уже создал в Патагонии сеть аэродромов. Но американцы не сочли рентабельным поддерживать связь с этим весьма бедным краем. Не соскучился ли Антуан по молодым девушкам Пуэнта-Арена, которые заставляли его грезить, когда он любовался ими, прислонившись к ограде фонтана? Но чтобы снова увидеть их, он избрал уж очень кружной путь! Быть может, он искал простора для мятущейся души или хотел «реабилитировать» себя как летчик в глазах товарищей? Заставить, наконец, умолкнуть недоброжелателей? Во всяком случае, так поняли его друзья, все те, кто, как и при его первом неудачном рейде, всячески ему помогал. Так понял это и его верный сподвижник, механик Прево, безропотно пустившийся с ним в эту авантюру. Никто и не пытался его отговорить.

Различные формальности отняли у Сент-Экзюпери немало времени. Когда он покончил с ними, наступил сезон метелей и снежных выюг. После двух неудачных попыток 15 февраля в сопровождении Прево Сент-Экс вылетает, наконец, из Нью-Йорка и после короткой посадки в Броунсвиле берет курс на Веракрус, а оттуда летит в Гватемалу.

Аэродром этого города расположен на высоте 1500 метров над уровнем моря и плохо приспособлен для старта самолетов типа «Симун» («Симун» — скоростной самолет. Поверхность крыльев у него небольшая, и для него требуется относительно большой разбег, чтобы он мог оторваться от земли). Ни Сент-Экс, ни Прево сами не проверили количества горючего, которое сторож аэродрома влил в баки. А он, должно быть, наполнил их до отказа. Легко представить себе предшествовавший этому диалог двух людей, говоривших на разных языках. Один восклицает:

— Бензин!

Другой утвердительно кивает головой и повторяет:

— Бензин.

Больше они ничего друг другу сказать не могут. Сент-Экс пытается жестами осведомиться, в каком направлении лучше всего взлетать. Удовлетворившись своей интерпретацией жестов, он залезает в кабину.

Плохо уравновешенный самолет тяжело бежит по взлетной дорожке. Летчик с опаской то и дело «пробует», как он «отвечает». Но вот уже конец дорожки, а за ней раскинулось неровное, кочковатое поле. Самолет мчится со скоростью ста километров в час. В последнюю минуту летчику все же удается оторвать его от земли. Самолет тяжело подымается, как бы колеблется десятую долю секунды, затем теряет скорость, заваливается и врезается в землю.

Из-под груды обломков высвобождают потерявшего сознание Прево. У него перелом ноги. Легко отделался! Сент-Экс спасся лишь чудом: он весь в крови, у него сломана нижняя челюсть, несколько проломов черепа, поломана левая ключица, он весь изранен. К тому же у него сотрясение мозга, и ему угрожает заражение крови. Несколько дней он находится в коматозном состоянии. Но крепкий организм превозмогает недуг.

Еще раз судьба милостива к Антуану. Он выбрался из такой переделки, попав в которую обычно и костей не собрать! Правда, как память о случившемся, у него остался анкилоз левого плеча. Это лишало его возможности выпрыгнуть с парашютом в случае необходимости. Не исключено, что это обстоятельство и сыграло не последнюю роль в его преждевременной смерти. Однако он не потерял трудоспособности, не утратил ни на йоту живости ума.

И все же нельзя не заметить, с каким легкомыслием Сент-Экзюпери приступал к осуществлению трудного перелета. Профессиональный летчик не должен ничего упускать из виду. Между тем Антуан не потрудился даже проверить количество налитого

ему в баки бензина. И в отношении направления взлета положился на указания какого-то сторожа аэродрома. Да и неизвестно еще, поняли ли они друг друга. Что до Прево, то он, видимо, положился на «познания» Сент-Экса в иностранных языках.

Объяснением случившемуся до известной степени может служить угнетенное состояние, в котором многие годы находился Сент-Экзюпери. Душевная травма не излечивалась, он искал «отдушину», какого бы то ни было морального удовлетворения, пустившись в этот безрассудный рейд. Оснований для таких глубоких переживаний, по существу, не было или, вернее, их надо искать в самом Антуане. Известно, до чего он был мнителен. А ведь в действительности никто из товарищей по Линии никогда не отрицал, что Сент-Экс хороший, опытный летчик, иногда, правда, немного рассеянный, но чрезвычайно опытный.

Так, всем известны страницы, посвященные Гийоме в «Земле людей», опубликованные еще ранее в виде очерка в газете «Энтрансижан» от 2 апреля 1937 года. Свидетельства очевидцев, присутствовавших при встрече двух товарищей, когда Гийоме только что вырвался из ледяного плена Анд, дополняют то, о чем ни словом не обмолвился Сент-Экс. Между двумя летчиками произошел следующий краткий обмен словами:

Гийоме. Лежа в снегу, я тебя видел, но ты меня не замечал...

Сент-Экс. Откуда же ты мог знать, что это я тебя ищу?

Гийоме. Кто, кроме тебя, решился бы в горах летать так низко?

В устах Гийоме, несомненного авторитета в вопросах летного мастерства, только что явившего пример непоколебимого мужества, эти слова звучат не только как похвала смелости, но и как безусловное признание моральных качеств товарища и его мастерства летчика.

Однако в летном деле не одно только мастерство или смелость являются решающими. Сент-Экзюпери обладал столькими замечательными качествами, что

для биографа было бы непростительно оставить в тени и его недостатки.

28 марта на самолете Сент-Экса доставляют в Нью-Йорк. В аэропорту собрались его встречать друзья, и среди них Гийоме, прибывший сюда в связи с подготовкой регулярного сообщения гидросамолетами Франция — США. Сент-Экса устраивают сначала в гостинице «Ритц-Карлтон», а затем его приглашает отдохнуть у себя один из его американских друзей, генерал Доновен. Антуан с радостью покидает шумный отель. В тихом комфортабельном домике генерала Доновена с видом на Ист-Ривер к нему быстро возвращается вкус к жизни и потребность в какой-нибудь деятельности. Он начинает приводить в порядок свои черновые наброски, заметки, статьи, очерки, опубликованные в разное время. Жан Прево, находящийся проездом в Нью-Йорке, часто навещает его и знакомит с директором издательства «Рейнал Хичкок» Кёртисом Хичкоком. Между издателем и Сент-Экзюпери заключается соглашение, по которому писатель обязуется сдать в кратчайший срок новую книгу. Придумано уже и название будущего произведения, или, вернее, название, под которым оно появится в Америке: «Ветер, песок и звезды».

Гватемальская катастрофа, чуть не окончившаяся трагически, благодаря счастливой развязке вернула Сент-Эксу бодрость духа, веру в свою звезду. Как только Антуан чувствует себя достаточно окрепшим, он прощается с радушным хозяином и возвращается во Францию, к сестре в Агей.

Можно было бы подумать, что происшествие, чуть было не стоившее ему жизни, заставит его на некоторое время утихомириться и он поведет оседлый образ жизни. Но куда там! Этой мятущейся душе совсем не свойствен покой даже самого милого пристанища. Покоем он может наслаждаться только в гомеопатических дозах. Чтобы творить, повторяем, ему надо поддерживать в себе постоянное беспокойство. А гватемальская встряска, напомнив ему о том, что он смертен и, как всякий смертный, нуждается в средствах к существованию, побудила его серьез-

но взяться за перо. К тому же Сент-Экзюпери хорошо понимал, что все его заготовки, как бы он их ни обрабатывал, не составляют еще целостной книги. Для этого нужно широкое обобщение. Добиться этого можно, лишь объединив все в одно органическое целое. «Затянуть все в один узел связей», как он выражался. Богатое, насыщенное содержанием произведение, составленное из отдельных очерков, требовало напряженного усилия.

И он снова пускается в скитания!

Во время морского плавания на трансатлантическом лайнере ему хорошо работалось. И вот он едет в Швейцарию, пробует работать на маленьких пароходиках, циркулирующих по Женевскому озеру. Это ему не всегда удается. Тогда он сходит на берег на ближайшей остановке.

У Антуана возникает настоятельная потребность вновь окунуться в мир своего детства. Он едет сначала в Сен-Морис де Реманс, а затем к Маргерит (мадемуазель из «Земли людей»), живущей теперь в маленькой деревушке департамента Дром.

— Ты знаешь, — говорит он ей, — я пишу о тебе в моей книге.

— О боже! Что только вы не выдумаете! Может быть, выпьете немного белого вина и закусите сыром?

Тонио с радостью пьет вино и ест сыр.

— У вас были такие чудесные волосы! Ах, какое несчастье!

«Земля людей» написана частично в Нью-Йорке, на океанском лайнере, в Агее, в Швейцарии, в Париже в кафе «Дё Маго». Но где бы Антуан ни находился, процесс творчества у него всегда сопровождался душевными муками — результатом требовательной строгости к себе.

Сент-Экзюпери жил как бы в постоянном творческом трансе. В какой бы обстановке он ни находился, он всегда предавался глубоким размышлениям: думал и в то же время наблюдал. Мысли роятся у него в голове, скачут, переплетаются. Он то и дело вынимает записную книжку и заносит в нее что-то.

Больше всего его мучает вопрос, как добиться,

чтобы мысль была донесена до читателя, ибо язык — источник недоразумений. Причину этому он видит в том, что мысль прогрессирует быстрее, чем язык. Созданные давным-давно понятия ничему больше не соответствуют. Поэтому часто так трудно объяснить. Но если в разговоре обмен мыслями, общение могут иногда состояться вопреки несовершенству языка, литература от него в полной зависимости.

«Я не могу дать понять людям, какое удобство создалось бы для них при соответствующем выражении мысли. Ведь не могу я дать понять тем, кто жил до Декарта, какую ясность приобрел бы для них мир, если бы они были приобщены к некоторым понятиям... Однако ни один «Декарт» (разве что только Маркс) не научил людей тому, что дело идет о значительно более общей истине и что человек может все же понять человека».

Вопрос этот — вопрос выражения мысли — он связывал со становлением человека:

«Современный человек по сравнению с пещерным не представляет собой биологического прогресса. Воспитание имеет приоритет над образованием. Создает человека воспитание... Имеет значение не багаж (образование), а орудие, которым его схватываешь... Что толку в политических учениях, ставящих себе целью добиться расцвета личности, коль скоро нельзя предвидеть, какой тип человека при этом возникает? Кто народится?.. В нашем обществе к обычному воспитанию прибавляется постоянное и действенное воспитание рекламой. Промышленность, основанная на прибыли, стремится — путем воспитания — создавать людей для жвачной резинки, а не жвачную резинку для людей. Так, из необходимости придать цену «автомобилю» родился оболваненный маленький пижон 1926 года, воодушевлявшийся только в барах, сопоставляя фотографии различных кузовов машин. Так, фильм вылепил из лучшего во вселенной человеческого теста пустую и глупейшую из глупейших диву...»

Круг вопросов, которые глубоко волнуют Сент-Экзюпери, поистине трудно охватить.

Метод работы писателя зависит не столько от школы, сколько от его характера и темперамента. В противоположность многим писателям Сент-Экзюпери никогда не составлял никакого предварительного плана. Он говорил:

«Сила и жизненность произведения — причина, а не следствие его стройности».

Он сравнивал литературное произведение с симфониями и скульптурами, которые не строятся по заранее определенному плану и «тем не менее представляются в законченном виде совершенно планомерными».

Он шел еще дальше:

«Выражение: «В речи необходим порядок» — нелепость, — говорил он. — Речь сама становится порядком, будучи произнесена. Как и великая судьба. Как дерево».

Можно соглашаться или не соглашаться с утверждениями Сент-Экзюпери, но приходится отметить: для него они были совершенно органичны. Это еще раз подтверждает: в творчестве все правила ни хороши, ни плохи — важен результат.

А результат превзошел все ожидания!

* * *

25 мая 1939 года Французская академия присудила свою «Большую премию романа» Антуану де Сент-Экзюпери за его книгу «Земля людей», вышедшую за три месяца до того, в феврале. Почетная награда снова привлекла внимание общественности к писателю-летчику, который завоевал уже ранее известность произведением, удостоенным премии «Фемина».

Однако хотя Сент-Экзюпери и не забыли с тех пор, но звезда его, одно время ярко вспыхнувшая на литературном горизонте, слегка померкла. Литературная слава требует прочной основы. Многих лауреатов премий «Гонкур» и «Фемина», не опубликовавших более ни одного значительного произведения, постигла судьба метеорита: вспышка, блестящий след — и больше ничего! Литературные работы Сент-

Экзюпери — предисловие к книге Мориса Бурде «Величие и кабала авиации», репортажи из России (1935 г.), из Испании (1936 и 1937 гг.), статьи в еженедельнике «Мариан» и в газетах «Пари суар» и «Энтрансижан» — были далеко не достаточны, чтобы поддерживать и укреплять его зарождавшуюся было славу. Так, по признанию Люка Эстана — журналиста и литератора, написавшего книгу о Сент-Экзюпери, — в начале 1939 года он еще весьма мало что знал о творчестве писателя-летчика. Правда, помнилось ему, он слышал о каком-то летчике, потерпевшем аварию в Африке; помнилось, что его и его механика Прево, полумертвых от жажды и голода, нашли в Ливийской пустыне — об этом писали все газеты, — но само имя Сент-Экзюпери связывалось в его памяти с именами Мермоза и Гийоме, как имя одного из их сподвижников.

Итак, «Земле людей», произведению, казалось бы, мало чем напоминающему роман, присуждается «Большая премия романа» Французской академии. Как стало известно впоследствии, мнение одного из старейших академиков, Анри Бордо, оказалось в этом отношении решающим. Под впечатлением его выступления «бессмертные» увенчали лаврами автора только что вышедшего произведения, «дабы привлечь внимание к подлинному таланту, которого вынужденное молчание — следствие неустроенной жизни — долгие годы держало в тени».

Сент-Экзюпери познакомился с Анри Бордо во время своей поездки в Германию в марте 1939 года. Месяцем раньше вышла из печати «Земля людей». Думается, не будет преувеличением сказать, что личное обаяние автора сыграло не последнюю роль в интересе, проявленном маститым академиком к молодому собрату.

Антуана не всегда преследовали всякого рода злоключения — иногда ему улыбалось и счастье. Да и, по правде говоря, его злоключения иногда шли ему на пользу. Ведь аварии в Бурже, Сен-Рафаэле, Ливийской пустыне и Гватемале не только катастрофы, едва не стоившие ему жизни, но и та «руда», из ко-

торой выплавлены его книги. И то, что при всех злоключениях своей перегруженной опасностями жизни он уцелел, — большое счастье и для него и для нас.

Большим везением, если принять во внимание обычную для академиков приверженность к консервативной форме в вопросах языка и литературы, явилось и присуждение ему «Большой премии романа».

Собственно, единство собранных вместе очерков, статей, пополненных воспоминаниями, создают понижающие всю книгу размышления автора, лиричность повествования. Это произведение можно было бы назвать условно романом мысли в действии и становлении. В нем явственно ощутима единая поэтическая струя.

Писатель Антуан де Сент-Экзюпери — поразительный пример единства творчества и собственной жизни. Вся жизнь он писал одно-единственное произведение. Произведение это — его жизнь. Отсюда и лиризм.

«И дело вовсе не в том, чтобы жить среди опасностей. Эта формула претенциозна. Мне вовсе не по сердцу тореадоры. Не опасности я люблю. Я люблю жизнь... между тем, если человеческой жизни и нет цены, мы действуем всегда так, как будто существует нечто превосходящее по ценности человеческую жизнь... Но что же это?»

Мысль его несется на крыльях самолета — самолета, который «...не цель, а орудие. Такое же орудие, как и плуг... За орудием и через него, — говорит писатель, — мы снова обретаем мать природу — природу, близкую садовнику, мореплавателю или поэту».

И хотя сам Сент-Экзюпери и сказал про себя: «К книге привел меня не самолет. Думается мне, будь я шахтером, я так же старался бы извлечь назидательный урок из недр земли», — все же вне ремесла летчика вряд ли у него создалось бы то особое видение, которое как бы предваряет видение будущего человека космоса. Долгие часы размышлений, проведенные им в небе за штурвалом самолета, обострили его восприятие, довели до пароксизма чувство

неразрывной связи каждого человека, если даже он крылат, с Землей людей — этим кораблем, несущимся с безумной скоростью в бесконечном пространстве, кораблем, пассажирами которого мы все являемся.

Сент-Экзюпери обвиняли в абстрактности. Заявляя, что «человек — сумма ценностей, которую надо бережно культивировать, укреплять, беречь», он-де основывает свой гуманизм на отвлеченной морали, независимой от каких-либо социальных, экономических и политических условий. К тому же он проявляет тенденцию к поспешным и нередко противоречивым выводам.

Такой взгляд на творчество Антуана де Сент-Экзюпери до крайности неглубок. Не полное ли отсутствие фанатизма и предвзятости, характерное для писателя, рассматривается как противоречивость? Взгляд такой неглубок уже потому, что писателю предъявляется упрек в «нерешении» тех задач, которые он вообще перед собой и не ставил. В действительности Сент-Экзюпери не столько разрешал вопросы, сколько показывал ход мыслей, путь рассуждения, который мог бы привести к их разрешению. В то же время он звал читателя самого пуститься в этот путь. А путь размышлений никогда не прямолинеен, разве только у весьма примитивного человека. Ход мыслей вдумчивого человека никогда не выражается категорическими «да», «нет», «белое», «черное». Да и в категориях «белое», «черное» не всегда скрыто непреодолимое противоречие.

Отсутствие фанатизма и предвзятости отнюдь не означало для Сент-Экзюпери отсутствия направленности. «В мире, где воцарился бы Гитлер, для меня нет места», — сказал Антуан. И он отдал жизнь за эту свою направленность. Но не за то, чтобы больше не было продовольственных карточек, ибо «ужаса материального порядка не существует», а для того, чтобы освободить «заложника», прекратить глумление над человеком.

Что может быть конкретнее, чем отдать жизнь за свои идеи, за свое дело — дело всего передового человечества?

Ценность произведений Сент-Экзюпери в том и состоит, что благодаря высокому уровню обобщений они не ограничиваются требованиями момента, историческими обстоятельствами, в которых написаны, а сохраняют значение и для нашего времени — времени борьбы с колониальным порабощением, времени борьбы за мир.

Однако никаких рецептов, годных на все случаи жизни, Сент-Экзюпери не составлял. Пожалуй, единственное, в чем можно усмотреть выдвижение каких-то постулатов, — это в вопросе о *подходе* к решению насущнейших человеческих проблем.

«Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения... Ужаса материального порядка не существует... Хорошо видишь только сердцем».

С этой и только с этой точки зрения можно говорить, что он что-то утверждал.

Да, он утверждал приоритет человеческого духа над всем остальным. Но что может быть более оптимистично? И вместе с тем разве не в этом черпает свою основную силу подлинный гуманизм?

Думается, что так это и оценили рабочие типографии Гревэн, которые еще до поступления книги в продажу преподнесли автору один экземпляр «Земля людей», напечатанный на авиационном полотне.

Высокий уровень обобщений, на который писателя, надо думать, вознесло ремесло летчика, может показаться лишенным конкретного содержания лишь человеку недалекому. Произведения Экзюпери, и в особенности «Земля людей», как очень тонко подметил Пьер Дэкс, напоминают настойчивый вопросник. А поставить вопрос — это уже сделать шаг к его решению.

И так же, как и в его время, вопросы, которые настойчиво ставит писатель, требуют ответа.

«Мы хотим освобождения. Тот, кто работает киркой, хочет видеть смысл в работе киркой. И работа киркой каторжника — вовсе не то же самое, что работа киркой геолога-разведчика, которая возвеличивает его. Ужаса материального порядка не существ-

вует. Каторга — там, где работа киркой лишена всякого смысла, где работа не связывает того, кто трудится, со всеми людьми. А ведь мы хотим бежать с каторги!»

Это выдержка не из «Земли людей», как можно было бы предположить, а из статьи «Смысл жизни». Под смыслом жизни Сент-Экзюпери, как он это доказал позже, понимал все то, в борьбе за что можно отдать самое ценное достояние человека — жизнь.

«Смысл жизни» — одна из серии статей, опубликованных Сент-Экзюпери сразу же после Мюнхенских соглашений 1938 года, под общим названием «Мир или война». Содержание этих статей почти полностью использовано им в книге «Земля людей».

Сравнивая статьи и очерки Сент-Экзюпери, опубликованные в разное время, с его книгами, еще больше убеждаешься, насколько жизнь и творчество этого удивительного человека — одно неразрывное целое. Между журналистом и писателем, как и между летчиком и писателем, нет, по существу, никакой разницы. Разве только в мастерстве. Приходится лишь поражаться, открывая в этих на скорую руку написанных злободневных журнальных статьях совершенно не свойственную в западной печати этому жанру глубину мысли. Конечно, объяснить это можно только тем, что все творчество Сент-Экзюпери — размышление, действие — одно целеустремленное неделимое единство жизни. Все, что он пишет, им давно и глубоко выстрадано. Трудная жизнь, постоянное столкновение с опасностями, товарищи, необычные внешние обстоятельства — вот та закваска, на которой взросло тесто.

Сент-Экзюпери осаждают предложениями от различных журналов и газет. Но писатель не хочет размениваться на мелочи. Он соглашается сделать исключение лишь в двух случаях: предисловие к книге Анны Морроу-Линдберг «Подымается ветер» и предисловие к специальному номеру журнала «Докюман», посвященному летчикам-испытателям.

Эти две короткие статьи написаны с такой любовью и так ярко характеризуют Сент-Экзюпери второй

половины тридцатых годов, что мы считаем нужным привести из одной выдержки, а другую, совсем коротенькую, дать здесь целиком:

*Предисловие к книге Анны Морроу-Линдберг
«Подымается ветер»*

Я вспомнил в связи с этой книгой о рассуждениях одного друга по поводу замечательного репортажа американского журналиста. «Этот журналист, — говорил он мне, — проявил хороший вкус, не комментируя и не романтизируя в своем репортаже военные эпизоды, о которых он слышал из уст командиров подводных лодок. Он правильно сделал, не выявив своего авторского лица и не дав себе волю как писатель. Ибо эти скупые свидетельства, эти необработанные человеческие документы дышат замечательной, волнующей поэзией. Почему люди столь глупы, что желают всегда приукрасить действительность, когда она сама по себе столь прекрасна? Если когда-нибудь сами моряки будут писать, возможно, они и будут мучаться над составлением плохих романов или плохих поэм, не зная, какими сокровищами они располагали».

Однако я не согласен с этим мнением. Моряки, возможно, написали бы плохие поэмы, но, вероятно, те же люди вели бы и малоинтересные путевые записи. Потому что существуют не свидетельства, а люди, которые свидетельствуют. Существуют не приключения, а искатели приключений. Не существует прямого чтения реального, реальное — это груда кирпичей, которая может принять любую форму. Какое может иметь значение, что журналист, составитель книги, писал телеграфным стилем и вносил в свое повествование лишь конкретные факты? Он непременно в какой-то степени стал между реальным и воображаемым. Ведь он не все рассказал, а отобрал свой материал и придал ему какой-то порядок. Свой порядок. Придавая этому сырому материалу свой порядок, он построил свое здание.

То, что верно в отношении конкретных фактов, верно и в отношении слов. Допустим, я вам даю

в беспорядке слова: «двор», «настил», «дерево» и «отзываться». Сделайте мне что-нибудь из этого. Но вы отказываетесь. Эти слова не волнуют. Между тем Бодлер, пользуясь этим материалом слов, показывает, что он умеет построить из них великолепный образ: «Гулко отзывается деревянный настил дворов...»

Эти слова: «двор», «дерево» или «настил» — так же хорошо звучат в сердце, как и какая-нибудь осень или лунный свет. И я не вижу, почему со словами «давление» или «погружение», «жироскопы», «прицел» автор не сумел бы столь же сильно нас захватить, как и воспоминаниями о любви. Но в отличие от моего друга я спрашиваю себя, почему бы с таким же успехом автор нас не захватил и воспоминаниями о любви? Правда, мне приходилось читать немало всякой сентиментальной чепухи. Но читал я и тысячи рассказов, в которых тщетно пытались вызвать волнение движениями стрелки манометра. Ибо хотя стрелка и опускалась, хотя это движение и угрожало жизни героя и жизнь этого героя была со всей очевидностью связана с судьбой его супруги, полной тревог, я вовсе не волновался, если автор был лишен таланта. Конкретные факты ничего сами по себе не выражают. Смерть героя весьма печальна, когда он оставляет после себя скорбную вдову. Но ведь чтобы взволновать нас в два раза больше, недостаточно придумать героя-двоеженца.

Основная проблема заключается, очевидно, во взаимоотношениях реального и письма, или — точнее — реального и мысли. Как передать эмоцию? Что передаешь, когда пишешь? Что основное? Это основное, как мне кажется, столь же отлично от используемых материалов, как и неф собора отличен от груды камней, из которых он построен. Ухватить и передать из внешнего или внутреннего мира можно только взаимоотношения — «структуры», как сказали бы физики. Поразмыслите над поэтическим образом. Его ценность совсем в другом плане, чем использованные слова. Ценность не заключается ни в одном из элементов, которые объединяешь или сравниваешь, а

именно в специфическом характере связей, в особых внутренних взаимоотношениях, которые такая структура нам навязывает. Образ — это акт, который, хочешь не хочешь, связывает читателя. Читателя не трогают, а опутывают чарами.

Вот почему книга Анны Линдберг и в самом деле мне кажется чем-то иным, чем честным отчетом об авиационном приключении. И вот почему книга прекрасна. Возможно, в ней использованы лишь конкретные наблюдения, технические рассуждения, сырой материал из профессиональной области. Между тем дело вовсе не в этом. И какое для меня имело бы значение, что такой-то взлет был труден, такое-то ожидание долгим и что Анна Линдберг скучала во время полета или радовалась? Все это пустая порода. Но какое сокровище она из этого извлекла!

И как отличается ее повествование от всяких рассказов, в которых одно происшествие искусственно привязывается к другому с произволом, характерным для охотничьих историй! И как Анна Линдберг в своей книге втайне умело использует нечто, чему нет имени, — нечто элементарное и всеобщее, подобно мифу. Как умеет она заставить почувствовать при помощи, казалось бы, рассуждений о технике и подмеченных ее острым взглядом конкретных фактов сущность проблемы человеческого бытия! Она рассказывает не о самолете, а как бы пишет самолетом...

*Предисловие к номеру журнала «Докюман»,
посвященному летчикам-испытателям*

«Жан-Мари Конти вам расскажет здесь о летчиках-испытателях. Конти, как политехник, верит в уравнения. И он прав. В уравнениях законсервирован опыт. Но в конечном счете на практике трудно поверить, чтобы машина наподобие цыпленка из яйца рождалась из математического анализа. Математический анализ подчас предшествует опыту, но чаще довольствуется тем, что устанавливает незыблемые правила. Впрочем, это и есть основное. Самые гру-

бые измерения показывают, что вариации данного явления вполне ясно представлены такой-то ветвью гиперболической кривой. И теоретик закрепляет эти опытные данные в уравнении гиперболы. Но при этом с помощью скрупулезнейшего анализа он доказывает, что иначе и не могло быть. Когда еще более тщательные измерения позволяют ему уточнить свою кривую, теперь уже соответствующую скорее кривой, определяющейся другой формулой, он закрепит и этот факт в новом уравнении, выведенном с еще большей строгостью. Но он докажет с помощью не менее скрупулезного анализа, что это можно было всегда предвидеть.

Теоретик верит в логику. Он убежден, что пренебрегает мечтой, интуицией и поэзией. Он не замечает того, что эти три феи нарядились в маскарадные костюмы, чтобы соблазнить его, как пятнадцатилетнего влюбленного. Он не ведает, что им он обязан своими лучшими открытиями. Они явились к нему в облике «рабочей гипотезы», «произвольных условий», «аналогии». Как мог он, теоретик, подозревать, что, прислушиваясь к ним, он обманывал суровую логику и наслаждался пением муз!..

Жан-Мари Конти расскажет вам о замечательной жизни летчиков-испытателей. Но он политехник. И он будет утверждать, что вскоре летчик-испытатель будет служить инженеру лишь в качестве измерительного прибора. И, несомненно, я верю в это, как и он. Я верю также, что настанет день, когда больной неизвестно чем человек отдастся в руки физиков. Не спрашивая его ни о чем, эти физики возьмут у него кровь, выведут какие-то постоянные и перемножат их одна на другую. Затем, сверившись с таблицей логарифмов, они вылечат его одной-единственной пилюлей. И все же пока что, если я заболею, то обращусь к какому-нибудь старому земскому врачу. Он взглянет на меня уголком глаза, пощупает мне живот, приложит к лопаткам старый носовой платок и сквозь него выслушает меня. Он кашляет,

раскурит свою трубку, потрет подбородок — и улыбнется мне, чтобы лучше утолить мою боль.

Я верю еще в таких летчиков, как Купе, Лан или Детруая, для коих самолет не только набор параметров, но организм, который выслушивают. Совершив посадку, они молча ходят вокруг самолета, концами пальцев поглаживая фюзеляж. Похлопают крыло. Они не делают расчетов, а прислушиваются к внутреннему голосу. Затем они оборачиваются к инженеру и произносят: «Вот так... нужно сократить несущую поверхность».

Разумеется, я восхищаюсь Наукой. Но я восхищаюсь и Мудростью».

Да, это уже не Сент-Экс «Почты — на Юг» и «Ночного полета». Вернее, он все тот же и не тот. Мистика действия в какой бы то ни было форме уступила место действию во имя созидания. Даже само слово «действие» ступсевалось перед словами «ремесло», «профессия».

Как мастер слова, никто до Сент-Экзюпери не овладел так умением увлекать читателя от действия к размышлению без болезненного разрыва при переходе от одного плана к другому. Потому что в личной жизни он тоже не отделял одно от другого. И стиль его жизни нашел свое яркое выражение в стиле его книг.

НАКАНУНЕ БОЛЬШИХ СОБЫТИЙ

«Моя сегодняшняя свобода основывается на серийной продукции, которая оскотпляет нас и лишает каких-либо самостоятельных желаний. Это свобода лошади, чья упряжь позволяет двигаться лишь в одном направлении. Боже мой! В чем я свободен в моей чиновничьей рутине? Не больно это оригинально — сопутствовать сегодняшнему Бэббиту, смотреть, как он покупает свою национальную газетку, переваривает уже разжеванную мысль (рыбак, горец, пахарь — каждый по своей мерке), останавливается на

одном из трех мнений, потому что на выбор предоставляются только три, затем наблюдать, как на конвейере он одиннадцать раз в минуту поворачивает на одну седьмую гайку, к которой приставлен, а потом завтракает в закусочной, где железный закон рабства лишает его возможности удовлетворить малейшее индивидуальное желание. За этим следует сеанс в кино, где сам господин З. подавляет его с высоты своего величия безапелляционной глупостью, а в выходные дни — партия в бейсбол. Но никто не ужасается этой отвратительной свободе, являющейся попросту свободой небытия. Настоящая свобода заключается лишь в творческом действии. Рыбак свободен, когда его инстинкт направляет его. Скульптор, лепящий понравившееся ему лицо, свободен. Свобода выбирать из четырех моделей автомашин «Дженерал моторс», или между тремя фильмами господина З., или между одиннадцатью блюдами закусочной — карикатура свободы. Свобода лишь в том, чтобы сделать выбор между стандартными статьями в системе всеобщей схожести. Система эта дает возможность приговоренному к казни выбрать, быть ли посаженным на кол или повешенным, — и я восхищен тем, что ему предоставляется выбор! Дайте мне скорее правила игры в шахматы, чтобы меня что-то могло волновать! Скорее дороги, чтобы по ним куда-то идти! Скорее человека, созданного, чтобы быть освобожденным!..» — писал Сент-Экзюпери, впервые столкнувшись с «американским образом жизни».

Когда у границ Франции укреплялся нацизм, Антуан захотел собственными глазами взглянуть на то, во что в самой стране этот режим «превращает людей». При каждом абстрактном споре о качествах и недостатках того или иного строя Сент-Экс возражал: «Плевать я хотел на режим, важно знать, какой тип человека создается этим строем!» В начале лета 1937 года, возвратившись из последней поездки в Испанию, на Мадридский фронт, он отправляется на своем «Симуне» в Германию. Из Бурже он вылетел в Амстердам, а оттуда в Берлин. К его большому удивлению, французский военно-воздушный атташе

Стелла подждал его на авиационном поле в Темпельгофе. В то время в Германии существовало столько запретных зон, что маршрут воздушной прогулки над страной должен был быть тщательно подготовлен летчиком. Сент-Экс пренебрег этим или забыл это сделать. Власти взяли его на заметку и сообщили во французское посольство.

Комфортабельный отель «Эден» с его интернациональной клиентурой показался Антуану малоподходящим для ознакомления с людьми страны. Погода стояла хорошая, и Сент-Экс, забыв уже о предупреждении, решил прогуляться куда глаза глядят в немецком небе. Антуан взял курс на Висбаден, откуда хотел поехать к друзьям в Рудесхайм. Друзья эти, сами недавно прибывшие из Канады, сообщили ему по телефону в Берлин, что авиационное поле в Висбадене, пожалуй, лучше, чем во Франкфурте.

Пролетая над Касселем на высоте двух тысяч метров, Сент-Экс внезапно услышал какой-то странный запах, который явно шел от его «Симуна». Горела не то краска, не то какая-то прокладка. Авиационное поле в Касселе давало возможность немедленно совершить посадку. Но вместо того чтобы так и поступить, Антуан начал кружить, пытаясь в воздухе устранить неполадку. Не обнаружив ничего и несмотря на то, что запах не прекращался, Сент-Экс взял курс на Рейн. Пролетев над лесным массивом, возвышавшимся над рекой, он заметил большое поле. Видно было, что за покрывающим его газоном тщательно ухаживают, но нигде ни одного уродливого ангара, ни контрольной вышки. Только ветровой флажок слегка надувался, указывая на то, что это посадочная площадка. «Странно, — подумал Сент-Экс, пролетая на бреющем полете над полем, — ни самолета, ни души. Ладно, приземлюсь, видно будет», — оптимистически решил он.

Как только колеса коснулись земли, из-за деревьев выскочило около пятидесяти мальчишек в черных трусах, голых по пояс, и окружило самолет. Они были очень взволнованы, говорили все сразу и наперебой, обсуждая что-то. Самолет находился в самом центре

авиационного поля, стояла невероятная жара, рубашка Сент-Экса прилипла к спине, и он все время утирал пот с лица. Антуан сделал попытку выйти из кабины. Но ребята воспротивились этому. Внезапно они расступились и пропустили 'какого-то офицера, который попытался объясниться с летчиком. Сценка, носившая комический характер, грозила принять трагический оборот: собеседники не понимали друг друга и начинали выходить из себя, каждый обвиняя другого в нежелании его понять. Сент-Экзюпери побивал все рекорды по неспособности к иностранным языкам. Когда он пытался объясниться по-немецки, неизвестно было, говорит ли он на провансальском наречии или по-арабски. Так или иначе, никто бы не обнаружил в его речи и намека на немецкий язык. Тем не менее в результате долгого обмена слов Антуан сообразил, что он приземлился на военном аэродроме. На своем ломаном языке он дал понять офицеру, что сейчас же снимется и приземлится во Франкфурте.

Не тут-то было! Офицер категорически возражал: «Нет, нет, невозможно. Вы останетесь здесь!» Затем, полагая, что так будет яснее, добавил: «Кассель... шпион... телефон... Берлин...»

Сент-Экса начинало это забавлять. Он снова попытался вылезти из душной кабины, но опять натолкнулся на сопротивление. Все же офицер смилился, велел откатить самолет на самый край поля и разрешил летчику в ожидании дальнейших указаний вылезти на крыло. Время подходило к полудню. В течение всего этого прекрасного летнего дня продолжалась все та же комедия. Солнце пекло немилосердно. Сент-Эксу, наконец, удалось слезть и растянуться на траве под крылом. Лежа здесь, он то смеялся, то озабоченно курил и потягивал пиво, которое ему принесли ученики-летчики. Около шести часов вечера к самолету подъехал на машине какой-то пожилой офицер. Путаясь и запинаясь во французской речи, он объяснил Сент-Экзюпери, что тот обвиняется в шпионаже: он-де кружил над Касселем, а затем обнаружил военный объект под Висбаденом. В резуль-

тате многочисленных телефонных переговоров с французским посольством и под его гарантию власти разрешили летчику вылететь во Франкфурт, но только в сопровождении офицера.

Несколько часов спустя Антуан уже сидел за столиком кафе на берегу Рейна и, потягивая из стакана «Иоганнесберг», пытался завести беседу с молодой немкой на тему о национализме. Молодая женщина, говорившая немного по-французски, рассказала ему о лагерях гитлеровской молодежи, где обучался ее брат. Но на фоне мягкого рейнского пейзажа черты нацизма как-то скрадывались и сильнее выступали черты замечательной крестьянской цивилизации. На всем лежал отпечаток мягкости...

И все же это не обмануло внутреннего чутья Антуана. В 1938 году, проводя курс лечения в Виши, он только и говорил о драме, которая вот-вот разразится в ближайшие годы. В феврале 1939 года он вновь совершает поездку по Германии.

На этот раз Антуан отправился в свою поездку на машине. Ночью, где бы он ни находился, его будил лязг железа, скрип гусеничных передач, топот тысяч ног, сотрясавших землю. Везде и всюду гитлеровская военная машина пришла в движение. Женщины, к которым он обращался с вопросами, только вздымали руки к небу и, вздыхая, говорили: «Разве поймешь! Война всегда война». Как только они замечали поблизости какого-нибудь мальчика или юношу, они тотчас же замолкали. Попадались, однако, и более смелые. Однажды, в то время как Сент-Экс пил кофе в одном кафе в Нюрнберге, он услышал размеренный топот ног и гортанные крики, которыми сопровождались военные учения. Двенадцатилетние мальчуганы в полном военном обмундировании гордо маршировали по улице, чеканя шаг. Должно быть, вопрошающий взгляд Сент-Экзюпери был очень выразителен, потому что обслуживающая официантка, подойдя к его столику, прошептала: «Вот видите, мой сын тоже среди них. Они забирают их от нас совсем еще детьми! И потом они уже больше не ваши дети. И не на что больше надеяться!»

В Берлине Сент-Экс попросил разрешения посетить школу командного состава. Сопровождал его при этом посещении Отто Абец, будущий немецкий представитель при правительстве Петэна, то есть фактический гаулейтер оккупированной Франции. Абец любезно предложил ему посетить ряд заводов, центров профессионального обучения и т. д. «Удивительно, — говорил Антуан, — как в тоталитарных странах пропагандируют посещения в сопровождении гида!»

Из школы фюреров в Крессинзее Сент-Экс вернулся полный отращения: «Ну и хороши же их начальнички! Вот он, их порядок! Ну и культура!»

Действительно, в этой школе развивали все качества, кроме умственных. Когда Антуан осматривал школьную библиотеку, его поразила весьма разнообразный состав книг. Но на вопрос: «Разрешается ли учащимся читать Карла Маркса, Огюста Конта?» — ему ответили, что юные «фюреры» свободны читать все, но не делать самостоятельных выводов из прочитанного. Безусловное превосходство принципов немецкого национал-социализма должно быть сохранено...

За этим последовало «Хайль Гитлер!», щелканье каблуками и возвращение к машине. В машине Антуан все же не удержался и сказал Абецу: «Создаваемый вами тип человека меня не интересует».

Вероятно, в этот день он и записал в свой блокнот крылатую фразу, вошедшую потом в «Послание заложнику»:

«Порядок ради порядка оскотливает человека, лишает его основной силы, заключающейся в том, чтобы преобразовать мир и самого себя».

Абец всячески пытался сгладить плохое впечатление писателя о «великом рейхе», но безуспешно.

Берлин задыхался от тягостной атмосферы. Во французском посольстве царил тишина, насыщенная нервозностью. Господин Кулондр, французский посол, казалось, был совершенно убежден в бесполезности каких-либо демаршей перед диктатором, «чьи армии уже завоевывали страны на благо всем...».

Утром 15 марта из уст в уста стали передаваться подробности о той ночи, которую чехословацкий президент Гаха провел на Вильгельмштрассе.

Узнав, что с ним пожелал встретиться Геринг, и опасаясь, что границы вот-вот закроют, Сент-Экзюпери поспешил вернуться во Францию. Он далеко не все увидел из того, что хотел видеть, но успел составить себе мнение: «В нацизме я ненавижу тоталитаризм, который является самой его сущностью. Рабочих Рура заставляют маршировать перед картинами Ван-Гога, Сезанна и хромолитографией. Естественно, они высказываются за хромолитографию. Тогда накрепко запирают в концлагеря всех кандидатов в Сезанна и Ван-Гоги, всех великих антиконформистов и кормят покорное быдло хромолитографиями».

Свое глубокое неприятие тоталитаризма Сент-Экзюпери резюмировал в одной фразе: «В мире, где воцарился бы Гитлер, для меня нет места!»

* * *

«Анри Гийоме! Тебе, мой товарищ, посвящаю я эту книгу». Этими словами открывалась «Земля людей». В то время как книга печаталась в типографии под Парижем, друг его и наставник в летном деле, которого в последние годы он видел лишь мельком между двумя поездками, изучал для компании «Эр Франс» возможности регулярного сообщения с США через Северную Атлантику.

Гийоме только что вернулся в Париж из США, когда в час ночи в его квартире раздался настойчивый телефонный звонок. Взволнованный голос на другом конце провода прокричал:

- Анри, поклянись, что ты еще ничего не знаешь!
- Что?
- Поклянись, что ты еще ничего не знаешь!
- Да о чем это ты?
- Тогда сейчас буду у тебя.

В два часа ночи Антуан примчался к Гийоме и вручил ему еще пахнущую свежей краской свою книгу, которую заставил сброшюровать специально для него.

Прошло еще несколько месяцев, прежде чем товарищи снова свиделись, на этот раз на более долгий срок. Произошло это уже после возвращения Антуана из поездки по Германии. Окрыленный успехом «Земли людей», в озарении начинающейся подлинной литературной славы, одновременно обещающей ему близкий конец и его материальных мытарств, Сент-Экс мчится к другу. 29 мая Гийоме празднует свое тридцатисемилетие. Правительство наградило его в ознаменование этого дня за заслуги перед отечественной авиацией командорским крестом Почетного легиона. Сент-Экс должен вручить ему орден во время официальной церемонии. Одновременно Гийоме должен вручить Антуану офицерский крест, к которому он был представлен после аварии в Гватемале. Оба так волнуются, что не могут произнести ни слова. Наконец Гийоме взволнованно бормочет:

— Помнишь, Сент-Экс, ту ночь в Тулузе?

— Еще бы! Я никак не мог «разобраться»...

Лицо Гийоме расплывается в светлую улыбку.

— И все же ты «разобрался»...

После официальной части празднества в домике, расположенном среди сосен на берегу Бискарского лимана, где Гийоме неустанно производил испытания большого пассажирского гидроплана «Капитэн де вессо Пари», состоялся обед. На этом памятном обеде присутствовали все ближайшие соратники Гийоме, к которым присоединились Жан Люка и жена Нэри, бывшего радиста Гийоме на борту трансатлантического гидроплана. Не был забыт и знаменитый фокстерьер Гийоме Лупинг — рекордсмен перелетов через Южную Атлантику.

Волнение двух друзей — виновников торжества — передалось всем присутствующим. Да и не удивительно! Тому, кто ничего не знал бы об их долголетней дружбе, поведение их раскрыло бы глаза. Оба почти не в состоянии были говорить, обрывали себя на полуслове, нервно хватаясь за сигарету или выпивая глоток вина. Эта наивная стратегия не могла обмануть никого, а в один особенно трудный для обоих момент только появление на столе огромного именин-

ного торта с зажженными тридцатью семью свечами спасло их от того, чтобы разразиться слезами.

Для Сент-Экса, долгое время лишенного общества товарищей, этот день был особенно знаменателен. Блудный сын, он как бы снова возвращался в родную семью. День этот разом стер память о многолетних невзгодах. С благодарностью принял он предложение Гийоме лететь с ним в Нью-Йорк.

Возвратясь на короткое время в Париж, он снесит утрасти все свои дела. А их немало. Нью-йоркское издательство пустило в производство его последнюю книгу еще до того, как она была закончена. В последнюю минуту Сент-Экзюпери включает в американское издание специальную главу «Человек и стихия». Книга вышла в Америке в июне, после присуждения писателю «Большой премии романа» Французской академии, и на долю ее сразу выпадает огромный успех. Сент-Экзюпери буквально завален всякими предложениями. Но он категорически отказывается делать что-либо наспех.

5 июня он уже снова с Гийоме и 7-го вылетает с ним на борту гидроплана «Капитэн де вессо Пари» в Нью-Йорк. Это седьмой рейс, совершаемый Гийоме через Северную Атлантику. Пилот хочет побить свой собственный рекорд скорости перелета. На пути в Нью-Йорк он подвергает самолет последним испытаниям. Хотя команда в глубине души сознает, что тяжелый воздушный корабль по конструкции своей устарел — в это время уже начинают летать первые американские «клипперы», — но люди не жалеют усилий. 10-го, после короткой посадки в Хорта (Азорские острова), гидроплан прибывает в Нью-Йорк. Сент-Экса сразу же осаждают его издатель, репортеры от радио и газет, его буквально рвут на части. Он не успевает даже навестить своих американских друзей. Единственное спасение — общество товарищей из команды гидроплана. Он больше не покидает их. Накануне отлета он сопровождает Гийоме на борт гидроплана. Механики готовят воздушный корабль к отлету. Сент-Экс садится за штурвал, с тоской смотрит на циферблаты приборной доски. Плеск волн

о корпус гидроплана вызывает у него почти физическую боль. Чувствуется, он весь во власти воспоминаний. Гийоме смотрит на него с грустной улыбкой.

Несколько минут они молчат. Затем Сент-Экс медленно подымается во весь рост, кладет руку на плечо товарища, сильно сжимает его и решительно произносит:

— Я лечу с тобой...

15 июля «Капитэн де вессо Пари» вылетает в обратный рейс во Францию. Оставив своего издателя, репортеров радио и газет, Сент-Экс тоже на борту. Это первый беспосадочный рейс воздушного корабля. Несмотря на то, что всю дорогу барахлит один мотор, экипаж справляется со своей задачей и ставит новый рекорд. Полет длился двадцать восемь часов двадцать восемь минут.

В начале августа Сент-Экзюпери снова едет в Нью-Йорк. Издатель настойчиво требует его присутствия. За время его отсутствия американцы раскопали, что он потомок Жоржа-Александра-Сезара де Сент-Экзюпери, который прибыл в 1780 году на борту «Тритона» сражаться за американскую независимость и принял участие под начальством графа де Грасса в высадке на побережье штата Виргиния, а затем участвовал во взятии Йоркстауна. Теперь, помимо литературной славы, Сент-Экс почти национальный герой. В его честь устраиваются приемы, коктейли, его заставляют выступать по радио, он надписывает в книжных лавках экземпляры своей книги, ему не дают ни минуты покоя. Если моментами он и сожалеет о своей былой свободе, то все же принимает эти знаки внимания с какой-то застенчивой радостью. Американцы, с которыми он встречается, обворожены немного детской улыбкой этого детины. Но вскоре он перестает улыбаться. На лице его отражается все нарастающее беспокойство. Он уже не может беспечно радоваться жизни. Из-за океана приходят все более упорные слухи о готовящейся войне.

Может, тут кое-кто и тешил еще себя надеждой на то, что все благополучно утрясется. Но Сент-Экзюпери не принадлежал к разряду этих слепцов. Он еще

не забыл о своих двух поездках в Германию, где убедился в том, что французская пропаганда, представляющая Германию голодной и нищей, в полном упадке, глупа и опасна. Он спешит вернуться на родину, Мюнхенское соглашение не усыпило его. Возможно, он в это время помышляет о том, чтобы использовать свой незаурядный литературный талант и открыть соотечественникам глаза на подстерегающую их опасность. Но поздно.

26 августа 1939 года на океанском лайнере «Иль де Франс» Сент-Экзюпери прибывает в Гавр. Смешавшись с толпой пассажиров и встречающих, среди которых не слышно ни радостных возгласов, ни смеха, Антуан сходит на берег и спешит на поезд в Париж. Дома в корреспонденции, прибывшей в его отсутствие, он находит мобилизационный листок: «Капитану запаса Антуану де Сент-Экзюпери надлежит явиться 4 сентября на военный аэродром Тулуза-Монтодран».

«СТРАННАЯ ВОЙНА»

Когда Сент-Экзюпери прибыл в столицу Лангедока, ему сразу же вспомнилось, как он приехал сюда тринадцать лет тому назад. Бывал он в Тулузе и потом не раз. Но сегодня — совсем другое дело. Тринадцать лет жизни среди опасностей, общение с товарищами, радости и горе, постоянные заботы сформировали его — он вырос, созрел.

Антуан уже не был тем робким парнем, который, сидя на своем чемодане, поджидал ветхий автобус. Но, как и тринадцать лет тому назад, он чувствовал, что в его жизни наступил резкий поворот. Он вступал в эту новую полосу без страха, но с тяжелым сердцем.

По прибытии к месту назначения Сент-Экса, как это водится, подвергли тщательному обследованию. Его заставили проделать в комнате ряд акробатических упражнений и в результате испытаний признали негодным к несению военной службы. Кстати сказать, он и в юности не проявлял большого рвения к физическим упражнениям.

Спортом он никогда не занимался и даже ходить пешком не любил. Узнав теперь о решении военно-медицинской комиссии, Сент-Экс чуть не вышел из себя.

В дело вмешался его друг, генерал-от-авиации Даве, в то время начальник авиационной базы по инструктированию экипажей бомбовозов, и доказал на примере ряда выдающихся летчиков, что для такого старого «небесного волка», как Сент-Экзюпери, физическая подготовка не столь уж важна.

В результате заступничества Даве Сент-Экса не демобилизуют и оставляют в Тулузе в качестве инструктора молодых штурманов.

Сначала Антуан удивился, а затем пришел в бешенство. Тринадцать лет тому назад он согласился чистить свечи, притирать клапаны, разбирать моторы — одним словом, «пройтись по азбуке», как выражался Дидье Дора, потому что он знал: в конце пути ему обеспечено место летчика почтовой авиации. Но это уж черт знает что!

Недостаток опытных кадров вынудил начальство скрепя сердце допустить его и к подготовке пилотов.

Но и это не удовлетворило Сент-Экса. От него требовали, чтобы он сидел в тылу и терпеливо ждал. Ждал чего? Конца войны? Он не был бы Сент-Эксом, если бы примирился с этим.

Антуан, как мы знаем, никогда не занимался политикой. Но его ясный ум и удивительная интуиция позволяли ему оценивать положение трезвее многих профессиональных политиков. Он не переставал повторять:

«Вести войну надо. Но это столетняя война. Об основной проблеме все умалчивают. Война эта будет изредка замирать из-за временного истощения одного из противников, но ненадолго».

И хотя ему чужда какая бы то ни было воинственность, он предпринимает всевозможные шаги, использует все связи, чтобы добиться назначения в действующую армию.

Друзья не только не способствуют ему, но всячески противодействуют. Они опасаются за его жизнь.

Поэт и драматург Жан Жироду, большой друг и во многом единомышленник Сент-Экзюпери, назначается в это время комиссаром информации. Он предлагает Антуану работу в своем отделе. Однако Сент-Экс отвергает это предложение.

Он не согласен с особой ролью, отводимой некоторыми интеллигенции. В минуты национальной опасности все равны. И что до него — то, во всяком случае, он не признает за собой большего права на жизнь, чем простой рабочий или крестьянин.

Письмо, которое он пишет из Тулузы своей подруге, лучше всего объясняет его настойчивое желание сражаться:

«Умоляю тебя воздействовать на Ш., чтобы меня перевели в истребительную авиацию. Я задыхаюсь. В здешней атмосфере нечем дышать. Бог мой! Чего мы ждем? Не обращай к Дора, пока есть малейшая надежда на назначение в истребительную авиацию. Если мне не удастся воевать, я буду морально совершенно болен. У меня есть многое, что сказать по поводу теперешних событий. Но сказать я смогу эти вещи только как боец, а не как турист. Это единственная возможность, чтобы я когда-либо заговорил. Ты ведь знаешь.

Я летаю по четыре раза в день и нахожусь в прекрасной форме, даже слишком хорошей, так как это только осложняет положение. Меня уже хотят использовать не только для подготовки штурманов, но и для обучения пилотов тяжелых бомбовозов. И вот я задыхаюсь. Я несчастен и не могу ничего говорить. Спаси меня. Добейся моего перевода в эскадрилью истребителей. Ты прекрасно знаешь, как я далек от воинственности. И тем не менее я не могу остаться в тылу и не принять на себя свою долю риска. Я не Ф. Вести войну надо, но я не вправе говорить это до тех пор, пока разгуливаю в безопасности в тулузском небе. Играть такую роль отвратительно. Дай мне права, ввергнув меня в испытания, на которые я имею право... Это большая интеллигентская гадость утверждать, что надо убереечь тех, «кто представляет собой какую-то ценность». Только участвуя, играешь

действенную роль. Те, «кто представляет собой какую-то ценность», если они действительно соль земли, должны воссоединиться с землей. Нельзя говорить «мы», если отделяешь себя от других. И если ты тогда говоришь «мы», то ты просто сволочь!

Все, что мне дорого, под угрозой. Когда в Провансе лесной пожар, все, кто не сволочь, вооружаются ведром воды и киркой. Я хочу участвовать в войне во имя любви к людям, во имя неписаной религии, которую исповедую. Я не могу не участвовать. Добейся поскорее моего перевода в эскадрилью истребителей».

Подруга Сент-Экзюпери знает, в каком он будет душевном смятении и подавленности, если не сможет участвовать. Она переворачивает все и добивается его назначения в действующую армию. Благодаря ее настойчивости и поддержке известного летчика полковника де Витролля Сент-Экса переводят хотя и не в истребительную, но все же в разведывательную авиацию.

Авиачасть дальней разведки 2/33, в которую 3 ноября 1939 года переводится Сент-Экзюпери, находится под командованием капитана Шунка. Нельзя сказать, чтобы его очень обрадовало назначение к нему в часть такой знаменитости. Со своей стороны, Антуан со времени военной службы сохранил предубеждение к военным. Неприязнь эта еще возросла в связи с отношением, проявленным к нему на первых порах начальством в Тулузе, и небольшим инцидентом, происшедшим там же на выпускном вечере молодых летчиков. Один военный хлыщ, провозглашая тост, заявил: «Пилоту гражданских линий еще многому надо научиться, прежде чем стать военным летчиком!» — «Кроме скромности...» — насмешливо заметил тогда Сент-Экс.

Хотя он и был очень обидчив, не это все же определяло его отрицательное отношение к военным: Антуан обвинял их в узости и непонимании обстановки. Дальнейшие события полностью подтвердили его точку зрения.

Обоюдное предубеждение сказалось вначале на отношениях с начальством и товарищами по оружию. Отношения эти на первых порах были прохладные. Интеллектуальный уровень товарищей, как, впрочем, и некогда на линии, весьма различен. Большинство из них профессиональные военные, но были и офицеры запаса, как и он сам. У него создалось к ним двойственное отношение: он преклонялся перед их самоотверженностью и в то же время не мог не замечать всего, что отделяло его от них.

В начале 1940 года Антуан пишет одному другу: «Вопрос отношения к товарищам — трудный вопрос. Он ставит передо мной в первую очередь вопрос качества. Ведь есть столько возможных углов зрения, чтобы судить о них... и в особенности, когда всю жизнь предпочитал тех, кто любит Баха, любителям танго».

Эти товарищи, с которыми он живет и разделяет опасности, «дерутся не за то же, за что и я. Они дерутся не ради спасения цивилизации. Хотя, возможно, следовало бы пересмотреть представление о цивилизации и о том, что является ее содержанием».

Чувствуется, что Сент-Экзюпери не нашел еще общего интеллектуального и в особенности духовного контакта со своими новыми товарищами.

«Странную войну» ведет в это время Франция. Она и воюет и не воюет. Всеобщая мобилизация нарушила обычный ход жизни, вызывает медленное разложение страны. А бездействующая армия с ружьем у ноги загнивает. В тылу царят ажиотаж и спекуляция. «Черный рынок» процветает. Промышленность работает замедленным темпом, так как большинство трудового населения в армии. На заводе «Рено» из 30 тысяч специалистов в армию призывают 22 тысячи. После первых месяцев полнейшей неразберихи из армии каждый день отзывают и бронируют все новых специалистов, а вопрос военного снаряжения так и не сдвигается с мертвой точки.

17 декабря авиасоединение переводится в небольшое село Орконт в Шампани, на полдороге между



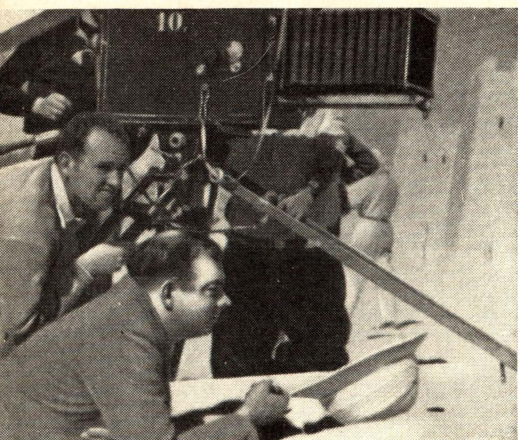
1936 год.
Авария в Ливийской
пустыне.



Антуан с женой
Консуэло.



На съемках фильма «Почта — на юг».



Сен-Дизье и Витри-ле-Франсуа, поблизости от которого, в Ля-Ферте-су-Жуар, расположилась ставка главнокомандующего.

Письмо, которое Антуан пишет из Орконта матери, лишь весьма неполно отражает его душевное состояние:

«Дорогая мамочка.

Я живу на очень славной ферме. Здесь трое детей, двое дедушек, тети и дяди. В камине все время поддерживают большой огонь, у которого я прихожу в себя, когда возвращаюсь из полета. Дело в том, что мы летаем здесь на высоте 10 тысяч метров... в пятидесятиградусный мороз! Но мы так тепло одеты (30 кг одной только одежды), что не слишком страдаем.

Странная война на малом газу! Мы еще что-то делаем, а что уж говорить о пехоте!.. Пьер (Пьер д'Агей, муж младшей сестры) должен во что бы то ни стало продолжать ухаживать за виноградником и за своими коровами. Это куда важнее, чем быть охранником на железной дороге или капралом в какой-нибудь тыловой части. Мне кажется, еще многих демобилизуют, чтобы заводы могли возобновить работу. Нет никакого смысла гибнуть от удущья.

Скажите Диди, пусть хоть изредка пишет мне несколько слов. Надеюсь, не пройдет и двух недель, увижу вас всех. Вот буду счастлив!

Ваш Антуан».

Естественно, письмо это не содержит ничего, что могло бы чересчур обеспокоить близких. В действительности же Сент-Экзюпери весьма озабочен. Он не может удовлетвориться грубым пропагандистским лозунгом председателя совета министров Поля Рейно: «Мы победим, потому что сильнее». Он знает, что уровень вооружения Франции, ее промышленный потенциал, людские резервы гораздо ниже германских. Знает он и то, что рассказы о германской нищете, отсутствии продуктов питания и т. п. — ложь. Впоследствии в «Военном летчике» он окончательно опровергнет побасенки французских политиков и военных

стратегов. Все его мысли заняты проблемой: как выровнять положение? Как только он убедился в ничтожности технического оснащения армии и в недостаточности летного состава, он пишет подробную докладную об организации авиационной промышленности и методах ускоренной подготовки летного состава. Идеи, положенные им в основу своего доклада, те же, что впоследствии применяются английской и американской авиацией. Рапорт этот провалялся в различных отделах и канцеляриях министерства авиации, а затем его положили под сукно.

Но Сент-Экзюпери не складывает оружия. Каждую увольнительную он использует для того, чтобы обивать пороги различных учреждений и штабов. Занимаясь проблемами общего значения, он не забывает и о повседневных трудностях, возникающих в его собственной части, и пытается в меру своих возможностей разрешить их.

В конце января в часть прибывает сначала капитан Желе, а затем ее новый командир майор Алиас. Антуан очень скоро находит общий язык с новым командиром и его заместителем капитаном Желе, по образованию политехником. Оба офицера всячески способствуют ему в его начинаниях и вне полетов предоставляют ему полную свободу. К этому времени относится и возобновление изобретательской деятельности Сент-Экзюпери.

На вооружении авиасоединения 2/33 находились двухмоторные «Потезы-63», рассчитанные на экипаж из трех человек: пилот, наблюдатель, стрелок. Самолету этому, предназначенному для того, чтобы летать без сопровождения истребителей, недоставало по крайней мере ста километров скорости. К тому же его огневая мощь — носовые и кормовые пулеметы — уступала вражеским «Мессершмиттам». Через некоторое время несколько «Потезов» заменили «Блоками-174», значительно более быстрыми и лучше вооруженными. «Блоки-174» уже достигали скорости 535 километров в час. Но у самолетов этих, предназначенных для полетов на высоте 10 тысяч метров, на такой большой высоте замерзали и выходили из

стройка система управления и пулеметы. Этим отчасти объясняются большие потери французской разведывательной авиации в кампанию 1939—1940 годов. Разведка велась на больших расстояниях над территорией противника. Вследствие кристаллизации паров воды самолеты, «обряженные в подвенечное платье со шлейфом», как говорил Сент-Экс, становились легкой добычей истребителей противника.

Первым делом Антуан старается разрешить проблеме замерзания масла на больших высотах. Он привлекает к этому делу доктора Трефуэля и своего друга, известного ученого, впоследствии уничтоженного гитлеровцами, профессора Хольвека. Втроем в институте Пастера они готовят специальную смазку и испытывают ее при температуре -50° в лаборатории Института холода в Медоне. Опыт удачен. Однако когда Сент-Экс производит то же испытание в полете на высоте 10 тысяч метров, смазка все же застывает. Это его не обескураживает, и он продолжает работать над проблемой замерзания смазки системы управления.

В тот же период он предлагает министерству авиации придуманный им новый способ ночного освещения для маскировки военных объектов. Комитет по изобретениям одобрил предложенный метод, и он был испытан в Тулузе.

Есть одна проблема, которой Антуан занимается уже давно. Речь идет о слепой посадке. В 1936 году он берет патент на «Приспособление для ночной посадки на основе приема отраженных лучей». В 1938 году он берет другой патент: «Слепая посадка путем использования электромагнитных волн». Но Сент-Экс все еще не удовлетворен. Он неоднократно консультируется с Хольвеком и заявляет новый патент и два добавления к патенту от 19 и 29 февраля 1940 года: «Определение местоположения объекта на основе электромагнитных волн».

Впоследствии имена Хольвека и Сент-Экзюпери оказались объединенными в предисловии, которое член Академии наук Р. Бартельми написал к труду

Д. Стрелкова *, главного инженера телевизионной лаборатории Компании счетчиков, которой Антуан продал свой патент, оформленный Хольвеком. В первых числах мая 1940 года Сент-Экс и лейтенант Израэль, по образованию инженер, окончивший «Эколь сент-раль», присутствуют при испытаниях первого такого прибора, сконструированного на заводе Компании счетчиков в Монруже. Можно смело утверждать, что за несколько лет до того, как американцы выпустили и стали применять свои знаменитые «Декка», Сент-Экс замыслил подобный же, не менее точный прибор.

Возвращению к теме слепой посадки предшествовало одно едва не окончившееся трагически происшествие, при котором Антуан проявил замечательное хладнокровие.

Однажды соединение получило приказ испытать новый способ ночного освещения полосы приземления: Сент-Экс, естественно, вызвался первым произвести испытание. На поле привели грузовик с движком для питания сигнальных огней. Поднявшись в воздух, Антуан описал несколько кругов, а затем подал сигнал, что идет на посадку. Снизившись, он вдруг заметил: на небольшой высоте сигнальные огни не видны! Тем не менее он попытался приземлиться. В этот момент в его поле зрения попали вынырнувший из мрака силуэт грузовика и люди, в ужасе бросившиеся наземь. Сент-Экс успел дать полный газ

* Журнал «Электроник» от октября 1948 года в опубликованной им статье «Магнитный метод обнаружения: французский радиолокатор. Д. Стрелков» воспроизводит предисловие академика Р. Бартельми к книге Д. Стрелкова. Приводим из нее следующую выдержку:

«В марте 1925 года мы приступили с Сент-Экзюпери и Хольвеком к новому применению измерения расстояния при помощи электромагнитных волн. У писателя-летчика появилась мысль создать навигационный прибор, основанный уже не на измерении углов, найденных гониометрическим способом, а на измерении расстояния от двух неподвижных точек; попутно Сент-Экзюпери, как бы между прочим, высказал мысль о возможности улавливать отраженное эхо. В идее этой заложен тот же принцип, что и в использовании гиперболических кривых — методе, который способствовал ночной ориентировке самолетов «Р. А. Ф.» во время их поразительных дальних рейдов».

и, оттолкнувшись от земли, как от трамплина, взмыл вверх. Он едва избежал тяжелой катастрофы. Зажгли прожектор, и он смог совершить посадку.

Выскочив в большом волнении из кабины, Антуан завопил:

— Я чуть было вас не убил, я чуть было вас всех не убил! Я ничего не видел!

Сигнальные огни установили под другим углом, и он тут же совершил вторую попытку. На этот раз все обошлось благополучно.

Храбрость — будничное явление среди летного состава авиачасти. Со своей стороны, майор Алиас проявил себя хладнокровным, опытным командиром, сумевшим спаять воедино подчиненных ему людей, вдохнуть душу в хорошо сработавшийся механизм. Сент-Экс говорил про него:

«Теперь у нас есть командир, не хватает только техники».

Если что и отличало мужество Сент-Экзюпери от храбрости его товарищей, то это более ясное представление о трудностях, лежащих перед ними, о бесполезности их самоотверженной работы и жертвенности. Он и не пытается скрыть своей тревоги по поводу скудости средств и возможностей Франции. Ему кажется, что понимание этого обязывает его всегда и везде делать больше других, больше рисковать. Он и лейтенант Израэль вызываются всегда добровольцами на любое задание, так что майор Алиас однажды даже огрызнулся: «Вас послушать, только вы и будете летать!»

За глаза командир с большим уважением отзывался о Сент-Эксе: «Он не уваливает ни от какого риска. Всегда впереди! Всегда готов на все! — и с сожалением добавлял: — Не могу поручить ему командовать эскадрилей. Представляете, что бы он потом писал в рапорте!»

Майор, видимо, намекал на то, что Сент-Экс вряд ли постеснялся бы отметить в рапорте неоправданный риск, которому без всякой пользы подвергались люди. А изменить что-либо командир был не в силах. С тем большим интересом он следил за попытками

Сент-Экса хоть как-нибудь облегчить и обезопасить труд своих товарищей.

В период «Странной войны» в части установился такой порядок: вернувшийся с задания экипаж получал обычно двухдневный отдых. Вне вылетов Антуану предоставлялась полная свобода ездить куда он хочет. А так как до Парижа недалеко, то Сент-Экс очень часто бывал там и мог говорить:

«В современной войне все шиворот-навыворот: днем рискуешь жизнью, а вечером обедаешь в хорошем ресторане!»

И он, любивший хорошо поесть, никогда не отказывал себе в этом, когда наезжал в столицу, чтобы посоветоваться с каким-нибудь ученым, произвести опыты, побывать в учреждениях и повидать влиятельных друзей. У него создалось впечатление, что никто не отдает себе отчета в истинном положении вещей, в том, что страна идет к небывалой катастрофе.

Иногда во второй половине дня он наезжал в Витри-ле-Франсуа, заходил в книжную лавку Рюе, где просматривал последние новинки. Книжная лавка стала местом встреч некоторых офицеров части. Они знали, что найдут здесь Сент-Экса, и заходили поболтать с ним, прежде чем отправиться пить аперитив. Иногда мадам Рюе сама угощала летчиков перно и присоединялась к их беседе. Сент-Экс и в их обществе не скрывал своей озабоченности положением в стране.

— Это что! — говорил Сент-Экс. — Вот когда начнется!..

В той суматошной, но содержательной и полной опасностей жизни, которую он вел, Антуан продолжал духовно расти. Для него жить, по его выражению, — это было «медленно рождаться. Чересчур просто было бы приобрести сразу готовую душу».

Частые отлучки не мешали Антуану ревностно следить, чтобы его не обошли при распределении очередных заданий. В связи с этим произошел даже забавный случай.

Когда соединению выделяют первые три «Блока-

174», принять их майор Алиас посылает трех капитанов: Желе, Ло и Сент-Экзюпери. 18 марта, по возвращении в Орконт, должен состояться первый вылет на задание. Между тремя капитанами завязывается довольно бурный спор: Ло заявляет, что он ветеран соединения 2/33; Желе — что он заместитель командира части, а Сент-Экс — что он в прошлом летчик-испытатель. Каждый настаивает на своем праве первым совершить вылет. Майор Алиас выносит соломоново решение — «очередность назначается в соответствии с порядком прибытия в часть: Ло будет лететь первым, за ним — Сент-Экзюпери, третьим — Желе». Испытание должно быть произведено на обычном маршруте: Сен-Дизье — Аахен — Кёльн — Кобленц — Орконт. На взлетную дорожку выводят самолет Ло. Один из моторов стреляет. Проклиная механиков, Ло приказывает срочно устранить неполадку. Но на это уходит много времени, и час, назначенный для вылета, приближается. Сен-Экс тотчас же выводит свой самолет из ангара, экипаж занимает места, а Антуан, забираясь в кабину, торжественно бросает:

— Я ведь знал, что первому положено лететь мне!

На следующий день «Блок» капитана Ло подготовлен к вылету. Он подымается в воздух и несколько минут спустя возвращается: подача кислорода отказала. Ло снова вынужден перенести свой вылет на следующий день. Желе выводит свой самолет. Однако Сент-Экс с трогательной недобросовестностью утверждает, что это его очередь: вчера-де он попросту заменил товарища, а на сегодня назначен его вылет, вторая очередь его, и ни за что на свете он ее никому не уступит. Между Желе и Антуаном разгорается спор. Наконец решают лететь вместе. Тогда Сент-Экс совсем по-ребячески клянчит:

— Управлять буду я.

— Почему вы, а не я?

— Вы ведь знаете, в плохую погоду я просто болел, если не за штурвалом. Вспомните, однажды мы уже летели вместе, и нас здорово крутило. Я чувство-

вал себя отвратительно. Мне приходилось несколько раз летать с Мермозом вторым пилотом. Когда мы попадали в болтанку, мы ссорились, как тряпичники. Он тоже не переносил, чтобы другой управлял в это время. Прошу вас, Желе, дайте мне управлять!

— Ладно, но командиром на борту буду я, и подам команду выдвинуть при посадке шасси и закрылки тоже я.

Это был намек на ставшую легендарной рассеянность Сент-Экса. И Антуан покорно ответил: .

— Идет, при условии, что вы подадите команду образно, например: «Откройте после грозы ставни в вашем деревенском домике».

Друзья, которым известно, какой опасности он непрестанно себя подвергает — ведь ему уже сорок лет, и он не полностью владеет левой рукой, — принимают всяческие шаги, чтобы добиться отзыва Антуана из действующей армии. Да это и не так трудно, принимая во внимание его физическое состояние. Потихоньку от Сент-Экзюпери Дидье Дора, возглавляющий отдел воздушной связи, добивается от генерала Вьюймена, начальника штаба военно-воздушных сил, приказа о переводе Сент-Экса в подчиненные ему части. Гийоме с начала войны находится в этих частях, и Дора думает, что уже по одной этой причине, да и как его старый начальник, он не встретит сопротивления со стороны Антуана. Не тут-то было! Сент-Экзюпери категорически отказывается от этого назначения, и майор Алиас поддерживает его. Заметим, что, как показало дальнейшее, когда война молниеносно перекинулась в небо Франции, летчик в частях связи, хотя и не носивших военного характера, подвергался не меньшей, а иногда и большей опасности. Однако не в этом дело. Не опасностей искал Антуан. Он просто хотел разделить участь бойцов. Леону Верту, настаивавшему перед другом, чтобы он не подвергал опасности свою жизнь, говоря: «Вы стоите большего, чем смерти», Сент-Экс отвечает: «В отношении товарищей это было бы невежливо...»

Любопытно сопоставить эти слова Антуана с подобным же высказыванием Шарля Пеги, сделанным в аналогичных обстоятельствах в 1914 году: «Я нахожу, что требовать победы и не проявлять желаний самому сражаться — невоспитанно».

К этому времени у Антуана складываются уже весьма близкие отношения с товарищами по оружию. В их среде он уже свой. Все чаще и чаще после трудных и опасных полетов он погружается в теплую атмосферу клуба-столовой летного состава. Он ближе присматривается к людям и начинает лучше понимать, чем они дышат, что их одухотворяет и воодушевляет на каждодневный подвиг. С некоторыми из них он уже завязывает по-настоящему дружеские отношения. Конечно, это уже не та жизнь, что на Линии. Там при случайных встречах с товарищами во время какой-нибудь промежуточной посадки каждый спешил выложить накопившийся запас новостей. Встречались не часто. Иногда месяцами не виделись. Было о чем поговорить. Клуб же — столовая части — это повседневная будничная жизнь. Еда, шахматы, домино, бесхитростные ребяческие забавы. Но иногда и тягостное ожидание какого-нибудь экипажа, который запаздывает с возвращением.

И все же обстановка эта действовала на Антуана успокаивающе. Он участвовал во всех забавах, веселился от души, и лицо его расплывалось в широкую детскую улыбку. Любил он и петь, в особенности старинные французские песни. Правда, Леон Верт уверяет, что он невозможно фальшивил. Но подруга Сент-Экса утверждает обратное. По ее словам, сам Верт полностью был лишен слуха — и не ему судить! Думается, эта версия точнее. Верт изобрел свою для красного словца. Трудно представить себе дружбу Антуана с композитором Оннегером, будь он лишен слуха. Наоборот, надо полагать, он обладал очень тонким слухом и пониманием музыки. Вот что касается голоса, тут дело сомнительное. Но он так увлекался и умел увлекать, что вряд ли кто-либо обращал на это внимание.

Вечера, когда часть стояла в Орконтэ, он любил

проводить на ферме. Дом, в котором он жил, стоял на площади против церкви. Толкнув с улицы большую дверь, он попадал в довольно просторный крытый вход, служивший в теплое время года столовой для семьи фермера. Справа от этого помещения находилась кухня, слева — его комната.

Когда он впервые пришел сюда, фермерша открыла комнату и сама вошла с ним. Антуан огляделся, попробовал рукой прочность кровати, поставил на нее чемодан, открыл его и обернулся к хозяйке. Взгляд его смутил ее и произвел какое-то странное впечатление.

— Это все, что я могу вам предложить, — сказала фермерша.

Сент-Экзюпери улыбнулся, и лицо женщины просветлело. Уже три дня, как она была озабочена приездом этого летчика. Когда квартирмейстер части уведомил ее, что у нее будет квартировать капитан, она возразила:

— Не надо мне офицеров!

Квартирмейстер тогда напустил на себя важный вид.

— Если бы вы знали, кто он!.. Это большой писатель.

— А мне что?

— Его зовут господин де Сент-Экзюпери.

— Ну так поместите его в замок.

Но квартирмейстеру не хотелось уже ничего менять, все было согласовано. И вот теперь г-н де Сент-Экзюпери, капитан-летчик и большой писатель, стоял перед фермершей — громоздкий, нескладный и улыбающийся. Он любовался фермершей. Она была красивая женщина, немного в теле. Все в ней дышало физическим и нравственным здоровьем. Чувствовалось, что в своей семье она полновластная хозяйка. Антуану не хотелось никуда уходить из этого дома.

Однажды, когда он жил здесь уже некоторое время, Сент-Экс забыл на столике незаконченное письмо. Убирая комнату, хозяйка нашла его и прочла. В нем говорилось и о ней и содержалась такая фра-

за: «У нее голова Минервы». Фермерше показался такой отзыв о ней не очень-то лестным. Но, порывшись в словаре и узнав, что Минерва — богиня, она стала приветливее со своим постояльцем. Антуан всегда был вежлив, прост в обращении, и фермерша расхрабрилась.

— Почему вы не устроились в Орконтском замке? — спросила она.

Сент-Экзюпери только грустно улыбнулся в ответ. С него было довольно замков и усадеб. Не те времена. Сейчас он чувствовал себя свободнее в обществе простых, непритязательных людей. Он предпочитал делить с ними столь близкую к природе жизнь крестьян. Когда по вечерам после трудного дня он возвращался домой, для него не было ничего более успокаивающего, чем побыть в их кругу. Эти люди уже испытали в своей жизни вражеское нашествие 1914 года, старики помнили еще о пруссаках 1870 года, но они ничем не выдавали своего беспокойства. В их обществе за столом на кухне, где он делил с ними вечернюю трапезу, Антуан никогда не говорил о войне. Он рассказывал им свои приключения, рассказывал о пустыне, Андах, чужеземных странах, о своем друге Гийоме — их земляке. Часто, взяв малышку Сесиль на колени, он подолгу забавлялся с ней. Антуан всегда любил детей и мечтал быть отцом. Но он хорошо понимал, что Консуэло весьма мало подходила для роли матери. В то время между ними произошла очередная размолвка, и они снова временно разошлись. Но у Антуана чересчур сильно было развито чувство ответственности, чтобы он мог забыть о существовании жены. Из Орконта он пишет матери:

«Дорогая мамочка.

Я вам писал и очень огорчен пропажей моих писем. Я был нездоров (довольно сильная лихорадка, причина которой так и не выяснена). Но это позади, и я уже снова в своей части. Не надо сердиться на меня, ведь мое молчание не было молчанием, раз я вам писал и был несчастен, оттого что болею. Знали бы вы только, как нежно я вас люблю, как

ношу образ ваш в своем сердце и как я полон тревоги за вас, дорогая мамочка! Я озабочен в первую голову тем, чтобы война не коснулась моих близких.

Мама, чем дальше война, и опасности, и угроза будущему, тем больше во мне растет тревога за тех, о ком на мне лежит забота. Бедняжка Консуэло такая одинокая, я испытываю к ней бесконечную жалость. Если когда-нибудь она захочет укрыться на юге, примите ее, мама, из любви ко мне, как собственную дочь.

Ваше письмо, мамочка, меня очень огорчило. Оно было полно упреков. А так хотелось бы получать от вас только письма, полные нежности!

Антуан».

Как можно заключить из «Оппэд», книги, написанной впоследствии Консуэло, родные Антуана и в самом деле немедленно пришли ей на помощь, как только узнали о тяжелом положении, в котором она очутилась, перебравшись на юг. Но все же гостеприимством их, как можно понять, она воспользоваться не захотела.

Консуэло и Антуан сойдутся снова только через несколько лет, когда Сент-Экзюпери создаст себе в США прочную материальную базу.

«ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК»

В Орконтe маленькая Сесиль значительно скрашивала жизнь Антуана, давала выход его естественной нежности. О его заботливом отношении к ней говорит, например, следующий случай.

Как-то раз в воскресенье после богослужения пошел дождь, и прихожане, не задерживаясь на площади перед церковью, как обычно, стали сразу же расходиться по домам. Сент-Экс увидел из окна, как фермерша, держа зонтик в одной руке, другой тащит за собой упирающуюся Сесиль. Малышка тянулась ручонкой к зонтику матери. Антуан вышел под навес

в тот самый момент, как дверь открылась перед рассерженной матерью и плачущей девочкой.

— В чем дело? — спросил Сент-Экс, склоняясь над малышкой.

Вместо плачущей девочки ответила мать:

— Дай ей зонтик! Для маленьких детей нет зонтиков! Не правда ли, господин де Сент-Экзюпери?

— Право, не знаю, мадам! — с таким сомнением в голосе произнес Сент-Экс, что девочка тотчас же перестала плакать.

На следующий день Сент-Экзюпери вернулся на ферму с маленьким зонтиком, который он раздобыл в универмаге в Витри-ле-Франсуа.

Маленькая Сесиль, став взрослой женщиной, все еще хранит память о своем большом друге. И, может быть, воспоминанием об этом происшествии проникнуты следующие слова из «Цитадели»:

«Маленькая девочка в слезах... Меня всего обдало ее горем... Если я остаюсь безучастен к нему, я суживаю свой мир... Эту девочку надо утешить. Тогда только в мире порядок».

После вечерней трапезы в кругу фермеров Сент-Экс уходил к себе в комнату. Здесь его часто навещала подруга, с которой у него создается все большая духовная близость. Близость эта сохранится у них до самых последних дней и после того, как они перестанут быть любовниками.

Иногда, когда какое-нибудь дело требует его присутствия утром в столице, он ночует у себя дома в Париже. Его большая квартира на площади Вобан пустует: Консуэло, эта экзотическая птичка, выпорхнула, улетела неизвестно куда. Здесь сильнее, чем где-либо, ощущаешь свое одиночество, угрозу, нависшую над Францией. И Сент-Экс избегает по возможности задерживаться на ночь в Париже. Вечерами Антуан большей частью либо пишет в своей комнате в Орконтте, либо — как, впрочем, в любой момент, когда его мозг не занят очередной срочной проблемой, — предается размышлениям. Заметки, которые он при этом делает, служат впоследствии материалом для его новых произведений. Книга «Военный летчик» и

в особенности ее заключительные главы, ради которых и было написано все произведение, лучше всего передают его мысли и настроения в это время:

«Дютертр и я — мы козыри в игре, и мы слушаем командира. Он излагает нам программу сегодняшнего дня. Он дает нам задание пролететь на высоте 700 метров над танковыми скоплениями в районе Арраса. «Досадное задание. Но в штабе настаивают на нем», — пожимает плечами майор Алиас.

Я думаю — «обреченное задание». Я думаю... я что-то много думаю. Подожду ночи, если буду жив, чтобы продумать все. Но быть живым... Когда легкое задание, возвращается один экипаж из трех. Когда оно малость «досадное», разумеется, вернуться гораздо труднее. И здесь, в кабинете командира, смерть мне не кажется ни возвышенной, ни величественной, ни героической, ни вызывающей отчаяние. Она лишь знаменует беспорядок. Следствие беспорядка. Соединение потеряет нас, как теряют багаж в сутолоке при пересадках на железной дороге.

И дело не в том, чтобы я не думал о войне, о смерти, о самопожертвовании, о Франции, о всякой всячине, но мне недостает направляющего понятия, способа ясно выразить мои мысли. Я мыслю противоречиями. Моя истина раздроблена на куски, и я могу изучать их лишь каждый в отдельности. Если я буду жив, я дождусь ночи, чтобы продумать все. Моей любимой ночи. Ночью разум спит и вещи существуют сами по себе. Те, что действительно имеют значение, восстанавливают свою форму, разрушенную анализами дня. Человек восстанавливает свое единство и снова становится спокойным деревом.

День располагает к семейным сценам, но ночью тот, кто ссорился, снова находит любовь. А любовь куда значительнее, чем этот вихрь слов. И человек, облокотившись на подоконник, под звездами, снова ответствен за спящих детей, за хлеб насущный, за сон супруги, которая покоится рядом, такая хрупкая, деликатная и бренная. С любовью не спорят. Она есть.

Скорее бы ночь, чтобы мне предстали очевидности, заслуживающие любви. Чтобы я поразмыслил о цивилизации, судьбе человека, стремлении к дружбе в моей стране. Чтобы я захотел служить неким императивным истинам, хотя, возможно, их еще нельзя выразить.

Сейчас я подобен христианину, которого покинула благодать. Я и Дютертр — мы честно сыграем свою роль, это несомненно. Но сыграем так, как спасают обрядность, лишенную содержания, когда бога в ней уже нет. Если мне удастся выжить, дождусь ночи и, погрузившись в излюбленное одиночество, выйду на дорогу, пересекающую нашу деревню, и попытаюсь понять, почему я должен идти на смерть...

...Меня корбит от одной очевидности, в которой никто не хочет признаться: жизнь Духа протекает с перебоями. Только жизнь Разума непрерывна или почти непрерывна. Моя способность к анализу претерпевает мало изменений. Однако Дух рассматривает вовсе не предметы, а смысл их взаимосвязей.

...Чему служит то, что я рискую жизнью в этом оползне горы? Не знаю. Мне сотни раз говорили: «Согласитесь на такое-то назначение. Там ваше настоящее место. Вы там будете полезнее, чем в эскадрилье. Летчиков обучить можно тысячи...» Разум мой соглашался с ними, но инстинкт брал верх.

Почему эти доводы мне казались неубедительными, хотя мне и нечего было возразить? Я говорил себе: «Интеллигенция подобна банкам с вареньем на полках Пропаганды: она осторожничает и хочет остаться про запас, чтобы быть съеденной после войны...» Но это не ответ! И сегодня я, как и товарищи, вылетел на задание вопреки всем доводам разума, вопреки всем очевидностям, вопреки подсознательному протесту. Придет час, и я узнаю, что, поступая вопреки разуму, поступил разумно. Я обещал себе, если

буду жив, эту ночную прогулку по моей деревне. Тогда, быть может, я, наконец, приду к сознанию своей правоты. И я прозрею.

Возможно, мне нечего будет сказать о том, что я увижу. Когда женщина кажется мне красивой, мне нечего сказать. Я просто вижу ее улыбку. Интеллигент станет разбирать ее лицо, пытаюсь деталями объяснить целое, но он не видит улыбки.

Узнать — не значит разобрать на части или объяснить. Это увидеть. Но чтобы видеть, необходимо сначала участвовать. Это суровая школа...

Весь день моя деревня была для меня невидима. До вылета передо мной были только глинобитные стены и более или менее грязные крестьяне. Теперь с высоты десяти километров я вижу немножко гравия. Это и есть моя деревня.

Но этой ночью, быть может, сторожевой пес проснетя и залает. Я всегда любил волшебство деревни, которая лунной ночью грезит вслух голосом единственного сторожевого пса.

Я не надеюсь, что меня поймут. Мне это совершенно безразлично. Пусть только я увижу вновь мою спящую деревню с ее закрытыми на замок дверями, за которыми хранится запас зерна, скот, обычай.

Тогда, быть может, я увижу то, чему нет имени, и я потянусь к этому, как слепец, ладони которого притянули к огню. Он не сумел бы описать пламя, а между тем пришел к нему. Так, быть может, мне станет ясно: надо оберегать то, что незримо, но не угасло подобно жару под пеплом деревенской ночи...

Нет обстоятельств, способных сразу пробудить в нас неизвестного, о котором мы прежде ничего и не подозревали. Жить — это постепенно рождаться. Было бы слишком просто заимствовать уже готовую душу!

Иногда какое-нибудь озарение внезапно как бы поворачивает судьбу. Но озарение — лишь внезапно увиденный Духом давно подготавливавшийся путь.

Я медленно изучал грамматику. Я упражнялся в синтаксисе. Во мне пробудились чувства, и вот какая-то поэма вдруг поразила меня в самое сердце.

Конечно, сейчас я еще не испытываю никакой любви, но если сегодня ночью на меня снизойдет откровение, значит, я, сгибаясь под тяжестью, принес свой камень на невидимую стройку. Я подготавливаю этот праздник чувств и не вправе буду говорить о внезапном появлении во мне кого-то другого, ибо этого другого — я его строю в себе сам.

Мне нечего ожидать от войны, кроме этого медленного возникновения. Уроки войны окупятся позже, как и уроки грамматики...

Мне кажется, я теперь значительно лучше вникаю в то, чем является цивилизация. Цивилизация — это наследие верований, обычаев, знаний, приобретенных веками, которые не всегда оправданы логикой, но которые находят свое оправдание в самих себе, как пути, если они куда-то ведут, ибо они открывают человеку его внутренние просторы.

Есть более высокая истина, чем доводы разума. Нас что-то пронизывает и управляет нами. И я подчиняюсь этому, не будучи еще в состоянии осмыслить то, что во мне происходит... Есть очевидные истины, которые все же не поддаются формулировке. Я иду на смерть вовсе не для того, чтобы воспротивиться нашествию, ибо нет такого убежища, где бы я мог укрыться с теми, кого люблю. Я иду на смерть вовсе не для того, чтобы спасти свою честь. Я отрицаю, что она находится под угрозой. Я даю отвод судьям. Я иду на смерть вовсе не из отчаяния...

Ремесло свидетеля меня всегда отталкивало. Кто я такой, если я не участвую? Чтобы существовать, мне необходимо участвовать...

И дело вовсе не в том, чтобы я отрицал доводы разума, победу сознания. Я преклоняюсь перед ясностью мысли. Но чего стоит человек, если он лишен субстанции?..

Мы чуть было не погибли во Франции от разума без всякой субстанции...

Майор Алиас, майор Алиас!. Этим единением среди вас я наслаждался, как огнем слепой. Слепой садится и протягивает руки. Он не знает, откуда приходит к нему наслаждение. Возвращаясь с заданий, мы готовы принять награду. Какова она, нам еще неизвестно. Но это попросту любовь.

Мы не сразу узнаем в ней любовь. В любви, которую мы обычно себе представляем, больше страсти и волнения. Но речь здесь идет о настоящей любви: о переплетении связей, которые ведут к становлению человека...

Я обнаруживаю свою связь не только с товарищами. Через них я ощущаю связь со всей моей страной. Как только зерно любви начинает прорасти, оно пускает корни, которые не перестают развиваться.

Мой фермер в молчании делит хлеб. Заботы дня придали ему благородную строгость. В последний раз, быть может, он совершает эту раздачу хлеба как отправление некоего культа.

И я думаю о полях, простирающихся вокруг, — это они создали материал, из которого сделан этот хлеб. Неприятель завтра захватит их. И не жди здесь гама вооруженных толп, бряцания оружия! Земля велика. Возможно, нашествие проявится лишь одиноким часовым, затерянным в просторах полей, — серой вехой на глади хлебов. Внешне ничего не изменится, но когда дело идет о человеке, достаточно самой малости, чтобы все стало иным.

Порыв ветра над хлебами всегда будет подобен порыву ветра на море. Но порыв ветра над хлебами потому кажется нам могущественнее, что, проносясь в пшенице, он как бы ведет учет своему добру, удостоверяется в будущем. Он — ласка жене, нежная рука, треплющая волосы подруги.

Хлеба эти завтра будут иными. Пшеница — не только пища телесная. Кормить человека — не скот откармливать. Хлебу присуще столько назначений! Делясь хлебом, мы научились видеть в нем орудие единения людей. Зарабатывая хлеб в поте лица, мы научились видеть в нем величие труда. В минуту бед-

ствия хлеб, раздаваемый нами, становится для нас носителем сострадания. Хлеб, которым делишься, не имеет себе равного по вкусу. Но вот все могущество этого хлеба духовного, этой пищи духовной, порожденной пшеничным полем, находится под угрозой. Завтра, быть может, деля хлеб, фермер уже не будет выполнять обряд семейного культа. Быть может, завтра хлеб уже не зажжет в глазах то же сияние. А ведь хлеб подобен маслу в светильнике: он тоже претворится в пламя.

Я гляжу на племянницу фермера. Она очень красива, и я говорю себе: хлеб, питая ее, порождает грусть и обаяние. Он становится девичьей чистотой. Он становится лаской молчания. Но вот тот же хлеб по вине серой вехи на глади пшеничного океана, питая тот же светильник, возможно, не породит того же пламени. Могущество хлеба изменит свою сущность.

Я сражался не столько ради пищи телесной, сколько ради того, чтобы спасти эту сущность, этот особый свет. Я сражался за то особое сияние, в которое претворяется хлеб у меня дома. И волнует меня больше всего в этой таинственной для меня девушке ее духовный облик. Эта его непонятная взаимосвязь с чертами лица. Стихотворная строка на странице книги, а не сама страница...

Я обещал себе этот разговор с моей деревней. Но мне нечего сказать. Я подобен плоду, не отделенному от дерева. Помнится, я об этом думал несколько часов тому назад, когда улегся мой страх. Просто я ощущаю свою связь со всеми земляками. Я плоть от их плоти, как и они — частица самого меня. Когда мой фермер делил хлеб, он ничего не дарил. Он наделял и обменивал. Мы приобщались к тому же хлебу. Фермер от этого не беднел. Он богател: хлеб стал лучше, потому что был насыщен единением. Когда сегодня я вылетел на задание ради моих односельчан, я тоже ничего им не дарил. Мы, бойцы из нашего соединения, мы ничего им не дарим. Мы доля той жертвы, которую они приносят войне. Я понимаю, почему Ошеде воюет без громких

слов, подобно кузнецу, который кует для своей деревни. «Кто вы?» — «Я деревенский кузнец». И кузнец счастлив трудиться.

И если теперь я надеюсь, когда, казалось, они отчаиваются, я ничем от них не отличаюсь. Просто я доля их надежды. Разумеется, мы уже побеждены. Все поставлено под сомнение. Все рушится. И все же я спокоен, словно победитель. Противоречие в словах? Плевать я хотел на слова! Я такой же, как Пенико, Ошеде, Алиас, Гавуалль. Мы не располагаем способом выражения мыслей, который оправдывал бы наше ощущение победы. Но мы чувствуем свою ответственность. Нельзя одновременно обладать чувством ответственности и быть в отчаянии.

Поражение... Победа... Я плохо пользуюсь этими обозначениями. Есть победы, которые воодушевляют, есть — которые вызывают упадок сил; есть поражения, которые убивают, и поражения, которые пробуждают. Жизнь выражается не в состояниях, а в действиях. Единственная победа, не вызывающая у меня сомнений, заключается в могучей силе зерна. Брошенное в плодотворную почву, оно уже празднует победу. Однако необходимо время, чтобы эта победа обернулась торжеством в хлебах.

Сегодня здесь ничего не было, кроме разбитой армии и беспорядочной толпы. Но беспорядочная толпа уже не беспорядочная, если в ней есть хоть одно сознание, в котором, как в завязи, она уже спаяна воедино. Камни на строительной площадке только в кажущемся беспорядке, если где-то на этой площадке есть человек, пусть всего один-единственный человек, который думает о соборе. Меня не беспокоит, что ил разбросан по всему полю, если в нем есть зерно. Зерно высосет ил, чтобы строить.

Тот, кто приходит к созерцанию, преобразуется в зерно. Тот, кто открывает нечто очевидное, тянет каждого за рукав, чтобы привлечь его внимание. Тот, кто изобрел что-нибудь, тотчас же проповедует свое изобретение. Я не знаю, как какой-нибудь Ошеде проявит себя и как будет действовать. Но это неважно. Он будет невозмутимо распространять свою веру

вокруг себя. Мне становится понятнее принцип побед: тот, кто обеспечил за собой место пономаря или сторожа в построенном соборе, уже побежден. Но тот, кто вынашивает в сердце мечту построить собор, — победитель. Победа — плод любви. Только любовь знает, чье лицо вылепить. Только любовь направляет. Разум чего-то стоит лишь на службе у любви.

Скульптор полон вынашиваемым творением. Какое имеет значение, если он еще не знает, как будет лепить? От нажима перстом до нажима перстом, от ошибки к ошибке, от противоречия к противоречию он неуклонно через глину придет к своему творению. Ни ум, ни суждение не созидательны. Если скульптор лишь полон знания и ума, его руки не будут одухотворены.

Мы слишком долго переоценивали ум и пренебрегали сущностью человека. Мы считали, что мастерство низменных душ позволит справиться с благородными делами, что ловкость и эгоизм могут воодушевлять на самоотверженность, что черствость сердца может с помощью пустых речей породить братство и любовь. Мы отнеслись небрежно к существу Человека. Кедровое семя, хочешь не хочешь, станет кедром, семя ежевики — ежевикой. Я не хочу впредь судить о человеке на основании готовых формул, оправдывающих его действия. Слова слишком легко вводят в заблуждение, в них так же легко ошибиться, как в цели того или иного действия. Ведь когда человек идет домой, мне неизвестно, идет ли он поссориться с кем-то или любить. Я спрошу себя: «Что он за человек?» Тогда только мне станет ясно, к чему у него лежит душа и куда он идет. В конечном счете человек всегда идет, куда его тянет.

Росток, тянущийся к солнцу, всегда находит дорожку между камней. Чистейший логик, если никакое солнце не притягивает его, запутывается в сумбуре проблем. Я не забуду урока, преподанного мне самим неприятелем. Какое направление должна избрать бронетанковая колонна, чтобы зайти в тыл противника? На это у него нет ответа. А какой должна быть бро-

нетанковая колонна? Она должна быть способной обрушить на плотину всю мощь моря.

Что нужно делать? Это ли, или как раз обратное? Или еще что-то другое? Никакого детерминизма не существует. Каким надо быть? Вот основной вопрос — только дух оплодотворяет разум. Он закладывает в него зачаток будущего творения. Разум вынашивает его до конца. Что должен сделать человек, чтобы создать первый корабль? Формула чересчур сложна. Корабль в конце концов родится из тысячи тысяч противоречивых попыток. Но создатель корабля, каким ему быть? Торговцем или солдатом, ибо тогда в силу необходимости его любовь к далеким землям вызовет к жизни техников, соберет рабочих и в один прекрасный день спустит на воду корабль! Что нужно сделать, чтобы целый лес поднялся на воздух? Ах, это слишком сложно!.. Каким для этого надо быть? Надо быть пламенем!

Завтра мы погрузимся в ночь. Пусть существует еще моя страна, когда вновь наступит день! Что сделать, чтобы спасти ее? Как выразить наипростейшее решение этой проблемы? Надобности в этом вопросе противоречивы: надо спасти духовное наследие, иначе гений народа увянет; надо спасти сам народ, иначе наследие пропадет. За отсутствием общей формулы для того или другого спасения логисты почувствуют соблазн пожертвовать душой или телом. Но наплевать мне на логистов! Я хочу, чтобы дух и тело моей страны сохранились в целостности к моменту, когда вновь настанет день. Ради блага моей страны мне придется каждую минуту действовать в этом направлении всей силой своей любви. Нет плотины, способной сдерживать море, когда оно обрушивается на нее всей своей мощью...

Мы уже ощущаем нашу общность. Конечно, надо найти ей какое-то выражение, чтобы вовлечь в нее и других. Это дело сознания и языка. Однако чтобы не потерять ничего из самой ее субстанции, придется избегать ловушек преходящей логики, шантажа и полемики. И прежде всего мы не должны поступаться ничем, что является нашей сущностью...

Но хотя я и сохранил в душе образ цивилизации, свою принадлежность к которой я утверждаю, я утратил те правила, на которых она зиждется. В эту ночь я обнаруживаю: употребляемые мной слова не говорят уже о самой сути. Так, например, я проповедовал Демократию и не подозревая, что тем самым высказываю в отношении требуемых качеств для становления Человека не какой-то кодекс правил, а пожелания. Я выражал пожелание, чтобы люди были братьями, свободными и счастливыми. Разумеется! Кто с этим не согласится? Но я сумел выразить только то, «кем» должен быть человек, а не «что» он должен собой представлять.

Я говорил, не уточняя слов, о человеческой общине. Как если бы атмосфера, на которую я намекал, не являлась результатом какой-то особой архитектоники. Мне казалось, я говорю о некоей само собой разумеющейся очевидности. Но такой очевидности не существует. Фашистская дружина, невольничий рынок — тоже человеческая община.

Я больше не жил в человеческой общине в качестве архитектора. Я пользовался ее благами: мирным существованием, терпимостью, обеспеченностью. Но я ничего о ней не ведал, кроме того, что живу в ней. Я жил в ней подобно пономарю или церковной сторожихе, сдающей верующим стулья напрокат. И, значит, жил паразитом, — стало быть, побежденным.

Таковыми являются, например, пассажиры корабля. Они пользуются судном, но ничего не дают ему. Укрывшись в салоне, который им кажется наилучшей обстановкой, они продолжают свои игры. Они ничего не знают о работе шпангоутов, сопротивляющихся непрерывному натиску моря. Какое у них право жаловаться, если буря разобьет корабль на части?

Если личности так низко пали, если я побежденный, какое у меня основание жаловаться?

Есть общая мера качеств, которую я желаю людям моей цивилизации. У той особой общины, которую они должны построить, есть краеугольный камень. Есть основной принцип, из которого некогда все произошло: корни, ветви, плоды. В чем этот

принцип? Он явился мощным семенем в людском перегное. Только он, этот принцип, может сделать меня победителем.

Этой удивительной деревенской ночью, мне кажется, я начинаю понимать многое. Превосходная тишина. Малейший звук полностью заполняет все пространство, как колокольный звон. Ничто мне не чуждо. Ни жалобное мычание, издаваемое скотиной, ни этот дальний зов, ни стук закрывающейся двери. Все происходит точно во мне самом. Нужно успеть ухватить смысл ощущения, пока оно не исчезло...

Я думаю: «Это все аррасская канонада...» Канонада эта пробила кору. Весь этот день я подготавливал в себе обитель. Я был лишь ворчливым управляющим. Вот она, личность. Но во мне возник Человек. Просто он занял мое место. Он взглянул на беспорядочную толпу и увидел в ней народ. Свой народ. Человек — общая мера этого народа — возник во мне. Поэтому, стремясь вернуться в свою часть, я, казалось, стремился к большому огню. Человек смотрел моими глазами — Человек — общая мера товарищества.

Что это, знамение? Я так готов поверить в знамения... Все сегодня — молчаливое согласие. Каждый звук доходит до меня, как некое сообщение — ясное и вместе с тем туманное. Я слышу, как чей-то спокойный шаг заполняет ночь.

— Добрый вечер, капитан!

— Добрый вечер!

Я не знаю, кто это прошел. Приветствие пронеслось между нами, как «о-эй!» речников с баржи на баржу. Еще раз я испытал чувство чудесного родства. Человек, который живет сегодня во мне, не перестает распознавать своих. Человек — общая мера народов и рас...

Этот встречный возвращался домой со своим свежим запасом забот, дум, образов. Со своим собственным грузом, который он нес в себе. Я мог бы

остановить его, заговорить с ним. На белизне деревенской дорожки мы обменялись бы кое-какими впечатлениями. Так торговцы по возвращении с дальних островов обмениваются сокровищами.

В моей цивилизации тот, кто отличен от меня, не только не наносит мне ущерба, а обогащает меня. Наше единство превыше нас создается в Человеке. Так, наши вечерние споры в соединении 2/33 не только не мешали нашему братству, а укрепляли его. Ведь никому неохота ни слушать лишь собственное эхо, ни все время смотреться в зеркало.

В Человеке находят себя одинаково и французы из Франции и норвежцы из Норвегии. Человек их связывает в своем единстве. В то же время, и это отнюдь не противоречит его сущности, он укрепляет их в свойственных им обычаях. Дерево тоже выражено в ветвях, ничем не напоминающих корни. И если где-то пишут сказки на снегу, если в Голландии выращивают тюльпаны, а в Испании импровизируют фламенко — все мы обогащаемся в Человеке. Поэтому-то наша авиачасть изъявила желание сражаться за Норвегию...

И вот, мне кажется, я подхожу к концу своего долгого паломничества. Я ничего не открываю, но, как это водится после сна, вновь замечаю вещи, которые уже не замечал.

Моя цивилизация зиждется на культе Человека, пробивающегося сквозь личности. Веками она старается показать Человека, как если бы она учила сквозь камни различать собор. Она проповедовала этого Человека, преодолевшего личность...

Ибо Человек моей цивилизации не определяется людьми. Это Люди определяются по нему. В нем, как и во всяком Существое, есть нечто, что никак не объяснишь, исходя из материалов, из которых он «построен». Собор — вовсе не сумма камней. Это геометрическое и архитектурное целое. Не камнями определяется собор, это он придает цену камням своим значением. Камни облагорожены тем, что они входят

в состав собора. Самые различные камни служат его единству. В своем гимне богу собор скрадывает даже искаженные гримасами рыльца водосточных труб.

Но мало-помалу я стал забывать о своей правде. Я думал, Человеком определяются все люди, как Камнем — камни. Я отождествил собор с суммой камней, и мало-помалу мое наследие испарилось. Надо восстановить Человека. Это он — сущность моей культуры. Это он — краеугольный камень моей общины. В нем — залог моей победы.

Проще всего основывать общественный порядок на подчинении каждого твердо установленным правилам. Проще всего формировать слепца, который будет подчиняться хозяину или какому-нибудь корану. Но куда полезнее для освобождения Человека сделать так, чтобы он господствовал над самим собой.

Но что значит освобождение? Если в пустыне я освобожу Человека, который ни от чего не страдает, какой смысл в его свободе? Существует лишь свобода для кого-то стремиться к чему-то. Освободить человека пустыни — это научить его испытывать жажду и проложить путь к колодцу. Тогда только у него появятся стремления, которые придадут смысл его свободе. Освободить камень бессмысленно, если не существует тяготения. Ибо если камень будет освобожден, его все же не потянет никуда.

Что до моей цивилизации, то она стремилась создать отношения между людьми на основе культа Человека, преодолевшего личность, дабы отношение каждого к самому себе и другим было лишено слепого конформизма муравейника, а являлось бы свободным выражением любви.

Невидимым путем тяготение освобождает камень. Невидимая склонность к любви освобождает человека. Моя цивилизация старалась сделать каждого человека Послом все того же властителя. Она рассматривала индивида как путь или предвестие чего-то более великого, чем он сам. Для его свободного восхождения она предоставила магнитные силовые линии.

Мне хорошо известно происхождение этого силового поля. Веками моя цивилизация видела в человеке бога. Человек создан по образу и подобию божьему. В Человеке уважали бога. Люди были братьями в боге. Это отражение бога в Человеке придавало неотъемлемое достоинство каждому. Взаимоотношения Человека с богом создавали вполне очевидные обязанности каждого в отношении самого себя в других.

Моя цивилизация — наследница христианских ценностей. Я поразмыслию над конструкцией собора, дабы лучше понять его архитектуру.

Созерцание бога делало людей равными, равными в бозе. И это равенство имело ясный смысл. Потому что можно быть равным только в чем-то. Солдат и капитан равны в нации. Равенство — лишь пустой звук, если нет чего-то общего, в чем это равенство выражается.

Я ясно отдаю себе отчет в том, почему это равенство, которое было равенством прав бога в личностях, не давало ограничивать возвышение той или иной личности: ведь бог мог решить избрать ее как путь. Однако, поскольку это было равенством прав бога «над» личностями, понятно, почему на личности, кем бы они ни были, распространялись равные обязанности и они так же должны были уважать закон. Выражая бога, они были равны и в своих обязанностях.

Мне понятно, почему равенство, установленное в боге, не вызывало ни противоречий, ни беспорядка. Демагогия возникает тогда, когда за неимением общей меры вещей принцип равенства вырождается в принцип тождества. Вот тогда-то солдат отказывается отдавать честь капитану, ибо, отдавая ему честь, он отдает поклон личности, а не Нации.

Моя цивилизация, пришедшая на смену богу, сделала людей равными в Человеке.

Мне понятно, откуда пошло уважение людей к другим людям. Ученый должен был отдать дань уважения даже грузчику, ибо в облике грузчика он

оказывал уважение богу, чьим Послом был и грузчик. Какова бы ни была ценность одного и незначительность другого, ни один человек не мог притязать на то, чтобы превратить другого в раба. Посла не унижают. Но уважение к Человеку не вызывало низменного преклонения перед посредственностью, глупостью или невежеством личности, ибо Человека уважали прежде всего в качестве Посла бога. Таким образом, любовь к богу создавала между людьми благородные отношения — все вершилось на высоком уровне между послами, а не между личностями.

Моя цивилизация, наследница бога, основала уважение к Человеку, преодолевая личность.

Мне понятно происхождение братства между людьми. Люди были братьями в бозе. Братьями можно быть только в чем-то. Если нет узла, связывающего их, то люди только наслоены один на другом, а не объединены. Нельзя быть попросту братьями. Мои товарищи и я — братья «во» соединении 2/33. Французы — братья «во» Франции.

Моя цивилизация, наследница бога, сделала людей братьями «во» Человеке.

Мне понятно значение милосердия, которое проповедовалось мне. Милосердие превыше личности служило богу. Оно было данью богу, каково бы ни было ничтожество личности. Такое милосердие не унижало того, кому оно было выгодно, не опутывало его цепями признательности, ибо адресовалось не ему, а богу. И, наоборот, никогда милосердие не являлось данью уважения посредственности, глупости или невежества. Долг врача перед самим собой был рисковать жизнью, ухаживая за самым

ничтожным чумным. Он служил богу. Врача не уни-
жало то, что он проведет бессонную ночь у постели
вора.

Моя цивилизация, наследница бога, творила ми-
лосердие как дань Человеку, а не личности.

Мне понятен глубокий смысл смирения, вменяе-
мого в обязанность личности. Оно отнюдь не унижало
ее. Оно возвышало ее и просвещало относительно
своей роли Посла. Точно так же, как оно вынуж-
дало ее почитать бога в образе других людей, оно по-
нуждало ее почитать бога и в самой себе — стать вест-
ником бога в пути к богу. Смирение понуждало ее
к самозабвению, дабы возвеличиться. Ибо если лич-
ность упивается своим собственным значением, путь
неизбежно заводит в тупик.

Моя цивилизация, наследница бога, проповедова-
ла также самоуважение, то есть уважение к Чело-
веку, преодолевшему самого себя.

И, наконец, мне понятно, почему любовь к богу
сделала людей ответственными один за другого и
превратила для них Надежду в доблесть. Ибо, сде-
лав каждого Послом того же бога, в руки каждого
она этим отдала судьбу всех. Никто не имел права
на отчаяние, потому что он был выразителем чего-то,
превосходящего его самого. Отчаяние становилось
отрицанием бога в себе. Долг Надежды можно бы
истолковать так: «Какое самомнение в твоём отчая-
нии! Неужели ты считаешь себя столь значитель-
ным?»

Моя цивилизация, наследница бога, сделала каж-
дого ответственным за всех людей и всех ответствен-
ными за каждого. Личность должна жертвовать со-

бой ради коллектива. Но речь здесь идет не об идиотской арифметике. Речь здесь о том, чтобы уважать Человека. В самом деле, величие моей цивилизации в том, что сто шахтеров считают себя обязанными рисковать жизнью ради спасения одного, погребенного обвалом шахты. Они спасают Человека.

В этом свете мне становится ясен смысл свободы. Это свобода развития дерева в силовом поле его семени. Это атмосфера возвышения Человека. Она подобна попутному ветру. Только милостью ветра парусники свободны в море.

Сформированный так Человек располагал бы могуществом дерева. Какое только пространство он не охватил бы своими корнями! Какое только человеческое тесто он не вобрал бы в себя и не возвеличил под солнцем!

Но я все испортил. Я промотал наследство. Я дал загнисть образу «Человек». Между тем, чтобы спасти этот культ властителя, сияющего сквозь личности, и спасти высокое качество человеческих отношений, на которых зиждился этот культ, моя цивилизация затратила немало энергии и гения. Все устремления гуманизма были направлены к одной этой цели. Гуманизм ставил себе единственной задачей увековечить приоритет Человека над личностью.

Но когда заходит речь о Человеке, язык слов становится малоудобным. Человек (с большой буквы) разнится от человека. О соборе не скажешь ничего существенного, если говорить лишь о камнях. О Человеке не скажешь ничего существенного, если пытаешься определить его качествами человека. Гуманизм ввиду этого работал в направлении, заведомо ведущем в тупик. Он пытался ухватить представление «Человек» путем наращивания логических и моральных качеств человека и перенести этот образ в сознание людей.

Никаким словесным объяснением никогда не заменить созерцания предмета. Единство Существа не передать словами. Пожелай я научить людей, в чьей цивилизации такое чувство неизвестно, любви к родине или к имению, я не располагал бы никакими доводами, чтобы вызвать в них такое чувство. Имение — это поля, пастбища, скот. Все это имеет целью обогащение. И все же в усадьбе есть нечто, что ускользает от анализа ее составных материалов, раз существуют владельцы, которые из любви к своему имению разоряются, спасая его. Это «нечто» и придает особое благородное качество составным материалам. Они — скот определенного имения, пашни определенного имения, поля определенного имения...

Точно так же становишься человеком определенной родины, профессии, цивилизации, религии. Но чтобы утверждать свою принадлежность к определенным Существам, необходимо сначала создать их в самом себе. И там, где нет ощущения родины, никакой язык его не передаст. Создать в себе Существо, общность с которым ты утверждаешь, можно только делом. Существо вызывается к жизни не языком, а действиями. Наш Гуманизм пренебрег действиями и поэтому потерпел неудачу.

Основное действие было уже здесь названо — это самопожертвование.

Самопожертвование не означает ни увечья, ни эпитимии. Оно по своей сущности действие. Это принесение себя в дар Существу, свою общность с которым ты утверждаешь. Только тот поймет, что такое усадьба, кто пожертвовал ей частицу самого себя, кто боролся за ее спасение и трудился для благоустройства. Тогда только он ее полюбит. Имение — это вовсе не сумма интересов. Это сумма самопожертвований.

До тех пор, пока моя цивилизация опиралась на бога, она сохраняла это представление о самоотверженности, которое создавало бога в человеческом сердце. Гуманизм пренебрег основной ролью самоотверженности. Он возымел намерение проповедовать Человека словами, а не делом.

Чтобы спасти образ Человека в человеках, Гуманизм располагал тем же словом, лишь украшенным большой буквой. Мы опасно скользили по наклонной плоскости и рисковали в один прекрасный день уподобить Человека некоему арифметическому среднему или вообще всем людям. Мы рисковали уподобить наш собор сумме составляющих его камней.

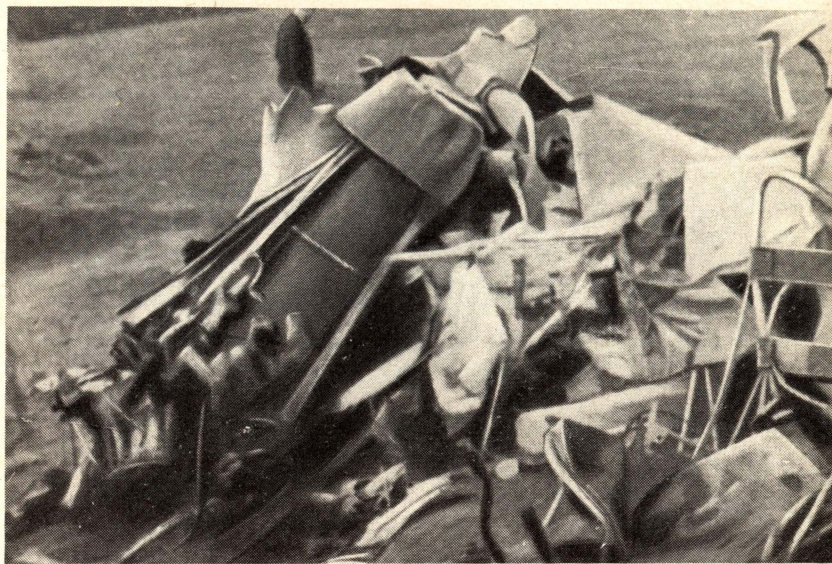
И мало-помалу мы растратили наследие.

Вместо того чтобы утверждать права Человека, преодолевшего личность, мы начали говорить о правах общества людей. Мы допустили проникновение морали коллектива, которая пренебрегает Человеком. Мораль эта совершенно ясно объяснила, почему личность должна принести себя в жертву Обществу. Но она уже не сумеет, не прибегая к языковым ухищрениям, объяснить, почему коллектив должен жертвовать собой ради одного человека — почему тысячи умирают, чтобы спасти одного от тюрьмы или несправедливости. Мы еще смутно помним это, но мало-помалу забываем. А между тем именно в этом принципе, который так резко отличает нас от муравейника, и заключается прежде всего наше величие.

За отсутствием эффективного метода Гуманизма, который ставил бы во главу угла Человека, мы скатились к муравейнику, основывающемуся на сумме индивидов.

Что мы могли противопоставить религии Государства или Народных масс? Что стало с нашим великим образом Человека, рожденного богом? Его едва-едва можно еще различить за словами, утерявшими свою сущность.

Мало-помалу, забыв о Человеке, мы ограничились нашей моралью проблемами личности. Мы потребовали от каждого, чтобы он не ущемлял другую личность, от каждого камня — не ущемлять другие камни. Но они ущемляют собор, который они создали бы и который придал бы им соответствующее значение.



Авария в Гватемале.

Весна 1938 года. Сент-Экс
возвращается из США после
тяжелой аварии.
Он привез с собой рукопись
«Земли людей».





Гийоме и Сент-Экзюпери в кабине гидроплана на котором 7 июля 1939 года был совершен перелет Северной Атлантики.



Капитан де Сент-Экзюпери через несколько часов после полета над Аррасом. 1939 год.

Мы продолжали проповедовать равенство людей. Но, позабыв о Человеке, мы уже не понимали, о чем, собственно, речь. Не зная, в чем мы хотели бы создать Равенство, мы придали этому понятию туманное значение и потеряли возможность им пользоваться. Как определить Равенство личностей мудреца и хама, дурака и гения? Равенство материальное требует — если мы выражаем притязания определять и делать действенным, — чтобы все занимали одинаковое место и играли одинаковую роль. А это нелепо. Принцип Равенства вырождается тогда в принцип тождества.

Мы продолжали проповедовать свободу Человека. Но, позабыв о Человеке, мы определили нашу Свободу как некую вольность, которую ограничивает только ущерб, наносимый третьим лицом. Если я, будучи в армии, добровольно наношу себе увечье, меня расстреливают. Одинокой личности не существует. Тот, кто замыкается в своем одиночестве, наносит ущерб общине. Тот, кто грустит, наводит грусть на других.

Нашим правом на такую свободу мы не сумели больше пользоваться, не сталкиваясь с непреодолимыми противоречиями. Не умея определить, в каком случае действительно наше право и в каком случае — нет, мы лицемерно закрыли глаза на бессчетные ограничения, которые общество по необходимости вносило в нашу свободу.

Что до Милосердия, мы уже не решались его проповедовать. В самом деле, некогда жертва, формирующая Существа, называлась Милосердием, когда она выражалась в почитании бога в образе человеческого. Через посредство личности мы приносили нашу лепту богу или Человеку. Но, забыв бога и Человека, мы стали жертвовать только личности. С этого момента подаяние часто становилось неприемлемым. Общество, а не добрая воля отдельной личности должно обеспечить справедливость в распределении благ. Достоинство личности не допускает ее зависимости от чьих-то щедрот. Парадоксально было бы, чтобы имущие, помимо принадлежащих

им благ, претендовали еще на благодарность немущих.

Но хуже всего было то, что наше плохо понятое милосердие оборачивалось против своей цели. Основанное исключительно на жалости к личности, оно уже не допускало с нашей стороны воспитания наказанием. Тогда как истинное Милосердие, являясь культом Человека, а не личности, вынуждало преодолеть личность, чтобы возвеличить Человека.

Вот так мы утратили Человека. А стоило пропасть в нас Человеку—и в самом том братстве, которое проповедовала наша цивилизация, исчезло тепло. Ибо братьями являешься в чем-то, а не попросту братьями. Дележ чего-то с кем-то не обеспечивает братства. Только самоотверженность — завязь братства. Завязь эта образуется путем взаимной отдачи самого себя чему-то более значительному, чем ты сам. Но, принимая за бесплодное умаление эту основу всякого подлинного существования, мы свели наше братство к обыкновенной взаимотерпимости.

Мы перестали давать что-либо. Однако если я собираюсь давать только самому себе, то я ничего не приобретаю, ибо не формирую ничего в себе — и, следовательно, я ничто. И если тогда от меня требуют, чтобы я умер в интересах чего-то, я откажусь умирать. Мой интерес — это прежде всего жить. Какой порыв любви вознаградит меня за смерть? Умирают за свой дом, но не за предметы или за стены. Умирают за собор, но не за камни. Умирают за народ — не за толпу. Умирают во имя любви к Человеку, если он краеугольный камень Общины. Умирают только за то, во имя чего живут.

Наш запас слов, казалось, ничуть не израсходовался, но слова наши, лишённые подлинной субстанции, приводили нас, когда мы хотели ими пользоваться, к непреодолимым противоречиям. Нам оставалось только закрывать глаза на эти несообразности. За неумением строить бесполезно было собирать воедино камни, разбросанные в беспорядке по полю. И мы стали рассуждать о Коллективе. Осторожно, не смея уточнять, о чем мы говорим, ибо и в самом

деле мы переливали из пустого в порожнее. Коллектив — пустой звук, до тех пор пока Коллектив не связан с чем-то. Сумма слагаемых — это еще не Существо.

Если наше Общество, казалось, стоило еще чего-то, если Человек в нем сохранял некоторый престиж, то лишь постольку, поскольку настоящая цивилизация, которую мы предаем своим невежеством, продолжала озарять нас своим уже обреченным сиянием и спасала нас вопреки нам самим.

Могли ли понять наши противники то, чего мы сами уже не понимали? Они увидели в нас только в беспорядке лежащие камни. Они попытались вернуть смысл Коллективу, который мы разучились определять, поскольку мы позабыли о Человеке.

Одни из них дошли сразу же до крайних пределов логики. Этому сборищу они придали абсолютный смысл коллекции. Камни в ней должны быть одинаковыми. И каждый камень сам по себе господствует над собой. Анархисты не позабыли культ Человека, но безоговорочно относят его к личности. И противоречия, порождаемые этой безоговорочностью, похуже наших.

Другие собрали камни, разбросанные в беспорядке по полю. Они проповедовали права Массы. Формула эта никак не удовлетворительна. Ибо, хотя, конечно, нетерпимо, чтобы один человек тиранил Массу, но так же нетерпимо, чтобы Массы подавляла хотя бы одного человека.

Еще другие овладели камнями и из этой суммы слагаемых создали Государство. Такое Государство тоже не трансцендентно по отношению к людям. Оно тоже выражение суммы. Оно — власть Коллектива, отданная в руки одной личности. Это царство одного камня, притягающего на тождество с другими камнями, но стоящего над всеми камнями. Такое Государство вполне отчетливо проповедует мораль Коллектива. Мы эту мораль еще не приемлем, хотя и сами медленно идем к ней, поскольку забыли о Человеке, том единственном, что могло оправдать наше неприятие такой морали.

Эти поборники новой религии не допустят, чтобы многие шахтеры рисковали жизнью ради спасения одного. Ибо груде камней наносится тогда ущерб. Эти люди прикончат тяжелораненого, если он затрудняет передвижение армии. Пользу Общины они будут выводить арифметически — и арифметика и будет ими править. Для них не выгодно стать трансцендентными по отношению к самим себе. Вследствие этого они возненавидят все, что отлично от них, ибо только тогда не будет ничего, что выше их самих и в чем уподобиться другим. Всякий чужой обычай, раса, непривычная мысль, разумеется, будет для них пощечиной. Они будут лишены поглощающей силы, ибо для того, чтобы сформировать в себе Человека, надо не ампутировать его, а выявить самому себе, придать его стремлениям цель, предоставить для приложения его энергии территорию. Превращать — это всегда освобождать. Собор может поглотить камни, которые приобретают тогда смысл, но груда камней не поглощает ничего и, не будучи в состоянии поглощать, давит. Так обстоит дело — а кто виноват?

Меня уже не удивляет, что куча камней, у которой вес больше, возобладала над беспорядочно разбросанными камнями.

И все же сильнее я.

Я сильнее, потому что мыслю. Если наш Гуманизм восстановит Человека. Если мы сумеем создать нашу Общину и если, дабы создать ее, мы используем единственное действенное оружие — самопожертвование. Наша Община, такой, какой ее создала наша цивилизация, тоже была не суммой наших интересов, а суммой наших приношений.

Я — самый сильный, потому что дерево сильнее почвенных материалов. Оно высасывает их. Оно превращает их в дерево. Собор лучезарнее разбросанных камней. Я — самый сильный, потому что только моя цивилизация в состоянии завязать в единый узел, не увеча их, самых различных людей. Она оживляет

тем самым источник своей силы и в то же время утоляет из него свою жажду.

В исходный час я возымел претензию не столько давать, сколько брать. Претензия моя оказалась тщетной. Получилось так, как с печальной памяти уроком грамматики. Надо давать, прежде чем получать, и строить, прежде чем поселяться.

Моя любовь к товарищам основана на отдаче крови, подобно тому как материнская любовь основана на отдаче молока. Вот в этом и секрет. Надо начать с жертвы, чтобы породить любовь. Затем уже любовь может потребовать еще других жертв и через них привести ко всем победам. Человек всегда должен делать первый шаг. Он должен родиться, прежде чем существовать...»

КАТАСТРОФА

На дворе уже весна. С некоторого времени «Странная война» для авиасоединения 2/33 уже не странная, а гибельная. Настоящая война еще не началась, а сколько экипажей уже не вернулось на базу. Сент-Экзюпери все больше времени проводит в части, все реже видится с друзьями и пишет им. К этому времени относится его письмо к Леону Верту, которое как бы предвосхищает «Послание заложнику».

«Мне кажется, я в значительной мере разделяю ваш взгляд на вещи. Я часто веду долгие диспуты с собой. И я беспристрастен в споре и почти всегда признаю вашу правоту. Но еще, Леон Верт, я люблю распивать с вами перно на берегах Соны, впиваясь зубами в колбасу и деревенский хлеб. Не умею объяснить, почему эти минуты оставляют у меня такое впечатление полноты. Но мне и не надо объяснять. Вы знаете это лучше меня. Я так радовался! С удовольствием проделал бы это снова. Мир на земле не есть нечто абстрактное. Это вовсе не означает конец опасностей и холода. Да и это было бы мне безразлично... Но мир — это когда

есть смысл впиваться зубами в деревенскую колбасу и хлеб на берегу Соны в обществе Леона Верта. Мне грустно, что у колбасы пропал всякий вкус...»

С этого же времени он все больше и больше сближается с товарищами по оружию. Правда, этот чудаковатый детина, который может вдруг посреди забав задуматься и начать что-то набрасывать на бумаге: что-то писать или рисовать, — им не всегда понятен.

— Почему вы рисуете всегда какого-то ребенка и бабочек? — застенчиво спрашивает его Ошеде.

Ошеде — человек невысокого интеллектуального уровня и сам знает это, он боится показаться смешным, задавая знаменитому летчику-испытателю такой, возможно, наивный вопрос.

Но Сент-Экзюпери высоко ценит этого простака, который месяцами читает одну книгу, за его скром-

*Il est si simple et si gentil, et il est si bon. C'est le seul homme que
je n'ai jamais vu sourire et qui ne se fâche jamais. Il est si gentil
qu'il est si gentil qu'il est si gentil qu'il est si gentil...*



*Il est si gentil et si gentil
Et il est si gentil qu'il est si gentil*

Antoine de Saint-Exupéry



ное мужество и удивительную честность в исполнении своего воинского долга, и он не пытается отделаться от него ничем не значащей фразой:

— Потому что это мысль, которая мне очень дорога: преследовать вполне достижимую мечту.

И в самом деле, когда Антуан задумывается, то сам не замечает, как рисует маленького мальчика, преследующего бабочку. Любопытно сопоставить этот рисунок с другим, названным им «Воздушной разведкой». Оба — близнецы Маленького принца. Возможно, в это время у Антуана уже зарождался замысел знаменитой сказки.

Сент-Экзюпери оставил нам в своих произведениях не одну художественную зарисовку самого себя. Однако не надо воспринимать нарисованные писателем картины из собственной жизни как фотографии действительности. Истина, как всегда, отличается от ее художественного воплощения, стремящегося стать правдивее правды. Сам писатель привлекает внимание читателя к этому естественному для художника явлению. Со свойственным ему юмором, когда речь идет о самом себе, он замечает в «Военном летчике»:

«Я мог без неприятного чувства изобрести это «подвенечное платье со шлейфом». На самом деле я вовсе не представлял себе платья со шлейфом, уже хотя бы потому, что никогда не видел след, оставляемый собственным самолетом. Из кабины, куда я втиснут, как трубка в свой футляр, невозможно видеть, что происходит в хвосте. Назад я смотрю глазами моего стрелка... А он никогда не рапортовал мне: «Тут какие-то ухажеры увязались за нашим шлейфом!»

Так и некоторые другие картины. Фермерша, например, рассказывала совсем не то же, что он, о его утреннем пробуждении.

Каждое утро она стучала в дверь г-на де Сент-Экзюпери. Стучала она очень сильно. Раздавалось какое-то рычание, и тогда она заходила в комнату. Из-под одеяла на нее выпучивался удивленный глаз. Снова раздавалось рычание, и фермерша успевала только заметить, как огромное тело переворачивалось в постели лицом к стене. Хозяйка зажигала в камине огонь, затем шла на кухню и возвращалась с большой чашкой горячей воды. Снова и снова пыталась она разбудить своего постояльца. В ответ раздавались лишь нечленораздельные звуки, и изредка открывался один гневный глаз. Так продолжалось не меньше получаса. Наконец фермерше удавалось растолкать г-на де Сент-Экзюпери, и она уходила успокоенная. Однако не проходило и нескольких минут, из дверей комнаты показывалось опухшее от сна лицо и жалобный голос молил:

— Мадам, пожалуйста, не будет ли у вас немного горячей воды для бритья?

Ибо за это время вода в чашке успевала остыть.

Внешне Сент-Экс производил впечатление спокойного и даже, пожалуй, беспечного человека. Однако впечатление это было обманчиво. Внутреннее волнение, никогда не покидавшее его, выдавала внимательному наблюдателю его манера вечно искать спички. У товарищей даже выработалась привычка, разговаривая с ним, класть на стол свои спички и зажигалки. Во время беседы он поминутно давал угаснуть сигарете и в отчаянии начинал шарить по карманам.

Вечерами, когда он писал у себя в комнате, он совершенно забывал о времени. Экономная хозяйка фермерша выключала свет. Никогда не подозревавший подвоха Антуан на следующий день говорил: «Ну и часто же у вас на селе аварии с электричеством!»

Нервную систему Сент-Экзюпери спасала от перегрузки лишь его способность к полному выключению во сне. Сном он обладал глубочайшим независимо от обстановки. Этот благотворный сон, как по волшебству, восстанавливал, казалось, неисчерпаемую способность Антуана удивляться, радоваться, огорчаться, размышлять, волноваться и страдать.

Одна из сильнейших необходимостей у Сент-Экса, необходимость почти физическая, — ощущать, что он живет. Попав под обстрел зениток, Сент-Экс спрашивает у своего наблюдателя и у пулеметчика: «Не задело?» — «Нет». И тут же он мысленно восклицает: «Их не задело! Они неуязвимы. Они вышли победителями. Я хозяин экипажа победителей!.. Я все еще плаваю в моем живительном торжестве. И я начинаю ощущать совершенно нежданное-негаданное блаженство. Как если бы с каждым новым мигом мне вновь и вновь даровали жизнь. Как если бы с каждым мигом я все сильнее и сильнее ощущал, что живу. Живу! Я жив. Я все еще жив. Жизнь бьет из меня ключом. Мною овладевает опьянение жизнью. Говорят — «опьянение боем». Нет, это опьянение

жизнью! Эх, сознают ли те, кто стреляет в нас снизу, что они нас выковывают?!»

Сент-Экзюпери творил, как жил, и воевал, как жил и творил.

Ночь на 10 мая Сент-Экзюпери провел в Париже. Его мучила лихорадка, и он приехал посоветоваться с врачами. В 4 часа утра его разбудил настойчивый телефонный звонок. Не открывая глаз, он нащупал трубку и поднес ее к уху:

— Что? Этой ночью?

Никогда еще Сент-Экс не просыпался так быстро. На другом конце провода голос сообщал ему о начавшемся немецком наступлении. Сент-Экс вскочил, закурил сигарету и начал нервно расхаживать по комнате. Затем накинул на плечи свой синий халат в горошину и вышел на террасу. Под ним в предутренних сумерках раскинулся огромный город. В небе догорали последние звезды. Антуан не заметил, как глубоко задумался. Из забвения его вырвал поднимающийся вдруг вой сирен, началась воздушная тревога. В безоблачном небе прогуливались два серебристых силуэта. Несколько белых клубочков указывали на заградительный огонь зениток, но за отдаленностью и шумом просыпающегося города выстрелов не было слышно.

Антуан хотел было немедленно вернуться в часть, но вспомнил, что командир поручил ему захватить в министерство авиации и настаивать на присылке подкреплений. Остаток ночи он проговорил с находившейся у него подругой, время от времени отрываясь, чтобы позвонить какому-нибудь приятелю. Но никто толком ничего не знал. Все были возбужденные, почти радостные. Людей охватило какое-то безумие: кончилась, наконец, «Странная война»!

Утром, побывав в министерстве авиации, Антуан поспешил возвратиться в часть. Как и в Польше, немцы начали свое наступление усиленной бомбардировкой аэродромов. В авиасоединении 2/33 остаются в строю лишь пять «Потезов-63» и два «Блока-174»;

с этими семью самолетами майор Алиас должен обеспечить воздушную разведку над территорией, простирающейся от Ла-Манша до Люксембурга. Вылеты следуют один за другим. Майору Алиасу удается пополнять материальную часть за счет одиночных самолетов, брошенных то здесь, то там на разбомбленных аэродромах. Но экипажи тают, как воск.

В один майский день министр-президент Поль Рейно принимает у себя на квартире Сент-Экзюпери. По одним сведениям, Рейно вызвал его, чтобы дать ему ответственное поручение в Америке, по другим — Сент-Экс сам напросился на эту встречу. Так или иначе, оба носились с одной и той же мыслью: единственное спасение — срочная американская помощь. Что в точности произошло между растерявшимся министром и писателем-летчиком, никому не известно. Но в Америку к Рузвельту послан был другой.

От этого времени сохранилось одно письмо и к матери:

«Дорогая мамочка.

Пишу вам, держа бумагу на коленях, в ожидании предполагаемой бомбежки, которая что-то запаздывает. Но трясусь я от страха не за себя, а за вас. Лихорадит меня от итальянской угрозы, потому что вас она ввергает в опасность. Мне так необходима ваша нежность, дорогая мамочка! Почему нужно, чтобы все, что мне дорого на этой земле, находилось под угрозой?

Но больше, чем война, меня пугает завтрашний мир. Разрушенные деревни, разрозненные семьи, смерть — все это куда ни шло, но я не хочу, чтобы война уничтожила духовную общность.

Я вам почти ничего не говорю о моей жизни, да и нечего, собственно, сказать: опасные задания, еда, сон. Я испытываю страшную неудовлетворенность. Для сердца нужны другие упражнения. Принимать на себя опасности и подвергаться им недостаточно, чтобы успокоить свою совесть.

Пустыня сегодня в душе — умираешь от жажды. Нежно целую вас.

Антуан».

Фронт стремительно приближается к Орконту, и соединение 2/33 отводится дальше к югу, в Орли под Парижем. 21 мая капитан Пенико с группой летчиков доставляет в часть партию самолетов.

— Теперь нам не хватает главным образом летного состава, — говорит майор Алиас.

— Есть, командир! — отвечает Пенико. — Разрешите в таком случае мне и прибывшим со мной летчикам поступить в ваше распоряжение.

И он тотчас же вылетает на свое первое задание.

На следующий день Сент-Экзюпери летит с заданием «произвести разведку на небольшой высоте». Истребители должны обеспечить ему прикрытие.

В результате этого вылета Сент-Экзюпери отмечен в приказе главнокомандующего военно-воздушных сил генерала Вьюмена от 2 июня 1940 года.

«Капитан Сент-Экзюпери Антуан Жан-Батист Мари Роже — пилот авиасоединения дальней разведки 2/33...» — следуют хвалебный отзыв и перечисление ряда заданий, с успехом выполненных им. «Этот приказ дает право на награждение орденом Военного креста с пальмами».

Вечером того же дня Сент-Экс обедал в кругу приятелей в небольшом, но славящемся своей кухней ресторанчике «У Жоржа», в конце проспекта Великой армии. До того он пил с друзьями аперитив у Фукетса на Елисейских полях. Он еще не пришел в себя от изумления, что жив, и с жаром рассказывал о перипетиях полета над Аррасом, послуживших впоследствии сюжетом его книги «Военный летчик».

То и дело он прерывал свой рассказ, чтобы воскликнуть: «Нет, вы подумайте: несешься за тысячу километров посмотреть, что неприятель тебе готовит. Делаешь все возможное, чтобы не умереть. А затем, поскольку тебя мучает жажда, идешь пропустить стаканчик-другой у Фукетса!.. И эти забытые беженцами дороги!.. Дети, плачущие у разбитых машин!.. Безумие! Чего еще ждут, чтобы запретить покидать свои дома?.. Не перемещать же так целую страну!..»

В начале полета Экзюпери прикрывал на своем истребителе Жан Шнейдер. Нырнув в облака, чтобы

скрыться от «Мессершмиттов», Антуан успел заметить, что истребитель сбили, и страшно волновался за судьбу летчика. Только несколько дней спустя он узнал, что Шнейдер благополучно приземлился с парашютом в расположении французских войск.

Поль Рейно произносит по радио речь: «Мы будем защищать Париж, драться за каждый квартал, каждый дом...», садится в машину и бежит с правительством в Бордо. На Кей д'Орсэ жгут архивы министерства иностранных дел. Париж объявляется открытым городом. 14 июня немцы входят в столицу Франции.

Сент-Экс вернулся за штурвал своего самолета. С каждым днем армия откатывалась все дальше. От аэродрома к аэродрому соединение 2/33 перебрасывается все дальше на юг. Оставшиеся экипажи совершают беспрестанные вылеты. Люди измучены — спят стоя. Да и сколько их еще осталось в строю! Из двадцати трех экипажей в начале войны и тринадцати, прибывших в подкрепление, продолжают летать только шесть.

Сент-Экзюпери говорит:

— После войны мы...

— Не рассчитываете же вы остаться в живых, господин капитан! — резко обрывает его лейтенант Гавуаль.

— Ваша правда, — отвечает Сент-Экс. — И все же...

От этапа к этапу авиасоединение 2/33 откатывается на юг. Один из этапов приводит его в столицу департамента Эндр Шатору. В окрестностях города размещаются огромные авиационные заводы Блока. Летчиков здесь ожидает удивительное зрелище — выстроившиеся стройными рядами новенькие самолеты, острую нужду в которых они так ощущали на фронте. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что каждому из этих самолетов, чтобы летать, недостает какой-нибудь существенной детали: у одного нет винта, у другого — шасси и так далее. Зрелище это вызывает у летчиков взрыв возмущения. Все большее доверие приобретают упорно циркули-

рующие слухи о колоссальной измене, жертвой которой стали они, а с ними и вся Франция.

И, наконец, последний этап приводит часть на аэродром под Бордо. В городе скопились все правительственные учреждения и царит полный хаос. За правителями и крупными политическими деятелями и всякого рода сановными и несановными лицами последовали их жены, дети, любовницы. Жены, обремененные детьми, не так заметны, они сидят по домам, там, где нашли приют. Зато любовницы афишируют себя повсюду в шикарных ресторанах, их окружает свита придворных, и кажется, все управление тем, что осталось от Франции, сосредоточено у них в руках. У Сент-Экзюпери при виде всего этого нарастает протест. В нем говорят чувства стопроцентного француза, но другой закваски, к тому же прошедшего через горнило войны. Безответственность никогда не была ему по душе.

Во что вылился бы его протест, неизвестно. После долгих розысков какого-нибудь начальства соединение 2/33 получает, наконец, секретный приказ перебазироваться на Алжир.

Самолетов в распоряжении майора Алиаса недостаточно, чтобы перебросить весь летный состав, наземный персонал и материальную часть соединения. Ошеде, Лякордэр и Сент-Экзюпери пускаются на поиски и находят на аэродроме Бордо несколько гражданских самолетов. На долю Сент-Экса выпадает вести огромный четырехмоторный «Фарман». Он благополучно справляется с этой задачей и увозит даже нескольких лиц из гражданского населения, и в их числе жену директора Национальной библиотеки Жюльена Кэна.

Последняя его мысль перед отлетом о матери:

«Бордо, июнь 1940 года.

Дорогая мамочка, мы вылетаем в Алжир. Целую вас со всей любовью. Не ждите от меня писем, для этого не будет возможности. Вы знаете всю мою нежность к вам.

Антуан».

Через несколько дней после перебазировки соединения на Алжир Петэн, взявший власть в руки, заключает соглашение о перемирии.

В Алжир перебазировались остатки не только соединения 2/33, но почти все, что осталось от военно-воздушных сил Франции. Среди личного состава эскадрилий царит подавленное настроение. Но не проходит и нескольких дней после заключения перемирия, как раздаются голоса, требующие отказа от повиновения новому правительству Франции и продолжения войны. Разгораются споры.

3 июля английский средиземноморский флот совершает нападение на французскую эскадру, стоящую на якоре в Мерс-эль-Кебире. Немного погодя становится известным, что англичане внезапно захватили французские военные корабли, укрывшиеся в английских портах. 10 июля английские самолеты торпедируют на рейде Дакара французский линкор «Ришелье». Все эти действия английских союзников приводят к большим жертвам среди личного состава морских экипажей.

Уже неблагоприятное поведение англичан во время дюнкеркской эпопеи, когда им удалось эвакуировать свою разбитую наголову, побросавшую оружие и снаряжение армию только благодаря стойкости французских войск, эвакуации которых они отказались затем способствовать своим флотом, вызвало тогда гневное возмущение французов. Страсти еще не вполне улеглись, когда разразились эти новые инциденты. Ненужная жестокость, мало оправданная стратегическими соображениями, снова вызвала взрыв всеобщего негодования и внесла сумятицу в умы. Страсти накалились до предела. Антуану, находившемуся тогда еще на распутье, было чрезвычайно тяжело в этой отравленной атмосфере.

Возможно, находишься в это время в Алжире какой-нибудь крупный политический или военный деятель, способный объединить вокруг себя людей, Алжир стал бы оплотом Сопrotивления. Но французские фашисты успели захватить группу политических деятелей во главе с Манделем, направляющуюся в Ал-

жир. А в кучке парламентариев, которым на корабле «Массилия» удалось переправиться из Франции в Северную Африку, не оказалось ни одного достаточно решительного и авторитетного политического деятеля, чтобы проявить соответствующую инициативу. Не последнюю роль во временном устранении Франции сыграла и двойственная политика Черчилля после дюнкеркской катастрофы.

Вдали от шума войны Сент-Экзюпери пытается собраться с мыслями и взвесить положение. Иногда он принимает участие в спорах то на той, то на другой стороне. Но чувствуется, как глубоко он подавлен. Бездарность, эгоизм и стяжательство правителей Франции оказались сильнее самопожертвования тысяч и тысяч французов, отдавших жизнь для защиты своей страны. Его предвидение оправдалось, но он этому не рад. Что ему его правота, когда расплатой за нее — страдания родной земли, друзей и близких?

К тревоге, вызываемой общим положением, прибавляется беспокойство за свою судьбу и судьбу близких. Как и чем он будет существовать? Как и чем обеспечит существование матери, жены?

Все эти вопросы мучали его, и он, который рисковал жизнью не столько во имя спасения городов и деревень, сколько ради спасения духовных ценностей, теперь с нетерпением ждал демобилизации.

5 августа Антуан высаживается в Марселе и мчится в Агей. Он сжимает в объятиях свою старушку мать, сестру Габриэль, шурина Пьера и их детей. Снова он в родном Провансе и «чувствовал, как оживает в единственном уголке света, где сама пыль ароматна (я несправедлив, в Греции она такая же, как и в Провансе)», — писал он три года спустя в своем «Письме одному генералу». Снова он находился в краю оливковых деревьев, в краю овец, снова приобщился к семейной жизни, снова погрузился в мир своего детства. Он любил дом в стиле Людовика XIV, принадлежавший семье Агей. Дом этот стоял

в глубине маленькой бухточки, и защищавшие его от норд-оста скалы цвета охры пламенели в лучах заката, словно горящие камни. Своими устоями, прочными, как крепостная стена, дом купался в море. Сколькими счастливыми воспоминаниями полнился он! Антуан проводил долгие часы в беседах со своими родными и в забавах с племянниками и племянницами. Вечерами, когда все в доме уже ложились, Антуан оставался один на один со своими думами. Поутру Диди (Габриэль) находила переполненные окурками пепельницы, остаток черного, как кофе, чая на дне чайника и исписанные листы бумаги.

— Над чем ты работаешь? — как-то спросила она.

— Я пишу посмертную книгу, — отвечал он.

Антуан работал над «Цитаделью». Он начал эту книгу в виде набросков еще на фронте. Задуманная книга должна была подвести итог всему его жизненному опыту, всем его мыслям. Но каждый раз очередные срочные задачи, которые он сам ставил перед собой, отрывали его от работы.

Тихие радости семейной жизни не могли надолго удержать Сент-Экса в Агее. Он, правда, нуждался время от времени в таком отдыхе. Но два месяца для этой мятущейся души, для этого вечного странника — это уже слишком. Во всяком случае, этого было предостаточно, чтобы снова появилось желание жить, действовать. Каковы его намерения? Есть ли у него уже определенный план? Трудно сказать. Возможно, он уже задумал уехать в США: это единственное место, где его предыдущая деятельность и связи могут обеспечить ему средства к существованию. Безработных летчиков, и самых знаменитых, теперь можно встретить на улицах всех больших городов Франции. Возможно, он еще ничего толком не решил. Так или иначе, не в Агее, вдали от всех жизненных центров страны, можно отдать себе ясный отчет в создавшемся положении. И Сент-Экзюпери отправляется в Виши.

ПАУЗА

Виши к моменту прибытия сюда Сент-Экзюпери представлял собой плот спасающихся от кораблекрушения. Вокруг плавают еще утопающие, хватаются за плот и стараются спихнуть с него засевших там счастливых, чтобы самим занять их место. Будущие деголлевцы находятся еще в окружении маршала Петэна, а будущие рьяные коллаборационисты еще не у дел.

Разобраться в этом хаосе нелегко. Люди часами простаивают у витрин агентства печати Гавас, ожидая какого-то чуда. Жизнь города протекает на улицах, так как почти ни у кого нет достаточно вместительного жилья, чтобы встречаться с друзьями. Кафе и рестораны забиты, вокруг некоторых уже создаются своеобразные клубы. Беженцев, завсегдатаев парижского литературного кафе «Дё маго» можно встретить в «Ресторасион», артистов театра и кино — в «Амбасадёре». Но в основном жизнь города протекает на улицах и в аллеях парка. Люди разгуливают в одиночку и группами, останавливаются, завязывают споры. Тут и пессимисты и оптимисты, но в общем всем хочется на что-то надеяться. Поэтому такое распространение принимают самые фантастические слухи.

Связь с оккупированной зоной и с Парижем сводится для большинства, за исключением некоторых привилегированных, к межзональной открытке:

ОТКРЫТКА

. 1940 года
. чувствую себя хорошо неважно
. легко, тяжело болен, ранен
. убит в плену
. умер без известий от
Семья поживает хорошо
. нуждается в продуктах деньгах
. сведениях о багаже такой-то вернулся
в работает поступил в школу

. . . . *прият* . . . *еду в* . . . *тогда-то* . .
. . . .
. . . .
. . . .

Сердечный привет. Целую *Подпись*

Стоит человеку заметить на улице знакомое лицо, как он бросается к нему, начинает расспрашивать в надежде узнать что-нибудь имеющее отношение к близким.

Среди интеллигенции — такой же разброд и непонимание обстановки, как и среди всех других. Из близкого Сент-Экзюпери круга людей только некоторые заняли уже определенную позицию. Писатели, объединившиеся вокруг издательства «Галлимар», разделились. Мальро резко враждебен немцам и вишійскому правительству; вероятно, и Роже Мартэн дю Гар, Дрие ла Рошель в фаворе; Кокто, Жан Жироду, Жид колеблются.

В Виши собрались все асы военно-воздушных сил и гражданской авиации. Как и многие другие, они бродят растерянной кучкой по городу и все чего-то ждут. Их общество, кроме радости встречи с Гийоме, ничего не дает Антуану.

Нетрудно себе представить, какое впечатление обстановка, создавшаяся в Виши, произвела на такую впечатлительную натуру, как Сент-Экс. Бежать! Во что бы то ни стало бежать от этого маразма!

Будь Сент-Экзюпери человеком иной среды или иного склада характера, испытывая он, например, увлечение романтикой опасности, возможно, судьба его и сложилась бы иначе. Как правильно замечает другой писатель, Эммануэль д'Астье де ла Вижери, видный деятель Сопротивления, человеку такого же воспитания и социального круга, как и Антуан, нужна была какая-то доля романтизма и, быть может, ребячьего приключенчества, чтобы в тот момент уже помышлять о Сопротивлении.

Но в том-то и дело, что Сент-Экс, человек, всю жизнь проведенный среди опасностей, совершенно лишен романтики опасности. К политике он тоже не

имел никакого отношения, и поэтому реакция его на представшую его взору действительность вполне естественна. В нем с непреодолимой силой растет отвращение ко всему, желание вырваться из обстановки, в которой, он знает, будет бесплоден. Чтобы творить, ему нужна свобода. Не Виши и не немцы дадут ее ему.

Возможно, при виде того, что творится во Франции, у Сент-Экзюпери и мелькала мысль, что только извне может прийти освобождение, и он решил принять в нем участие, «продолжать служить своей стране за ее рубежом». Невероятного в этом ничего нет. У многих тогда сложилось убеждение, что никакое сопротивление внутри страны невозможно. Во всяком случае, подруга Сент-Экзюпери совершенно определенно утверждает, что у него были такие мысли. Ничто этого не подтверждает и не опровергает. Правда, центром намечавшегося французского сопротивления за рубежом становился Лондон, а не Нью-Йорк, и можно спросить себя: почему Сент-Экзюпери не направился в Англию? Но, не говоря уже о том, что ему там не на что было бы существовать, у него, как и у многих участников войны, пробудилась неприязнь к этой стране. Не надо забывать исключительно эмоциональный склад характера Антуана.

Вероятнее всего предположить: катастрофа, разразившаяся над Францией, потрясла его. Он не тешит себя иллюзорной надеждой на какой-нибудь резкий перелом в создавшемся положении. Антуан вообще никогда не питал склонности к блаженному оптимизму, скорее наоборот: Гитлер — полный хозяин Европы. Немногочисленные английские силы, сражавшиеся на французской земле, убрались восвояси при первом натиске немцев. Военную мощь Гитлера он мог оценить под крыльями своего самолета и в небе. Англичане будут отсиживаться на своем острове и другого ничего сделать не могут. Соединенные Штаты Америки? «Мы не можем надеяться на содействие США, — пишет Сент-Экзюпери в «Военном летчике», — они относятся к тому миру, который иг-

рал роль арбитра, не сотрудничая с немцами и не сражаясь с ними». До вступления Америки в войну, как об этом свидетельствует Пьер Ланюкс, встречавшийся с Антуаном в США в 1941 году, Экзюпери продолжал сомневаться в конечном поражении Германии. Он считает «мужественнее и куда правдивее сомневаться, осуждая неоправданные надежды как слабость и ленивый оптимизм ума».

В решении Сент-Экса уехать в США сыграли основную роль не столько патриотические, сколько личные мотивы. Выехать из Франции при его связях в первые месяцы после перемирия было не так уж сложно. Американскую визу Сент-Экс также получил без труда. Затруднения начались у него с транзитной визой через Испанию. Франкисты не забыли ему его репортажа во время гражданской войны. Кроме того, основательно или безосновательно его обвинили в том, что он не то доставлял самолеты республиканцам, не то сам помогал им со своим «Симуном», — и в транзите отказали. Пришлось искать других путей, чтобы попасть в Португалию, откуда поддерживалось регулярное сообщение с США.

Однако Сент-Эксу понадобилось перед отъездом заехать в Париж, где осталась часть его рукописей, а также повидать своего издателя и устроить свои денежные дела. В то время только некоторые категории возвращавшихся беженцев и вишийские чиновники получали с разрешения немецких властей доступ в оккупированную зону. Разрешения этого Антуан мог бы добиться, только если бы возвращался на постоянное жительство в Париж.

Но ему повезло. В Париж на своей машине возвращался Дриё ла Рошель, чтобы снова начать выпуск «Н. Р. Ф.» (толстого журнала издательства «Галлимар»), и предложил Сент-Эксу захватить его с собой.

Дриё ла Рошель еще накануне войны примкнул к фашистской группировке Дорио, наиболее близкой гитлеровцам. Он был видным литератором и вместе с Жидом и некоторыми другими давно уже руководил «Н. Р. Ф.». В условиях французской жизни и при

отношениях, существовавших между литераторами различных политических убеждений, объединявшихся вокруг издательства «Галлимар» и его толстого журнала, нелепо было бы представлять поездку Сент-Экзюпери с Дриё ла Рошелем как некий акт соглашательства. Характерно, что даже Арагон и Элюар не отказались сотрудничать в номере «Н. Р. Ф.», вышедшем уже в оккупированной зоне, пока не определилось его новое лицо. Да и Жид только тогда заявил о своем уходе из редакции журнала и потребовал снять свое имя с обложки. Что до Сент-Экзюпери, то дружил же он с Мермозом, хотя и не раз высказывал ему свое неодобрение за его принадлежность к фашистской группировке полковника де ля Рокка.

Проехать с Дриё в Париж оказалось делом гораздо более легким, чем выбраться оттуда. Высокий германский чиновник изъявил желание предварительно «частным образом» побеседовать с писателем. Завербовать такого видного литератора и человека безупречной репутации ему показалось весьма заманчивым. Встреча эта состоялась на квартире одной приятельницы Дриё. Сент-Экс страшно нервничал и едва сдерживал себя. Однако ему все же удалось добиться разрешения на выезд. На следующий день он возвратился в «свободную зону».

За время пребывания Сент-Экзюпери в Париже, 24 октября 1940 года, произошла знаменательная монтуарская встреча Петэна и Гитлера. Устранив всякую двусмысленность в истинных намерениях и целях вишійского правительства, встреча эта окончательно укрепила летчика-писателя в его мысли покинуть пределы Франции.

До отплытия судна, которое должно доставить его в Марокко, оставалось еще несколько дней. Антуан, которого все время мучает вопрос, правильно ли он поступает, решает повидать своего друга Леона Верта, укrywшегося в Сент-Амуре в департаменте Юра.

Леон Верт не оставил нам никаких воспоминаний об этом посещении. Он любил Сент-Экса, как родного

сына, и считал, что приводить отдельные его слова и признания, вырвавшиеся в минуту душевного волнения, — это исказить образ этого незаурядного, невероятно сложного человека.

Антуан провел два дня у Леона Верта — и можно себе представить, о чем только они не говорили! Зная, с какой любовью Верт уговаривал его во время военных действий не рисковать своей жизнью, можно с уверенностью утверждать, что он не отговаривал его от поездки.

5 ноября 1940 года на «Виль д'Альже» Сент-Экзюпери отплывает в Марокко и 16-го попадает в Португалию.

В новой обстановке, вдали от шума войны, Антуаном снова овладевают сомнения. Уехать? Вернуться во Францию? А что, если настоящая борьба за освобождение развернется в самой стране, а не за ее пределами?

Во время пребывания в Лиссабоне он узнает о гибели своего друга Гийоме. Подробности ему неизвестны, но он знает, что вместе с Гийоме погиб и Рейн. Чувства, овладевшие им, выражены в первой части «Послания заложнику».

«Когда в декабре 1940 года по пути в Соединенные Штаты я пересекал Португалию, Лиссабон показался мне своего рода раем — светлым и тоскливым. В то время много говорили о неминуемой оккупации, но Португалия цеплялась за иллюзию своего счастья. Лиссабон выстроил чудеснейшую выставку, когда-либо существовавшую на свете, и улыбался бледной улыбкой, подобно матери, которая не имеет известий от сына с фронта и старается своей верой спасти его: «Мой сын жив, раз я улыбаюсь...» «Посмотрите, — как бы говорил Лиссабон, — как я счастлив и спокоен и как я хорошо освещен...» Весь материк навис над Португалией, подобно непокоренной горе, отягощенной грузом хищных племен; празднично убранный Лиссабон с вызовом смотрел на Европу: «Разве можно сделать меня мишенью для стрельбы, когда я так старательно выставляюсь напоказ! Когда я так уязвим!..»

В моей стране города ночью были цвета сажи. Я отвык от всякого освещения, и эта залитая светом столица возбуждала во мне чувство тревоги. Когда пригород погружен во мрак, бриллианты, чересчур освещенные в витрине, привлекают грабителей. Чувствуешь, как они бродят вокруг. Я чувствовал, как над Лиссабоном нависла европейская ночь, в которой стаями рыскали бомбовозы, учуяв это сокровище.

Но Португалия была равнодушна к поползновениям чудовища. Она отказывалась верить в плохие предвестия. С приводящей в отчаяние доверчивостью она продолжала рассуждать об искусстве. Неужели осмелятся раздавить ее — жрицу искусства? Она извлекла на свет божий все свои чудеса. Неужели осмелятся раздавить ее — ее, с ее чудесами? Она выставила напоказ своих великих людей. За неимением армии, за неимением пушек она выставила против железной лавы захватчиков всех своих часовых из камня: поэтов, путешественников, конквистадоров. Армии не было, только все прошлое Португалии преграждало путь захватчикам. Неужели же они осмелятся раздавить наследие ее великого прошлого?

Каждый вечер печально бродил я среди достижений этой выставки, созданной с величайшим вкусом, где все граничило с совершенством, вплоть до столь скромной и подобранной с таким тактом музыки, которая нежно, бесшумно струилась над садами, подобно журчанию родника. Неужели же уничтожат в мире это замечательное чувство такта?

И я находил Лиссабон, укрывшийся за своей улыбкой, тоскливее моих погруженных во мрак городов.

Я знавал — быть может, знавали и вы — немного странные семьи, в которых за столом сохранялось место усопшего. Они выражали этим свой отказ примириться с непоправимым. Но не могу сказать, чтобы этот вызов року казался мне успокоительным. Мертвецы должны быть мертвецами. Тогда в своей роли мертвецов они обретают другую форму бытия.

А такие семьи отдаляли их возвращение. Они превращали их в постоянно отсутствующих, в сотрапезников, опоздавших на встречу с вечностью. Они разменивали траур на бессмысленное ожидание. И такие дома казались мне погруженными в безвыходность, куда более подавляющую, чем печаль. Бог мой! Примирился же я с тем, что по летчике Гийоме, последнем остававшемся у меня друге, сбитом во время почтового рейса, я буду носить траур. Гийоме уж не изменится. Никогда уже он здесь не будет присутствовать, но никогда не будет и отсутствовать. Я поступился его прибором — этой ненужной уловкой за моим столом, — и он стал моим подлинным мертвым другом.

Но Португалия пыталась верить в счастье, сохраняя мертвецу его прибор — свои фонарики и свою музыку. В Лиссабоне рядились в счастье, лишь бы господь бог не усомнился в нем.

Своей тоскливой атмосферой Лиссабон был также обязан присутствию некоторых беженцев. Я имею в виду не изгнанников в поисках убежища, не эмигрантов, разыскивающих землю, которую они могли бы оплодотворить своим трудом, — я говорю о тех, кто покидает родину, кто бежит подальше от несчастий близких, чтобы спасти свои деньги.

Не сумев устроиться в самом городе, я поселился в Эсториле около казино. Я только что вырвался из самой гущи войны: мое авиационное подразделение, в течение девяти месяцев ни на миг не прекращавшее полеты над Германией, потеряло только за время немецкого наступления три четверти личного состава. По возвращении домой я познал удручающую атмосферу рабства и угрозу голода. Я пережил непроглядную ночь моих погруженных во мрак городов. И вот в двух шагах от моего дома, в казино Эсториле, толпились выходцы с того света. Бесшумные «кадиллаки», прикидываясь, что едут по делу, высаживали их на песчаный пляж у входа в казино. Они переодевались к обеду, как в прежнее время. Они щеголяли своими накрахмаленными манишками или своими жемчугами. Они приглашали друг друга

к столу, вокруг которого усядутся наподобие кукол и где им нечего будет сказать друг другу.

Затем, в зависимости от своего состояния, они играли в рулетку или баккара. Иногда я ходил на них смотреть. Мною овладевало не негодование или ироническое чувство, а смутная тревога, то волнение, с которым смотришь в зоопарке на последних представителей какого-нибудь угасающего вида. Они усаживались вокруг столов, жались к какому-нибудь строгому банкету в надежде испытать чувства отчаяния, страха, зависти, ликования. Подобно живым людям, они ставили на карту состояния, которые в эту минуту, быть может, уже не представляли никакой ценности. Быть может, и деньги-то, которыми пользовались они, уже потеряли хождение. Возможно, ценные бумаги в их несгораемых шкафах обеспечены заводами, которые уже конфискованы либо дожидаются, когда на них с воздуха обрушатся бомбы. Они выписывали векселя на Сириус. Цепляясь за прошлое, как если бы ничто на земле не начинало рушиться, они старались уверить себя в оправданности своего лихорадочного существования, в том, что их чеки подлежат оплате, старались уверить себя в незыблемости установленного порядка. Это не походило на явь. Это выглядело как балет кукол. Но это было печальное зрелище.

Сами они, вероятно, ничего не испытывали. Я покинул их. Я пошел подышать свежим воздухом на берег моря. И это море у Эсториля, курортное море, укрощенное море, тоже, казалось мне, включилось в игру. Море, все лоснящееся в лунном свете, катило в заливе одинокую расслабленную волну, подобную платью со шлейфом не по сезону.

Снова я встретился с беженцами на пароходе. Пароход этот тоже вызывал щемящее чувство. Пароход перевозил с материка на материк эти растения, лишённые корней. И я говорил себе: «Пусть я буду путешественником, не хочу быть эмигрантом. У себя на родине я научился стольким вещам, которые везде в другом месте мне ни к чему». Но вот эмигранты начали вытаскивать из карманов записные книжки —

обломки их личностей. Они все еще разыгрывали из себя кого-то. Они изо всех сил цеплялись за видимость того, что что-то они представляют собой: «Ведь я, знаете, такой-то, — говорили они, — я из такого-то города... друг такого-то... Вы его знаете?»

И они рассказывали о приятеле, или о каком-нибудь ответственном поручении, или о своей ошибке, или любую другую историю, способную восстановить их связь с чем бы то ни было. Но ничего из этого прошлого уже не сослужит им службу, раз они покидают свою родину. Все это было еще совсем горячим, свежим, живым, как это бывает вначале с воспоминаниями о любви. Укладываешь в пачку нежные письма. Присоединяешь к ним некоторые воспоминания. Перевязываешь все с большой тщательностью. И вначале от реликвии исходит какое-то грустное очарование. Затем твой путь пересекает блондинка с голубыми глазами — и реликвия угасает. Так и друзья, ответственное дело, родной город, воспоминания об отчем доме тускнеют, когда больше уже не служат ничему.

Они прекрасно чувствовали это. Но, подобно тому как Лиссабон прикидывался счастливым, они прикидывались, что верят в свое скорое возвращение. Какая прелесть — уход из родного дома блудного сына! Ведь это не настоящий уход, когда позади остается отчий дом. И не в том дело, что человека нет в соседней комнате или по другую сторону планеты, — разница не суть важна. Существование друга, который, казалось бы, удалился, может стать ощутимее, чем подлинное присутствие, как ощутима молитва. Никогда я так не любил свой родной дом, как во время пребывания в Сахаре. Никогда женихи не были столь близки к своей невесте, как бретонские моряки в XVI веке, которые, огибая мыс Горн, успевали состариться в борьбе со стеной встречных ветров. Отплывая из гавани, они уже начинали свое возвращение. Ведь это возвращение они подготавливали, ставя своими огрубелыми руками паруса. Кратчайший путь из порта в Бретани к домику их невесты проходил

через мыс Горн. Но вот беженцы представлялись мне бретонскими моряками, которых лишили их бретонской невесты. Ни одна бретонская невеста не зажигала в их честь в окне свою скромную лампу. Они вовсе не были блудными детьми. Они были блудными детьми без дома, куда смогут вернуться. Тогда-то и начинается настоящее путешествие — человек покидает самого себя. Как восстановить себя? Как восстановить в себе тяжелый клубок воспоминаний? Этот призрачный корабль, подобно чистилищу, был нагружен душами, которым предстояло вновь родиться. Осязаемыми людьми, столь осязаемыми, что хотелось дотронуться до них, казались лишь те, кто составлял одно целое с кораблем, кто, облагороженный подлинными обязанностями, разносил блюда, до блеска надраивал медную обшивку, чистил обувь и с некоторым пренебрежением обслуживал души усопших. И не их бедность вызвала к беженцам слегка пренебрежительное отношение обслуживающего персонала. Ведь не денег они были лишены, а осязаемости. Ни один из них не был больше человеком из такого-то дома, другом такого-то, лицом, которому доверили такое-то дело. Они разыгрывали такие роли, но это уже не соответствовало истине. Никому они больше не были нужны, никто не собирался прибегнуть к их услугам. Как замечательно получить телеграмму, которая ошарашивает тебя, заставляет встать посреди ночи, мчаться на вокзал: «Поспеши! Ты мне нужен!» Мы очень скоро находим себе приятелей, помогающих нам, и лишь очень медленно заслуживаем друзей, требующих нашей помощи. Конечно, никто не ненавидел моих выходцев с того света, никто не завидовал им, никто им не докучал. Но никто их и не любил единственной идущей в счет любовью. И я думал: по прибытии они тотчас же будут вовлечены в приветственные коктейли, в утешительные обеды. Но кто постучится к ним в дверь, требуя, чтобы его впустили: «Открой! Это я!»? Нужно долго-долго кормить дитя, прежде чем оно начнет предъявлять требования. Нужно долго дружить с человеком, прежде чем он предъявит к оплате свой счет дружбы.

Нужно поколениями восстанавливать древний разрушающийся замок, чтобы научиться его любить».

Антуаном овладевает отчаяние, он посылает телеграмму за телеграммой, тратит последние деньги на телефонные разговоры с Францией, и, наконец, 1 декабря он пишет подруге письмо:

«Гийоме умер. Сегодня вечером мне кажется, что у меня больше нет друзей. Я не жалею его: я никогда не был способен жалеть мертвых. Но его исчезновение... Мне придется долго приучаться к этой мысли, и я уже чувствую тяжесть от напряжения, которое вызовет этот ужасный труд. На это потребуются месяцы и месяцы: мне так часто будет его не хватать. Неужели так быстро стареешь? Я — единственный оставшийся в живых из тех, кто летал еще на «Бреге-ХІV»: Колле, Рейн, Лассаль, Борегар, Мермоз, Этьенн, Симон, Лекривен, Уилл, Верней, Ригель, Ошеде и Гийоме. Все, кто прошел через это, умерли, и мне не с кем больше на этом свете делиться воспоминаниями. И вот я теперь — беззубый старец, пережевывающий все это для самого себя. Из товарищей по Южной Америке нет больше ни одного, ни одного... Нет у меня больше на свете ни одного товарища, которому можно сказать: «А помнишь?» Какое совершенное одиночество в пустыне! Я думал, это только участь стариков — терять на своем жизненном пути всех друзей. Всех. Ты знала очень мало моих друзей, потому что все они умерли... Скажи только, что мне нужно вернуться, и я вернусь».

Подруга советует ему уехать. Она знает, что если он даже вернется, все равно раньше или позже сорвется и помчится куда глаза глядят.

По получении ее ответа Сент-Экзюпери уже не может больше ждать. Деньги на исходе, и с первым же лайнером он отплывает в США.

АМЕРИКА

Когда Сент-Экзюпери прибыл на этот раз в США, мрачный 1940 год подходил к концу. Почти везде в Европе народы жили в тревоге, во многих

странах они уже стонали под гнетом гитлеровского сапожища, грозящего их раздавить. Тяжелая зима — следствие разрухи — убивала тысячи и тысячи лишенных пищи и теплого крова малолетних детей. Война продолжала свое разрушительное дело.

При встрече с американскими друзьями, восстанавливая свои прошлые связи, Антуан часто убеждался, насколько безразлично многие относятся к бедствию, обрушившемуся на Европу и на его страну. За океаном все продолжали жить, как и раньше, как если бы ничего не произошло на планете Земля. Так живет большинство людей, когда они непосредственно не затронуты событиями и не отдают себе отчета в нависшей над ними угрозе.

Разумеется, американцы были удивлены столь быстрым поражением Франции. Со времени первой мировой войны французские солдаты пользовались здесь репутацией необычайной стойкости. Теперь многие американцы не без злорадства рассуждали о полном упадке Франции. Они еще ничего не поняли в этой войне. Пробуждение началось, лишь когда японские бомбы обрушились на Пирл-Харбор и они почувствовали, что их собственная безопасность поставлена под угрозу. Но это произошло только год спустя, 7 декабря 1941 года.

Сент-Экзюпери нашел в Нью-Йорке обстановку, ничуть не изменившуюся со времени его первых посещений. Сказать, чтобы он любил американскую жизнь, нельзя. Его первый контакт с Нью-Йорком во время рейда в Патагонию в 1937 году не привел его в восторг. Он писал тогда подруге:

«Я живу на двадцать пятом этаже каменного отеля и прислушиваюсь к доносящемуся ко мне через окно голосу незнакомого города. И это, как мне кажется, раздражающий голос. Порывы ветра производят здесь тот же шум, что и в снастях. Снаружи какие-то невидимые движения. И крики. И стоны. И стук молотов по наковальням. Я не знаю, откуда вздымаются эти короткие вопли сирен, так хорошо говорящие об опасности. И весь этот гул, как в открытом море, словно бы суматоха на корабле, терпящем бед-

ствие. Никогда я не ощущал этого так сильно. Эта скученность людей в их каменных пирамидах, все эти шумы, эти выезжающие из домов, словно спасающиеся от кораблекрушения, люди, мечущиеся между свб-ей планетой и звездами, так ничего и не поняв в своем путешествии, и без капитана. Удивительно, но я ничего не почувствовал здесь материального. Еще не почувствовал. Наоборот. Вся эта толпа, все эти огни и стрелы высотных зданий, мне кажется, ставят в первую голову и с гнетущей силой проблему будущего. Возможно, это идиотство, но я чувствую себя здесь больше, чем где-либо в открытом море».

Несомненно, здесь надо сделать поправку на настроение, в котором он писал эти строки. Ведь и в 1929 году по приезде в Буэнос-Айрес, сожалея о своей жизни в Джуби, он очень плохо отзывался об аргентинской столице, находил у нее одни недостатки.

Незнание английского языка не помешало Сент-Экзюпери очень быстро разобраться в обстановке и выяснить отношение американцев к французской проблеме. Проблема эта усугублялась внутренними раздорами в среде французской эмиграции. Эти эмигранты, которые сами не сражались и никогда не будут сражаться, имели претензию представлять Францию. Среди них наметились к тому времени три группировки: французы, объединявшиеся вокруг посольства правительства Петэна, деголлевская «Франс ФорEVER» и независимые.

К числу немногочисленных независимых относились такие видные лица, в основном политические журналисты, как Пертинакс, де Кериллис, Женева Табуи, Жак Маритэн, Пьер де Ланюкс, Пьер Лекон де Нуи. Их попытки влиять на общественное мнение в США, несмотря на бесспорный талант этих людей, не имели большого успеха. Сами они прямого участия в событиях, разыгравшихся на французской земле, не принимали: большинство из них выехало еще до войны. Монополию на патриотизм старались захватить наиболее активные представители «Франс ФорEVER». Это в большинстве своем «тыловики»

и доморощенные политиканы. Сент-Экзюпери отказывается примкнуть к ним, войти в их игру.

И дело не в том, что Сент-Экзюпери стоял в какой-то оппозиции к де Голлю и движению «Свободная Франция». Героизм «Французских свободных вооруженных сил», созданных в Англии под руководством де Голля, не вызывал у него никакого сомнения. Но к движению «Свободная Франция» сразу же, в особенности в Америке, примазалось много сомнительных личностей (впоследствии неофашистов, как, например, Сустель), стремившихся нажить на этом политический и неполитический капитал. Они вели себя как пауки в банке. «Они следят друг за другом и за всеми, словно собаки вокруг кормушки», — говорил Сент-Экс.

Писатель считает своим долгом открыть американцам глаза на подлинное значение того, что произошло во Франции, и попутно высказывает им ряд горьких истин.

«Я имею на это все права, — говорит он в своей новой книге, — так как в эту самую секунду я знаю, что я делаю. Я приемлю смерть. И не риск я приемлю и не битву, а смерть. И мне открылась великая истина. Война — это не идти на риск. Это не идти на битву. Для бойца это в иные часы попросту идти на смерть».

К потребности высказаться и заставить услышать голос ветеранов французской кампании для Сент-Экзюпери прибавляется необходимость дать своим издателям, оказавшим ему по приезду материальную помощь, книгу в кратчайший срок.

Он садится за работу и пишет «Военного летчика». Но, как и всегда, ему нужно что-то поддерживающее в нем неослабеваемое напряжение, и он занимается одновременно изобретательской деятельностью, проявляя в этом отношении немалую активность.

В июне 1941 года он едет в Лос-Анжелос повидать своего друга доктора Жана Лапейра, который устраивает ему встречу с известным американским



Конец июня 1944 года. Алгеро. Сент-Экс с другом



3 DECEMBRE.-

Toujours entrainement sur Potez 63/II on profite de ce qu'il n'y a pas de mission.

Répétition du défilé et de la cérémonie de la remise des Croix de Guerre. Le Capitaine de St EXUPERY est affecté à la 3ème escadrille.

В офицерской столовой. Доска вылетов, оформленная Сент-Эксом. Слева — «Вылет», справа — «Возвращение».

В полете.



18 июня 1944 года. Сент-Экс среди личного состава эскадрильи 2/33.

специалистом по аэродинамике профессором Теодором фон Карманом, руководителем лаборатории аэронавтики фонда Гугенхейма в Пассэдине.

Фон Карман чрезвычайно заинтересовался новыми идеями Сент-Экса об использовании вертикальных подъемных сил — идеями, являвшимися оригинальным приложением принципов, разработанных знаменитым русским ученым Н. Е. Жуковским. Американский ученый приглашает Сент-Экзюпери посетить его лабораторию в Пассэдине. При этом посещении Антуан излагает фон Карману ряд идей, одну оригинальнее другой. После разговора с Сент-Эксом фон Карман пишет директору НАКА (Национальный консультативный комитет по вопросам аэронавтики) — главного исследовательского центра США — письмо, в котором приблизительно в следующих выражениях говорит:

«У меня только что побывал знаменитый французский летчик и писатель. Антуан де Сент-Экзюпери, который изложил мне ряд идей, относящихся к аэродинамике. Это удивительно новые идеи, способные внести в нашу науку переворот. В особенности одна из них, которая показалась мне настолько интересной, что я прошу вас срочно приступить к опытам по проверке ее».

Генерал Шассэн, у которого мы заимствуем эти данные, добавляет:

«Когда я ознакомился с этим письмом, копию которого фон Карман послал Сент-Экзюпери, и поздравил Антуана, он ответил мне: «Это еще что! После войны мы приведем в исполнение мои идеи относительно реактивных двигателей. Увидите, они произведут революцию... И у меня есть все основания полагать, что идеи эти могут получить практическое применение. В моей жизни я взял пять патентов на изобретения — и четыре из них я продал!»

Квартира, в которой Антуан жил в Нью-Йорке, вся завалена различными механическими игрушками. Иногда он сам фабрикует какую-нибудь. Подруге его удалось приехать к нему в Нью-Йорк. Она всегда действовала на него успокоительно. С момента ее

приезда он начал усиленно работать над своей новой книгой.

Теперь он уже не пишет, а наговаривает в диктофон. Потом секретарь воспроизводит запись и на электрической пишущей машинке (Антуан хотел обязательно, чтобы на электрической, и радовался, как дитя) переписывает на бумагу.

В феврале 1942 года, почти год спустя после приезда Сент-Экзюпери в Нью-Йорк, выходит его книга «Военный летчик». В США она появляется под названием «Полет в Аррас», и на долю ее сразу же выпадает огромный успех. Книга произвела впечатление молнии, внезапно прорезавшей ночь. Нет, образ этот неправилен! Книга эта была светом, разлившимся повсюду во тьме. Она оказала огромное влияние на американское общественное мнение. И надо сказать, ни от кого другого американцы не потерпели бы тех горьких истин в свой адрес, которые в ней высказаны.

«Война — это не приключение. Война — болезнь наподобие тифа...

Существует основной закон: нельзя разом превратиться из побежденных в победителей. Сказать об армии, потерпевшей поражение, что она отступила, а потом сопротивляется, — это выразить мысль скороговоркой. Отступившие войска и те, которые теперь вступают в битву, не те же самые. Отступавшая армия уже не была армией, и не потому, что ее солдаты уже не были достойны побеждать, а потому, что отступление разрушает материальные и духовные узы, объединяющие людей в одно целое. Сумму солдат, которым дали отойти в тыл, заменяют свежими резервами, обладающими всеми признаками организма. Вот они-то и задерживают неприятеля. Что до беглецов, то их собирают и из них лепят заново армию. Если отсутствуют резервы, которые можно бросить в дело, первое же отступление непоправимо.

Только победа сводит всех в один узел. Поражение не только разделяет людей, но и лишает человека внутреннего согласия. И если беглецы не оплакивают Францию, которая рушится, то это потому, что

они побеждены. Это значит, что Франция рушится не вокруг них, а в них самих. Оплакивать Францию значило бы уже быть победителем.

Судить о Франции надо по ее готовности идти на жертвы. Франция приняла войну вопреки истине логистов, которые говорили: «Немцев восемьдесят миллионов, мы не можем за год произвести на свет сорок миллионов недостающих нам французов, мы не можем превратить наши пашни в угольные шахты. Мы не можем надеяться на помощь Соединенных Штатов. Почему, когда немцы посягали на Данциг, это обязывало нас не спасать Данциг, что невозможно, а во избежание позора покончить самоубийством? Какой позор в том, что мы пахари и создаем больше хлеба, чем машин, и что нас — один против двоих? Почему позор должен пасть на нас, а не на весь мир?» Логисты были правы. Для нас война означала крах. Но должна ли была Франция ради того, чтобы иметь одним поражением меньше, отказаться от войны? Не думаю. И Франция своим внутренним чутьем рассудила так же. Ибо все эти предупреждения не заставили ее отказаться от войны. Дух у нас возобладал над разумом.

Под натиском жизни готовые формулы всегда трещат по швам. Поражение, несмотря на все его уродства, может оказаться единственным путем к возрождению.

Мне хорошо известно: чтобы создать дерево, семя обрекают на захоронение. Первый акт сопротивления, если он запаздывает, всегда проигрышен. Но он будит. Возможно, из него, как из семени дерево, вырастет сопротивление...

В эти дни, в час, когда иностранное общественное мнение считало наши жертвы недостаточными, глядя, как вылетают и гибнут экипажи, я спрашивал себя: «Чему мы приносим себя в жертву? Чем еще она окупается?»

Ибо мы умираем. Ибо сто пятьдесят тысяч французов уже погибли за пятнадцать дней. Эти смерти

не говорят, быть может, об исключительном сопротивлении. Но я отнюдь не прославляю исключительное сопротивление. Оно невозможно. Однако кучки пехотинцев дают себя уничтожить на какой-нибудь незащищенной ферме, которую невозможно отстоять. И авиачасти тают, как воск, который бросают в огонь.

Так почему же мы, бойцы авиасоединения 2/33, приемлем еще смерть? Чтобы не уронить перед миром свой престиж? Но это предполагает существование какого-то арбитра. А кто же из нас признает за кем бы то ни было право нас судить? Мы сражаемся за то, что считаем общим делом. Вопрос идет не только о свободе Франции, но и о свободе всего мира. Мы считаем, что быть арбитром чересчур удобно. Это мы судим арбитров. Бойцы из моего авиасоединения 2/33 судят арбитров...

За что, в конечном счете, мы еще сражаемся? За Демократию? Если мы умираем за Демократию, значит мы солидарны со всеми Демократиями. Пусть же они сражаются бок о бок с нами! Но самая могущественная из них, единственная, которая могла бы нас спасти, отказалась от этого вчера, отказывается и сегодня. Ну что ж! Это ее право. Однако тем самым она ставит нас в известность, что мы сражаемся только за собственные интересы. Но ведь мы знаем, что все потеряно. Зачем же мы продолжаем умирать?

Из отчаяния? Но в нас вовсе нет отчаяния. Вы понятия не имеете о том, что такое поражение, если вы думаете найти в нем отчаяние.

Завтра мы будем молчать. Завтра для сторонних свидетелей мы будем побежденными. Побежденные должны молчать. Как прорастающее зерно».

Сент-Экзюпери пользуется в США репутацией кристально-чистой души — его окрестили «Конрадом неба» и «Рыцарем воздушной стихии», что в глазах

американцев немалая честь, — и никто не решается поднять голос, чтобы ему возразить.

Никто? Никто из американцев. Зато шавки из окружения де Голля раздражаются бешеным лаем, переходящим в завывания.

В то же время «Военный летчик» выходит и во Франции. Немецкая цензура пропустила книгу, вычеркнув в ней только слова «Гитлер идиот». Петэновская цензура поначалу вообще не обратила на нее внимания. Но бдительные вишийские «патриоты» не дремали. Они очень скоро поняли, какую бомбу замедленного действия представляет собой это произведение, и подняли отчаянный вопль.

Через несколько дней после выхода «Военного летчика» П. А. Кусто публикует в «Же сюи парту» от 15 января 1943 года статью под заголовком «По поводу одной провокации»:

«...Военный летчик» — это апофеоз иудейского подстрекательства к войне — оправдание всех преступлений, совершенных против Франции до и после войны, иллюстрация всех глупостей и гадостей, от которых мы сейчас гибнем и о которых автор любовно вспоминает, выделяя их прописными буквами и млея от самолюбования.

Такова эта возмутительная книга, которая цинично оправдывает Блюма, Рейно и Манделя вопреки нашим двумстам тысячам убитых... это книга, которая притязает на то, чтобы вызвать у нас систематическое отрицание фашистских ценностей, единственных способных еще нас спасти».

Самым яростным и глупым нападкам писатель подвергся в статье Масто в газете «О пилори» под заголовком «Пережиток 48-го года»: «Господин де Сент-Экзюпери все еще носит с идеями революции 1848 года, с правами Человека, с масонскими лозунгами: свобода, равенство, братство. Это предательство, полное и безоговорочное присоединение к деголлевщине. «Военный летчик» — это точное воспроизведение рассказней Би-би-си».

В своем донесении немецким властям Жерар, начальник канцелярии комиссара по делам евреев,

привлекает внимание немецких цензоров в следующих выражениях:

Министерство
Внутренних Дел
Генеральный комиссариат
по делам евреев

18 января 1943 года
Французское государство
Генеральный комиссар
по делам евреев
господину доктору Бофингеру

ПЖ/ОД

Господин доктор,

как следствие разговора, который я имел честь вести с вами вчера вечером, 17 января, я дал распоряжение приобрести книгу, о которой я вам говорил: «Военный летчик» Антуана де Сент-Экзюпери. К несчастью для нас, но к счастью для общественного мнения, эту книгу недавно изъяли.

Поэтому я не могу вам ее выслать.

Могу лишь отметить факт, что героем этого романа является некий Израэль, которого автор нам представляет в самом лучшем свете.

К тому же фашистские войска приравниваются к «невольничьему рынку».

Эта книга является доказательством невозмутимейшего подстрекательства к войне. «Но должна ли была Франция, — восклицает г-н де Сент-Экзюпери, — чтобы иметь одним поражением меньше, отказать от войны? Не думаю». В то время как радио старается внедрить в народное сознание такую очевидную истину, поражаешься, что г-н де Сент-Экзюпери может занять «согат ролю» — позицию, которая находится в явном противоречии со здравым смыслом и тем, что я назову «европейской линией».

Но что еще любопытнее в отношении этой книги, не имеющей будущего, это восторженные комментарии большинства критиков парижской прессы.

Удивительно, что на оккупированной территории такое оскорбление немецкой армии («невольничий рынок»), новой Европы («да здравствует война 1940 года!») может прославляться следующими людьми: г-ном Жаном Пьером Максансом, который в га-

зете «Ожурдюи» советует молодым людям сделать «Военного летчика» своей настольной книгой.

Г-ном Морисом Бетцом, который в газете «Пари миди» говорит о ней как о шедевре, «проникнутом высоким гуманизмом и таким великодушием и простотой, которые лишь близость к небу как бы дает человеку».

Г-ном Мак-Орланом, который в газете «Нуво тан» раздражается дифирамбами по поводу «произведения, которое без натяжки достигает совершенства... и, — добавляет он, — значительной и прекрасной книги, быть может, наиболее правдивой книги о войне 1939—1940 годов. Я прочитал ее два раза, и у меня возникло желание сделать так, чтобы ее читали. Для большинства людей эта книга явится назидательным уроком, а других она ободрит».

Г-ном Пьером Монтане в «Комедиа», где он пишет: «Из всех книг, рассказывающих о поражении, написанных людьми, участвовавшими или не участвовавшими в войне, «Военный летчик» — единственная достойная Франции, единственная, в которой достоинство и благородство чувств находятся в соответствии с прошлым величием нашей страны».

Г-ном Мариусом Ришаром, который в «Революсь-он насиональ» (о, ирония!) воспевает ее в следующих словах: «Самим своим глубоким существом, своей формой, благородством и насыщенностью это самая прекрасная книга, вдохновленная военными событиями. У нее пропорции собора, и по значительности она соответствует собору. Это одна из тех книг, которые спасают нашу честь».

Если спасение чести заключается в том, чтобы называть европейские армии «невольничьим рынком», восхвалять евреев и вообще воспевать бедствия, обрушившиеся на Европу, то национально мыслящие французы ничего больше не понимают!

Во всяком случае, особенно интересно отметить, кто эти люди, которые разразились такими панегириками, потому что не подлежит сомнению, что это рисует их как еврейских друзей, горячих друзей, которые ждут лишь малейшего инцидента, дабы высту-

пить против национальной и антиеврейской революции.

Прошу вас, господин доктор, принять уверения в моем нижайшем почтении.

Р. S. Сестра господина Сент-Экзюпери замужем за англичанином, по имени Черчилль, который живет в Карнаке (департамент Морбиган)».

Вишийское правительство спохватилось и изъяло книгу. Но поздно. Уже разошлось 5 тысяч экземпляров, и уже Соппротивление, оценив по достоинству произведение, переиздало его в подпольной типографии «Эдисьон де минюи», организованной при активном участии Веркора.

Один из организаторов подпольной «Леттр франсез», литератор-коммунист Луи Паро, пишет в своей книге «Интеллигенция в войне», вышедшей в Париже в конце 1945 года:

«...Книги Сент-Экзюпери, переведенные в США, в Англии и в Южной Америке, помогли вернуть нам уважение наших друзей. Журналы Нью-Йорка, Лондона, Буэнос-Айреса оспаривали друг у друга каждую строчку, вышедшую из-под его пера. Сент-Экзюпери — герой интеллигенции в войне и в противовес многим французам, эмигрировавшим сразу же после разгрома, он никогда не терял веры в народные силы полоненной Франции. «Спасение страны будет делом ее собственных рук, — говорил он, — самое лучшее, что мы можем сделать за рубежом, это служить сорока миллионам заложников, ожидающих своего освобождения...» И, клеймя гнусную доктрину, которую оккупанты и их приспешники хотели навязать стране, он писал: «Уважение к человеку!.. Это и есть краеугольный камень! Когда нацист уважает лишь подобного себе нациста, он никого не уважает, кроме самого себя. Он не приемлет творческих противоречий, уничтожает всякую надежду на духовный рост и вместо человека создает на тысячелетие робота в муравейнике. Порядок ради порядка оскотливляет человека, лишает его основной силы, заключающейся

в том, чтобы преобразовать мир и самого себя... Жизнь создает порядок, но сам по себе порядок не создает жизни...»

Автор «Военного летчика», «Ночного полета», «Земли людей» не только один из величайших французских писателей, но это еще и человек, для которого нет жизни без свободы, и примерный патриот, умеющий подкреплять свои мысли действиями. Его замечательная книга «Военный летчик» была запрещена во Франции в 1943 году по выходе из печати, потому что он выступал за Францию и против нацизма. В своем шестом подпольном номере «Леттр франсэз» писала тогда:

«И не к сожалению, и не к чести, и даже не к бунту призывает нас Сент-Экзюпери. Его раздумья в полете посреди смертельных опасностей призывают нас не покаяться, не отречься от себя, а стать тем, чем мы были только на словах: свободными, равными...»

«Значительнейшие произведения французского Сопротивления, — замечает по этому поводу участник Сопротивления, известный французский прогрессивный писатель и литературовед Пьер Дэкс, — постигла во время войны переменчивая участь: «Молчание моря» Веркора, безоговорочно принятое и понятое в оккупированной Франции, не всегда так же благоприятно воспринималось политическими заключенными нацистских концлагерей. Да и в Советском Союзе произведение Веркора было сначала очень плохо принято. «Военный летчик», на долю которого выпал во Франции и в США огромный успех, был очень плохо воспринят кругами «Свободной Франции» и особенно ее «тыловиками»...»

Удивительное совпадение точек зрения деголлевских и петэновских кругов в свете того, что происходит сегодня, не случайность. Если аргументация у них и не одна, причина их ненависти к писателю одна и та же. И тем и другим чужды идеалы, за которые призывал сражаться Сент-Экзюпери:

«...Я не хочу забыть все, что я видел. Чтобы не забыть, мне необходим простой символ веры.

Я буду сражаться за приоритет Человека над личностью, как и за приоритет всеобщего над частным.

Я верю, что культ Всеобщего воодушевляет, сводит в один узел отдельные ценности, создает единственный настоящий порядок; порядок этот — сама жизнь. Дерево — порядок, несмотря на весьма отличные друг от друга корни и ветви.

Я верю, что культ частного ведет только к смерти, ибо он основывает порядок на схожести. Он путает единство Существа и тождество его частей. Он разрушает собор, чтобы уложить в единый ряд камни. Поэтому я буду биться с каждым, кто вознамерится навязать приоритет отдельного обычая над всеми другими, приоритет одного народа над другими народами, одной расы над другими расами, одной мысли над другими мыслями.

Я верю, что приоритет Человека создает единственное Равенство, единственную Свободу, в которых есть смысл. Я верю в равенство прав Человека через посредство каждой личности. И я верю, что Свобода в том, чтобы стать Человеком. Равенство — не тождество. Свобода — не поблажка личности вопреки Человеку. Я буду биться с каждым, кто вознамерится подчинить личности — как и массе личностей — свободу Человека.

Я верю, что моя цивилизация называет Милосердием жертвоприношение Человеку, дабы установить его господство. Милосердие — это дар Человеку в обход посредственности личностей. Милосердие создает Человека. Я буду биться с каждым, кто, утверждая, что милосердие — дань уважения к личности, откажется от Человека и тем самым сделает навсегда личность пленницей посредственности.

Я буду биться за Человека. С его врагами. Но и с самим собой».

Для деголлевских политиков вопрос стоял еще так: не слишком ли прямолинейно писатель настаивает на том, что Франция в 1940 году потерпела поражение? Не оправдывает ли он тем самым перемирия

Петэна? Не призывает ли он этим французов, еще следующих за маршалом Петэном, включиться в борьбу за независимость Франции?

Отсутствие авторитетных деятелей Третьей республики в деголлевском лагере вызывало у генерала и примкнувших к нему эмигрантов «комплекс неполноценности» и соответствующие реакции. Пуще всего деголлевцы в то время боялись утратить монополию «патриотизма», монополию борьбы за освобождение. Против Сент-Экзюпери — все, кто участвует в политической грызне эмиграции.

Любовь Сент-Экзюпери к Франции не всегда правильно понимали его земляки в Америке. Сам он настолько остро чувствовал и разделял страдания своей родины, что находил их чрезмерный оптимизм легкомысленным. Для него настали горькие годы, в которые он все же пытается проявлять активность, делать какое-то доброе дело. Он выступает с докладами, много пишет и, помимо публикуемых им произведений, неустанно работает над «Цитаделью».

И как могли ограниченные умы политиканов, занятых уже возней за распределение теплых мест, понять и принять высокие принципы патриотизма и в то же время глубочайшего гуманизма, провозглашенные писателем в «Военном летчике»? Ведь признание, что, обливая грязью родную страну, пачкаешься сам, никак не могло быть им по душе.

«Никаких сомнений в спасении у меня нет, — писал Сент-Экзюпери, — и не может быть. Мне уже яснее мой образ огня для слепого. Раз слепой идет к огню, значит в нем родилась потребность в огне. Огонь уже управляет им. Раз слепой ищет огонь, значит он его уже обнаружил. Так скульптор уже несет в себе свое творение, если его тянет к глине. И с нами происходит то же самое. Мы ощущаем всю теплоту нашей близости: вот почему мы — уже победители...

Вот почему по возвращении с Аррасского задания — и, как мне кажется, просвещенный этим уроком — в тиши деревенской ночи, прислонясь к стене,

я начинаю внушать себе простые правила, от которых никогда не отступлюсь.

Раз я плоть от их плоти, что бы они ни совершили, никогда я не отрекусь от своих. Никогда я не выступлю против них при чужих. Если только представится возможность вступить за них, я вступлюсь. Если они покроют меня позором, я замкнусь с этим позором в сердце и буду молчать. Что бы я тогда ни думал о них, никогда я не выступлю свидетелем обвинения. Муж не ходит по соседям рассказывать, что жена его распутница. Так он не защитит своей чести. Ведь жена — из его семьи. Он не может возвыситься за ее счет. Только вернувшись домой, он вправе выразить свой гнев.

Так никогда я не откажусь от ответственности за поражение, хотя это и будет меня унижать не раз. Я — плоть от плоти Франции. Франция породила Ренуаров, Паскалей, Пастеров, Гийоме, Ошеде. Она породила бездарности, политиков и шулеров. Но, думается мне, очень уж это удобно производить себя от одних и отрицать всякое сродство с другими.

Поражение разделяет. Поражение разлаживает налаженное. В этом таится смертельная угроза. Я отказываюсь способствовать разладу и сваливать ответственность за катастрофу на тех, кто мыслит не так, как я. Судебное разбирательство в отсутствие судьи — ни к чему. Все мы потерпели поражение. Я — побежденный. Ошеде — побежденный. Ошеде не сваливает вину за поражение на других. Он говорит себе: «Я, Ошеде, плоть от плоти Франции, оказался слаб. Франция оказалась слаба. Я — слаб в ней, а она — во мне». Ошеде знает, если он отвернется от своих, то восславит только себя. А тогда он уже не Ошеде определенного дома, семьи, соединения, страны — он не более, чем Ошеде пустыни.

Если я разделю позор моей семьи, я могу и действовать на мою семью. Но если я свалю позор на других, семья моя развалится, и я останусь одиноким. Со всей своей доблестью я буду никчемнее мертвеча.

...Каждый ответствен за всех. Каждый ответствен

сам. Каждый ответствен сам за всех. Впервые мне становится понятно одно из таинств религии, породившей цивилизацию, к которой я утверждаю свою принадлежность: «Нести на себе грехи людей...» И каждый несет на себе грехи всех людей.

Кто может усмотреть в этом доктрину слабого? Начальник тот, кто приемлет на себя всю ответственность. Он не говорит: «Моих солдат побили». Он говорит: «Меня побили». Настоящий человек говорит только так. Ошеде сказал бы: «Виноват я».

Мне понятен смысл смирения. Это не отказ от себя. Это сама суть действия. Если, стараясь обелить себя, я оправдываю свои неудачи злым роком, тем самым я ставлю себя в зависимость от рока. Но если я принимаю ответственность за вину, я утверждаю свое могущество человека и могу тогда воздействовать на свою сущность. А я — составная часть человеческой общины.

Есть, значит, некто во мне, кого я перебарываю, чтоб возвеличиться. Нужно было проделать этот трудный полет, чтобы начать так разбираться в себе, научиться в какой-то мере отличать личность, с которой я борюсь, от человека, который духовно растет. Не знаю, чего стоит образ, который приходит мне на ум, но я говорю себе: личность — только путь.

Меня уже не удовлетворяют спорные истины. Какой смысл обвинять личности? Они — лишь пути и переходы. Я не могу уже ни сваливать вину за мои замерзшие пулеметы на нерадивость чиновников, ни объяснять отсутствие помощи от дружественных народов их эгоизмом. Конечно, поражение несет с собой банкротство отдельных личностей. Но цивилизация лепит людей. И если той цивилизации, свою принадлежность к которой я утверждаю, угрожает несостоятельность личностей, я вправе спросить себя: почему она не вылепила их другими?

Цивилизация, подобно религии, — обвинение самой себе, если она сетует на слабодушие своих приверженцев. Это ей надлежит их воодушевлять. Точно так же, если она жалуется на ненависть своих врагов. Ведь это ей надлежит обратить их в свою веру. Одна-

ко моя цивилизация, которая некогда была на высоте и сумела воспламенить апостолов, низвергнуть тиранов, освободить рабов, оказалась сегодня не в состоянии ни воодушевлять, ни обращать в свою веру. Если я хочу найти корни различных причин, приведших меня к поражению, если я намереваюсь возродиться, надлежит сперва вернуть растроченный мной фермент.

Ибо с цивилизацией происходит то же, что и с хлебом. Пшеница кормит человека; со своей стороны, человек оберегает пшеницу, засыпая зерно в закрома. От хлебов к новым хлебам запасы зерна неприкосновенны, как наследство.

Недостаточно знать, какие хлеба я хочу вырастить. Если я хочу спасти определенный тип человека — и его могущество, — я должен спасти и те принципы, на которых он создается...»

Чтобы занять какое-нибудь теплое место, нужно кого-нибудь спихнуть. Значит надо его предельно опорочить. Вопрос: «А где ты сам был?» — никогда не стоял ни перед одним политиканом.

Что до самого де Голля, то вряд ли он читал в то время «Военного летчика».

Неприятие Сент-Экзюпери деголлизма, в особенности в той форме, в которой он выразился в Америке, явилось для писателя причиной величайшей душевной драмы.

Сент-Экзюпери не признает ни за кем за рубежом, ни за собой в том числе, право говорить от имени Франции. Роль эмиграции, в его понимании, не предрешать судьбу Франции, а только служить ей. Решать судьбу страны будет сам народ.

В то же время для писателя характерна недооценка некоторых чисто политических факторов. Так, например, никогда бы он не написал: «Нам предлагают винтовки — винтовки есть для всех», если бы он был осведомлен о различии, которое как раз и делалось между партизанами в оккупированной Франции — там ведь вооружали только тех, кто не был связан с коммунистами. Но все это Сент-Экзюпери не было известно. Зато он хорошо представлял

себе политическую возню, поднявшуюся в Алжире сразу после высадки союзников, и она-то и вызвала его сильнейшее негодование и отповедь. Сент-Экзюпери был тем более возмущен алжирской грызней (Жиро — де Голль), что она тормозила военные усилия.

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

Чистота помыслов Сент-Экзюпери не обезоруживает его врагов, а, наоборот, подливает масла в огонь их ненависти. Его всячески обливают грязью, пытаются обвинить в том, что он-де вишийский агент. Его обвиняют даже в трусости.

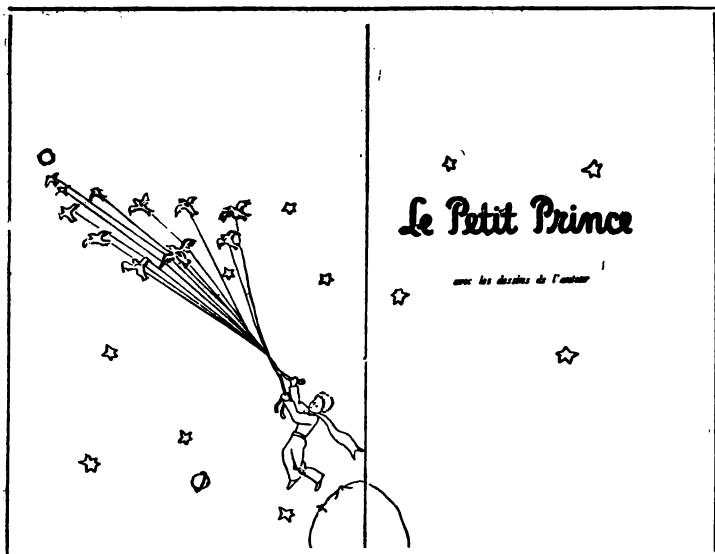
Генерал де Голль никогда не пользовался популярностью в США. Вашингтон одно время отказывался признать его главой французского временного правительства. Поддержка весьма уважаемого в Америке писателя могла иметь для него значительный интерес. Критическое отношение к себе он воспринимает с озлоблением. Де Голль становится непримиримым врагом Сент-Экзюпери.

Генерал Шассэн вспоминает:

«В речи о французской Мысли, произнесенной генералом де Голлем в 1943 году на форуме в г. Алжире, речи, в которой он упомянул даже о писателях весьма незначительных, он совершенно умолчал об Антуане де Сент-Экзюпери».

Злоба и ненависть — плохие советчики, они увлекают этого своеобразно умного и даже одаренного человека на жалкую, недостойную месть: он категорически отказывается Сент-Экзюпери в праве сражаться за освобождение родины. Ибо с 8 ноября 1942 года, дня высадки союзников в Северной Африке, Сент-Экс неустанно хлопочет о разрешении вступить в военно-воздушные силы «Сражающейся Франции» в качестве военного летчика.

«Маленький принц» написан в этот период и вышел в США, когда Сент-Экзюпери был уже в Алжире. Как и «Послание заложнику», он посвящен Леону Верту.



Le Petit Prince

avec les dessins de l'auteur

«ЛЕОНУ ВЕРТУ.

Прошу прощения у детей за то, что посвятил эту книгу взрослому. Но у меня есть для этого уважительная причина: этот взрослый — мой лучший друг. Есть у меня и другая причина: этот взрослый понимает все, даже детские книжки. И еще третья причина: этот взрослый живет во Франции, где ему холодно и голодно. Он нуждается в утешении. Если все эти причины недостаточно вески, я готов посвятить эту книгу ребенку, которым был когда-то этот взрослый. Все взрослые были раньше детьми. (Но мало кто из них помнит об этом.) Поправляю свое посвящение:

Леону Верту,
когда он был маленьким мальчиком...»

Согласно некоторым свидетельствам, Леон Верт предложил Сент-Экзюпери написать предисловие к «Военному летчику». То ли между ним и автором

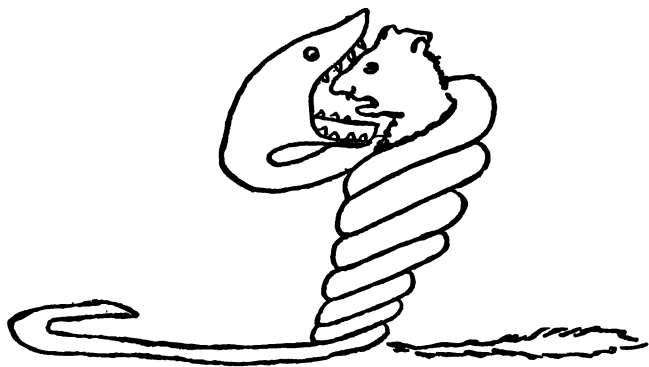
возникли некоторые принципиальные разногласия, то ли обстоятельства — трудность переписки в военное время — помешали осуществлению этого плана. Так или иначе, Сент-Экзюпери захотел подчеркнуть, что это ни в чем не изменило его отношения к Верту.

Было бы кощунством пытаться пересказать эту очаровательную сказку. Поэзию не пересказывают.

«Мир воспоминаний детства, нашего языка и наших игр... всегда будет мне казаться безнадежно более истинным, чем любой другой», — писал когда-то матери Антуан. Этот преждевременно полысевший человек, на которого жизненные бури и физические недуги наложили свою неизгладимую печать, и теперь на вопрос, откуда он, мог бы ответить: «Я из моего детства. Я пришел из детства, как из страны...»

И сказка «Маленький принц» — галерея образов, возникающих в мозгу зрелого человека, размышляющего о прожитой жизни, начинается с возврата в мир детства:

«Когда мне было шесть лет, как-то в книжке о девственном лесе под названием «Рассказы о пережитом» я видел прекрасную картину. На ней был изображен удав, глотающий какого-то зверя. Вот как выглядел этот рисунок:



В книжке было сказано: «Удавы глотают свою жертву целиком, не разжевывая. Потом они не в состоянии двигаться — шесть месяцев спят и переваривают пищу».

Я в то время много думал о различных происшествиях в джунглях, и с помощью карандаша и красок мне удалось нарисовать свою первую картинку. Мой рисунок номер 1 выглядел вот так:

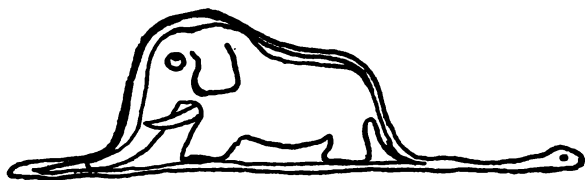


Я показал этот рисунок взрослым и спросил их, внушает ли он им страх.

Они отвечали: «Почему шляпа должна внушать страх?»

Мой рисунок изображал вовсе не шляпу. Он изображал удава, переваривающего слона.

Тогда я нарисовал удава в разрезе, чтобы взрослые могли понять. Они всегда нуждаются в объяснениях. Мой рисунок номер 2 выглядел вот так:



Взрослые посоветовали мне бросить изображение удавов, а заняться лучше географией, историей, арифметикой и грамматикой. Так случилось, что шести лет от роду я был принужден навсегда отказаться от

блестящей карьеры художника. Меня разочаровали неудачи моих рисунков номер 1 и номер 2. Взрослые никогда ничего самостоятельно не понимают, а ведь для детей утомительно всегда и все им разъяснять.

Я был вынужден избрать иную профессию — научился водить самолеты. Я летал понемногу по всему свету. И география действительно мне порядком пригодилась. С первого взгляда я научился отличать Китай от Аризоны. Это особенно полезно, когда заблудишься ночью.

Благодаря моей профессии я всю жизнь сталкивался со множеством серьезных людей. Я долго прожил среди взрослых. Я наблюдал их вблизи. Это мало улучшило мое мнение о них.

Когда мне встречался какой-нибудь взрослый, казавшийся мало-мальски разумным, я проверял на нем впечатление от рисунка номер 1, который всегда хранил. Меня интересовало, насколько этот взрослый понятлив на самом деле. Но всегда получал ответ: «Эта шляпа». И тогда я не говорил с ними ни об удавах, ни о девственном лесе, ни о звездах. Я опускался до его уровня: говорил с ним о бридже, о гольфе, о политике и галстуках. И взрослому радовало знакомство со столь рассудительным человеком.

Так жил я одиноко, и мне не с кем было по-настоящему поговорить до аварии, постигшей меня шесть лет назад над Сахарой. Что-то сломалось в моем моторе. А так как со мной не было ни механика, ни пассажиров, то надо было попытаться произвести сложную починку самостоятельно. Дело шло о жизни и смерти. Запаса воды хватало едва на восемь дней.

В первый вечер я уснул на песке в тысяче миль от обитаемой земли. Я был оторван от всего более, чем потерпевший кораблекрушение на плоту посреди океана. Представьте же мое удивление, когда на заре меня разбудил странный тоненький голосок. Он произнес:

— Пожалуйста... нарисуй мне барашка!

Я вскочил, как если бы с ясного неба ударил гром. Хорошенько протер глаза. Огляделся. И увидел совершенно необыкновенного человечка, серьезно глядевшего на меня. Вот его портрет, лучший из тех, которые мне впоследствии удалось нарисовать. Мой рисунок, разумеется, куда хуже очаровательного оригинала. Но это не моя вина. Когда мне было шесть лет, взрослые помешали мне стать художником, и я так и не научился ничего рисовать, кроме удава в профиль и в разрезе.

Выпучив от удивления глаза, я уставился на представшее мне видение. Не забудьте, что я находился в тысяче миль от какого бы то ни было жилья! А между тем мой человечек не выглядел ни смертельно усталым, ни умирающим от изнурения, ни изнывающим от жажды. Он ничуть не походил на ребенка, затерявшегося среди пустыни. Когда ко мне вернулась способность говорить, я сказал ему:

— Что ты тут делаешь?

И он повторил совсем тихо, как говорят об очень важном деле:

— Пожалуйста... нарисуй мне барашка...

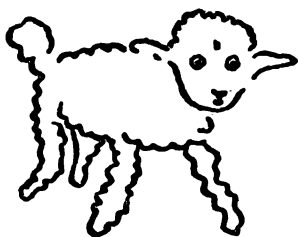
Когда загадочное так поразительно, невозможно не повиноваться. Как ни казалось мне это нелепым, за тысячу миль от жилья, в смертельной опасности, я вытащил из кармана листок бумаги и авторучку. Но тут же вспомнил: ведь я изучал главным образом географию, историю, арифметику и грамматику; и сказал (с некоторой досадой) маленькому человечку, что не умею рисовать. Однако он возразил мне:

— Ничего. Нарисуй мне барашка!

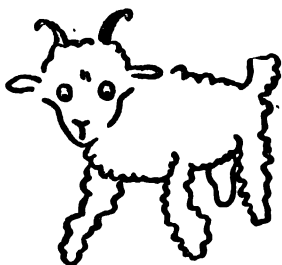
Я никогда не рисовал барашков и поэтому набросал один из рисунков, на которые только и был способен. Каково же было мое удивление, когда в ответ я услышал:

— Нет! Нет! Не надо мне слона в удаве! Удав очень опасен, а слон занимает много места. Мои владения так малы! Мне нужен барашек. Нарисуй мне барашка!

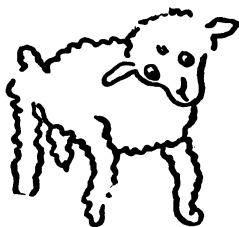
И я нарисовал.



Человечек внимательно взглянул на рисунок:
— Нет! Этот очень болезненный. Сделай другого!
Я нарисовал другого.



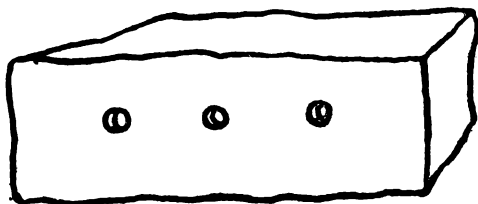
Мой друг мило и снисходительно улыбнулся.
— Ты же видишь... Это не барашек, а баран! У него рога...
Я нарисовал еще одного.



Он был отвергнут, как и предыдущие:

— Этот слишком старый! Я хочу, чтобы мой барашек долго жил...

Выведенный из терпения — следовало спешно приступить к починке мотора! — я набросал ящик.



— Это ящик. Барашек, которого ты требуешь, внутри!

Но, к моему глубокому удивлению, лицо моего юного судьи засветилось от радости.

— Вот такого как раз я и хотел! Как ты думаешь, много нужно травы этому барашку?

— А что?

— Мои владения так малы...

— Хватит ему травы. Я дал тебе совсем маленького барашка.

Он наклонился над рисунком.

— Не такого уж маленького... Смотри! Он уснул.

Вот как произошло мое знакомство с маленьким принцем.

Понадобилось немало времени, прежде чем я понял, откуда он. Маленький принц расспрашивал о многом, но, казалось, не замечал моих вопросов. Случайно оброненные им слова мало-помалу открыли мне все. Так, когда он впервые заметил мой самолет (я не могу нарисовать мой самолет: это чересчур сложно для меня), он спросил:

— Что это за штука?

— Это не штука. Это летает. Это самолет. Мой самолет.

И я с гордостью объяснил ему, что летаю. Тогда он воскликнул:

— Что? Ты упал с неба?!

— Да, — скромно признался я.

— Вот смешно-то!

И маленький принц звонко рассмеялся, что меня очень раздосадовало. (Я требую серьезного отношения к моим злоключениям.) Затем он сказал:

— Значит, и ты явился с неба! С какой планеты?

Тайна его присутствия как бы озарилась светом, и я неожиданно спросил:

— Так ты с другой планеты?

Но он не ответил. Тихо качая головой, он рассматривал мой самолет.

— И то верно, на такой штуке вряд ли ты мог явиться издалека...

И он погрузился в раздумье, продолжавшееся довольно долго. Затем вытащил из кармана моего барашка и сосредоточил все внимание на этом сокровище.

Представляете себе, как я был заинтригован этим полупризнанием о «других планетах»? Я старался выпытать у него как можно больше:

— Откуда ты, маленький человечек? Где «твои владения»? Куда ты собираешься унести барашка?

Задумчиво помолчав, он ответил:

— Удобно, что подаренный тобой ящик ночью может служить ему домиком.

— Разумеется! И если ты будешь хорошим мальчиком, я подарю тебе веревку, чтобы привязывать его днем. И колышек.

Мое предложение, казалось, покорило маленького принца.

— Привязывать? Что за чепуха!

— Но ведь если ты не привяжешь его, он будет бродить повсюду и потеряется...

Мой юный друг снова звонко рассмеялся.

— Куда же он денется?

— Куда-нибудь. Пойдет все прямо и прямо куда глаза глядят...

На это маленький принц сказал:

— Какое это имеет значение? Мои владения так малы! — И, может быть, с некоторой грустью добавил: — Все прямо и прямо — далеко не уйдешь...

Вот так я узнал и вторую весьма важную подробность. Родная планета маленького принца была чуть больше обыкновенного дома!

Это не могло меня удивить. Я знал, что, помимо больших планет, таких, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, которым дали названия, существуют сотни других, иногда столь малых, что их почти невозможно различить в телескоп. Когда астроном открывает одну из них, то вместо названия он обозначает ее номером. Он называет ее, например: «Астероид 3251».

У меня есть серьезные основания думать, что планета маленького принца — астероид Б 612. Астероид этот был замечен в телескоп всего лишь один раз — в 1909 году турецким астрономом.

Он тогда выступил с большим сообщением о своем открытии на одном Международном конгрессе по астрономии. Но никто не поверил ему из-за его костюма. Такая уж публика эти взрослые.

К счастью для репутации астероида Б 612, один турецкий диктатор под угрозой смерти заставил свой народ одеваться по-европейски. Элегантно одетый астроном выступил вновь со своим докладом в 1920 году. На этот раз все с ним согласилось.

Если я вам изложил все так подробно об астероиде Б 612, если я доверил вам его номер, то это из-за взрослых. Взрослые любят цифры. Когда вы рассказываете им о каком-нибудь новом друге, они никогда не спросят о главном. Они никогда не скажут: «Какой у него голос? Во что он любит играть? Собирает ли он бабочек?» Они спросят: «Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец?» И только тогда им покажется, что они его знают. Если вы говорите взрослым: «Я видел красивый дом с геранями на окнах и голубями на крыше...» — они не в состоянии представить себе этот дом. Им надо сказать: «Я видел дом, который стоит».

сто тысяч». Тогда они восклицают: «Ах, как это красиво!»

Так, если вы им скажете: «Маленький принц не выдумка. Он был очарователен, смеялся и требовал барашка. А когда хочешь барашка, это значит, что ты существуешь», — они только пожмут плечами и назовут вас ребенком. Но если вы им скажете: «Планета, с которой он явился, — астероид Б 612», — это убедит их, и они оставят вас в покое со своими вопросами. Такая уж это публика! Не надо на них сердиться. Дети должны проявлять терпимость к взрослым.

Но мы-то, разумеется, понимаем жизнь, и что нам номера!»...

Образы, образы... чередуются, сменяются в мозгу автора — они и прозрачны и в то же время подернуты поэтической дымкой, как это бывает во сне или в грезах наяву. Подобно многим большим художникам пера (вспомним Пушкина, Лермонтова, Гоголя), Антуан испытывает потребность воплотить их не только в словах, но и зафиксировать в красочных рисунках, чтобы они не исчезли, не растворились. Но это трудно, ох, как трудно! Набрасывая образы своей сказки, он часто прибегал к зарисовкам с натуры. Зашедшему к нему во время работы приятелю он вдруг говорил:

«О, будьте так любезны, растянитесь на живот! Нет, не так. Согните ноги в коленях и вскиньте их вверх... До чего же трудно рисовать!..»

Результатом такой работы явилось то, что рисунки удивительно гармонично сочетаются в произведении со словесными образами, создавая редкое единство и пластичность целого.

Несмотря на душевную боль, которую не могли не вызывать развороченный ворох воспоминаний и толпящиеся перед внутренним взором образы, Антуан, по свидетельству навещавших его в это время друзей, работал над «Маленьким принцем» с огромным увлечением. Он как бы отводил душу.

«Я был у него в Лонг-Айленде в большом доме, который он снимал с Консуэло в то время, когда

писал «Маленького принца», — вспоминает Андре Моруа. — Работал он по ночам. Вечером, после обеда, он становился разговорчивым, рассказывал что-нибудь, пел, шутил, показывал карточные фокусы. Около полуночи, когда другие шли спать, он садился за письменный стол. Я засыпал. Часа в два ночи меня будили голоса на лестнице — возгласы: «Консуэло! Консуэло!.. Я голоден... Сделай мне яичницу». Консуэло спускалась. Окончательно проснувшись, я присоединился к ним, и снова Сент-Экс много и коротко говорил. Утолив голод, он опять садился за работу, а мы с Консуэло пытались задремать. Ненадолго. Не проходило и двух часов, как дом оглашался криками: «Консуэло! Мне скучно. Спустись, сыграем партию в шахматы!» Затем, когда мы были снова в сборе, он читал нам то, что только что написал, а Консуэло, сама поэт, предлагала ему разные остроумные варианты...»

«...Я хотел бы сказать, — пишет Сент-Экзюпери, — жил-был однажды маленький принц. Он жил на планете чуть побольше, чем он сам. И ему нужен был друг: для тех, кто понимает жизнь, так было бы куда правдоподобнее...»

Да, возможно, он так бы и сказал, но Антуан еще хочет верить, он еще не потерял своей жизнерадостности, своего врожденного оптимизма — и из-под пера его рождается уже знакомый по «Земле людей» и все же совершенно обновленный образ мудрого фенека. И, как и там в пустыне, когда он умирал от голода и жажды, этот образ заставляет его глубже проникнуть в суть вещей.

«Тут-то и появилась лиса.

— Здравствуй! — сказала лиса.

— Здравствуй! — вежливо отвечал маленький принц. Он обернулся, но не заметил никого.

— Я здесь, — раздался голос из-под яблони.

— Кто ты? — спросил маленький принц. — Ты так красива...

— Я лиса, — отвечала лиса.

— Поиграй со мной! — предложил маленький принц. — Мне так грустно...

— Не могу я играть с тобой, — отвечала лиса. — Я не приручена.

— Вот как! Прости, — сказал маленький принц.

Но, подумав немного, добавил:

— Что значит «приручить»?

— Ты не здешний, — сказала лиса. — Что ты ищешь?

— Я ищу людей, — отвечал маленький принц. — Что значит «приручить»?

— У людей, — сказала лиса, — есть ружья. И они охотятся. Это большая помеха! Они разводят кур. Только этим они и интересны. Ты ищешь кур?

— Нет, — отвечал маленький принц. — Я ищу друзей. Что значит «приручить»?

— Это давно забытое дело, — молвила лиса. — Это означает «создавать узы»..

— Создавать узы?

— Конечно, — отвечала лиса. — Пока ты для меня лишь маленький мальчик, подобный ста тысячам таких же маленьких мальчиков. Ты мне не нужен. И я тебе не нужна. Я для тебя лишь лиса, подобная ста тысячам таких же лис. Но если ты меня приручишь, мы станем друг другу нужны. Ты будешь для меня единственным в своем роде на всем свете. Я буду для тебя единственной в своем роде на всем свете...

— Я начинаю понимать, — сказал маленький принц. — Есть одна роза... Мне кажется, она меня приручила...

— Возможно, — молвила лиса. — Всякое случается на Земле.

— О! Это не на Земле! — отвечал маленький принц.

Лиса казалась весьма заинтригованной.

— На другой планете?

— Да.

— А на этой планете есть охотники?

— Нет.

— Вот это интересно! А куры?

— Нет.

— Ничто не совершенно! — вздохнула лиса. Однако она тут же вернулась к своей прежней мысли: — Жизнь моя однообразна. Я охочусь за курами — люди охотятся за мной. Все куры похожи одна на другую, и все люди схожи. Поэтому я малость скучаю. Но если ты приручишь меня, жизнь моя как бы озарится солнцем. Я буду узнавать звук шагов, отличный от всех других. Другие шаги заставляют меня зарываться в землю. Твои — вызовут меня, как музыка, из норы. Взгляни! Видишь там хлеба на полях? Я не ем хлеба. Пшеница мне ни к чему. Поля пшеницы мне ничего не говорят. И это грустно! Но у тебя золотистые волосы. И это будет так прекрасно, когда ты меня приручишь! Золотистая пшеница будет напоминать мне о тебе. Я люблю шелест ветра в пшеничных колосьях...

Лиса умолкла и долго смотрела на маленького принца.

— Пожалуйста... приручи меня! — сказала она.

— С удовольствием! — отвечал маленький принц. — Но у меня мало времени. Мне надо найти себе друзей и еще столько познать!

— Познаёшь, только когда приручаешь, — молвила лиса. — Людям некогда и нечего больше познавать! Они покупают у торговцев все готовое. Но торговцев друзьями не существует, и у людей нет больше друзей. Если хочешь иметь друга, приручи меня!

— Что нужно для этого делать? — спросил маленький принц.

— Надо быть очень терпеливым, — отвечала лиса. — Сначала ты сядешь поодаль от меня, вот так, на траву. Я буду следить за тобой уголком глаза, а ты будешь молчать. Речь — источник недоразумений. Но с каждым днем ты сможешь подсаживаться все ближе и ближе...

И маленький принц явился на следующий день.

— Было бы лучше приходить всегда в том же часу, — сказала лиса. — Если, например, ты будешь являться в четыре пополудни, с трех я уже начну радоваться. Чем ближе будет час твоего прихода, тем все счастливее я стану. В четыре часа я начну уже

сгорать от нетерпения и беспокойства. Я открою цену счастья! Если же ты будешь приходить, когда придется, я никогда не буду знать, на какой час настроить сердце... Нужна обрядность.

— Что такое «обрядность»? — спросил маленький принц.

— Это тоже нечто давно забытое, — отвечала лиса. — Это то, что отличает один день от другого, один час от другого. Обрядность существует, например, у моих охотников. По четвергам они пляшут с деревенскими девушками. Поэтому четверг — прекрасный день! Я совершаю прогулку до виноградника. Если бы охотники плясали каждый день, все дни походили бы один на другой, и у меня не было бы каникул.

Итак, маленький принц приручил лису. И когда стал приближаться час расставания:

— Ах!.. Я заплачу... — вымолвила лиса.

— Ты сама виновата, — сказал маленький принц. — Я желал тебе только добра, но ты захотела, чтобы я тебя приручил...

— Конечно, — сказала лиса.

— Но ведь ты теперь будешь плакать! — воскликнул маленький принц.

— Конечно, — вымолвила лиса.

— Вот ты ничего и не выиграла!

— Выиграла, — отвечала лиса. — А цвет пшеницы? — И она добавила: — ...Я открою тебе один секрет. Он очень прост: хорошо видишь только сердцем. Главное скрыто от глаз».

И в то же время, какая внутренняя трагедия звучит в одиноком крике в человеческой пустыне, когда маленький принц появляется на Земле:

«Маленький принц поднялся на высокую гору. Единственные горы, которые он когда-либо видел, были три доходившие ему до колен вулкана. «С такой высокой горы, — подумал он, — я разом увижу всю планету и всех людей...» Но он не увидел ничего, кроме остро отточенных скалистых игл.

— Здравствуйте! — сказал он на всякий случай.

— Здравствуй... здравствуй... здравствуй... — отвечало эхо.

— Кто вы? — спросил маленький принц.

— Кто вы... кто вы... кто вы... — отвечало эхо.

— Будьте моими друзьями. Я так одинок! — сказал он.

— Я одинок... я одинок.. я одинок... — отвечало эхо».

Людям, стремящимся непременно раскрыть аллегории и спорящим: «Роза — это Консуэло!» — «Нет, это Франция!» — «Лиса — это дружба!» — «Нет, это подруга». — «Нет, это Леон Верт». — «Баобаб — это зло вообще?» — «Нет, это фашизм» и т. д. и т. д., — можно смело ответить: «Да, вы правы, вы все правы. Эта аллегорическая сказка дает возможность читателю наполнить каждое слово текста наиболее близким ему содержанием, облечь каждый образ в реальную форму. Ибо внутреннее содержание этих форм — непосредственное отражение жизни».

Однако трудно все же отказаться от мысли, что маленький принц — это сам Сент-Экс. Хотел или не хотел того автор, но лучше всего он как бы воплотил и охарактеризовал самого себя. И разве не основной урок жизни заключается для него в простых словах, вложенных в уста маленького принца:

«— Люди у тебя на Земле, — сказал маленький принц, — выращивают пять тысяч роз в одном саду... и не находят того, чего ищут...

— Да, не находят... — подтвердил я.

— А между тем то, чего они ищут, можно бы найти в одной-единственной розе или в глотке воды...

— Конечно, — ответил я.

И маленький принц добавил:

— **НО ГЛАЗА СЛЕПЫ, НАДО ИСКАТЬ СЕРДЦЕМ!**»

«Маленький принц» — это своего рода завещание идеалов, кодекс чистой морали.

«Нужно суметь прочесть в простых словах этой сказки много настоящей боли, — говорит Пьер

Дэкс, — самую душераздирающую драму, когда-либо выпавшую на долю человека. Требования, предъявляемые Сент-Экзюпери к людям, слишком велики, чересчур возвышенны для общества, в котором он жил...»

«БУДЬ Я ВЕРУЮЩИМ, Я СТАЛ БЫ МОНАХОМ»

В статье «Сент-Экзюпери в Америке», опубликованной в номере журнала «Конфлюанс», целиком посвященном писателю, журналист Пьер де Ланюкс, часто встречавший его в Нью-Йорке, пишет:

«...невыносимая тревога и страдание были его уделом в продолжение всего времени, что он провел в США. Словами не выразить всю глубину и силу его страдания. Он искал человеческой близости, чтобы излить свою душу, и не находил подходящих собеседников. Тогда он выискивал очередную жертву и буквально встряхивал ее и топтал словами по любому поводу... И все же ошибочно было бы думать, что он не искал, что любить, чем восхищаться. Однако в 1941 году в Нью-Йорке все достойное восхищения было глубоко сокрыто от глаз».

С собеседниками своего уровня ему приходилось встречаться весьма редко. И, во всяком случае, к их числу никак не могут относиться люди, чьи слова с примечаниями он заносит в свой блокнот:

«Пусть лучше, — говорит В., — гибель для всех французских детей, чем поражение Англии». «Я была бы весьма горда, — сказала мне одна бездетная со-рока, — будь у меня во Франции дети и узнай я, что они умирают от голода». Но когда французские дети умирают, с ними умирает и Франция. Во имя чего? Ради других? Это чисто эмигрантская небрежность пользоваться такими легковесными формулами, как если бы они говорили: «Передайте мне горчицу» или «Сегодня тепло»...

Круг знакомых, который создался у Сент-Экса в Америке, весьма ограничен, так как он не говорил по-английски. Он всегда упорно отказывался изучить этот язык, и, думается, продолжительное пребывание в США ничуть не повлияло на него, он так и не научился английскому. По словам подруги, подтверждаемым также одним из его друзей, Жоржем Пелисье, Антуан, когда к нему приставали с этим, отвечал: «Я не хочу говорить на других языках. Нельзя хорошо писать на каком-либо языке, если пользуешься несколькими». Возможно, он так и отвечал. Но Сент-Экс любил сбивать с толку собеседника, давать самые неожиданные ответы. Да, может быть, он и на самом деле так думал в момент, когда отвечал. Однако в «Послании заложнику» он пишет, что говорит по-испански. Вероятно, он научился этому языку в Аргентине. Возможно, и Консуэло сыграла в этом известную роль. Правда, во время военной службы в Страсбурге он писал матери, что «изучает язык». Конечно, немецкий. Но так никогда и не научился говорить на нем. Вероятнее всего предположить, что Сент-Экзюпери, как и многие французы, очень тяжело усваивал иностранные, в особенности не латинские, языки, и если даже научался чему-нибудь, то все же с необыкновенными затруднениями пользовался своими знаниями. А оказаться в неравных условиях со своим собеседником он тоже не хотел. Лишенный высокомерия, Антуан, как уже известно, был застенчив, по-детски самолюбив и не любил уступать никому ни в чем. Так, например, он страшно не любил проигрывать. Поэтому он предпочитал всегда игры, в которых могли проявиться его естественные дарования, знание человеческой психологии, интуиция, наблюдательность, умение мыслить. И не любил те игры, которые были рассчитаны в первую очередь на память.

В Нью-Йорке Сент-Экзюпери встречался с немногочисленными друзьями. Незнание английского языка лишало его по большей части возможности завязывать интересные знакомства, хотя многие американцы и симпатизировали ему и были бы рады при-

нимать у себя столь популярного в Америке писателя. Американцам он imponировал не только как писатель, но и как человек, всем своим обликом, манерой держаться. Он очень прост в обращении и непритязателен. Зимой и летом он выходил без пальто и шляпы, в одном пиджачке, со старым теплым шарфом вокруг шеи. А зимы в Нью-Йорке довольно суровые. Кстати, такой же развевающийся шарф — характерная деталь туалета маленького принца в изображении самого автора.

Американский репортер описывал Антуана без прикрас следующим образом:

«По внешнему виду он, пожалуй, простоват: более шести футов ростом, с круглым лицом, выразительным, но не отличающимся тонким рисунком рта, с редкими волосами на голове и нахально вздернутым носом. Но у него замечательные руки, столь же изящные и красноречивые, как и его речь. Пожатие руки, которым он приветствует друга, — французы вообще расточительны на рукопожатия — такое крепкое, что чувствуешь, он может вырвать руку».

Другой репортер писал:

«Он передвигается на манер пеликана — неуклюже и как бы сам испытывая неловкость».

«Он любит писать, говорить, петь, играть, рассуждать о смысле вещей, хорошо есть, привлекать к себе внимание, ухаживать за женщинами», — пишет третий.

Все эти и подобные им описания при всей их аляповатости в общем довольно правильно рисуют внешний облик Антуана. Вместе с тем они говорят о большом интересе, проявляемом американцами к Сент-Экзюпери.

«Правда, — пишет журналист Рене Деланж, — американцев удивляло, что такой здоровый, крепко сложенный человек не занимается никаким спортом. Когда, например, он выезжал за город, то просто любил посидеть под каким-нибудь деревом. Впрочем, он ненавидел прогулки».

В 1942 году к Антуану из Франции приезжает Консуэло — подруга возвращается во Францию.

Опять начинается суматошная жизнь. Материально он теперь обеспечен, как никогда. Успех его книг в США превзошел все ожидания. Никогда он не был так популярен и во Франции.

Он тратит деньги, не считая. Стараются удовлетворить прихоти своей сумасбродной жены, которой хочется блистать. Но и сам он, как мы знаем, никогда не считал деньги, не отличался расчетливостью. Суматошная жизнь после небольшого периода относительного спокойствия взвинчивает его, дает необходимый ему импульс для напряженной творческой работы и в то же время глушит горе, позволяет иногда забыть о своем моральном одиночестве. Помимо уже названных произведений, он в это время снова усиленно работает над «Цитаделью» — наговаривает в диктофон ленту за лентой.

Близкие отношения Сент-Экс поддерживает лишь с очень немногими людьми: Пьером Ланюксом, Люисом Галантиром — своим переводчиком, Бернаром Ламоттом — иллюстратором американского издания «Земли людей» («Уинд, санд энд старс») и «Военного летчика» («Флайт ту Аррас»), доктором Лебо — своим постоянным партнером в шахматы.

Как замечает генерал Шассэн: «Он вообще не терпел равнения по низшему уровню, всего того, что ведет к ослаблению дифференциации, необходимой для возникновения нового человека. Ибо он создал собственную философию — приложение к метафизике биологической теории мутаций, — философию внезапного возникновения. «Чем выше восходит существо по лестнице жизни, — говорил он часто, — тем более оно дифференцируется. Дифференциация не только не противоречит единству, а, наоборот, способствует ему. Посмотрите на дерево: что может быть более дифференцированно и в то же время едино и неделимо? Человек страдает от несоответствия в настоящее время своих новых материальных возможностей и своих интеллектуальных средств, которые отстают. Необходимо заново осмыслить современный мир, сделать для XX века то, что Аристотель и святой Фома сделали для своего времени...»

«Эластичные понятия, деформирующиеся в зависимости от предмета, к которому они прилагаются, не позволяют мне мыслить», — говорил Антуан.

«Понятия, которыми пользуешься, дабы что-либо выхватить из вселенной, надо иметь возможность в первую очередь сопоставить с выхваченным предметом. Они должны быть либо проверены, либо опровергнуты. Но они вовсе не должны являться слепком с предмета...»

Часто встречается Антуан и с Пьером Леконтом де Нуи, с которым познакомился еще во Франции через Хольвека. Можно с уверенностью сказать, что беседы с этим ученым — биофизиком и философом, автором книг «Время и жизнь», «Человек и наука», «Будущее разума», «Достоинство человека», близким по воззрению к Тэйяру де Шардэну, Алексису Каррелю и Жану Ростану, не прошли для Сент-Экзюпери бесследно и, несомненно, наиболее полно выражены в записях-заготовках для «Цитадели». Между этими двумя столь разными по характеру людьми существовала большая общность взглядов на величайшие проблемы человечества, и в особенности их сближала вера в замечательное будущее человека и его великое восхождение.

Бывал у Сент-Экзюпери и Андре Моруа. Но близости между ними так и не возникло. Маститый писатель и академик был весьма шокирован, как он в этом позже признался, 'широким образом жизни своего соотечественника и в особенности огромными апартаментами, которые тот занимал на двадцать первом этаже дома 240 по Сентрал Парк Аут, с террасой и видом на Гудзон и его роскошные набережные. Возможно, на отношении Моруа сказалась известная доля зависти к успеху «молодого» собрата по перу. Правда, мадам Леконт де Нуи — американка по происхождению — тоже писала впоследствии о Сент-Экзюпери: «В нем сочетался подлинный и глубокий мистицизм с большой жадой плотских наслаждений при полной безответственности в обыденной жизни; и это как-то сбивало с толку того, кто мало его знал».

Однако, как показывает это замечание, этой ревностной американской католичке вряд ли было вдомек, насколько «подлинный и глубокий мистицизм», приписываемый ею Сент-Экзюпери, не имел ничего общего с его взглядами. И, думается, вряд ли приходится придавать большой вес ее свидетельству, во всяком случае, в той части его, где она пытается говорить о воззрениях Сент-Экзюпери и давать оценку его поведения.

Значительно ближе к истине его подруга, когда говорит:

«Большинство католических критиков приняло без оговорок многие высказывания Сент-Экзюпери и даже использовало многие его формулировки. Другие пытались все же выяснить, каковы же на самом деле его религиозные взгляды, и задавали друзьям писателя до чрезвычайности наивные вопросы. Задавать их могут лишь те, кто ничего не понял в его произведениях... В последние месяцы своей жизни Сент-Экс часто повторял: «Будь я верующим, я стал бы монахом».

В свой блокнот Антуан заносит:

«Безнадежно любить — это не безнадежно. Это значит, что сближаешься в бесконечности — и звезда в пути не перестает светить. Можно давать, давать, давать! Удивительно, я не способен быть верующим. А ведь любовь к богу безнадежна... Мне бы это совсем подошло. Монастырь — и григорианская литургия...»

Надо раз и навсегда сказать себе: ни в какие узкие рамки такой человек, как Сент-Экзюпери, не укладывается.

Подчас, как и в Париже, Антуан сбегает из дому и ночь напролет пишет в каком-нибудь маленьком ресторанчике. Наутро, измученный, но немного успокоенный, он возвращается домой, и перед ним снова возникают неотступно преследующие его проблемы: моральное одиночество, клевета его недругов, жажда во что бы то ни стало участвовать в борьбе за освобождение родины. Участвовать!..

Светлыми моментами в его жизни в этот период являются телефонные звонки подруги. Несколько раз в рабочей спецовке она переходит швейцарскую границу, чтобы позвонить Антуану.

* * *

«Маленький принц» вышел из печати и появился на книжных прилавках 6 апреля 1943 года, но Сент-Экс уже не присутствует при его триумфальном шествии по Соединенным Штатам Америки. В марте того же года он высаживается с доставившего его американского военного транспорта в Алжире. В то время запретить ему вернуться на французскую землю де Голль все же не мог. О том волнении, которое охватило Антуана при этом, нам красноречиво повествует прибывший почти одновременно с ним в Алжир, но из континентальной Франции, один из руководителей подпольной группировки Сопротивления «Комба», Гилэн де Беннувиль:

«Во время моей первой трапезы в Алжире за столом в скромном домике в Гусейн Дее собралось пять человек: Анри Фрэнэй, наш хозяин, Бертэн Шеванс, который, как и я, только что прибыл из Франции, Сент-Экзюпери в летней летной форме и Фернан Гренье, в то время комиссар авиации Национального французского комитета освобождения. Шеванса и меня не ожидали на этом обеде. В самом деле, поводом к нему послужило высказанное Сент-Экзюпери (заканчивавшего свою тренировку в качестве летчика-истребителя) желание встретиться с Гренье и просить министра не задерживать его отправку на фронт. Сент-Экс рассчитывал на влияние и дружеские чувства к нему Гренье. Он вкладывал столько души и настойчивости в свою просьбу, что очень скоро убедил министра.

Итак, мы все пятеро сидели за столом в прохладном сумраке комнаты, ставни которой были закрыты с зари... Шеванс и я рассказывали последние новости...

Мы говорили о нашей работе, о спорах, об усилиях и жертвенности, упоминая имена всех тех,

с которыми нам приходилось встречаться по подпольной работе. О различных испытаниях, выпавших на нашу долю, и о наших радостях, а также и главным образом о наших нуждах, о необходимом нам снаряжении...

Волнение наше все возрастало и скоро достигло такого уровня, что ни один из нас, да, ни один из сидящих за столом уже не мог сдерживать слез. Позабыты были условности, приличие...

Сент-Экзюпери смотрел на нас своим живым, глубоким взглядом, и крупные слезы катились по его щекам. Иногда на его одухотворенном лице, где мужественность не стерла, а скорее подчеркивала какое-то сияющее и, заметим, чисто детское обаяние, проскальзывала улыбка. И тогда он задавал какой-нибудь вопрос, а затем другой, вызванный нашим ответом, и, наконец, третий, отвлекавший нас всех от проблем, в которых мы увязли. При этом он с каждым разом все полнее вырисовывал перед нами картину тех событий, участниками которых мы являлись. Слово и еще слово, и с его помощью эти события занимали свое место на общем полотне и все становилось нам ошутимее и ошутимее...

Да, мы теперь лили горячие и сладкие слезы. И мы уже больше не говорили. На пороге решающих битв за свободу на нас снизошла какая-то благодать. Она наполняла нас любовью. Разумеется, каждый из нас и так хорошо знал, что он любит Францию. Но вот без единого лишнего слова все было высказано. Одна улыбка, братская улыбка Сент-Экзюпери, который так мучился все эти годы своей оторванностью от нас, волшебным светом озарила нашу борьбу, наше отчаяние, наши надежды... И теперь мы радовались, радовались, и сердца наши наполнились нежностью...»

«ВИНТОВКИ ЕСТЬ ДЛЯ ВСЕХ»

Высадка американцев в Северной Африке очень быстро изменила обычный ход жизни в Алжире. На смену застою и тишине пришла лихорадочная дея-

тельность. В порты прибывали корабли, высаживались солдаты, выгружалось снаряжение. По дорогам мчались шумные машины, небо бороздили быстроходные самолеты. Даже самые маленькие города наполнились шумом и движением вследствие присутствия большого количества союзнических войск.

Французские войска, расквартированные в Алжире, во главе с наместником — «наследником престола» Петэна — адмиралом Дарланом после чисто формального сопротивления союзникам перешли на их сторону. В свою очередь, немцы оккупировали всю континентальную Францию и перебросили войска в Тунис. 26 декабря 1942 года после убийства Дарлана, происшедшего при довольно темных обстоятельствах (когда убивают предателя, обстоятельства всегда темные), власть в Северной Африке и командование французскими войсками переходит в руки переправленного из Франции ставленника американцев генерала Жиро. Политическая свара не утихает, и в этой атмосфере начинается лихорадочная подготовка к Тунисской кампании.

Вооружение французских войск идет очень медленно. В Тунисской кампании практически принимают участие только французские наземные войска. Перевооружение авиационных частей начинается лишь с того момента, когда командование над ними переходит полностью к американцам. Французским летчикам, столь доблестно сражавшимся в 1939—1940 годах с гораздо лучше оснащенным и значительно более многочисленным противником, не терпелось взять реванш. Всем им казалось, что ожидание союзной помощи слишком затянулось. Некоторые потеряли было уже надежду на такую помощь, вера их была подорвана.

И вот в это время, в один прекрасный майский день 1943 года, французские летчики, собранные в Лагуате, и в том числе летчики авиачасти 2/33, узнали, что Сент-Экзюпери находится среди них. Это подействовало на них ободряюще.

«С этого момента надежда моя окрепла, — пишет полковник авиации, в будущем известный писатель

Жюль Руа, рассказывая о своей встрече с Сент-Экзюпери однажды поутру в отеле «Трансатлантик», где квартировали офицеры, — все сразу осознали ту помощь, которую он нам несет...»

Надо прямо сказать, среди тех, к кому снова приобщился Сент-Экзюпери, было немало людей, усомнившихся было в нем, людей, которые несправедливо и строго судили о нем и были частично ответственны за те моральные пытки, которые он испытывал в Нью-Йорке. Здесь был и человек, которому однажды Сент-Экс написал из Нью-Йорка: «Вы сказали: Сент-Экзюпери поступил как подлец, не присоединившись в Соединенных Штатах к голлизму. Мы потребуем его к ответу за это...» И этот боевой товарищ не только не требовал его к ответу, но испытывал сильнейшие угрызания совести.

Между тем отношение Сент-Экзюпери к де Голлю и голлизму не изменилось, и несколько месяцев спустя в письме к одному другу он высказывает в довольно резкой форме свои взгляды.

«Деголлевщина, очень кратко резюмированная, выражается в следующем: кучка «частных лиц» (они еще были тогда частными лицами) сражается за победенную Францию, которой надлежит спасти свою субстанцию. И это очень хорошо. Необходимо, чтобы Франция участвовала во всеобщей битве, и генерал такого Иностранного легиона из добровольцев имел бы и меня в своем лагере. Но эта кучка «частных лиц» возомнила себя Францией... Кучка людей вне Франции возымела намерение извлечь выгоду из своей куда меньшей жертвы, чем жертва тех, кто в очень трудных условиях остался в самой стране. Из того факта, что они участвовали в битве вне Франции и составляют вполне нормальный Иностраннный легион, эта кучка людей хочет извлечь выгоду (а настоящая жертва никогда не связана с выгодой) — управление Францией завтрашнего дня!

Это нелепо, ибо Франция завтрашнего дня должна возродиться — если такое возрождение наступит — из своей собственной субстанции. Из той субстанции, из которой вышли военнопленные, заложни-

ки, погибшие от голода дети. Это самое существенное. Деголлевцы возомнили себя «Францией», тогда как они «из Франции»... А это совсем другое дело!»

После авиационного лагеря в Лагуате Сент-Экзюпери переводится в другой лагерь в Ужда. Ведь не приехал же он в Северную Африку, чтобы остаться безучастным зрителем! Он летчик и хочет летать. Раз он сказал своим землякам-эмигрантам в США в момент высадки американцев: «Винтовки есть для всех», — то он думает, что и для него есть самолет. Военный самолет, на котором должен был бы летать Сент-Экзюпери, — «Лайтнинг П-39», скорость которого достигает семисот километров в час. Самолет этот, предназначенный для разведывательных съемок, летает на большой высоте, обычно около десяти тысяч метров, между тем американцы установили предельный возраст для пилотов этих самолетов в тридцать пять лет. А Сент-Экзюпери уже сорок три. Хотя и известно, как строго американцы соблюдают свой военный регламент, не надо забывать всю настойчивость и волю к достижению поставленной перед собой цели, которую умел проявлять Сент-Экзюпери. Мы это уже видели в самых различных обстоятельствах его жизни, начиная с самого детства. И еще раз ему удастся добиться своего. Он получает разрешение начать тренировку на «П-38».

С первых же полетов он в восторге и полон энтузиазма. Он проявляет радость ребенка перед замечательной игрушкой. «Я уже управлял этой гоночной машиной», — пишет он своему алжирскому другу доктору Пелисье. Ему присваивают звание майора. Но для него этого далеко не достаточно. Он прибыл сюда не для игры, сколь бы волнующей она ни была. Он хочет занять свое место в боевом строю, снова стать военным летчиком — и это он, которому, собственно, претит война. Но для него вопрос совсем в другом, и письмо, которое он посылает 17 июня 1943 года советнику Мэрфи, личному представителю президента Рузвельта в Северной Африке, показывает нам, чего он добивается. Из письма этого нам яс-

но, что в Сент-Экзюпери, созревшим в ходе лет, несмотря на накопившуюся горечь, все еще жив молодой Антуан.

Свое письмо советнику Мэрфи, которого он называет «мой дорогой друг», прося прощения за то, что обращается к нему по личному поводу, «не для того, чтобы набивать себе цену», говорит Сент-Экзюпери, а потому, что он обращается к представителю страны, где престиж его должен помочь ему найти поддержку, чтобы «служить родине», он начинает так. Перечислив свои книги, успех, которым сопровождалось их опубликование в США и во Франции, он напоминает, что участвовал в кампании 1939—1940 годов в качестве пилота «в одном из авиасоединений, которое больше всего находилось в действии и сильнее всего пострадало», напоминает, что «отказался присоединиться к деголлизму»... и, что, однако, как только американцы высадились в Северной Африке, просил, чтобы ему дали занять свое место в боевом строю. «Мне кажется, я первый французский штатский, присоединившийся к американским войскам в Северной Африке», — замечает он. Затем, высказав некоторые свои мысли по поводу того, что необходимо для спасения его страны, Сент-Экзюпери переходит к самой существенной части: он хочет получить право «участвовать как можно скорее в боевых заданиях». Тогда только у него будет право на то, чтобы говорить: «Я напишу новый «Флайт ту Аррас» («Военный летчик»)». Меня могут услышать только в том случае, если я и мои товарищи будем рисковать своей жизнью за наше дело».

Просьба его удовлетворена, и вскоре он выезжает в авиационный лагерь Марса около Туниса, освобожденного франко-американскими войсками 7 мая. Здесь уже расположилась 1-я эскадрилья разведывательной группы 2/33, приданная 78-й американской армии и поставленная под американское командование. Благодаря личному вмешательству полковника Элиота Рузвельта (одного из сыновей президента) эскадрилью оснастили новенькими «Лайтнинга-

ми П-38», и начиная с июля месяца она вступает в действие.

Сент-Экзюпери полон оптимизма. Из Туниса он пишет матери письмо, которое тайными путями доходит до нее:

«Мамочка.

Только что узнал, что во Францию вылетает самолет. Это первый и единственный. Хочу в двух словах поцеловать вас от всей души, а также Диди и ее Пьера.

Должно быть, вскоре увижу вас.

Ваш Антуан».

Из Марса Сент-Экс вылетает на свое первое задание над Францией. Он должен, избегая Сардинию и Корсику — эти острова еще находились в руках неприятеля, — достичь побережья Прованса западнее Марселя и заснять долину нижнего течения Роны и часть побережья, немного не долетая до Тулона.

Сент-Экс вылетает в полдень, под палящими лучами тунисского солнца. Его самолет, увлекаемый ввысь двумя тысячами шестьюстами лошадиными силами, взмывает в небо, залитое ярким светом.

Море под крыльями мерцало мириадами серебристых блесток. То и дело отрывая взгляд от многочисленных циферблатов приборной доски, Антуан с нежностью глядел на него. В последний раз он летал над ним три года тому назад за штурвалом тяжелого «Фармана», покидая раздавленную немецкой военной мощью, побежденную Францию. И вот он возвращался, чтобы подготовить ее освобождение.

Вскоре на горизонте перед ним смутно вырисовывается зыбкая линия: берег Франции, родная земля, Прованс, где ждут его старушка мать, Диди со своим Пьером и их детьми. Они где-то здесь, в этом краю, который он не может выделить из окружающего, глядя с высоты десяти тысяч метров, но они составная часть этого огромного пейзажа, который он может

охватить взором. Теперь почти под собой он видел устье Роны. Он включил фотографическую камеру, и пленка, разворачиваясь, начала фиксировать то, что глаз его не мог уловить, но что специалисты-фотографы, которые «делают работу бактериологов и выискивают на теле Франции, находящейся в опасности, следы разъедающего ее вируса, расшифруют в своей лаборатории: неприятельские укрепления, склады, транспорты появятся под линзой, как микроскопические бактерии», — писал Сент-Экзюпери впоследствии в очерке, опубликованном в американском журнале «Лайф».

С этого первого задания, выполнение которого заняло шесть часов, Сент-Экзюпери вернулся и радостный и грустный. Он снова в строю, он принес драгоценные сведения. Но он увидел и «Францию, столь близкую и в то же время столь далекую!». От нее он как бы отделен веками. Вся нежность, все воспоминания, все то, что придавало желание жить, «распростерлось в тридцати пяти тысячах футов под крыльями самолета, хорошо освещенное солнцем и все же более недоступное, чем сокровища фараонов в витринах музея», — писал он в том же очерке.

Несмотря на окружение старых боевых товарищей, Антуана гложет тоска. Возможно, под впечатлением этого настроения и родилось под его пером «Письмо генералу Х.», которое впоследствии явилось для некоторых одним из поводов высказать предположение, что он покончил с собой:

«Я только что совершил несколько вылетов на «П-38» — прекрасная машина. Я был бы счастлив получить такую в день рождения, в двадцать лет. С грустью я убеждаюсь, что сегодня, в сорок три года, после шести тысяч пятисот часов, проведенных в небе всех стран земного шара, я не способен уже извлечь большое удовольствие из этой игры. Это теперь не более как средство передвижения, а здесь — войны. Если я еще переносу скорости и большие высоты в столь патриархальном для ремесла летчика возрасте, то делаю я это не для того, чтобы снова вкусить забытые радости. Я просто не

хочу уклоняться от того, что отравляет жизнь людям моего поколения.

Возможно, это немного печально, а может быть, и нет. Скорее ошибался я, когда мне было двадцать лет. Осенью 1940 года, по возвращении из Северной Африки, куда перебралось все авиасоединение 2/33, моя обескровленная автомашина пылилась в гараже, и я открыл для себя лошадь и коляску. А благодаря им — и придорожную траву, и овец, и оливковые деревья. Роль этих оливковых деревьев заключалась не в том, чтобы за стеклами машины, несущейся с большой скоростью, отбивать такт в 130 километров в час. Они предстали тогда в своем подлинном ритме, который заключается в том, чтобы медленно производить оливки. Овцы тоже не имели единственной целью тормозить стремительный ход машины. Они оживали. Они оставляли на дороге настоящий помет и производили настоящую шерсть. И трава приобрела смысл, раз они ее ели.

И в этом единственном уголке на свете, где сама пыль душиста (я несправедлив, она так же душиста в Греции, как и в Провансе), я почувствовал, что оживаю. И мне показалось, что всю жизнь я был дураком...

Говорю вам все это, чтобы объяснить, что это стадное существование на американской авиабазе, еда, которую проглатываешь, не присаживаясь, за каких-нибудь десять минут, эти хождения туда-сюда между одноместными самолетами в 600 лошадиных сил в каком-то абстрактном строении, куда нас насовали по три человека в комнату, — одним словом, эта человеческая пустыня весьма мало согревает мою душу. Как и бесполезные задания без всякой надежды вернуться в июне 1940 года, это болезнь, через которую надо пройти. Срок этой болезни неизвестен. Но я не считаю себя вправе уклоняться от этой болезни. Вот и все. И сегодня моя печаль гораздо глубже. Я печалюсь за мое поколение, которое полностью лишено человеческой субстанции. Восприняв в виде духовной пищи лишь бары, математику и автомашины Бюгатти, мое поколение вовлечено сего-

дня в чисто стадную деятельность, характеризующую своей полной бесцветностью. Этого не хотят замечать. Возьмем, к примеру, такое явление, как война сто лет тому назад. Посмотрите, сколько усилий тратилось на то, чтобы удовлетворять духовные, поэтические или просто человеческие запросы тех же военных. Сегодня, когда нас высушили куда сильнее, чем кирпичи, мы смеемся над этими глупостями. Мундиры, знамена, песни, музыка, победы (сегодня нет побед — ничего, что по своему практическому значению соответствовало бы какому-нибудь Аустерлицу)! Сегодня существуют лишь явления более или менее быстрого перемалывания. Любая лирика звучит смешно, и люди противятся тому, чтобы их пробудили к какой-либо духовной жизни. Они честно выполняют своего рода работу на конвейере. Как говорит американская молодежь: мы честно взвалили на себя эту «неблагодарную работенку» — пропаганда во всем мире с отчаянием тшится что-то доказать. Болезнь этих пропагандистов не в том, что у них нет таланта, а в том, что им не дозволено, если они не хотят показаться выпренными, опираться на великие освежающие мифы. От греческой трагедии человечество скатилось до театра господина Вернёйя (далее уж некуда). Век рекламы, конвейера системы Бедо, тоталитарных режимов, армий без труб и без знамен! Нет и молитв по усопшим. Ненавижу всеми силами мою эпоху. Человек в ней умирает от жажды.

Ах, генерал! Существует лишь одна проблема, одна-единственная на свете. Вернуть людям духовную сущность, духовные заботы. Сделать так, чтобы их захлестнуло чем-то вроде григорианского песнопения. Будь я верующим и окончись это время «необходимой и неблагодарной работенки», я бы мог жить только в бенедиктинском монастыре Солезма, где под сводами разливается григорианское литургическое песнопение. Видите ли, жить холодильниками, политикой, балансами и кроссвордами больше нельзя. Нельзя! Нельзя больше жить без поэзии, красок, любви. Стоит услышать крестьянскую песню XV ве-

ка — и сразу понимаешь, куда мы скатились. В ушах у нас стоит лишь голос робота пропаганды (не обижайтесь на меня). Два миллиарда людей не слышат больше ничего, кроме робота, не понимают ничего, кроме робота, сами становятся роботами. Все потрясения последних тридцати лет имеют лишь два источника: тупики экономической системы XIX века и духовную безысходность. Почему Мермоз последовал за своим балбесом-полковником де ля Рокком? Почему Россия? Почему Испания? Люди испробовали картезианские ценности: вне естественных наук это ничего им не дало. Существует лишь одна проблема, одна-единственная: вспомнить, что существует еще и жизнь духа, куда возвышеннее, чем жизнь разума. И эта жизнь духа — единственное, что приносит удовлетворение человеку. Это лежит за пределами религии, являющейся лишь одной из форм духовной жизни (хотя и, возможно, жизнь духа приводит к религии в широком смысле). А жизнь духа начинается там, где существо «единое, неделимое» мыслится как нечто превосходящее материалы, из которых оно состоит. Любовь к своему дому — эта неизвестная в Соединенных Штатах любовь — уже жизнь духа.

А деревенский праздник, а культ усопших (упоминаю об этом, потому что с моего прибытия разбились уже два или три парашютиста, но их быстренько захоронили: они перестали служить)... Вот это современно и не специфически американское — человек потерял всякий смысл.

Необходимо во что бы то ни стало сказать об этом людям.

Какой прок от того, что мы выиграем войну, если впереди сто лет революционных судорог? Когда немецкая проблема будет, наконец, решена, тогда только и возникнут настоящие проблемы. Вряд ли спекуляция на неизрасходованном американском снаряжении окажется, как в 1919 году, достаточной отдушиной, чтобы отвлечь человечество от настоящих проблем. За отсутствием мощного движения вырастут, как грибы, десятки сект. И появление каждой из них способно расшатать все другие. Мы это уже

видели в Испании. Разве что какой-нибудь французский цезарь навек запрет нас в неонационал-социалистический концлагерь...

Ах, какой сегодня удивительный вечер, какой удивительный климат! Из моей комнаты я вижу, как зажигается свет в окнах безликих бараков. Я слышу, как различные радиостанции выдают свою дешевую музыку толпе празднующихся, прибывших из-за моря, которые не страдают даже тоской по родине.

Эту примиренность со своей долей можно спутать с моральным величием. Но это было бы большой ошибкой. Узы любви, связывающие сегодня человека с различными существами или предметами, так расшатаны и столь непрочны, что человек не чувствует больше, как раньше, отсутствия близких существ и вещей... Холодильники взаимозаменяемы. И дома тоже, если они — лишь сборные. И жена. И религия. И партия... Пустыня — в человеке.

Какие они послушные и тихие, эти люди, собравшиеся вместе! А я думаю о бретонских морях прежних времен, когда они высаживались на берегах пролива Магеллана, о солдатах Иностранного легиона, на чью милость отдавали какой-нибудь город, — об этих сложных сплетениях буйных страстей и нестерпимой ностальгии, которые представляют собой всегда сборища мужчин, когда их строго содержат взаперти. Чтобы их сдерживать, нужны были всегда либо сильные жандармы, либо строгие принципы, либо глубокая вера. Но ни один из тех, кто предо мной, не обидит и бедную девушку, пасущую гусей. Сегодняшнего человека укрощают в зависимости от среды игрой в кинг или в преферанс. Мы удивительно ловко оскоплены. Итак — мы, наконец, свободны. Нам обрубили ноги, руки, затем дали свободно передвигаться. Но я ненавижу эту эпоху! Человек в ней при всеобщем тоталитаризме превращается в тихий, вымуштрованный, смирный скот. И нам это выдают за моральный прогресс! Но куда идут Соединенные Штаты и куда идем мы в эту

эпоху всемирной бюрократии? К человеку-роботу, человеку-термиту, к человеку, мечущемуся между конвейером системы Бедо и игрой в карты. К человеку, выхолощенному, лишенному творческой силы, который в деревнях не способен даже создать новый танец, новую песню. К человеку, вскормленному серийной, стандартной культурой, наподобие того как скот выкармливают сеном. Вот он, человек сегодняшнего дня.

И я думаю о том, что еще неполных триста лет тому назад могли написать «принцессу Клевскую» или удалиться на всю жизнь в монастырь из-за несчастной любви, настолько была всепожирающей она. Правда, сегодня есть люди, кончающие самоубийством. Но их страдания — не более чем зубная боль. Нестерпимая боль. Она не имеет ничего общего с любовью.

Конечно, все имеет свое начало. Я не могу вынести мысли о том, чтобы дать немецкому Молоху наполнять свое брюхо поколениями французских детей. Сама субстанция людей находится под угрозой. Но когда она будет спасена, перед нами встанет основной вопрос нашего времени. Вопрос этот — о путях человека. А на вопрос этот не предлагается никакого ответа, и у меня чувство, что мы идем к самым черным временам мира...

Мне все равно, убьют меня на войне или нет. Что останется от всего того, что я любил? Я имею в виду не только людей, но и неповторимые интонации, традиции, некий духовный свет. Я имею в виду трапезу на провансальской ферме, но и Генделя. Наплевать мне, исчезнут ли некоторые вещи или нет! Не в вещах дело, а в их взаимосвязях. Культура невидима, потому что она выражается не в вещах, а в известной связи вещей между собой — такой, а не другой. У нас будут совершенные музыкальные инструменты — большое серийное производство. Всех наделают инструментами, но кто напишет музыку? Наплевать мне, что меня убьют на войне! Наплевать, если я стану жертвой взрыва бешенства своего рода летающих торпед! Управлять ими уже не имеет ни-

чего общего с полетом, и они превращают пилота, посреди всех рычажков и циферблатов, в некоего главного бухгалтера (полет — это известная система связей). Но если я выберусь живым из этой «необходимой и неблагодарной работенки», передо мной будет стоять лишь одна проблема: что можно, что надо сказать людям?

Я все меньше знаю, зачем я вам все это рассказываю. Должно быть, чтобы с кем-то поделиться, так как это не относится к вещам, о которых я вправе говорить со всеми. Не следует нарушать чужое спокойствие и запутывать вопрос. В настоящее время хорошо, что на борту наших боевых самолетов мы превращаемся в главных бухгалтеров.

С тех пор как я начал писать, в моей комнате на моих глазах уснули уже два товарища. Надо будет и мне лечь, так как предполагаю, что свет мешает им (мне очень недостает собственного угла!). Эти два товарища в своем роде замечательные малые. Они прямые, благородные, чистые сердцем, верные. Не знаю почему, глядя, как они спят, я чувствую прилив бессильной жалости. Ибо они ничего не знают о собственной тревоге, мне это ясно. Да, они прямые, благородные, чистые сердцем, верные, но — и ужасно бедные. Им так нужен какой-нибудь бог! Простите, если моя плохая электрическая лампочка, которую я сейчас потушу, и вам помешала спать, и поверьте в мои наилучшие дружеские чувства».

Пять дней спустя после первого задания Сент-Экс снова летает над Францией. Увы! По возвращении, приземляясь, он выходит за посадочную полосу. Самолет останавливается уже в винограднике и слегка поврежден. Оплошность эта дает американскому командованию предлог отменить данное ранее Сент-Экзюпери в исключительном порядке разрешение летать на «Лайтнингах».

Это решение и в особенности его последствия произвели на Антуана впечатление катастрофы. После многократных попыток добиться изменения рас-

поражения об отчислении в резерв Сент-Экзюпери вынужден признать себя побежденным. Нежно погладив свой «Лайтнинг», со щемящим сердцем он покидает авиационное поле в Марса и уезжает в Алжир.

АЛЖИР. ИЗГНАННИК В ИЗГНАНИИ

В Алжире Антуан поселился у доктора Пелисье, где и прожил восемь месяцев. Восемь бесконечных месяцев, несомненно, самых тяжелых, черных месяцев за все его существование.

В Алжире, где находится временное правительство Франции (сформированный 3 июня 1943 года французский Национальный комитет освобождения), политические страсти не утихают. В политической и военной среде ведутся всяческие интриги, точно Франция в самые мрачные периоды своей истории, как и в самые славные, не способна была без них обойтись. После короткого периода двоевластия (так как лондонскому Национальному комитету, несмотря на противодействие союзников, удается перебраться в Алжир) де Голлю, умело сманеврировавшему, и внутреннему Сопrotивлению, опасавшемуся реакционных взглядов Жиро, удается почти полностью устранить его с политической арены. Правда, формально он еще делит власть с де Голлем и за ним временно сохраняются функции военачальника французских вооруженных сил, поскольку вооружение их устарело и переоснащение армии зависит целиком от американцев.

Рядом с теми, кто сражается, в Алжире находятся и те, кто, как это кажется, создан единственно для низменных махинаций, погони за местами и наградами и даже для ненависти. «Ненависть, все проходит под знаком ненависти. Бедная родина!» — пишет Сент-Экзюпери.

В письме от декабря 1943 года на имя генерала З. по поводу травли, которой он подвергается за «Военного летчика», Сент-Экзюпери говорит:

«Для меня весьма удивительно, что известная атмосфера полемики может исказить столь простой текст. Мне совершенно безразлично, что алжирские тыловики что-то бормочут и толкуют о моих скрытых намерениях. Намерения, которые они мне приписывают, так же похожи на мои намерения, как я на Грету Гарбо. Плевать я хотел на их мнение, если даже оно приведет к запрещению моей книги в Северной Африке. Я не торговец книгами. Предположите, что я Монтень и публикую «Опыты» в каком-нибудь алжирском журнале, а эти хотят непременно найти в них объяснение в связи с вопросом о перемирии. Какие только макиавеллевские махинации не откруют в моих текстах?

Да, я говорил об ответственности. Но, черт возьми, я был ясен, я ни строчки не написал о чудовищном тезисе французской ответственности за поражение. Я совершенно ясно сказал американцам: «Ответственны за поражение вы. Мы были сорок миллионов пахарей против восьмидесяти миллионов промышленников. Один человек против двух, один станок против пяти. И если бы даже какой-нибудь Даладье и превратил весь французский народ в рабов, он не смог бы выжать из каждого человека сто рабочих часов в сутки. Как бы ни управляли Францией, гонка вооружений имела бы конечным результатом одного бойца против двух, одну пушку против пяти. Мы соглашались помериться силами один против двух. Мы соглашались идти на смерть. Но для того чтобы наша смерть принесла какую-то пользу, надо было бы получить от вас те четыре пушки, те четыре самолета, которых нам недоставало. Вы хотели, чтобы мы спасли вас от нацистской угрозы, но продолжали строить исключительно «паккарды» и холодильники. В этом единственная причина нашего поражения. И все же это поражение спасло мир.

Мы пошли на разгром, и это послужило отправной точкой сопротивления нацизму».

Я говорил (американцы тогда не участвовали в войне): «Дерево сопротивления когда-нибудь вырастет из нашей жертвы, как из семени».

Чудом было то, что американцы прочли эту книгу и что она стала у них бестселлером. Чудом было то, что книга вызвала сотни статей, в которых сами американцы говорили: «Сент-Экзюпери прав, мы не должны порочить Францию. Мы сами до известной степени повинны в ее поражении». Если бы французы в Соединенных Штатах немного лучше прислушались к тому, что я говорю, и не объясняли бы всегда все гниlostностью Франции, наши взаимоотношения с Соединенными Штатами не были бы сегодня тем, что они есть. В этом меня никто никогда не разубедит!»

Однако наиболее яростный вой находившихся в окружении де Голля стяжателей разных мастей вызвало опубликованное Сент-Экзюпери после высадки союзников в Северной Африке и оккупации гитлеровцами всей Франции написанное наспех «Воззвание к французам». Это воззвание, этот призыв, переданный по радио всеми американскими радиостанциями, появившийся на английском языке в «Нью-Йорк таймс мэгэзин» и на французском в монреальской газете «Канада», воспроизведенный также частью алжирских газет, а также вышедшее вслед за тем как бы исправленное и расширенное издание этого воззвания, каковым, по существу, является «Послание заложнику», опубликованное в феврале 1943 года, окончательно углубили пропасть между де Голлем и Сент-Экзюпери.

«Виши пришел конец, — говорит писатель в «Воззвании к французам». — Полная оккупация Франции кладет конец всем раздорам... Во имя чего нам ненавидеть еще друг друга?.. Во имя чего ревновать друг к другу?.. Дело не в погоне за теплыми местами... Единственное вакантное место — это пост солдата... Некоторые из нас мучаются вопросом: за того-де или за другого начальника?.. Не будем спорить из-за вопросов чести, могущества, из-за вопросов справедливости и приоритета... Нам предлагают винтовки — винтовки есть для всех... Временная структура Франции — государственное дело... Наш подлинный вождь — Франция, обреченная сегодня

на молчание... Возненавидим партии, кланы, всякие споры... Французы, объединимся!..»

При том, что нам известно о де Голле того времени из его собственных мемуаров и мемуаров других близко сталкивавшихся с ним людей, как, например, известного французского писателя-журналиста и крупного политического деятеля Эммануэля д'Астье де ля Вижери или Черчилля, де Голль весьма болезненно и нетерпимо относился к проявлениям личной инициативы в собственном лагере. Возомнив себя своего рода Жанной д'Арк, де Голль прислушивался только к своему внутреннему «откровению». Всякое несогласованное с ним политическое выступление, независимо от того, шло ли оно на пользу или во вред Сопrotивлению, он считал «крамолой». Поэтому сложившееся у него к Сент-Экзюпери неприязненное отношение отнюдь нельзя рассматривать в свете идеологических конфликтов.

Правда, в своем призыве к французам Сент-Экзюпери сказал, что генерал де Голль является первым слугой Франции. Но в то же время он провозгласил: «Наш подлинный вождь — Франция, обреченная сегодня на молчание». А это ставило в один ряд де Голля, Жиро и внутреннее Сопrotивление.

Что касается генерала Жиро, то с ним у де Голля, по существу, не было идеологических расхождений (скорее уж можно было бы говорить об идеологических расхождениях с Сент-Экзюпери). Но по чисто иерархической военной лестнице Жиро стоял на несколько ступеней выше де Голля, чье звание генерала было даже сомнительно. Уже по одной этой причине Жиро надо было убрать. Кроме того, хотя по своему мировоззрению генерал Жиро в обычном смысле являлся более «правым», этот профессиональный военный, видимо, не стремился к политическому макиавеллизму. Пример восстания на Корсике, в основном проведенного силами Национального фронта и честно поддержанного им, убедительно говорит об этом. А следовательно, своим поведением генерал Жиро играл на руку внутреннему Сопrotивлению в ущерб приоритету внешнего.

Аналогичный, весьма характерный для атмосферы Сопротивления случай произошел во время парижского восстания, где профессиональный военный полковник Лизе (барон де Маргери) проявил полную лояльность в отношении своего коллеги коммуниста полковника Ролля (Танги) вопреки двулчным и двусмысленным действиям деголлевской агентуры во главе с Шабан-Дельмасом.

Человек в высшей степени злопамятный и властный, генерал де Голль, не говоря уже о борьбе за политическую монополию, никому не прощал малейшего противодействия — и де Маргери, человек очень близкий по воззрениям к де Голлю, кончил свою жизнь деревенским священником, отказавшись от генеральского поста в оккупированной Германии, где он находился почти в ссылке.

Нет ничего удивительного, что и в отношении Сент-Экзюпери де Голль проявил редкое злопамятство.

Ведь и в «Воззвании к французам» и в «Послании заложнику» писатель посмел утверждать:

«Именно в застенках, именно под гнетом оккупантов и рождаются всегда новые истины — сорок миллионов заложников размышляют там над своей новой правдой... Мы не создаем Францию — мы лишь служим ей».

Удивительно само по себе то, что такие мысли рождаются в голове человека, по своему социальному кругу весьма не близко стоявшего к народу. И это еще подчеркивает его исключительные душевные качества.

В «Послании заложнику», кроме призыва к единению, с особой силой прозвучала и другая тема — писатель пробует определить еще раз свой гуманистический символ веры:

«И еще думал я: «Главное, когда где-то продолжает существовать то, чем ты жил. И обычаи. И семейные праздники. И дом твоих воспоминаний. Главное — жить для возвращения...» И я чувствовал угрозу самому своему существованию из-за непрочности отдаленных притягательных центров, от

которых зависела моя жизнь. Я рисковал очутиться в самой настоящей пустыне и начинал понимать тайну, издавна возбуждавшую мое любопытство.

Я провел три года в Сахаре. Так же как и многие другие, я задумывался о ее магическом притяжении. Тот, кто познал жизнь в Сахаре, где все на первый взгляд лишь безмолвие и безрадостность, тот грустит тем не менее об этих годах, как о лучших, когда-либо прожитых им. Слова «тоска по пескам», «тоска по одиночеству», «тоска по просторам» — лишь фразы — они ничего не объясняют. Но вот на борту парохода, кишашего пассажирами, громоздящимися друг на друге, казалось, я начинаю понимать пустыню.

Конечно, Сахара, сколько охватывает глаз, представляется однообразными песками или, точнее, — поскольку дюны очень редки — каменистыми грядами. В них действительно оказываешься постоянно погруженным в настоящую скуку. А между тем невидимые божества проложили здесь целую систему путей, склонов, следов — скрытую и живую мускулатуру. И нет уже однообразия. Все целеустремленно. Даже одна тишина не походит на другую тишину.

Есть тишина покоя, когда племена умиротворены, когда каждый вечер возвращается прохлада и кажется, что, спустив паруса, ты делаешь остановку в тихой гавани. Есть полуденная тишина, когда солнце приостанавливает твои мысли и движения. Есть ложная тишина, когда утихает северный ветер и появление насекомых, принесенных подобно пыльце из внутренних оазисов, предвещает песчаную бурю с востока. Есть заговорщицкая тишина, когда известно, что в каком-нибудь далеком племени идет брожение. Есть таинственная тишина, когда между арабами идут непонятные совещания. Есть напряженная тишина, когда какой-нибудь посланец запаздывает с возвращением. Острая тишина, когда ночью задерживаешь дыхание, чтобы вслушиваться. Грустная тишина, когда вспоминаешь о тех, кого любишь.

Все намагничивается. Каждая звезда и в самом деле указывает направление. Все они — звезды

волхвов. Каждая служит своему собственному богу. Одна указывает путь к трудно достигаемому далекому колодцу. И расстояние, отделяющее от этого колодца, действует подавляюще, как крепостная стена. Другая указывает направление высохшего колодца. И сама звезда кажется засохшей. Третья указывает путь к неизвестному оазису, воспетому кочевниками, но путь этот прегражден повстанцами. И пески, отделяющие от оазиса, становятся заколдованной лужайкой из сказки. А еще какая-то звезда указывает дорогу к белому южному городу, сочному, как плод, в который хотелось бы запустить зубы. Иная — путь к морю.

И, наконец, почти призрачные притягательные центры — дом твоего детства, продолжающий жить в твоих воспоминаниях из далекого далека, намагничивают эту пустыню. Друг, о котором не имеешь никаких известий, кроме того, что он существует.

Таким образом, чувствуешь, как на тебя воздействует и оживляет силовое поле, силы, которые притягивают или отталкивают тебя, привлекают тебя или сопротивляются тебе. Вот ты и прочно, с полной определенностью обосновался в центре главных направлений.

И поскольку пустыня не дает никаких ощутимых богатств, поскольку в ней не на что смотреть и нечего услышать, — а все же внутренняя жизнь человека здесь не только не замирает, но еще усиливается, — приходится признать, что человек испытывает в первую очередь невидимые влечения. Человеком управляет его дух. В пустыне я стою того, чего стоят мои божества.

Так, если я чувствовал себя богачом на борту этого печального парохода, чувствовал себя еще плодоносным, если я жил на еще живой планете, то это благодаря нескольким друзьям, оставленным мною позади в окутывающем Францию мраке, благодаря друзьям, ставшим для меня самым существенным.

В самом деле, Франция была для меня не абстрактным божеством, не историческим понятием, а подлинной плотью, от которой я зависел, сплетением

уз, которые управляли мной, суммой притягательных центров, вызывавших прилив нежности. Я ощущал потребность сознавать, что эти центры, которые необходимы мне, прочнее и долговечнее, чем я сам. Чтобы ориентироваться. Чтобы знать, куда возвратиться. Чтобы продолжать жить.

В этих притягательных центрах страна моя воплощалась целиком, и благодаря им она продолжала жить во мне. Для того, кто находится в море, маяк представляется просто сиянием нескольких маяков. По маяку нельзя определить расстояние до суши. Его свет просто стоит в глазах. А все чудеса материка сосредоточены в путеводной звезде.

И вот сегодня, когда Франция из-за оккупации целиком погружена в молчание, — как корабль, со всем своим грузом плывущий с потушенными огнями, о котором неизвестно, преодолел ли он морские опасности, — судьба каждого, кого я люблю, мучает меня больше, чем если бы меня одолела болезнь. Я вижу угрозу самому моему существованию в слабости тех, кого люблю.

Тому, чей образ в эту ночь неотступно стоит предо мной, пятьдесят лет. Он болен. Он еврей. Как же выдержать ему немецкий террор? Чтобы представить себе, что он еще дышит, я должен верить, что его оберегает тайна — замечательная стена, воздвигнутая молчанием крестьян его деревни. Тогда только я верю, что он еще жив. Тогда только, бродя на отдаленных просторах в царстве его дружбы, которому нет конца-краю, я могу чувствовать себя не беженцем, а путешественником. Потому что пустыня не там, где принято считать. В Сахаре больше жизни, чем в какой-нибудь столице, — и самый кишмя кишастый людьми город пустеет, когда существеннейшие притягательные центры размагничены.

Как все же жизнь строит силовые линии, которые довлеют над нашим существованием? Откуда происходит сила притяжения, которая влечет меня к дому этого друга? Каковы основные моменты, которые сделали его существование одним из необходимых

мне притягательных центров? Из каких сокровенных вещей складывается особая нежность и с нею любовь к родине?

Как мало шума производят подлинные чудеса! Как в общем просты основные события жизни! О моментах, которые я хочу передать, так мало можно рассказать, что мне нужно снова пережить их в грезах и побеседовать со своим другом.

Это произошло в предвосный день на берегу Сены около Турнюса. Чтобы позавтракать, мы выбрали ресторан с дощатым балконом, нависшим над рекой. Облокотившись на простой стол, весь изрезанный ножами посетителей, мы заказали два стаканчика перно. Твой врач запретил тебе спиртное, но в исключительных случаях ты плутовал. Таким именно был этот случай. Почему? Мы этого не знали. Но таким он был. То, что нам доставляло радость, проистекало от чего-то менее осязаемого, чем качество света. Итак, ты решил выпить это исключительное перно. А так как два речника в нескольких шагах от нас разгружали баржу, то мы пригласили и речников. Мы их окликнули с высоты балкона, и они пришли. Так вот просто взяли и пришли. Нам показалось естественным пригласить сотрапезников, быть может, благодаря тому невидимому празднику, которым мы были полны. Не вызывало сомнения, что они откликнутся на наш призыв. И мы выпили с ними!

Солнце ярко светило, тополя на том берегу и вся равнина до горизонта купались в его теплом мареве. Мы становились все веселее и веселее, все еще не понимая почему. Солнце действовало успокоительно, потому что ярко сияло, река — потому что текла, трапеза — потому что была трапезой, речники — потому что отозвались на наше приглашение, служанка — потому что обслуживала с такой радостной приветливостью, словно она была хозяйкой вечного праздника. Хорошо устроившись, огражденные от беспорядка, мы ощущали полный покой раз и навсегда установившейся цивилизации. Мы наслаждались неким состоянием совершенства в мире, где все наши желания осуществлялись — нам больше нечего

было друг другу верить. Мы чувствовали себя чистыми, прямыми, лучезарными и снисходительными. Мы не были бы в состоянии сказать, какая истина представлялась нам во всей своей очевидности. Но преобладающим чувством в нас было чувство уверенности. Почти горделивой уверенности.

Так вселенная в нашем лице доказывала свою добрую волю. Сгущение туманности, затвердевание планет, образование первых амёб, гигантский труд жизни, приведший от амёбы к человеку, — все это удачно сошлось, чтобы через нас прийти к наслаждению. Не такой уж маленькой была эта удача.

Так наслаждались мы нашим молчаливым согласием и почти религиозной обрядностью. Убаюкиваемые хождением взад и вперед священнодействующей служанки, речники и мы попивали перно, как прихожане одной и той же церкви, хотя мы и не сумели бы сказать какой. Один из речников был голландцем, другой — немцем. Последний когда-то бежал от нацистов, подвергшись преследованию как коммунист, троцкист, католик или еврей. (Не помню уже, какую этикетку носил этот человек, когда оказался вне закона.) Но в этот момент речник был вовсе не этикеткой. Существенным было содержание — человеческий материал. Он просто был другом, и между нами, друзьями, царило согласие. Ты был согласен. Я был согласен. Речники, служанка были согласны. Согласны с чем? Согласны пить перно? Согласны в понимании смысла жизни? Согласны с тем, что день прекрасен? Мы не смогли бы дать на это ответ. Но согласие было такое полное, такое глубокое и прочное, оно относилось к такому очевидному в своем существе, хотя и не выразимому словами, мироощущению, что мы охотно укрепили бы этот дом, выдержали бы в нем осаду и умерли бы у пулеметов, спасая сущность всего этого.

Какую сущность?.. Вот это и трудно выразить! Боюсь, что смогу ухватить лишь отражение, а не самое главное. Неполноценность слов даст ускользнуть истине. Я буду туманен, если стану утвер-

ждать, что мы охотно сражались бы, чтобы спасти особое качество улыбки речников, и твоей улыбки, и моей улыбки, и улыбки служанки — некое чудо того солнца, что так старалось уже столько миллионов лет и через нас пришло к такой удавшейся улыбке.

Главное в большинстве случаев невесомо, здесь главное как будто заключалось лишь в улыбке. В улыбке часто самое существенное. Улыбкой благодарят. Улыбкой награждают. Улыбка вдохновляет. А иная улыбка может толкнуть и на смерть. Но раз качество улыбки так хорошо ограждало нас от треволнений нашего времени, давало нам уверенность, надежду, покой, то, чтобы сегодня лучше выразить свою мысль, я должен рассказать вам историю и другой улыбки.

Это произошло в одну из корреспондентских поездок в Испанию, во время гражданской войны. Я имел неосторожность присутствовать тайком, в три часа утра, при отправке секретного груза с одной товарной станции. Суতোлка среди грузчиков и предутренние сумерки, казалось, способствовали моей нескромности. Но я показался подозрительным дружинникам анархистской милиции.

Все произошло очень просто. Я ничего и не подозревал еще об их приближении, когда они потихоньку подошли ко мне эластичным, бесшумным шагом и сомкнулись вокруг меня, как пальцы руки. Дуло карабина легко коснулось моего живота, и тишина показалась мне торжественной. В конце концов я поднял руки.

Я заметил, что они устали не на мое лицо, на мой галстук (согласно моде, господствовавшей в анархистском пригороде, не рекомендовалось носить эту художественную принадлежность.) Я весь сжался в ожидании выстрела — это была эпоха скоропалительных приговоров. Но никакого выстрела не последовало. После нескольких мгновений полной опустошенности, в течение которых бригады грузчиков, как мне казалось, не наяву, а во сне исполняли в каком-то другом мире некий балет, анархисты лег-

ким кивком указали мне, чтобы я шел впереди, и мы тронулись, неторопливо пересекая пути сортировочной станции. Моя поимка произошла в полной тишине, с удивительной экономией движений. Так разыгрывается действие в морском царстве.

Скоро я уже спускался в подвал, переоборудованный в караульный пост. В скупом освещении плохой керосиновой лампы другие дружинники дремали внизу, держа карабины между ног. Равнодушными голосами они обменялись несколькими словами с патрульными. Один из них обыскал меня.

Я говорю по-испански, но не знаю каталонского. Все же я понял, что у меня требуют предъявить документы, а я оставил их в гостинице. Поэтому я ответил: «Отель... Журналист...» — не зная, выражают ли что-нибудь мои слова. Дружинники передавали из рук в руки мой фотографический аппарат — вещественное доказательство моей вины. Некоторые из них, которые до того, развалиясь на колченогих стульях, клевали носом, поднялись со скупающими лицами и прислонились к стенке.

Ибо господствующим впечатлением было впечатление скуки. Скуки и спячки. Их способность сосредоточиться на чем-нибудь, казалось мне, износилась до дыр. Я был бы почти рад, как проявлению некоего человеческого общения, если бы заметил с их стороны враждебность. Но они не оказывали мне чести никаким проявлением злобы или хотя бы порицания. Несколько раз я делал попытку протестовать по-испански — мои протесты падали в пустоту. Они смотрели на меня так же бесстрастно, как смотрели бы на золотую рыбку в аквариуме.

Они ждали. Чего они ждали? Возвращения одного из своих товарищей? Зари? А я думал: «Быть может, они ожидают, чтобы в них проснулся голод...»

И еще я подумал: «Они совершат глупость! Это совершенно бессмысленно!..» Сильнее тревоги было во мне отвращение перед нелепостью. Я думал: «Если они оттают, если у них возникнет желание действовать, они будут стрелять!»

Был ли я в самом деле в опасности? Сомневались ли они все еще в том, что я не диверсант, не шпион, а журналист? Поняли ли они, что мои документы находятся в гостинице? Приняли ли они уже решение? Какое?

Мне ничего не было известно о них, кроме того, что они расстреливают, не очень-то задумываясь. Передовые отряды революционеров, к какой бы партии они ни принадлежали, охотятся не на людей (они не взвешивают человека по существу), а на симптомы. Правда их противников кажется им эпидемической болезнью. Из-за подозрительного симптома заразного отправляют в больницу, в изолятор — на кладбище. Вот почему допрос, который učinяли мне односложными, непонятными словами, казался мне зловещим. Моя шкура разыгрывалась в слепую рулетку. Поэтому, чтобы дать знать, что я действительно существую, у меня явилась странная потребность выкрикнуть им о себе что-нибудь, что поставило бы меня на свое место — утвердило мою судьбу. Мой возраст, например! Это очень впечатляет — возраст человека! Это как бы итог его жизни. Зрелость, которая к нему пришла, наступила не сразу. Она наступила вопреки стольким препятствиям, которые он преодолел, вопреки стольким тяжелым болезням, перенесенным им, вопреки стольким страданиям, теперь уже утихшим, вопреки стольким приступам отчаяния, которые он превозмог, вопреки стольким опасностям, большинство которых он и не осознал. Зрелость пришла, пройдя через столько желаний, столько надежд, столько сожалений, столько забвений, столько любовей. Возраст человека представляет собой солидный груз опыта и воспоминаний. Вопреки западням, рытвинам, ухабам, плохо ли, хорошо ли, но ты продолжал двигаться вперед, трясясь, как добрая телега. И теперь благодаря упорному стечению счастливых обстоятельств ты здесь. Тебе тридцать семь лет. И добрая телега, буде на то милость господня, повезет еще дальше свой груз воспоминаний. И я думал: «Вот к чему я пришел. Мне тридцать семь лет...» Мне бы хотелось отя-

готить совесть моих судей этим признанием... но они меня больше не допрашивали.

Вот тут-то и произошло чудо. О, совсем скромное чудо! У меня не было сигарет. Когда один из моих товарищей закурил, я жестом попросил дать мне одну сигарету и изобразил при этом что-то вроде улыбки. Человек этот сначала потянулся, расправил члены, медленно провел рукой по лбу, поднял глаза уже не на мой галстук, а взглянул мне в лицо и, к моему вящему изумлению, тоже робко улыбнулся. Будто занялась заря.

Это чудо не принесло развязки драмы, оно попросту стерло ее, как свет стирает тень. Больше не было никакой драмы. Внешне это чудо ничего не изменило. Плохая керосиновая лампа, стол с разбросанными на нем бумагами, люди, прислонившиеся к стене, окраска предметов, запах подземелья — все осталось прежним. И вместе с тем все вещи изменили свою сущность. Эта улыбка была моим извещением. Она была столь же окончательным, столь же явным и бесспорным признаком того, что последует в ближайшем будущем, как появление солнца предвещает день. Она открывала новую эру: Ничто не изменилось — и все изменилось. Стол с разбросанными на нем бумагами ожил. Ожила керосиновая лампа. Ожили стены. Скука, источаемая безжизненными предметами этого подвала, сгладилась, как по волшебству. Будто невидимая кровь снова начала циркулировать и, восстановив связь всех частей в одном общем теле, возвратила им свое назначение.

Люди тоже не изменили своего положения, но если еще мгновение тому назад они казались мне более далекими, чем какая-нибудь допотопная разновидность, то теперь они возрождались к той жизни, которая была мне близка. Мною овладело удивительное ощущение присутствия. Вот именно — присутствия! И я почувствовал свое сродство с этими людьми.

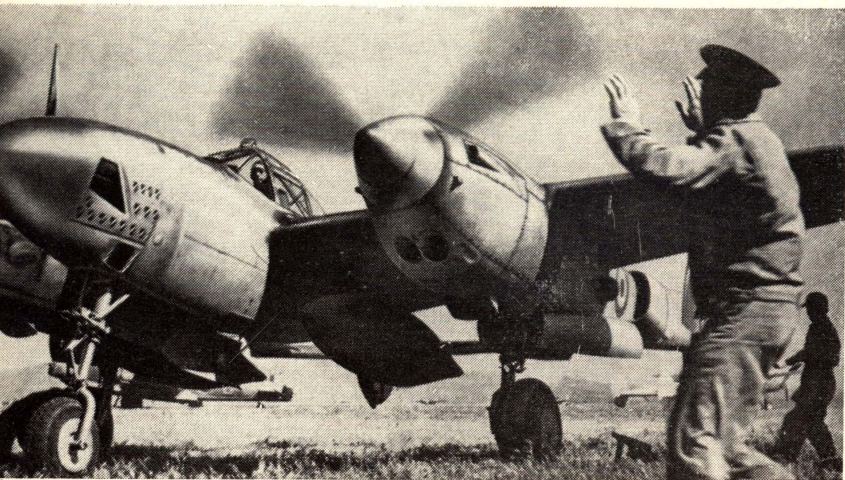
Улыбнувшись мне, парень, который за минуту до того был лишь функцией, орудием, неким чудовищ-



В свободное время Сент-Экс работает над «Цитаделью».

Старые ранения дают о себе знать: приходится прибегать к помощи товарища, чтобы натянуть летный костюм.





Утро 31 июля 1944 года. Это последнее задание...
Сент-Экс не вернулся.

INTERROGATION REPORT						
MEDITERRANEAN ALLIED PHOTO RECONNAISSANCE COMMAND						
Serial No.	XX 338 110	Date	31 JULY 1944			
PIR		Character	CONF. ST. EXCURY	Time Out	0015	Time In
Operator	3383 FAF	Serial No.	222	Total Time	54	Alt.
Target Weather		Cloud		Height		Bar
Targets and Positions as given in Report of Mission	Route No. &	Time	Alt.	Alt.	Remarks under this title apply only to targets not observed from aircraft.	
UNFACED						
MARRIUS EAST OF LYON						NO PICTURES
GENERAL REMARKS						
PILOT DID NOT RETURN AND IS PRESUMED LOST.						
				1530	WENDON W. ROBERTSON 1ST LT. A.C.	

Репорт о невозвращении.
Фамилия — майор Сент-
Экзюпери; дата — 31 июля
1944 года; время — 08.45.
Задание — аэрофотосъемка
к востоку от города Лион.
Сухая пометка — снимков
нет — и фраза: «Пилот не
вернулся, считается утерян-
ным».

ным насекомым, внезапно оказался немного неуклюжим, почти застенчивым замечательной застенчивостью. И не в том дело, что он был менее груб, чем какой-либо другой из этих парней, этот террорист. Но проявление в нем человека уже очень явственно осветило его уязвимую сторону! Мы, люди, любим принимать на себя вид превосходства, но в тайниках души у нас гнездятся колебания, сомнения, печаль...

Никто еще ничего не произнес. А между тем все уже было решено. Я с благодарностью положил руку на плечо дружинника, когда он протянул мне сигарету. Стоило только тронуться льду, как и остальные дружинники приобрели человеческие черты, — я вошел в их улыбку, как проникают в новый мир.

Я вошел в их улыбку, как когда-то входил в улыбку наших спасителей в Сахаре. Когда товарищи после многих дней поисков находили нас, то, приземлившись неподалеку, широко шагая, шли к нам, размахивая бурдюками с водой. Об улыбке потерпевших бедствие, когда я был в роли спасителя, я вспоминаю тоже как о некоей родине, где я был счастлив. Подлинное удовольствие — это удовольствие сотрапезника. Спасение было лишь поводом к такому удовольствию. Вода не обладает способностью очаровывать, если она не дарована доброй волей людей.

Уход за больным, пристанище, предоставленное изгнаннику, даже прощение приобретают ценность лишь благодаря улыбке, которая озаряет твой праздник. Мы сближаемся в улыбке наперекор различиям языков, каст, партий. Мы прихожане одной и той же церкви, тот — другой — со своими навыками, я — со своими.

Разве подобная радость не драгоценнейший плод нашей цивилизации? Тоталитарная тирания могла бы обеспечить удовлетворение наших материальных потребностей, но ведь мы не скот, предназначенный на откорм. Благополучие и комфорт не в состоянии

полностью удовлетворить все наши запросы. Для нас, воспитанных в культе Человека, огромное значение приобретают простые встречи, которые превращаются иногда в замечательный праздник...

Уважение к человеку! Уважение к человеку!.. Это и есть краеугольный камень! Когда нацист уважает лишь подобного себе нациста, он никого не уважает, кроме самого себя. Он не приемлет творческие противоречия, уничтожает всякую надежду на духовный рост и вместо человека создает на тысячелетие робота в муравейнике. Порядок ради порядка оскотливляет человека, лишает его основной силы, заключающейся в том, чтобы преобразовать мир и самого себя.

Что касается нас, нам кажется, что наш духовный рост не закончен и что правда завтрашнего дня питается ошибками вчерашнего. Противоречия, которые надо преодолеть, — удобрение для нашего роста. Мы признаем своими людей, отличных от нас. Но что это за удивительное сродство! В основе его будущее, а не прошлое, цель, а не происхождение. В отношении друг друга мы странники, бредущие по разным дорогам к общему месту встречи. Но вот сегодня уважению к человеку — условию нашего роста — угрожает опасность. Разруха современного мира ввергла нас во мрак. Проблемы, встающие перед нами, лишены последовательности, решения их противоречивы. Правда вчерашнего дня умерла, правду будущего надо еще построить. Никакого общеприемлемого синтеза еще не предвидится, и каждый из нас обладает лишь крупницей истины. За отсутствием совершенно бесспорных истин, которые заставляли бы принимать их безоговорочно, политические учения призывают к насилию. И вот в спорах о методах мы рискуем не заметить, что стремимся к одной и той же цели.

Если путешественник, взбирающийся на гору в направлении, указываемом какой-нибудь звездой, дает себе чересчур увлечься самим процессом восхождения, он рискует забыть, на какую звезду ориентируется. Если он действует лишь ради самого дей-

ствия, он не придет никуда. Если привратница собора чересчур усердно занимается сдачей стульев напрокат, она рискует забыть о том, что служит богу. Так, если я замыкаюсь в какой-либо предвзятости, я рискую забыть, что в политике есть смысл лишь постольку, поскольку она служит какой-то бесспорной духовной истине. Чудо происходило тогда, когда мы наслаждались возвышенными человеческими отношениями — в этом для нас истина. Какую бы поспешность ни требовало то или иное действие, не следует упускать из виду (без чего это действие окажется бесплодным), чему это действие призвано служить. Мы хотим установить уважение к человеку. Зачем же, раз мы в одном лагере, ненавидеть друг друга? Никто из нас не обладает монополией на чистоту помыслов. Я могу оспаривать во имя своего пути направление, которое избрал другой. Я могу критиковать ход его мыслей. Ход мыслей не есть нечто бесспорное. Но я должен уважать этого человека, если он прокладывает путь в направлении той же звезды.

Уважение к человеку! Уважение к человеку!.. Если бы уважение к человеку прочно обосновалось в сердцах людей, они создали бы в конце концов социальную, политическую или экономическую систему, которая утвердила бы это уважение. Цивилизация создается прежде всего в самой своей сущности. В человеке она — поначалу неосознанное стремление к некоторому теплу. Затем человек, от ошибки к ошибке, находит путь, который ведет его к огню...»

Что это, абстракции? Отнюдь нет. Когда сегодня мы видим, куда голлизм ведет Францию, в дни новой мировой, на этот раз пока «холодной войны», слова Сент-Экзюпери звучат как нельзя более конкретно.

«Послание заложнику», эта вершина публицистическо-художественного творчества писателя, как и опубликованная двумя месяцами позже, в апреле 1943 года, сказка «Маленький принц», ярко свидетельствуют о душевной драме Сент-Экзюпери.

Но думал ли он в Нью-Йорке, что, проехав пять тысяч километров по океану, он снова найдет — да еще в увеличенном виде — все те мотивы, все те причины, которые заставляли его так страдать в Соединенных Штатах? Ибо месть, злопамятство и даже ненависть преследуют его на этой земле Северной Африки, куда он рвался всей душой.

Он уже не летает и думает, что навсегда оторван от товарищей, которые будут участвовать в небе, в уже мерцающей впереди победе. Ссылка американцев на его возраст показалась ему лишь предлогом. Он вдруг почувствовал себя хуже, чем стариком, — изгоем.

На все просьбы использовать его в любой области он получает пренебрежительный отказ. Полковник Шассэн (в скором времени генерал), старый друг Сент-Экзюпери и его бывший начальник по Высшей школе аэронавигации и пилотажа, встретившийся с ним в Алжире, при виде угнетенного состояния Сент-Экса, вызванного его вынужденным бездействием, посылает рапорт генералу де Голлю. Напоминая в нем о блестящих качествах Сент-Экзюпери, о его мировой известности и о том, что он морально страдает от невозможности принести какую-либо пользу, он предлагает послать его со специальным заданием в Китай. Рапорт заканчивается указанием, что вместо того, чтобы использовать Сент-Экзюпери в соответствии с его возможностями, ему все еще не дают проявить свои качества и оставляют в бездействии в Алжире. На полях этого рапорта де Голль собственноручно пишет резолюцию: «И хорошо, что не у дел. Тут его и оставить».

Те, кто пытался выступить в защиту Сент-Экзюпери перед генералом де Голлем или его окружением, говоря о качествах писателя, летчика, человека, получали всегда ответ: «Он хорош только на то, чтобы делать карточные фокусы».

Время от времени в окружающем его безысходном мраке мерцает проблеск надежды. Сент-Экзюпери узнает, что из Лондона в СССР в подкрепление авиаполка «Нормандия» должна выехать новая груп-

па летчиков во главе с одним генералом. Генерал этот соглашается взять его с собой. Но по каким-то неизвестным причинам проект переброски новой партии летчиков в СССР расстроился.

Все как будто сговорились угнетать Антуана. Комната, в которой он живет, серая и тоскливая. Эта «идиотская комната», где он ведет «жизнь затворника без религии», ненавистна ему. Однажды он тяжело упал на темной лестнице по дороге в свою комнату и решил, что у него сломан позвонок. Доктор Пелисье с ним не согласен. Сент-Экс настаивает. Он даже указывает, какой позвонок: это пятый поясничный. «В нем нет мозга, это не съедобный позвонок». — «Его очень трудно лечить», — говорит Пелисье, который в своих воспоминаниях рассказывает нам много подробностей об этом случае. Но Антуан консультируется с двумя другими врачами, у которых тоже свое мнение. «Он так повлился на рентгенолога», — уверяет нас доктор Пелисье, который, «по несчастью, не мог сопровождать к нему Сент-Экса», что тот нашел у него поперечную трещину в пятом поясничном позвонке. Между тем снимки показали Сент-Экзюпери только «утренний туман в японском пейзаже, нечто, что одинаково могло быть холмом и позвонком». В это же время Сент-Экзюпери начинает казаться, что у него рак желудка.

Это обстоятельство и боль, которую ему причиняет позвонок, отвлекают его от моральной депрессии. Этот «изгнанник в изгнании», как его называет Пьер Даллоз, ищет «отдушину» в занятиях математикой и аэродинамикой, много времени проводит за шахматами с художником Марке, а также изредка встречается с какими-нибудь приятелями и товарищами. Посетители проходят к нему в маленькую комнатку, где царит беспорядок. Тогда Сент-Экс зовет экономку доктора Пелисье Северину и просит ее принести сухих фиников и апельсинов. Северина относится к Сент-Экзюпери почти по-матерински. Иногда она сердится на него и журит его. Поэтому Сент-Экс говорит о ней: «Она моя мать и моя ма-

чеха». Северина не отличается терпением Паулы. Она вышла из возраста, когда привыкают к требовательности и эксцентричности друга своего хозяина, переворачивающего ее спокойную жизнь... Так, например, чтобы забавлять своих посетителей, он в салоне катает апельсины по рояльным клавишам, одновременно нажимая на педали, и, как он говорит, «добивается таким образом цепи звуков, в которой при желании можно различить журчание водяных струй». Но эта забава пачкает клавиши красивого рояля, за которым так ухаживает Северина.

Впервые, быть может, на него в полной мере наваливается отчаяние. Не будет преувеличением употребить это слово, которое в применении к Сент-Экзюпери кажется еще более ужасным. Леон Верт впоследствии никогда не соглашался допустить и мысли об этом. Подобное душевное состояние его друга, способного на такие порывы, на такое проявление мужества, казалось ему невозможным. «Я отвергаю такой образ Сент-Экзюпери, полностью подавшегося отчаянию, — напишет он после его смерти. — Свидетельства, которые отрицают это, не менее многочисленны, не менее достоверны, чем те, что это подтверждают». Но у нас имеется свидетельство самого Сент-Экзюпери, которое мы не можем отвергнуть, несмотря на содержащиеся в нем преувеличения — следствие обычной для него сверхэмоциональности.

Все письма, которые он пишет в это время, — многие из них будут доставлены их адресатам лишь по-смертно — полны горечи и отвращения. Хотя он и презирает ненавистников и испытывает лишь пренебрежение к их глупости и злобе, он все же не может удержаться от того, чтобы не говорить о них. «Я не переносу больше ни клеветы, ни оскорбления, — пишет он в одном письме, — ни этой нескончаемой безработицы. Я не умею жить вне любви. Я всегда говорил, действовал, писал, только движимый любовью. Я один больше люблю свою родину, чем они все вместе. Они любят лишь самих себя».

Доктору Пелисье еще из Туниса он пишет: «Мне

незачем бесконечно спорить о самом себе. Я больше не переношу объяснений. Мне нечего отдавать отчет в своих действиях, и тот, кто меня игнорирует, чужой мне. Я слишком устал, слишком изнеможен, чтобы измениться. С меня довольно врагов, чтобы наставлять меня. Мне необходимы друзья, которые будут садом, где я могу отдыхать... Сегодня, старина, я уже больше не могу. Печально. Хотелось бы так, хоть немного, любить еще жизнь, а я ее уже совсем не люблю».

Иногда Сент-Экзюпери встречался с участниками внутреннего Соппротивления, прибывавшими из Франции. С жадностью ловил он все сведения о том, что происходило на его родине, оккупированной неприятелем. Он просил тех, кто жили там и пробрались в Алжир ценою стольких опасностей, говорить ему о страданиях и надеждах его угнетенных братьев. Но если рассказы о мужестве и самоотверженности тех, кто боролся в подполье, радовали его сердце и вызывали слезы на глазах, ничто не могло стереть глубоких и болезненных следов, оставленных на нем злобой, клеветой и ненавистью его недоброжелателей. Эта рана никогда не затягивалась. Больше того; он все время растрavляет ее.

К тому же перед ним при встречах с людьми из Франции не мог не возникать всегда мучавший его вопрос: правильно ли он поступил, покинув родину?

В этом отношении особенно радостными и в то же время мучительными были его встречи с Пьером Даллозом, человеком чистой души, одним из инициаторов Веркорского плацдарма и так называемого плана «Монтаньяр». Пьера Даллоза он знал давно, и там, в Веркоре, был его друг — первый, кто увидел в нем писателя — Жан Прево.

И Пьеру Даллозу, как и Сент-Экзюпери, пришлось испытать на себе, что значило в глазах де-Голля проявлять какую-то инициативу. Однако с ним поступили еще коварнее. Сначала его обнадежили, затем, решив использовать предложенный им план в своих целях, начали всячески оттягивать его выполнение в том виде, как он был разработан внут-

ренним Соппротивлением. И чтобы окончательно устранить Даллоза с дороги, разыграли гнусную комедию — отправили его в Лондон якобы для руководства действиями маки. При виде того, как план «Монтаньяр» превращается в провокацию, поскольку самое основное в нем не выполняется, Даллоза охватывает смятение. Но все его усилия что-либо изменить наталкиваются на противодействие деголлевской разведки.

Развязкой всего этого дела явилась Веркорская трагедия.

Впоследствии в «Леттр франсэз» от августа 1945 года Пьер Даллоз писал: «У многих бойцов Веркора создалось впечатление, что сначала их легкомысленно втравили в дело, а затем покинули, предоставив собственной участи...»

«Незадачливый идеалист», как назвал Даллоза Шарль Тийон, не был все же ни подлецом, ни слепцом, иначе бы он не пользовался полной поддержкой Ива Фаржа, в то время возглавлявшего «Комитет действия против угона населения». И думается, Даллоз отнюдь не закрывал глаза на специфические черты деголлизма. Поэтому можно смело предположить, что общение с ним Антуана, продолжавшееся в Алжире несколько месяцев, сыграло не последнюю роль в выработавшемся у Сент-Экзюпери окончательном отношении к деголлизму. Если бы на этот счет могло существовать какое-либо сомнение, то письмо Даллозу, которое будет приведено позже, одно из последних писем Сент-Экзюпери, полностью подтверждает сказанное.

Действительно, так пишут только единомышленнику..

Единственная радость Антуана в это время — приезд подруги, снова сумевшей вырваться из оккупированной Франции. В предыдущих главах о ней упоминалось уже не раз. Пора рассказать подробнее об этой во многом удивительной женщине, сыгравшей в жизни Антуана и в том, что до нас дошла значительная часть его духовного наследства, весьма большую роль.

Точное время первой встречи Антуана с женщиной, занявшей значительное место в его жизни в зрелые годы, трудно установить. Но, по всем имеющимся данным, произошло это не ранее 1934 года. Время это, как мы уже знаем, было трудным периодом его жизни. После блестящего успеха «Ночного полета» Сент-Экзюпери преследуют всякие неудачи материального и морального характера. Семейная жизнь сложилась так, что в ней он также не мог найти никакого подспорья, а скорее наоборот.

И вот однажды в салоне своей кухни Ивонны де Лестранж Антуан знакомится с молодой интересной женщиной. Умная, человек большой культуры, способная возвыситься до уровня писателя, поэта, философа, она сразу же привлекает его внимание. К тому же и по своим физическим данным она как раз тот тип женщины, который больше всего нравится Сент-Эксу. Красивая, высокая, стройная и вместе с тем изящная. Чисто женское обаяние в ней сочетается с мужской независимостью. Правда, она замужем, но и Антуан женат. Строгостью нравов в супружеской жизни ни тот, ни другая не отличаются — и между ними происходит сближение. Да и удивительного в этом нет ничего. У Антуана с Консуэло происходят частые размолвки, приводящие к более или менее длительным разрывам, и в эти минуты подруга служит ему своего рода тихой гаванью.

Женщина эта восхищалась писателем и угадала в его творческих начинаниях человека большой души. Несомненно, она притязала на то, чтобы играть в его жизни роль Эгерии-вдохновительницы. Всегда приветливая, внимательная, тонкая, она частично умом, частично своей женской интуицией хорошо понимала Антуана во всей его сложности и умела вносить успокоение в его мятущуюся, взволнованную душу. Во все наитруднейшие моменты жизни Сент-Экзюпери она ухитряется быть рядом с ним и оказывать ему моральную поддержку, в которой он так

нуждается. При этом она в не меньшей, если не в большей степени, чем другие друзья, страдает от тирании Сент-Экзюпери, которую терпеливо и с юмором переносит, нежно окрестив ее «замечательной требовательностью».

Иллюстрацией к взаимоотношениям Антуана и Н. может служить следующий эпизод.

Н. только что приехала в Алжир. Антуан тотчас же засаживает ее за чтение рукописи «Цитадели». Наконец-то у него есть читатель, который полностью его понимает! Ему так трудно работать в нездоровой атмосфере Алжира. Он ищет поддержки у друга. Да и Н. знакома с этим его творением не с сегодняшнего дня. Она, по всей вероятности, единственный человек, посвященный во все тайны его медленно и мучительного рождения. Несколько лет тому назад, когда замысел его только начинал оформляться, она первая прочла все и написала Сент-Эксу письмо, в котором подробно излагала свои впечатления.

В то время Антуан ответил ей взволнованным письмом:

«Твое письмо — это в точности, в точности то, в чем я нуждаюсь. Я прочитал его уже тридцать раз. Ты не можешь себе представить, какое это для меня имеет значение. Это может побудить меня к работе. Я так хотел бы получить еще письмо. Пойми, дело не в том, чтобы чужие мнения учили меня чему-либо, и не в том, что советы помогали бы (по крайней мере на этой стадии). Как только книга будет закончена, вот тогда, пожалуйста, пусть критикуют, и чем больше, тем лучше — для совершенства. Но на этой стадии это меня опустошает. Единственный вопрос, который тревожит и мучает меня, и в то же время единственный ответ на вопрос, который побуждает работать, помогает и служит службу: какое впечатление от моей книги у читателя? В точности твое письмо. В точности».

С тех пор много воды утекло. Сент-Экс сильно изменился. Рукопись его все разрасталась — в ней уже около тысячи страниц. Н. тоже немало пережила и,

наверно, изменилась. Как-то она теперь воспримет его произведение, это произведение, перед которым, как ему кажется, все его предыдущее творчество — лишь проба пера?

Антуан охвачен лихорадочным возбуждением. Ему не сидится на месте — все равно он не в состоянии что-нибудь делать. Он нервно шагает по комнате, время от времени бросая опасливые взгляды на подругу, отмечая в уме страницу, до которой она уже дошла, и стараясь по выражению ее лица угадать впечатление. При этом он мешает ей сосредоточиться.

Н. устала с дороги, в городе стоит невообразимая жара, задувает сирокко, нечем дышать. Прочтя около ста страниц, она не выдерживает и просит Антуана пройтись с ней к морю.

Сент-Экс поражен. Он весь возмущение. Такой жестокости от подруги он не ожидал.

— Раз ты не дочитываешь мою книгу, значит тебе скучно!

— Да нет же, я нахожу ее просто замечательной!

— Неправда, раз она тебя утомляет!

— Но я устала не от книги. Я устала с дороги и совершенно ошалела от жары. Вот пройдусь немного, подышу воздухом, тогда будет легче читать.

— А вечером тебе захочется спать.

— Да нет же, не захочется.

Сент-Экс расстроен и пытается найти компромиссное решение:

— Прочти хоть еще главу.

— Прочту, когда вернемся.

— Ну, хоть эти две страницы.

Подруга весело рассмеялась. Она была рада найти прежнего Антуана с его «замечательной требовательностью». Взволнованное лицо Сент-Экзюпери вдруг просветлело, он на минуту исчез в своей спальне и, вернувшись, шутливо и вместе с тем смущенно произнес:

— На вот, возьми!

— Что это ты мне принес?

— Ну-ка, проглоти!

Смеясь, но решительным жестом он с живостью сунул ей в рот какие-то таблетки и заставил запить водой.

— Можешь теперь идти купаться, сегодня уже не заснешь. Я тебе дал две таблетки бензедрина (фенамина).

В самом деле, в течение сорока восьми часов подруга не могла сомкнуть глаза, и ей не оставалось ничего лучшего, как одолеть всю рукопись.

Этот эпизод, почерпнутый из воспоминаний Н., весьма красноречиво говорит о ее отношениях с Антуаном. Отношения эти в первую очередь чисто дружеские. Как резко они отличаются от отношений, сложившихся у Антуана с Консуэло! По существу, можно было бы предположить, что любовницей была жена, а не подруга. Но это было бы неправильно. То, что в корне отличало отношение Сент-Экса к Консуэло от отношения мужчины к любовнице, — это сильно развитое, а может быть, и врожденное чувство ответственности за жену. Антуан безумно жалел Консуэло и считал, что без него она пропадет. С ней он мог чувствовать себя сильным, мужественным — той скалой, о которую разбиваются житейские бури. Эта потребность опекать кого-то весьма часто свойственна людям мужественным, порывистым, но не всегда устойчивым. И в ней они подчас черпают силу и желание бороться со своей неустойчивостью. В этом чувстве больше нежности, чем страсти, и оно ближе всего к настоящей любви. Поэтому что любовь — это прежде всего отдача самого себя.

Самые большие тревоги у Антуана вызывала всегда жена. Когда в Ливийской пустыне он ожидал приближения смерти, он все время думал о ней — и не потому, что она не дала ему спать перед отлетом и, возможно, была в известной мере виновата в его неудаче, а потому, что без него, он это знал, она пропадет. После спасения он пишет матери из Каира:

«Каир, 3 января 1936 года.

Дорогая мамочка.

Я плакал, читая полученные от вас строки, полные столь глубокого смысла, потому что в пустыне я взывал к вам. Меня приводил в ярость уход от близких всех мужчин, приводило в ярость безмолвие.

Ужасно оставлять позади себя кого-нибудь, кто, как Консуэло, так нуждается в тебе. Чувствуешь, огромную необходимость вернуться, чтобы оберегать и ограждать, и ломаешь ногти о песок, который не дает тебе выполнить твой долг. Горы, кажется, сдвинул бы! Но нуждался я в вас; забота оберегать, ограждать меня лежала на вас, и это вас я призывал на помощь с эгоизмом козленка...»

Антуан объединяет в одном чувстве мать и жену:

«Это немного ради Консуэло, что я вернулся, но это благодаря вам, мама, возвращаешься. Догадывались ли вы о том, какой вы ангел-хранитель, такая слабая и такая сильная, и мудрая, и преисполненная благодати, и благословляющая, что к вам одиноко в ночи возносишь свои мольбы...»

Двумя годами позже, рассказывая в «Земле людей» о своем трагическом приключении и о том, как он, плутая с Прево два дня в пустыне, прошел более 60 километров без капли воды во рту и свалился у разбитого самолета, Сент-Экзюпери говорит: «Предо мной возникают глаза жены. Я вижу только эти глаза. Они вопрошают...»

Да, Антуан чувствовал себя ответственным за жену, и он был полон снисхождения к этой «маленькой экзотической птичке». Мы уже приводили этому другой пример в главе «Военный летчик».

Воспитание и в значительной мере глубокое уважение и любовь к собственной матери еще укрепляли в нем серьезное отношение к роли мужа, как опекуна своей жены.

Для отношения Сент-Экзюпери к браку вообще характерно его письмо к Ринетте, написанное в ап-

реле 1931 года, должно быть, всего через несколько дней после свадьбы.

Вечер. Поздно, полночь. Сент-Экс в Агее у своей сестры Диди. Все уже легли спать. Даже его молодая жена. Он один в тишине со своими мыслями. В окно он видит море, которое луна усеяла серебряными блестками. «Они мерцают на тихой глади, подобно листкам фольги на опустевшей ярмарочной площади, где еще не погасли огни. Большая пустынная площадь, которую днем оживлял полет бескрылых чаек».

Антуан чувствует необходимость поделиться с кем-нибудь своими чувствами. Он берет лист бумаги, перо и садится к огню, горящему в камине.

«Вот и...»

Все остальное в этом письме для нас сейчас не имеет значения, а для Сент-Экзюпери это всего-навсего немного разворошенного пепла, из которого иногда вылетает несколько искр.

Вот и свершилось непоправимое! Для него уже нет пути назад...

В отношениях с подругой доминирующее чувство — это чувство обоюдной свободы и интеллектуальной близости. К ней он предъявляет требования, какие предъявляют только к ближайшему другу. Конечно, он не был бы мужчиной, если бы не стремился к обладанию столь привлекательной женщиной, в особенности на первой стадии их сближения. Но, как и в отношениях с Консуэло, эта сторона играла в их многолетней связи лишь второстепенную роль. Характерно, что Консуэло, вполне осведомленная об этой близости, ревновала Антуана к другу так же яростно, как и ревновала его к самолету и перу, но вовсе не ревновала к женщине или, если у нее и было такое чувство, так умело скрывала его, что никто никогда ничего не замечал.

И что удивительного, что при взаимопонимании, существовавшем между Антуаном и Н., он сделал ее своей духовной наследницей? Удивительно скорее другое — то, что, не будучи профессиональным литератором, она не только справилась со своей задачей,

но и написала под псевдонимом Пьер Шеврие блестящую книгу о своем друге, из которой все исследователи Сент-Экзюпери черпали и черпают бесценную документацию о писателе-летчике. Книга эта написана с большим тактом, и если в ней и проскальзывает иногда желание идеализировать Сент-Экзюпери, то все же самый привередливый критик не сможет усмотреть в ней и намека на что-нибудь другое, превосходящее обычную для каждого искреннего автора влюбленность в своего героя.

Однако уже то, что Сент-Экзюпери избрал Н. своей духовной наследницей, вызвало ряд осложнений, чуть не закончившихся драмой.

Дело в том, что литературное наследство писателя, заключавшееся в рукописях, бережно хранившихся в небольшом голубом чемоданчике, который Сент-Экзюпери всегда возил с собой, при отсутствии завещания принадлежало по закону кровным родственникам, в данном случае матери Антуана. Но на него претендовали как Н., так и Консуэло. Единственным указанием на последнюю волю самого Сент-Экзюпери был найденный в его бумагах полетный лист с набросанными на оборотной стороне несколькими строчками. Строчки эти явно свидетельствовали о том, что Антуан хотел назначить своей духовной наследницей Н. Однако хотя эти строчки и были написаны рукой Сент-Экзюпери и можно было легко установить время их написания (за несколько дней до смерти), под ними не стояло ни даты, ни подписи. С точки зрения закона такое завещание не могло носить бесспорного характера. Чуть было не разразился процесс. Консуэло была взбешена и метала громы и молнии. К счастью, мать с ее обычной деликатностью отстранилась от этого спора и, по-видимому, сумела оказать соответствующее давление и на Консуэло. По решению друзей и боевых товарищей Сент-Экзюпери рукописи были переданы Н.

Медленно, тщательно Н. разбирает документы, часть из которых уже опубликована. Дело это не легкое. Ведь сам Антуан иногда не мог разобрать некоторые свои записи.

Со временем, когда будут разобраны все оставшиеся после Сент-Экзюпери документы, когда будут собраны и опубликованы все его письма, для будущего биографа не составит труда полностью восстановить духовную жизнь Сент-Экзюпери, и тогда, возможно, то, что сейчас нам еще не совсем ясно, полностью разъяснится.

«ЦИТАДЕЛЬ»

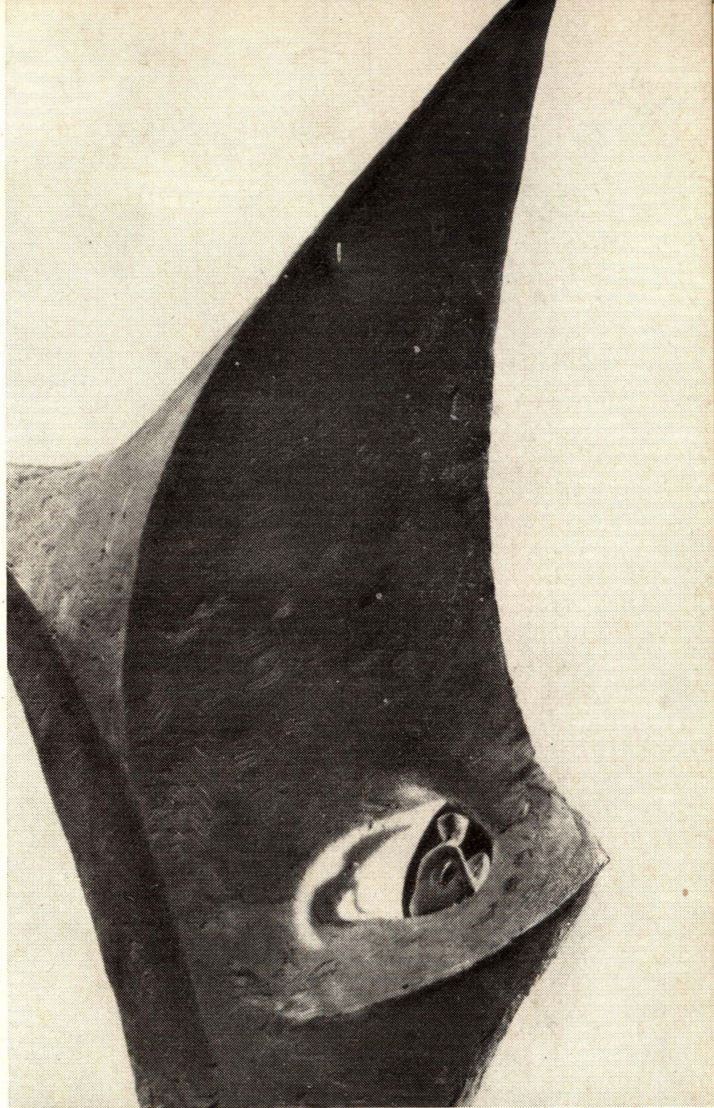
Несмотря на некоторое моральное успокоение, которое вносит в жизнь Сент-Экзюпери присутствие в Алжире подруги, ему трудно перебороть себя, трудно стряхнуть с себя угнетенное состояние.

Он хотел бы писать. В комнате под боком рукопись «Цитадели». Он то добавляет в нее несколько строк, то правит ранее написанное. «Но работать трудно, — пишет он в одном письме. — От этой ужасной Северной Африки у меня загнивает сердце. Я больше не выдерживаю. Это могила. Как просто было вылетать на задание на «Лайтнингах!»»

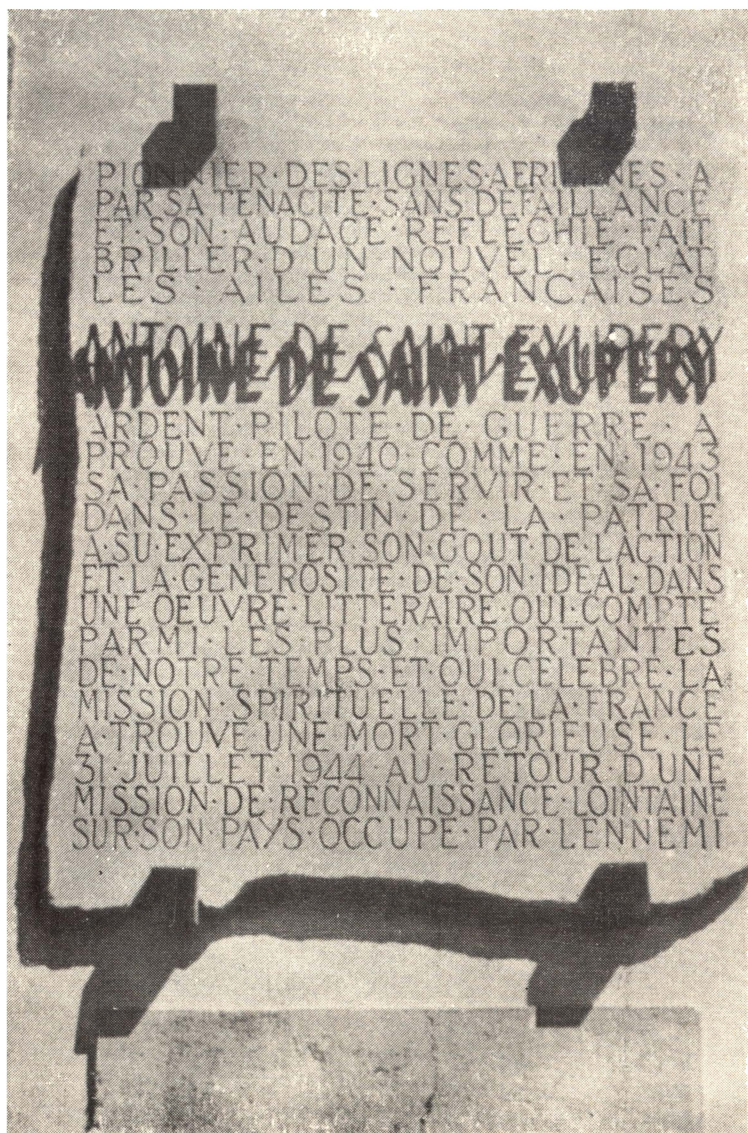
Тоска, тоска, которая неотступно следует за ним с момента отъезда из Франции, звучит во всем, к чему он только ни притрагивается:

«Вот почему, мой друг, должно быть, я так нуждаюсь в твоей дружбе. Я жажду иметь товарища, который, возвышаясь над умственными несогласиями, уважает во мне странника, держащего путь к тому же огню. Мне иногда необходимо наперед насладиться обещанным жаром и, отрешившись от себя, немного отдохнуть при этой встрече — нашей встрече.

Я так устал от всяких полемик, от непримиримости, от фанатизма! К тебе я могу зайти, не наряжаясь в какую-либо форму, без необходимости затвердить какой-либо коран или отказаться от чего бы то ни было из моего внутреннего мира. С тобой я не должен оправдываться, произносить защитительных речей, мне тебе нечего доказывать; с тобой я снова нахожу покой, как в Турнюсе. Пренебрегая моими неловкими словами, пренебрегая рассужде-



Проект памятника Сент-Экзюпери работы
скульптора Марселя Мэйера.



Мемориальная доска на маяке в Агее

ниями, в которых, быть может, я обманываюсь, ты просто видишь во мне человека. Ты уважаешь во мне человека, обладающего своими верованиями, обычаями. Если я и отличен от тебя, я не только не лишаю тебя чего бы то ни было, я дополняю тебя. Ты выпрашиваешь меня, как выпрашивают путешественника.

Я, как и всякий человек, испытываю нужду в том, чтобы меня ближе узнали, — и в тебе я очищаюсь — и гряду к тебе. Я испытываю необходимость идти туда, где я очищаюсь. Не мои высказывания, не мои рассуждения дали тебе понять, кто я. Приятие меня таким, какой я есть, сделало тебя, если в том была нужда, снисходительным как к моим рассуждениям, так и к моим высказываниям. Я признателен тебе за то, что ты приемлешь меня таким, какой я есть. К чему мне друг, который судит меня? Приглашая к столу хромого друга, я прошу его сесть, а не плясать.

Друг мой, ты необходим мне, как вершина, на которой легко дышится! Мне необходимо когда-нибудь еще облокотиться рядом с тобой на стол в маленьком ветхом трактире на берегу Соны, пригласить речников, почувствовать себя в их компании умиротворенным улыбкой, подобной лучезарному дню, и распивать перно.

Если я буду еще сражаться, то это отчасти ради тебя. Ты нужен мне, чтобы я мог крепко верить, что придет время такой улыбки. Мне необходимо помочь тебе жить. Я представляю себе тебя таким слабым, столь подверженным опасностям! В твои пятьдесят лет, весь продрогший, укрытый лишь своим поношенным пальто, ты часами напролет стоишь на тротуаре возле какой-нибудь продуктовой лавочки, чтобы просуществовать лишней день. Я чувствую, как тебе, французу, — и потому, что ты француз, и потому, что ты еврей, — вдвойне угрожает смертельная опасность. Я чувствую всю ту цену, которую представляет собой человеческая близость, не терпящая больше разногласий. Все мы плоть от плоти Франции, подобно плодам одного и того же дерева, и я буду служить твоей правде, как ты служил бы

моей. Для нас, французов, находящихся за пределами страны, проблема этой войны заключается в том, чтобы высвободить запас семян, замороженных под снегом немецкой оккупации. Проблема в том, чтобы поддержать вас там. Мы должны сделать вас свободными на земле, где вам принадлежит неотъемлемое право развивать свои корни. Вас сорок миллионов заложников. Именно в подвалах, именно под гнетом и рождаются всегда новые истины — сорок миллионов заложников размышляют над своей новой правдой. Мы заранее подчиняемся этой правде.

Потому что вы будете нас учить. Не нам зажечь пламя в сердцах тех, кто питает его, словно воском, самим своим существом. Возможно, вы вовсе не будете читать наших книг. Не будете прислушиваться к нашим речам. Наши идеи — возможно, вы изрыгнете их. Мы не создаем Францию — мы лишь служим ей. Что бы мы ни совершили, мы не вправе ожидать никакой благодарности. Свободная борьба и удушение в ночи несоизмеримые вещи. Вы — святые».

Эти страницы, которыми заканчивается «Послание заложнику», написаны еще в Америке. Но что изменилось? В Алжире, на этой так называемой французской земле, Сент-Экзюпери попал в еще худшую обстановку.

Как ему кажется, ни его собственный пример, ни то, что он хотел сказать людям, не было понято — его не захотели понять! Он проповедовал любовь, а ему отвечали ненавистью. Он показал пример самоотверженности, а его обливали грязью...

Как далек он теперь в мыслях от своих товарищей из «Земли людей» и «Военного летчика» — этих товарищей, чья «субстанция» приводила его в восторг! Ведь он считал, что они создают будущее! А теперь из-за кучки злонамеренных людей, которая заставляла его несправедливо страдать, он начинал видеть всех людей в черном свете... предсказывать «самые мрачные времена мира».

Да, Сент-Экзюпери слишком много давал и в ответ получал лишь пинки судьбы, как когда-то от па-

тагонского шторма. С высоты того одиночества, на которое он взобрался, Антуан разочарованно глядел на мир: человек еще так далек от того, чем он хотел бы его видеть! Человек еще так далек от того, чем он когда-нибудь станет!..

Неужели он забыл в своем отчаянии об истинах, провозглашенных им самим?

«Медленно развиваясь наподобие дерева, жизнь передавалась из поколения в поколение, и не только жизнь, но и сознание. Какая удивительная эволюция! Из расплавленной лавы, из звездного вещества, из чудом возникшей живой клетки появились мы, люди, и мало-помалу достигли в своем развитии того, что можем сочинять кантаты и взвешивать далекие светила... — еще так недавно писал Сент-Экзюпери в «Земле людей». — Процесс сотворения человека далеко не закончился... Надо перекинуть мостик через ночь...» — писал он там же.

Знает ли он, что за двадцать лет его собственное сознание перепрыгнуло через медленную эволюцию, для которой другим людям, возможно, потребуются века?

И все же иногда, стяхнув обиду и возмущение, Сент-Экзюпери думает, что страдание необходимо для его развития. Одной только доброй воли для этого недостаточно. Подобно тому как этого недостаточно и «тем, кто, заметив, как сильного человека изводит принуждение, и видя в нем величие, требовал для него свободы. И, конечно, противодействие врага, которое тебя создает, в то же время и ограничивает тебя. Но уничтожь врага — и ты не можешь родиться...»

Это слова из «Цитадели». Хотелось бы знать, когда Сент-Экзюпери написал эти строки. Думается, в Алжире. Но, по существу, это не имеет большого значения. В период, когда писатель особенно активно работал над этим произведением, было много моментов, когда он мог бы это написать.

«Цитадель» — рукопись, с которой Сент-Экзюпери никогда не расстанется, книга, перед которой,

как однажды сказал писатель, «все мои предыдущие произведения — лишь проба пера», — начата им в 1936 году. За время пребывания в США краткие записи и наговоренный писателем в диктофон текст разрослись уже до 915 машинописных страниц. К этому надо добавить большую рукописную тетрадь и несколько тетрадей поменьше, в которые он не перестает заносить записи все более мелким почерком до мая 1944 года. Некоторые из этих записей до сих пор не разобраны, и даже неизвестно, куда их отнести, так как в рукописях на этот счет не имеется никаких указаний. С другой стороны, многочисленные записи носят пометку: «Заметки на потом». По собственному признанию Сент-Экзюпери, он собирался работать над рукописью еще лет десять, а потом несколько лет посвятить ее отделке.

Таким образом, изданные материалы представляют собой не законченное произведение, а лишь «заготовки» для книги. Это «руда», из которой, отделив «пустую породу», писатель извлек бы, как всегда, все самое существенное. То, что нам известно уже о его способе работать, о тщательности, с которой он отсеивал все лишнее, о его постоянном стремлении к лаконизму, ясности и выразительности, устраняет в этом смысле всякие сомнения. Но для биографа важно не это. Важно то, что и в этой незаконченной книге, как и во всем ранее написанном, мы находим Антуана де Сент-Экзюпери.

В этой книге как бы сходятся в одном узле все основные нити предыдущих произведений, и в то же время она принципиально от них отлична. Разговор с самим собой, начатый в первых произведениях писателя, уже в заключительных страницах «Военного летчика» переходящий в разговор с людьми, здесь окончательно становится попыткой подвести итог своим размышлениям вслух не только для себя, но и для других: Это уже не вопросник, а попытка синтеза, который по замыслу автора должен стать поучением.

Мысль, неотступно преследующая Сент-Экзюпери все последние годы его жизни, заключена в воп-

росе: «Что можно, что нужно сказать людям?» — а основная проблема формулируется им так: «Есть лишь одна проблема, одна-единственная в мире — вернуть людям духовное содержание, духовные заботы». Он постоянно повторяет эту фразу, которая является, по его мнению, ключом к решению поставленной перед собой задачи.

И вот Сент-Экзюпери воссоздает мир в соответствии со своими философскими концепциями в цитадели, чьим правителем и законодателем он является. Он отвергает существующий мир. Он — властитель из «Цитадели» и строит свой мир. Его единственный собеседник, а иногда и оппонент — немного таинственный и всемогущий старец, его отец. Этот старец представляется нам неким итогом цивилизации и мудрости, накопившихся с прошедших времен. Сам властитель — его духовный сын и преемник.

Но, отвергая мир в его настоящем, Сент-Экзюпери пылливо склоняется над этим настоящим и прошедшим, «ибо единственное подлинное изобретение — это расшифровка настоящего в его несуразности и противоречиях... Прошлое не переделать, но настоящее лежит в беспорядке, как материалы у ног строителя, и вам надлежит выковать будущее».

Для «Цитадели» в большей части характерен стиль, уже знакомый нам по последним страницам «Военного летчика». То ли обстановка — милая ему пустыня, — служащая фоном для книги, то ли общая настроенность последних лет жизни, то ли писатель прибегает к такому анахронизму формы, дабы подчеркнуть связь с прошлым (вспомним в «Военном летчике»: «Моя цивилизация — наследница бога»), но Сент-Экзюпери потянуло на что-то напоминающее по стилю коран. В отличие от «Карнэ» (философских записок) философские вопросы в «Цитадели» решаются поэтическими средствами. В этом единственное, что по замыслу роднит эту книгу с замыслом Ницше, воплощенным в «Так говорил Заратустра». По некоторым свидетельствам

можно предположить, что Сент-Экзюпери начал ее вообще как поэму в прозе. И в том виде, в каком «заготовки» для книги дошли до нас, в них все время ощущается борьба философа с поэтом. Иногда преобладает один, иногда другой. Подчас, как показывает нижеприведенная выдержка, в нем просыпается прежний Антуан с его саркастическим юмором, и он раздражается почти памфлетом:

«И явились ко мне жандармы во всем блеске своего скудоумия. Они пытались меня обморочить.

— Мы открыли причину упадка империи. Все дело в одной секте, которую надо искоренить.

— Вот как! — воскликнул я. — А из чего вы заключаете, что эти люди поддерживают друг с другом связь?

Жандармы мне рассказали о совпадениях в поведении этих людей, о их средстве, выражающемся в разных признаках, и о месте их встреч.

— А из чего вы заключаете, что они являются угрозой для империи?

И они рассказали мне о преступлениях этих людей: продажности одних, насилиях, совершенных другими, подлости многих из них и об их уродствах.

— Вот как! — заметил я. — Мне известно о существовании куда более опасной секты. Опасность ее в том, что никому никогда еще не приходило в голову с ней бороться.

— Что за секта? — встрепенулись мои жандармы.

Ибо созданные для кулачной расправы жандармы хиреют, когда некого тузить.

— Секта людей, — отвечал я, — у которых родинка на левом виске.

Ничего не поняв, жандармы ответили мне только ворчанием. Потому что жандарму, чтобы тузить, вовсе незачем понимать. Он молотит кулаками, а кулаки не обладают мозгами.

Тем не менее один из них, бывший плотник, два три раза кашлянул.

— Эти люди ничем не проявляют своего сродства.

И они нигде не собираются вместе, — робко заметил он.

— Вот именно, — возразил я. — В этом и опасность. Они проходят незамеченными. Но как только я издам декрет и вызову против них всеобщую ненависть, тотчас же они начнут искать взаимной близости, объединяться, селиться вместе и, восстав против народного правосудия, осознают свою принадлежность к некоей касте.

— В сем есть великая правда, — хором поддакнули жандармы.

Но бывший плотник снова кашлянул.

— Я знаю одного такого: он кроток, великодушен, честен. И он заработал три ранения, защищая империю...

— Верно, — отвечал я. — Но разве из того факта, что женщины легкомысленны, ты выводешь, что нет среди них ни одной здравомыслящей? Разве, зная, что генералы крикливы, ты исключаешь возможность того, что подчас тот или иной из них застенчив? Не обращай внимания на исключения. Как только отсеешь тех, кто отмечен знаком, покопайся в их прошлом. Они источник преступлений, грабежей, насилий, предательства, обжорства, всякого бесстыдства. Быть может, ты утверждаешь, что им не присущи такие пороки?

— Да нет же! — хором воскликнули жандармы, почувствовав пробуждающийся зуд в кулаках.

— Ну, а если дерево дает гнилые плоды, винишь ты в этом плоды или дерево?

— Дерево! — воскликнули жандармы.

— И разве может наличие нескольких не тронутых гнилью плодов снять вину с дерева?

— Нет! Нет! — заорали жандармы. Они, к счастью, любят свое ремесло, а оно вовсе не в том, чтобы кого-либо оправдывать.

— И, следовательно, справедливо очистить империю от людей, отмеченных родинкой на левом виске.

Но бывший плотник снова кашлянул.

— Даю тебе высказать свои возражения, — сказал я ему, в то время как его товарищи, верные своему нюху, многозначительно уставились на его левый висок. Один из них осмелел и, смерив своего подозрительного коллегу взглядом, заявил:

— А не имел ли он в виду, говоря, что знает одного такого преступника, своего брата... или отца... или кого-нибудь из близких?

И все жандармы одобрительно заворчали.

И тогда я дал волю своему гневу.

— Еще опаснее секта людей с родинкой на правом виске! Ибо о них мы и не подумали! А значит, она еще лучше законспирировалась. Но всего опаснее секта тех, кто вообще не отмечен никакой родинкой, ибо эти люди замаскировались и бродят среди нас, как настоящие заговорщики. И в конечном счете, разобравшись в сектах, я выношу обвинительный приговор секте всего человечества, потому что не вызывает сомнения: она — источник преступлений, грабежей, насилий, продажности, обжорства и всякого бесстыдства. И поскольку жандармы, хотя они и жандармы, все же люди, я удобства ради с них начну необходимую чистку. Поэтому приказываю жандарму, которым является каждый из вас, схватить живущего в нем человека и бросить его на солону тюремной камеры!

И ушли мои жандармы. Ошарашенные, они сопли носами и пытались что-то сообразить, но без большого успеха. Потому что так уж заведено: думать они умеют только кулаками.

Однако я задержал плотника. Он потупил глаза и прикинулся таким скромником.

— Ты разжалован! — сказал я ему. — Истина для плотника — поскольку дерево сопротивляется, тонкая и противоречивая — не истина для жандарма. Если в уставе сказано, что на черную доску выносятся все люди, отмеченные родинкой на виске, хочу, чтобы, едва слышав о них, мои жандармы чувствовали, как у них набрякают кулаки... Отсылаю тебя к твоим плотничьим инструментам. Делаю это из опасения, что твоя неуместная любовь к справед-

ливости может когда-нибудь вызвать ненужное кровопролитие».

Однако все выдержки, приведенные здесь и в других главах книги, дают лишь весьма смутное представление о «Цитадели». Ведь это была попытка построить мир. Мир, в котором движущей силой развития являлось бы не принуждение, а некая религия самой жизни. И смешно звучат слова некоторых критиков, которые хотят видеть в этом своего рода поклонения бога. Да, как и в «Военном летчике», Сент-Экзюпери часто использует этот термин. Но его бог — это человек в его абстрактном значении, или, иначе, Человек с большой буквы.

И жесткий кодекс морали, который он пытается установить, ничем не отличается от кодекса морали «Маленького принца». «Цитадель» — это «Маленький принц» в издании для взрослых, умудренных жизненным опытом.

Листая страницу за страницей эту чрезвычайно сложную книгу (во всяком случае, сложную в том виде, как она до нас дошла), мы можем проследить все те пути-дороги, по которым неустанно брела мысль писателя в последнее десятилетие его жизни, можем с известным приближением установить, какие проблемы особенно мучали его в разное время. Именно потому, что эта книга не закончена самим автором, она представляет неисчерпаемый клад для исследователя биографии Сент-Экзюпери как мыслителя. Но вернемся к мытарствам Сент-Экса — человека, летчика и патриота, построившего в самом себе несокрушимую цитадель.

СНОВА В СТРОЮ

В то время как Сент-Экзюпери мучается от вынужденного безделья в Алжире, события развиваются своим чередом. После занятия Туниса англо-франко-американскими войсками военные действия активизируются. 10 июля 1943 года союзники высаживаются в Сицилии, а 3 сентября — в Калабрии. 8 сентября Италия капитулирует, и итальянский

Дарлан — маршал Бадольо — становится во главе итальянского правительства. 17 сентября в Алжире с участием представителей внутреннего Сопротивления создается консультативная ассамблея, и 25 сентября США распространяют действие ленд-лиза на французский Национальный комитет освобождения. В конце ноября — начале декабря в Тегеране происходит конференция Сталин — Рузвельт — Черчилль, и англо-франко-американцы, к которым 13 октября присоединились и итальянцы, вынуждены напрячь военные усилия в целях создания второго фронта. Пока что, после первых сенсационных успехов — следствия капитуляции Италии, союзнические войска остановлены немцами у массива Кассино, преграждающего дорогу на Рим, в то же время советские войска наносят сокрушительные удары по гитлеровским армиям, форсируют Днепр и 6 ноября освобождают Киев.

Генерал Шассэн, тогда еще полковник, получает под свое командование 31-ю эскадру бомбардировщиков, оснащенную «мародерами», базирующуюся на Виллачидро в Сардинии. После долгих неустанных хлопот ему все же удается добиться назначения майора де Сент-Экзюпери своим заместителем. В полковнике Шассэне Антуан снова находит товарища, который хорошо понимает его, собеседника своего уровня, которому не чужда ни наука, ни философия. И Сент-Экс немного оживает. Но непривычная работа в бомбардировочной авиачасти, где он в большинстве случаев летает в качестве пассажира, не удовлетворяет его.

Правда, он и сам совершил несколько вылетов для бомбардировки военных объектов в Северной Италии, еще занятой немцами. Но ему претило сбрасывать бомбы даже на железнодорожные пути, мосты, аэродромы. Видя это, Шассэн понимает, что единственным средством вывести Сент-Экса из его угнетенного состояния, вернуть ему жизнерадостность — возвращение его в часть 2/33, находящуюся здесь же поблизости, в Алгеро. Но для этого надо добиться разрешения американского командования.

Сент-Экс и Шассэн гонятся по пятам за генералом Икерсом, командующим союзнической авиацией на Средиземноморском фронте. Восемь дней они проводят в Неаполе, читая и обсуждая Кафку.

Икерс всячески уклоняется от встречи с писателем. Битва за Италию в полном разгаре, и командующий все время перемещается. Сент-Экзюпери и Шассэн преследует его и, наконец, достигают в Алжире. Прижатый к стенке генерал Икерс дает разрешение автору «Полета над Аррасом» «в исключительном порядке» совершить пять вылетов. «Пять, ни одного больше. И то слишком», — говорит генерал.

«Увы! Я сам помог ему помчаться навстречу смерти», — пишет в своих воспоминаниях генерал Шассэн.

Трудно сказать, кто был более счастлив — он или те, кто его встречал, когда 16 мая 1944 года майор Сент-Экзюпери вошел в маленький домик летчиков в Алгеро. Сент-Экс снова встретился здесь с майором Гавуаллем. В 1940 году Гавуалль был еще только лейтенантом, теперь он командовал подразделением, к которому был прикреплен Сент-Экзюпери. Встретил он здесь и Ошеде. И тот и другой — его старые боевые товарищи, о которых он упоминает в «Военном летчике». К Сент-Эксу возвращается хорошее настроение, и он быстро забывает о своих настоящих или мнимых недугах, переломе позвонка и раке желудка. Через несколько дней после прибытия в часть Антуан устроил настоящее пиршество, для которого закололи десять баранов и открыли бочку вина в двести тридцать литров. Давно уже никто не видел Сент-Экса таким радостным.

В эскадрилье Сент-Экзюпери вскоре становится притягательным центром для всех товарищей. Он развлекает их играми и всякими забавами. Молодые летчики поражены его карточными фокусами. Но вскоре они замечают, что майор де Сент-Экзюпери совсем по-ребячески не терпит проигрыша ни в какой игре, и они стараются во что бы то ни стало его обставить.



На тихом острове Сардиния, который так внезапно был оставлен неприятелем, между сосновыми лесами и рощами пробкового дуба, неподалеку от скалистых берегов острова расположились военные аэродромы. Отсюда союзнические самолеты вылетали на задания над Северной Италией, где шли бои, или над Южной Францией, куда вскоре должна была быть произведена высадка. Авиасоединение 2/33, которое со времени перемирия 1942 года находилось в Северной Африке, базировалось теперь на аэродроме Алгеро.

Сент-Экзюпери снова летает на «Лайтнинг». Этот моноплан с двойным хвостом — старший брат американского «У-2». Ни у русских, ни у немцев в это время не было еще самолета, способного конкурировать с этой летающей фотографической камерой. На высоте между восемью и девятью тысячами метров он быстрее и подвижнее любого истребителя и для него совершенно недосыгаем. Ни пулемета, ни брони, никакого оружия для нападения или защиты! Весь груз «П-38» заключается в фотопленке.

И все же в один из вылетов над озером Аннеси у Сент-Экзюпери произошли неполадки с ингалятором. Он пикировал и потерял сознание. На протяжении пяти километров он оставался в обморочном состоянии. Когда он пришел в себя, стрелка показывала высоту четыре тысячи метров. Антуан нажал на управление, утер кровь, сочившуюся из носа, и с трудом восстановил дыхание. Высота — три тысячи метров. В небе показалась большая черная муха — немецкий истребитель.

«Я не буду терять времени и смотреть на бошей, у меня довольно хлопот с моим самолетом...» И, о чудо, бош его не заметил.

В другой день над Альпами вышел из строя левый мотор. Сент-Экс проползает над вершинами Альп «со скоростью черепахи» в сторону долины реки По. Его замечает «Мессершмитт», и снова ему

приходится играть в небесного страуса и прятать голову под крыло — на этой высоте у него нет преимущества в скорости и он безоружен. Вот он летит над Турином. То ли солнце слепило немецкого летчика, то ли он не был достаточно внимателен или думал, что ни один вражеский самолет не посмеет забраться так далеко от своей базы, но он его упустил. А Сент-Экс, забывший выключить свою фотокамеру, собрал богатую жатву снимков немецких военных сооружений в районе между рекой По и Генуей.

Через несколько дней после прибытия Сент-Экзюпери в часть разбивается его друг Ошеде, тот, кого он так прославил в «Военном летчике». У Ошеде отказал мотор, и он врезался в землю. Но Антуан не суеверен, и не это вызвало вновь перелом в его душевном состоянии. Против него снова совершен злобный выпад. Злоба преследует его даже здесь, где он повседневно рискует жизнью. Этим выпадом, который сыграл роль последней капли в море горечи, явилось запрещение его книг в Северной Африке. За два дня до своей смерти в письме подруге он пишет: «В то время как я разгуливаю в небе Франции, я продолжаю оставаться зачумленным, и мои книги запрещены в Северной Африке».

В отправленном с той же оказией письме Пьеру Даллозу, рассказывая ему о выходе из строя одного из моторов самолета на высоте десяти тысяч метров над Аннеси, он грустно иронизирует: «В то время как я выгребал над Альпами со скоростью черепахи, находясь в зависимости от доброй воли немецких истребителей, я тихо посмеивался, думая о сверхпатриотах, которые запрещают мои книги в Северной Африке. Смешно!»

Сегодня нас охватывает возмущение при мысли о том, что в то время, когда Сент-Экзюпери сбили над Средиземным морем, в тот момент, когда он отдавал жизнь за Францию, французам, «свободным» и несвободным, запрещалось читать «Военного летчика». Можно представить себе, как Сент-Экзюпери

должен был морально страдать, чтобы написать следующие слова:

«Фабрика ненависти, неуважения и грязи, которую они называют возрождением... мне на нее наплевать. Я нахожусь в военной опасности, самой обнаженной, самой неприукрашенной, какая только возможна. Я совершенно чист душой. На днях меня заметили истребители, я еле удрал от них, и мне показалось это благотворным, и не из-за спортивного или воинственного азарта, которого я не чувствую, но потому, что меня ничто больше не интересует, абсолютно ничто, только качество внутренней субстанции человека. Их фразеология мне осточертела, их полемика осточертела, и я ничего больше не понимаю в их добродетели... Добродетель — спасти зуховное достоинство французов, оставаясь на посту заведующего библиотекой в каком-нибудь Карпантрасе. Добродетель — летать с обнаженной душой на самолете, учить читать детей. Добродетель — простым плотником принимать смерть. Вот они-то и есть страна. А я, оказывается, нет. Я — из страны. Бедная страна!»

Возможно, воспоминание об опасностях, которых он недавно избежал почти чудом, вызвало в нем желание принять на всякий случай предупредительные меры и распорядиться тем, что для него являлось самым ценным. В тот же вечер на обороте полетного листа он набросал несколько строк, о которых мы уже говорили, и, приложив лист к своим рукописям и блокнотам, запер все в бесценный голубой чемоданчик.

Среди писем, отправленных в этот день и полученных адресатами уже после его смерти, находим и его последнее письмо матери:

«Борго, июль 1944 года.

Дорогая мамочка, я так хотел бы, чтобы вы не беспокоились обо мне и чтобы к вам дошло это письмо. Чувствую себя очень хорошо, совсем хорошо. Я горю, что так долго вас всех не видел. Я бес-

покоюсь за вас, моя дорогая старушка мама. Какое все же несчастное время!

Для меня было ударом в сердце, что Диди потеряла свой дом. Ах, мама, как я хотел бы ей помочь! Но она может твердо рассчитывать на мою помощь в дальнейшем. Когда, наконец, станет возможным сказать тем, кого любишь, что ты их любишь!

Мамочка, поцелуйте меня, как я вас целую, от всей души.

Антуан».

Впервые Сент-Экзюпери в письме просит мать поцеловать его. Это его последнее письмо, и поэтому эта фраза особенно волнует нас.

5 октября 1943 года Корсика — остров Красоты — превратилась в остров Свободы. Освобождение этой пяди французской земли произведено внутренними силами Национального фронта при лояльной поддержке со стороны генерала Жиро. В результате этой операции, стоившей высадившимся войскам лишь 72 убитых, де Голлю удается окончательно устранить Жиро из французского Национального комитета освобождения. Авиачасть 2/33 перебазировается на Корсику, и после трех лет отсутствия Антуан снова вступает на подлинно французскую землю.

СМЕРТЬ МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА

«Мне все равно, если меня убьют на войне! Что останется от всего, что я любил? Я имею в виду не только людей, но и неповторимые интонации, традиции, некоторый духовный свет. Я имею в виду трапезу на провансальской ферме, но и Генделя. Наплевать мне, исчезнут ли некоторые вещи или нет. Не в вещах дело, а в их взаимосвязях. Культура невидима, потому что она выражается не в вещах, а в известной связи вещей между собой — такой, а не другой. У нас будут совершенные музыкальные инструменты, но кто напишет музыку? Наплевать мне, что меня убьют на войне! Наплевать, если я стану

жертвой взрыва бешенства своего рода летающих торпед. Работа на них уже не имеет ничего общего с полетом, среди рычажков и циферблатов они превращают пилота в некоего главного бухгалтера (полет — это известная система связей). Но если я выберусь живым из этой «необходимой и неблагодарной работенки», передо мной будет стоять лишь одна проблема: что можно, что надо сказать людям?..»

Внешне Антуан ничем не выдает своего душевного состояния и для окружающих остается все тем же Сент-Эксом.

Стояло знойное лето. Нагретые солнцем скалы полыхали жаром. Сухая хвоя скрипела под ногами. Сент-Экс был одет в летную форму американской армии. Носил он ее небрежно, всегда с открытым воротом, с нагрудными карманами, наполненными всякой всячиной: пачками сигарет, зажигалками, записными книжками. Рубашка иногда бывала у него порвана, помятые брюки стянуты широким солдатским поясом. Во второй половине дня, когда зной начинал спадать, Сент-Экс шел купаться или вместе с товарищами в небольшой лодке глушил рыбу динамитом. Вооружившись сачком, он забавлялся, как дитя, вытягивая из воды всплывавшую брюхом вверх рыбу.

Можно было подумать, что в это время Сент-Экзюпери был снова совершенно счастлив. Жизнь в своей эскадрилье, вновь обретенное боевое содружество, безусловно, давали ему большое удовлетворение. Он был то весел, то серьезен, шутил, пел или беседовал на темы, которые его интересовали; казалось, его полностью покинули заботы, от которых он так страдал в Алжире. Но болезненная душевная рана не затягивалась. Оставаясь один по вечерам, он чувствует ее жжение в груди. Даже в полете он не может забыть о ней.

Уже выполнены пять заданий, разрешение на которые «в исключительном порядке» дано Сент-Эксу генералом Икерсом. Но Антуан настаивает на все новых и новых вылетах. И как ему отказать в этом?

Он говорит молодым летчикам: «Вы можете подождать, а я от вас далеко отстал». Товарищи его начинают беспокоиться. Все понимают. «Лишиться такого человека куда серьезнее, чем лишиться летчика», — пишет Жан Лелё, офицер оперативного отдела, в качестве такового распределяющий задания. Сент-Экс уже совершил восемь вылетов. «Восемь вылетов, — говорит ему его друг Шассэн, встретившись с ним 29 июля в Алжире, за сорок восемь часов до его последнего, девятого вылета. — Надо остановиться. За три месяца вы уже сделали столько же, сколько ваши молодые товарищи за год. Теперь-то вы уже имеете право говорить, поэтому вы не вправе так рисковать жизнью». На это Сент-Экзюпери отвечает: «Это невозможно. Теперь уже я пойду до конца. Я думаю, уже недолго. Я останусь с товарищами до конца». Говоря о своих вылетах и о риске, которому подвергается, он замечает: «Мне кажется, я отдаю себя целиком. Я чувствую себя здоровым плотником». С таким же ремесленником он сравнивал не только себя, но и Гийоме в «Земле людей». Однако останавливает наше внимание другое его высказывание, и, надо думать, оно в большей степени отвечает истинному состоянию духа Сент-Экзюпери. Когда Лелё отказывает ему во внеочередном вылете, Антуан говорит ему: «Я нуждаюсь в этом. Я испытываю в этом одновременно физическую и душевную необходимость...» Он чувствует потребность в течение долгих часов оставаться в небе наедине с собой, со своими раздумьями. Чувствует потребность жить вне времени, почти застывшим, как мертвец, когда единственной связью с жизнью является равномерное ворчание моторов, биение сердца и глазок ингалятора, мигающий при каждом вздохе. Он как бы стремится вырваться из мира, в котором он столько страдал, хочет забыться. Он как бы рискует жизнью, ища смерти. Невольно приходят на ум слова поэта: «А он, мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой...»

Обеспокоенные товарищи, со своей стороны, ищут способа уберечь Сент-Экса. Особенно обеспокоен

майор Гавуалль. Помимо чисто дружеских чувств, Гавуалль — командир эскадрильи, на нем вся ответственность. Он утешает себя мыслью, что принял необходимые меры — с 1 августа Сент-Экзюпери уже не сможет летать.

По существующему нерушимому правилу каждый летчик, поставленный в известность о дне и часе предполагаемой высадки во Франции, больше не имеет права летать. Правило это объясняется тем, что, попадись такой пилот в плен и подвергнись он пыткам, он мог бы дать чересчур важные сведения неприятелю. В согласии с американским генеральным штабом решено 1 августа поставить майора де Сент-Экзюпери в известность о деталях высадки и тем отрезать ему путь к дальнейшему выполнению боевых заданий.

Между тем вечером 30 июля 1944 года майор де Сент-Экзюпери, ничего не знающий о заговоре, задуманном против него, готовится к своему девятому вылету. Он опять должен пролететь над районом Аннеси и Гренобля.

В этот вечер летчики устраивали банкет, за которым должен был последовать бал. Были приглашены местные девушки, и танцы продолжались очень поздно в ресторане «Саблетт» в Бастиа. Сент-Экзюпери не танцевал, и молодые девушки почти не обратили на него внимания. После ужина по просьбе товарищей, окруживших его, он позабавил всех несколькими карточными фокусами, затем потихоньку удалился.

Сент-Экс вошел в свою комнату, закурил и разложил на столе карту. Аннеси—Гренобль—завтрашнее задание. Он уже не раз летал в этом районе. Антуан специально просил Лелё посылать его в эти места, потому что неподалеку находился Сен-Морис и по дороге он пролетал над Агеем. Куря сигарету за сигаретой, он помечтал, как обычно, и, удостоверившись, что на завтра все приготовлено, спокойно лег спать.

На следующее утро, когда Сент-Экзюпери пришел на аэродром, солнце едва-едва выплывало из-за горизонта. Авиачасть 2/33 теперь располагалась у подножья рыжих гор, в двух шагах от Бастиа, на равнине, тянущейся вдоль побережья. На востоке глазу открывался безбрежный простор. В предутренней дымке, словно корабль, поднявшийся на поверхность из морских глубин, вырисовывался остров Эльба. Уже можно было предвидеть знойный день. В чистом воздухе разносился пронзительный стрекот цикад. Сент-Экс попросил капитана Лелё дать ему последние инструкции. Подошедший майор Гавуалль пожал руку Сент-Экса и, болтая с ним, помог ему натянуть тяжелый, почти водолазный костюм, необходимый для полета на больших высотах.

За веселой болтовней Гавуалль пытался скрыть свою глубокую тревогу. Накануне в полдень он вылетал на задание. Над горами разразилась гроза.

Пролетая над морем, Гавуалль заметил, что небо над Францией тоже заволкло тучами, и он повернул, чтобы возвратиться на базу. Милях в двадцати от берегов Корсики в воздухе засеребрился фюзеляж самолета. Гавуалль узнал машину своего друга американского летчика Мередита. Они полетели крылом к крылу до того момента, когда надо было начинать спуск. Помахав приятелю крыльями и выждав, чтобы тот ответил на его приветствие, Мередит начал пикировать в сторону аэродрома Эрбалунга, расположенного рядом с Борго. Гавуалль в этот день чувствовал себя неважно и, чтобы не перенапрягать сердце, медленно пошел на посадку. Две минуты спустя он услышал призывы о помощи и пулеметные очереди. Несмотря на отсутствие на «Лайтнинге» даже носового пулемета, Гавуалль поспешил на выручку товарища, но успел услышать только: «Иду на таран!» — и заметить на морской глади крыло разбитого самолета. Уже навстречу подымались дружелюбные истребители. Но ни «Фокке-Вульф», ни «Мессершмитт» нигде не было и в помине. Вот именно то, что он не заметил ни одного вражеского

истребителя, больше всего и волновало Гавуалля. А ведь Сент-Экс тем более по своему физическому состоянию не мог одновременно наблюдать за землей и за небом и вряд ли мог бы выпрыгнуть с парашютом. Бывший подчиненный Сент-Экзюпери, а теперь его начальник, Гавуалль очень любил своего старого боевого товарища. Еще три дня назад Антуан стал крестным отцом его новорожденного сына.

С помощью Гавуалля Сент-Экс с трудом втиснул свое большое тело в маленькую кабину. Влезать в нее каждый раз было для него мучением, сопровождавшимся гримасами и тяжелыми вздохами. Но как только он устраивался на своем месте, к нему возвращалась улыбка.

— Будь осторожен, — шепчет Гавуалль, — «Фокке-Вульфы» становятся все агрессивнее.

— Да, ты, должно быть, пережил ужасные минуты. Удвою предосторожности. Эти «Фокке-Вульфы» совсем обнаглели! — с улыбкой отвечает Антуан.

Сент-Экзюпери в последний раз помахал товарищам рукой, двигатели заворчали, взревели — и самолет взмыл ввысь.

«Если меня собьют, я ни о чем не буду сожалеть. Будущее термитное гнездо наводит на меня ужас, и я ненавижу их доблесть роботов. Я был создан, чтобы быть садовником...» — писал Сент-Экзюпери в одном из своих последних писем.

12 часов 50 минут. Гавуалль, Лелё, летчики и механики эскадрильи по одному собираются группой на летное поле.

Около 13 часов ожидается возвращение Сент-Экса.

13 часов. Среди собравшихся слышатся шуточные возгласы:

— Он сбился с пути!

— Заснул за штурвалом!

— Он дочитывает какой-нибудь детектив!

Люди пытаются за зубоскальством скрыть нарастающее беспокойство.

13 часов 30 минут:

— Свяжитесь с американским контрольным постом, — командует Гавуалль.

13 часов 35 минут.

— Алло, командир! Американцы у аппарата... У них нет никаких сведений.

— Скажите им, пусть вызовут нас, как только что-нибудь узнают.

Кучка людей на летном поле все растет, возрастает и беспокойство.

13 часов 50 минут. «Боже правый, не может быть!..»

14 часов.

— Попробуйте засечь немецкие станции!

14 часов 30 минут. «У него было горячего на шесть часов...»

Почти в то же время смертью храбрых пал в Веркоре старый друг Сент-Экзюпери Жан Прево (он же капитан Годервилль). За месяц до того, 29 июня, Антуану исполнилось 44 года.

«Маленький принц умер. Да здравствует маленький принц!»

Надгробным словом самого автора о себе звучит послесловие бессмертной сказки:

«А теперь прошло уже шесть лет... Я никогда до сих пор не рассказывал эту историю. Товарищи, встретившие меня, были рады увидеть меня живым. Я был не весел, но говорил им: «Это усталость...»

Теперь я немного утешился. Правду сказать, не совсем. Но я хорошо знаю, что он вернулся на свою планету — на заре я не нашел его тела. Тело это было не особенно тяжелое... И я люблю по ночам слушать звезды. Словно пятьсот миллионов бубенчиков...

Но вот удивительное дело: ведь намордник, который я нарисовал для маленького принца... я забыл приделать к нему ремешок! Он не мог надеть его барашку. И я спрашиваю себя: «Что же произошло на

его планете? А что, если барашек всё же съел розу?..»

Подчас я думаю: «Иногда бываешь рассеян — и этого довольно! Забыл он раз вечером про стеклянный колпак или барашек бесшумно вышел ночью...» И тогда все бубенчики обращаются в слезы!..

Да, в этом большая тайна. Вам, тоже любящим маленького принца, как и мне, конечно, не безразлично, съел ли где-нибудь, неведомо где, неизвестный барашек прекрасную розу!..

Взгляните на небо! Спросите себя: съел или не съел барашек розу? И вы заметите, как все меняется...

И никогда ни один взрослый не поймет, почему это имеет такое значение!

Это для меня самый грустный пейзаж на свете. Пейзаж этот тот же, что на предыдущей странице, но чтобы хорошо показать вам, я нарисовал его еще раз. Это здесь появился на Земле маленький принц и затем исчез.

Хорошенько присмотритесь к этому пейзажу, чтобы безошибочно узнать его, если вам когда-нибудь придется путешествовать по Африке, в пустыне. И если вам случится проезжать здесь, умоляю, не торопитесь, стойте немного прямо под звездой! И если к вам подойдет ребенок, если он станет смеяться, если у него будут золотистые волосы, если он не ответит на вопросы, вы сразу догадаетесь, кто он. И тогда — будьте так добры! — развейте мою печаль, поскорей сообщите мне, что он вернулся...»

Леон Верт, к которому обращены эти строки, находился в то время в оккупированной Франции. Когда после четырех лет потаенной жизни, нравственных мучений, страха и лишений он возвращается в освобожденный Париж, в свою квартиру на улице Ассас, — уже несколько дней, как его друга нет в живых. Он отдал свою жизнь за освобождение заложника, всех заложников.

«Нет, — говорил Верт, — он не мог выкинуть такую штуку...»

До самых последних дней своей жизни, в декабре 1955 года, Верт сохранил преданность исчезнувшему другу и ревностно оберегал его память. Им написаны под названием «Такой, каким я его знал» проникновенные страницы о Сент-Экзюпери, у которого «возвышенное неотделимо от повседневного и естественного».

Когда хоронили Леона Верта, единственным другом Сент-Экса, присутствовавшим на этих похоронах, был Жан Люка. И в то время как, потрескивая в печи крематория, пламя пожирало покинутую душой — в существование которой он не верил — старческую плоть, Жан Люка размышлял о всеми забытом Верте, почти никому не известном Верте — о Леоне Верте, которому досталась в дар от того, кто столько принес людям, наилучшая доля — дружба.



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

- 1900**, 22 июня — в Лионе родился Антуан Жан-Батист Мари Роже де Сент-Экзюпери. Отец его — инспектор страховой компании. Семья Антуана старинного рыцарского происхождения: по отцу — Лимузенского, по матери — Провансальского. Две дочери родились в семье раньше Антуана — Мари-Мадлен — в 1898 году и Симона — в 1899 году.
- 1902** — Рождение брата Франсуа.
- 1904** — Рождение сестры Габриэль. Смерть отца. Раннее детство Антуана проходит в усадьбе Сен-Морис де Реманс в департаменте Эн, неподалеку от Лиона. Семья Сент-Экзюпери часто гостит в замке Ла Молль, имени мадам де Фонсколомб, бабушки Антуана с материнской стороны. У детей — австрийская гувернантка Паула, к которой Антуан навсегда сохраняет привязанность.
- 1909** — Семья Сент-Экзюпери обосновывается в городе Ле Мансе. 7 октября Антуан поступает в коллеж Нотр-Дам де Сен-Круа. Он приходящий ученик, остающийся после занятий на продленный день.
- 1912** — Антуан получает на авиационном поле в Амберье «воздушное крещение»; самолетом управляет знаменитый летчик Ведрин.
- 1914** — В октябре Антуан и его брат Франсуа поступают в коллеж Монгре в Вильфранш-на-Соне. В конце первого семестра оба мальчика едут продолжать свое образование у маристов во Фрибуре в Швейцарии.
- 1917** — Смерть от ревмокардита брата Франсуа. Антуан сдает во Фрибуре экзамен на аттестат зрелости. Чтобы подготовиться к конкурсу в Военно-морское училище, он поступает в школу Боссюз в Париже, а затем там же переходит в интернат при лицее Сен-Луи, где проходит дополнительный курс математики.
- 1919** — Антуан не проходит по конкурсу в Военно-морское училище. Он поступает в Академию художеств на архитектурное отделение.
- 1921** — Прервав действие отсрочки, полученной им при поступлении в высшее учебное заведение, Антуан записывается во 2-й полк истребительной авиации в Страсбурге. Во-

- преки всем надеждам он попадает в рабочую команду, и его прикомандировывают к ремонтным мастерским. Тем не менее ему удается сдать экзамен на гражданского летчика. Его переводят в Марокко, где он сможет теперь легко получить и права военного летчика, а затем посылают для усовершенствования в Истр.
- 1922 — Антуан кончает курсы для офицеров запаса в Аворе. В октябре его производят в младшие лейтенанты и назначают в 34-й авиационный полк в Бурже под Парижем.
- 1923 — В январе с ним происходит первая серьезная авиационная катастрофа. Пролом черепа. В марте его демобилизуют. Он поступает в контору черепичного завода Буарона в Париже.
- 1924 — Антуан покидает службу на черепичном заводе. После двухмесячной стажировки в качестве рабочего на заводе грузовых и специальных автомобилей Сорера он становится торговым агентом этой фирмы в районе Монлюсона.
- 1926 — Антуан публикует короткую новеллу «Летчик» в журнале «Ле навир д'аржан», издающемся Адриенной Монье. 11 октября его рекомендуют г-ну Беппо де Массими, главному администратору Генеральной компании авиационных предприятий, созданной в 1921 году авиаконструктором Латекоэром.
- 1927 — Весной Антуан начинает работать по перевозке почты на линии Тулуза — Касабланка, а затем и Касабланка — Дакар. 19 октября его назначают начальником промежуточной станции Кап-Джуби (Рио-де-Оро). Здесь он пишет свое первое произведение — «Почта — на Юг».
- 1928 — 17 сентября Сент-Экс делает попытку выкрасть своих плененных кочевниками товарищей.
- 1929 — В марте Антуан возвращается во Францию и вручает рукопись «Почта — на Юг» издательству Галлимара. Он поступает в Бресте на высшие авиационные курсы морского флота. Выход в свет «Почты — на Юг». Получив диплом, Антуан уезжает в октябре в Южную Америку в качестве технического директора «Аэропоста-Аргентина», филиала компании «Аэропосталь».
- 1930 — Сент-Экзюпери награждают Кавалерским орденом Почетного легиона по линии гражданской авиации. 12 июня, в то время как он совершал свой 92-й перелет Андийских Кордильер, Гийоме терпит аварию и становится узником гор. В течение пяти дней, несмотря на непогоду, Сент-Экзюпери летает над Андами в поисках своего товарища. 20 июня он узнает, что Гийоме спасся. Он доставляет его в Буэнос-Айрес. В том же году Сент-Экзюпери пишет «Ночной полет» и встречает Консуэло.
- 1931 — В январе Сент-Экзюпери возвращается во Францию. Получает трехмесячный отпуск. В апреле Антуан сочетается браком с Консуэло Сунцин (в Агее, департамент

- Вар). По большей части живет в отдалении от жены. 13 марта компания «Аэропосталь» объявляется неплатежеспособной, и назначается конкурс. Временная конкурсная администрация возглавляется Раулем Дотри. В мае Сент-Экс возвращается на работу в качестве пилота на почтовую линию Франция — Южная Америка и обслуживает отрезок Касабланка — Порт-Этьенн, а затем летает и до Дакара. Он и Консуэло вынуждены в это время жить в основном в Касабланке. В июне Дидье Дора снимают с поста технического директора. В октябре выходит из печати «Ночной полет». В декабре Сент-Экзюпери присуждается премия «Фемина». Антуан снова берет отпуск и переезжает в Париж.
- 1932** — В феврале Сент-Экс снова начинает работать в авиакомпании, но на этот раз на гидроплане, обслуживающем линию Марсель — Алжир, и в качестве второго пилота. Американцы ставят фильм «Ночной полет». Дидье Дора устраивает Сент-Экса летчиком-испытателем у Латекоэра. В ноябре во время испытаний он чуть не гибнет в бухте Сен-Рафаэля. Заканчивает сценарий фильма «Анн-Мари», начатый еще в Буэнос-Айресе, но никаких последствий это не имеет.
- 1933** — Продолжает работать у Латекоэра. Предисловие к книге Мориса Бурде «Величие и кабала авиации». 30 августа компания «Аэропосталь» преобразуется в Национальную компанию «Эр Франс». Дидье Дора приглашает в новую компанию в качестве чиновника по особым поручениям. В конце года Дора уходит из «Эр Франс» и вместе с Белпо де Массими при поддержке министра почт, телеграфа и телефона Жоржа Манделя создает компанию «Эр блё», обслуживающую почтовые авиалинии внутри страны, что облегчит в дальнейшем Антуану приобретение собственного самолета «Симун».
- 1934** — Сент-Экзюпери поступает в «Эр Франс», но не в качестве пилота, а ездит по особым поручениям компании в Африку, Индокитай и другие страны. Заканчивает сценарий «Почта — на Юг». Знакомится в салоне Ивонны де Лестранж с Н.
- 1935** — В начале года совершает поездку с лекциями вокруг Средиземного моря. В апреле едет в качестве журналиста от газеты «Пари суар» в СССР. Бийон ставит фильм «Почта — на Юг»; главные исполнители: Пьер-Ришар Вильм и Джинни Хольт (в сценах полетов Вильма дублирует сам Сент-Экс). Приобретает «Симун» и 29 декабря предпринимает рейд Париж — Сайгон. Терпит аварию в Ливийской пустыне.
- 1936** — 1 января Сент-Экзюпери и его механик Прево, умирающие от жажды в пустыне, спасены арабами. Антуан возвращается в Париж, но прекращает работу в «Эр Франс». Первые заметки для «Цитадели». Первый патент Сент-Экзюпери. В августе едет от газеты «Энтрансжан» в Ис-

панию, где бушует гражданская война, и публикует в газете репортажи. 7—8 декабря в Южной Атлантике погибает его друг Мермоз.

1937 — Февраль — март: Сент-Экзюпери на полученные от страховой компании деньги приобретает другой «Симун» и устанавливает впервые прямую связь Касабланка — Тимбукту. В апреле публикует в «Энтрансжан» очерк о Гийоме. В июне снова отправляется в Испанию, на этот раз на «Симуне» для газеты «Пари суар». По возвращении из Испании летит в Германию.

1938 — В январе выезжает на борту лайнера «Иль де Франс» в Нью-Йорк и 15 февраля начинает рейд Нью-Йорк — Огненная Земля. Терпит аварию в Гватемале. С 28 марта лечится в Нью-Йорке, затем в апреле возвращается во Францию, где продолжает работать над начатой в Нью-Йорке «Землей людей». В октябре публикует в «Пари суар» ряд статей под общим названием «Мир или война?». Лечится в Виши. Публикует в еженедельнике «Мариан» новеллу «Летчик и силы природы», которая войдет в виде дополнительной главы в американское издание «Земли людей» — «Ветер, песок и звезды».

1939 — 16 февраля выход в свет «Земли людей». Февраль — март: поездка в Германию, на этот раз на машине. 25 марта Сент-Экзюпери за «Землю людей» присуждается «Большая премия романа» Французской академии. 7 июня вылетает с Гийоме на борту гидроплана «Капитэн де вессо Пари» в Нью-Йорк, 15-го вылетает обратным рейсом во Францию. Публикует предисловие к книге Анны Линдберг «Подымается ветер». 1 августа публикует предисловие к специальному номеру журнала «Докуман», посвященному летчикам-испытателям. Август: снова едет в Нью-Йорк. 26 августа на «Иль де Франс» возвращается в Гавр. 4 сентября является по месту мобилизации на военный аэродром Тулуза-Монтодран. 3 ноября переводится в авиачасть дальней разведки 2/33. С 17 декабря авиасоединение 2/33 располагается в Орконт в Шампани.

1940 — В конце января в часть прибывают ее новый командир майор Алиас и его заместитель капитан Желе, упомянутые в «Военном летчике». 10 мая: начало немецкого наступления. Авиачасть отводится из Орконта под Париж. Встреча с главой правительства Полем Рейно. 22 мая совершает полет над Аррасом, послуживший сюжетной канвой «Военного летчика». Сент-Экзюпери отмечается в приказе по армии (2 июня). 14 июня немцы входят в столицу Франции. 17 июня эскадрилья 2/33 перебрасывается в Алжир. 5 августа Сент-Экзюпери возвращается через Марсель во Францию и едет к сестре в Агей. Поездка в Виши, в Париж, в Сент-Амур к Верту. 5 ноября отплывает в Марокко. 16 ноября приезжает в Лис-

- сабон. 27 ноября Антуан узнает о гибели Гийоме. В декабре отплывает в Нью-Йорк.
- 1941 — Июнь: встреча в Лос-Анжелосе с фон Карманом. Пишет «Военного летчика» и работает над «Цитаделью». 7 декабря США вступают в войну.
- 1942 — Февраль: выход в свет на английском языке в США «Военного летчика» — «Флайт ту Аррас». Книга выходит во Франции в издательстве Галлимара, но изъята из продажи. Сент-Экзюпери пишет «Маленького принца». 8 ноября: высадка союзников в Северной Африке. «Воззвание к французам».
- 1943 — Февраль: выход из печати «Послания заложнику». Март: Сент-Экзюпери приезжает в Алжир. 6 апреля выход в свет в США на английском языке «Маленького принца». «Военный летчик» переиздан во Франции подпольным издательством «Эдиссон де миню» при участии Жана Брюллера (он же Веркор). Июль: Сент-Экс снова в эскадрилье 2/33, базирующейся на Марса в Тунисе, и совершает несколько вылетов на «Лайтнингах П-38» над Францией. «Письмо генералу Х». Авария при посадке и увольнение в запас. Возвращение в Алжир. Жизнь у доктора Пелисье; работа над «Цитаделью». Приезд Н., занятия математикой и аэродинамикой. Декабрь: «Письмо генералу З.».
- 1944 — Март — апрель: возвращение в строй заместителем командующего 31-й эскадрилей средних бомбардировщиков «Мародеров», базирующихся на Вилласердо в Сардинии. 16 мая: снова в эскадрилье 2/33. Алгеро в Сардинии. Борго на Корсике. 31 июля: последний вылет.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Antoine de Saint-Exupéry, Poète, Romancier, Moraliste. Daniel Anet. (Corrêa.)

Antoine de Saint-Exupéry. Pierre Chevrier. (Gallimard.)

La vie de Saint-Exupéry, suivi de Tel que je l'ai connu René Delange. Léon Werth. (Le Seuil.)

Hommage collectif. Saint-Exupéry. Textes de L.-P. Fargue, Simone de Saint-Exupéry, B. Cendrars, L. Werth, L.-M. Chassin, A.-R. Métral, P. de Lanux, J. Roy, L. Dumont, P. Dalloz, J. Leleu, H. Aldington, F. Giner, De Los Rios, L. Barjon, R. Stéphane, R. Caillois, G. Mounin, A. Angles, H. Froment. (Confluences VII-e année № 12—14.)

Forces Aérienne Française, juillet 1949.

Electronique, octobre 1948.

La vie secrète d'Antoine de Saint-Exupéry. Renée Zeller. (Alsatia.)

L'Homme et le navire. Renée Zeller. (Alsatia.)

Les Cinq Visages de Saint-Exupéry. Georges Pelissier. (Flammarion.)

Saint-Exupéry. R.-M. Albères. (La Nouvelle Edition.)

Passion de Saint-Exupéry. Jules Roy. (Gallimard.)

Saint-Exupéry par lui-même. Luc Estang. (Le Seuil.)

Antoine de Saint-Exupéry, poète et aviateur. Maria de Crisnoy. (Spes.)

Saint-Exupéry ou l'enseignement du désert. Jean Huguet. (La Colombe.)

Saint-Exupéry et Gide. Louis Barjon. (Etudes.)

L'Humanisme cosmique d'Antoine de Saint-Exupéry. André Gascht. (A. G. Staïnforth, Bruges.)

Itinéraire spirituel de Saint-Exupéry. Abbé Jean Goffaerts.

(La Lecture au Foyer, Bruxelles.)

Ceux qu'on n'a jamais vus. R. P. Guy Bougerol. (Arthaud.)

Dans le vent des hélices. Didier Daurat. (Le Seuil.)

La Ligne. Jean-Gérard Fleury. (Gallimard.)

Chemins du ciel. Jean-Gérard Fleury. (Nouvelle Edition Latine.)

Vent debout. B. de Massimi. (Plon.)

Mermoz. Joseph Kessel. (Gallimard.)

Notice généalogique sur la famille de Saint-Exupéry. «A Paris, chez Jouaust, 338, rue Saint-Honoré. Edition de 1878, tirée à 150 exemplaire».

СОДЕРЖАНИЕ

«Откуда я? Я из моего детства»	7
«Стоит только подрасти, и милосердный бог оставляет вас на произвол судьбы»	18
«Прежде чем писать, нужно жить»	40
Линия	51
Друзья	66
«Хозяин песков»	78
«Почта — на Юг»	96
В Южной Америке	105
«Ночной полет»	122
Консуэло	140
Конец Линии	162
На земле и в небе	178
«...И нет у меня на свете больше ни одного врага» . .	194
Жизнь в Париже	206
Искатель	221
«Меня мучает, что в каждом человеке, быть может, убит Моцарт»	248
«Земля людей»	257
Накануне больших событий	274
«Странная война»	284
«Военный летчик»	300
Катастрофа	325
Пауза	338
Америка	349
«Маленький принц»	367
«Будь я верующим, я стал бы монахом»	383

«Винтовки есть для всех»	390
Алжир. Изгнанник в изгнании	403
Подруга	425
«Цитадель»	432
Снова в строю	441
Смерть маленького принца	447
Основные даты жизни и деятельности Антуана де Сент-Экзюпери	456
Краткая библиография	461

Мижо, Марсель

СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. Пер. с франц. Г. Велле. М.,
«Молодая гвардия», 1965.

464 с., с илл. («Жизнь замечательных людей». Се-
рия биографий. Вып. 25(365).)

8И(Фр.)

Редактор *М. Брухнов*

Серийная обложка художника *Ю. Арндта*

Худож. редактор *А. Степанова*

Техн. редактор *Г. Лещинская*

Подписано к печати 17/XI 1965 г. Бум. 84×108^{1/2}.

Печ. л. 14,5(24,36) + 11 вкл. Уч.-изд. л. 23.

Тираж 100 000 экз. Заказ 1687. Цена 87 коп.

Б. 3. № 61, 1965 г., п. 8.

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая
гвардия», Москва, А-30, Суцеская, 21.

87 коп.

М О Л О Д А Я Г В А Р Д И Я